Индекс 73293

ISSN 0132-0637 Октябрь. 1989. № 2. 1—208

1989 2 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

2

1989



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

1989

ФЕВРАЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

ОТКЛИК

Руслан КИРЕЕВ

Пир в одиночку

ПОВЕСТЬ

С некоторых пор его вновь стали беспокоить закрытые двери. Когда-то уже было так, но давно, давно; он лежал, маленький, у горячей стены, не прижимаясь к ней, однако, потому что беленой была стена, пачкала, а за ней возле печки возилась бабушка. (Я у бабушки рос.) Звенела посудой, двигала что-то, тяжело подымала ведро с водой, гремела заслонками... Он узнавал то легкий твердый стук уголька, что падал на приколоченный к полу лист жести, то сердитое шипение воды на раскаленной конфорке. Все это рядом происходило, за стеной, он мог, если б не стена, дотянуться с кровати до облупившегося чайника — из него-то и выплескивалась вода, но звуки не напрямую шли, то есть не сквозь стену (хотя и сквозь стену тоже, но она приглушала их, смазывала, а некоторые — например, шипение воды — и вовсе не пропускала), они просачивались вместе с полоской света в длинную щель. Если же бабушка была не в духе, если за что-то сердилась на него, то в наказание плотно прикрывала дверь, и он проваливался, как в яму, в обеззвученный кромешно-темный мир. И коридор, и печь, и бабушка у печи — все тотчас стремительно удалялось.

Сколько мог он так выдержать, один? Минуту? Две? Когда мрак вокруг чуточку редел, осторожно слезал он с расшатанной, скрипящей, взвизгивающей (он замирал) кровати, на ощупь пробирался босой к двери и тихонько приоткрывал ее, впуская свет и звуки.

Потом страх перед закрытыми дверьми надолго оставил его. Все уединиться норовил, отъединиться, отгородиться от других, даже самых близких. Приезжая, например, к бабушке, но уже не в эту квартиру, в другую, в другой, хотя и соседний, на берегу моря, город, тщательно закрывал на ночь дверь в кухоньку, где допоздна читал, шуршал бумагами, бабушка же всякий раз не слишком настойчиво, не слишком вроде бы всерьез, но протестовала. Ни шум, говорила, ни свет ей не мешают.

Он не верил ей. Пекся, заботливый внучок, об отдыхе ее и покое и лишь позже, когда бабушки уже не было на свете, поймал себя вдруг на том, что его странно тревожат закрытые двери. Иначе, нежели когда-то давно, в детстве, но тревожат.

Он стал думать об этом. Он привык думать о таких вещах, привык всматриваться в себя, в свои чувства и ощущения, пробиваясь все глубже и глубже, вплоть до апрельского дня сорок четвертого года, когда он с бабушкой и бабушкиной сестрой Валентиной Потаповной (под этим именем он опишет ее, настанет час, в своих книгах, причем кое-что Валентина Потаповна, уже полуслепенькая, успеет прочесть) — когда он с бабушкой и бабушкиной сестрой возвращался из Средней Азии в освобожденный от немцев город. Ехал с ними и дед — вернее, ехали они с ним, — но по пути, в Красноводске, умер, и вот теперь его везут на подводе в длинном, некрашеном, пахнущем стружкой ящике. Мальчику два года и четыре месяца. Он сидит, свесив ноги, а бабушка и ее сестра идут следом. Идет и возчик — в руке у него вожжи, лишь мальчик едет, и это наполняет его тайной гордостью. Светит солнце, он ногами болтает, и все так просторно вокруг, так высоко и ясно. Весна! Одно только смущает детскую душу: зачем в ящик положили дедушку? Кажется, он спрашивает

об этом, но ему то ли не отвечают, то ли ответ выветрился из памяти. А вот как бросает в яму, куда только что опустили деда, горсть земли,— осталось. Почему-то первым бросает — это тоже осталось, а еще — как взрослые во главе с возчиком катят на могилу огромный камень.

Нет, он не был потрясен, не был испуган, не был подавлен. Не в состоянии был бедный его умишко осознать потерю, не умел. Бессмертен еще был ребенок — как небо над головой, как бурая земля, бегущая далеко под ногами, как лошадь, везущая гроб, как дед в гробу.

Спустя много лет беллетрист К-ов попытается запечатлеть это чувство. Он вообще много писал о смерти, но не применительно к себе, нет, о себе в своих книгах он избегал говорить, лишь другие, полагал он, могут претендовать на внимание читающей публики. А поскольку (думал К-ов) все одинаково боятся конца, то он вправе нетронуто переносить свои ощущения в чужие души.

К-ов ошибался, конечно. Он путал две вещи: одинаковость (равенство) всех перед лицом смерти (великий демократизм природы, как торжественно выразился один из его героев, от которого уклончивый автор отмежевался на всякий случай иронией) и — собственно отношение к смерти. Тут как раз диапазон огромный. От спокойного приятия ее до бурного, подчас злобного бунта.

Сколько вдохновенных часов провел он в постели без сна, изобретая эликсир жизни! Конечно, в первую очередь он изобретал его для себя и для бабушки (бабушка возилась за стеной, ни о чем не подозревая), а уж потом — для всех остальных. Ни сто, ни двести, ни тысяча лет его не устраивали. Не устраивал миллион... Вечность! Только вечность... Услышав где-то, что солнце когда-нибудь погаснет, он всерьез встревожился и стал ломать голову над тем, как предотвратить катастрофу. Его удивляло, что взрослые не озабочены этим. Пустяками занимаются, в то время как всем нам — всем без исключения! — грозят мрак и холод. Мечтающий о вечной жизни юный К-ов не подозревал, что самое страшное, к чему можно приговорить человека, это как раз к бессмертию. Не к смерти, а к бессмертию.

С тревожной пристальностью всматривался он в лица старых людей. Один вопрос не давал ему покоя: боятся ли они? На самом ведь краю стоят... Еще шаг, еще полшага — и полетят вниз, в бездну, куда и заглянуть-то страшно. Это ему страшно, молодому, которому еще топать и топать по зеленому, в цветах и росе, лугу, а каково им, уже пересекшим его? Уже слышащим, как шуршит, осыпаясь из-под ног, сухая земля? Но они отшучиваются. Они посмеиваются. Они говорят об *этом* как о чем-то обыденном. Вот умрем, дескать, и... Но даже самые жизнерадостные из них, чувствовал он, даже самые словоохотливые хранят про себя какую-то жуткую тайну.

Впервые он ясно осознал это лет в двадцать пять, на окраине Бухары, у мазара, что возвышался, полуразрушенный, над гробницей неведомого святого. (Неведомого для него, человека приезжего.) Экзотические места, он добросовестно впитывал их средневековый колорит, и вдруг — старики. Двое. В чалмах и халатах... Через горбящийся пустырь шли они в сторону К-ова, и так быстро-быстро, так целеустремленно. Один, пониже ростом, опирался на длинный посох, в руках другого была холщовая сумка. Пекло солнце, ветер трепал и обтягивал белую нейлоновую рубашку (тогда нейлоновые рубашки были в ходу), а вот стариков почему-то не трогал. Отвесно свисали концы широких, туго обтягивающих талию поясов.

Много воды утекло с тех пор, а безмолвная картинка эта все стояла перед глазами. По выжженной солнцем древней земле, на которой он родился когда-то, движутся, возникнув неизвестно откуда, два темнолицых старца, и горячий ветер, что ошалело бьется в нейлоновую грудь молодого паломника, проходит сквозь них не задерживаясь. Словно не люди живые это, а бестелесный дух. Словно они пригрезились сочинителю книг под знойным азиатским небом.

Спешно изобразил он подобающее туристу внимание к памятнику архитектуры. Старался он, однако, зря: ни малейшего интереса к его персоне старики не выказали. Энергично приблизились к вросшему в землю строению, обронили — на ходу, не глядя, просто пальцы разжали — посох и сумку, и ноги их подломились, а руки сложились ладонями внутрь.

К-ов деликатно удалился. Сцена, которую он уносил в памяти, странным образом перекликалась (рифмовалась, сказал бы литератор К-ов) с первой — самой первой! — вспышкой самосознания. С тем затерявшимся во времени беззвучным мигом, когда были одинаково вечны и небо над головой, и бурая земля под ногами, и лошадь, везущая гроб, и человек в гробу. Так сигнальные огни, далеко и неравномерно расположенные друг от друга, вычерчивают слабым пунктиром уходящий в темноту тоненький путь. Лишь с большой высоты можно определить, куда ведет он, и нетерпеливый беллетрист время от времени как бы подпрыгивал, стараясь разглядеть, что ждет его впереди.

Обычно эти наивные попытки успеха не приносили. Во мраке терялась предназначенная дорога, однако способ угадать ее направление — хотя бы направление! — существовал. Для этого надо было, обернувшись, внимательно и бесстрашно изучить уже пройденный путь, после чего мысленно его продолжить.

Строго говоря, этим как раз К-ов и занимался вот уже много лет, занимался профессионально, прокладывая по редким сигнальным огонькам несложные судьбы своих героев. Иногда они пересекались с его собственной судьбой, а иногда какое-то время шли параллельно или даже накладывались одна на другую, как это случилось, например, с неким Лушиным. Володей Лушиным... Имя и фамилия, впрочем, были условны. Вернее, то были подлинные имя и фамилия человека, о котором К-ов собирался писать.

Знали они друг друга с малолетства. На одной улице жили, учились в одной школе, а позже — в одном техникуме. Автомобильном...

Начался для него Лушин со смерти матери. Она долго болела, весь класс знал это, но не придавал значения. Болела и болела... И вдруг во время урока приоткрывается дверь, кто-то, невидимый, манит учительницу Веру Михайловну, что-то говорит ей, и Вера Михайловна возвращается к столу с таким лицом, что все затихают враз. Затихают и ждут.

«Володя, — выговаривает Вера Михайловна. — Володя... Ступай домой, маме плохо».

Тишина, мальчики замерли на своих местах (одни мальчики: школа еще мужской была), а бледный Лушин торопливо сует в портфель тетради и книжки, роняет карандаш на пол, долго ищет его, потом, ни на кого не глядя, с портфелем под мышкой (подробности, одна за одной, всплывали в памяти, когда спустя много лет бывший соученик описывал эту сцену) — Володя Лушин идет через весь класс к двери...

К-ов был на похоронах. Дисциплинированно, со скорбной миной стоял поодаль, честно прислушиваясь к себе и не без удовлетворения различая в своем сердце и печаль, и жалость — словом, все, что подобает испытывать человеку в такие минуты. И вдруг где-то там, в глубине, в темной глубине, о которой он и не подозревал никогда, блеснула радость.

Маленький К-ов испугался. Точно бритва на солнце, блеснула она, но, разумеется, сие книжное сравнение пришло ему в голову десятилетия спустя, после того уже, как он раза два или три уличил себя в подобном чувстве. Узко и стремительно пронзало оно его тело, погруженное, как в темную воду, в траурные шепотки, вздохи, приторное удушье вянущих без воды цветов. Книжным, умозрительным было сравнение, но вспомнилось-то ему при этом вполне реальное солнце, красноводское, — не в его ли лучах и сверкнуло лезвие? Вспомнились подвода и бегущая под ногами бурая земля...

Чего, однако, испугался маленький К-ов? Того, что он нехорош — а он действительно нехорош, коли живет в нем эта тайная радость, этот несвоевременный праздник жуткои и веселой свободы, — или того, что он не такой, как все? Конечно же, не такой! — он снова и снова убеждался в этом, исподтишка обводя встревоженным взглядом понурый и торжественный люд.

Женщины плакали. Плакал отец Лушина — какой-то плоский весь,

с плоским, как бы нарисованным на желтой бумаге лицом, вот только слезы катились выпуклые, но сам Лушин не плакал. Неподвижно перед собой глядел и если страдал, то лишь от сознания, что на него смотрят. Умерла мама? Но она ведь для других умерла, для него — нет, для него ей еще предстояло умереть, причем не сразу.

Это, понимал К-ов, самое страшное: не сразу. Чем взрослее делался его герой, тем неотвратимей, тем необратимей умирала она. Изо дня в день... Из месяца в месяц... А во сне он опять видел ее живую, помнил — там, во сне, — что ей грозит что-то, смерть грозит, — да, смерть! — но мама чудесным образом выскальзывает из ее мохнатых лап. Он радуется, он счастлив, но, осторожный человек, проверяет — опять-таки там, во сне, — не ошибся ли он, не сон ли это, и, убедившись, что нет, не сон, ибо разве бывает во сне так светло и ярко! — проваливается во мрак яви.

То был, конечно, эпизод будущего романа, но эпизод не вымышленный. К-ов сам прошел через это, только, к счастью, гораздо позже Лушина. За сорок перевалило ему, когда однажды вечером переступил деревянными ногами порог бабушкиного дома, где, вызванный телеграммой, хозяйничал все последние дни.

Хозяйничал? О нет, никаким хозяином тут он не был. Вещи игнорировали его. Прятались, перескакивали с места на место, и без бабушки, которая руководила К-овом с больничной койки, он с ними ни за что не управился бы. А вот ее они слушались — даже на расстоянии. Ей подчинялись. Она инструктировала: в шкафу, налево, внизу, — и все покорно давалось в руки, если, правда, внук в точности следовал ее указаниям. Стоило ошибиться, как отовсюду лезли загадочные какие-то свертки и коробочки, предметы неясного назначения, вырванные из школьной тетрадки листки с непонятными записями... Точно в дремучем лесу находился взрослый мужчина. Не в весеннем и даже не в летнем — осеннем, когда все пожелтело уже, но кроны еще густы.

И вдруг опала листва. Сразу, в один миг — тот самый, когда случилось э т о. Вернувшись из больницы, пустой и голой нашел К-ов квартиру. И гардероб стоял на том же месте — старый, довоенный еще гардероб, и стол, и кровать, висел ее вылинявший халатик, с беленой стены смотрела «Неизвестная» Крамского, лежал на подоконнике недовязанный коврик из цветных лоскутков, но все было мертво, все равнодушно и бесстыдно как-то обнажилось. Никаких заповедных уголков, никаких тайн. Просто жила тут старая женщина — вот очки ее, вот календарь, от которого она отрывала каждый вечер листок и читала вслух, на сколько прибавил или убавил день, — а теперь ее нет. Где она? Да, где? Вечный вопрос. К-ов столько раз слышал его из чужих горестных уст, а сейчас сам задавал, но кто же мог ответить ему.

Не было мочи оставаться одному, он вышел вон и долго бродил по хорошо знакомым и в то же время новым каким-то улицам. Зажглись фонари. Два мальчугана остановили его, спросили громко, который час. Слишком громко... Все правильно: когда-то он тоже повышал голос, разговаривая со стариками. То ли не поймут, боялся, то ли не услышат.

По утрам, завтракая, слушал вполуха радио и, когда начиналась передача для детей, прибавлял звук: ему нравилось, как поют дети.

В отличие, скажем, от Лушина, в доме которого пылилось хромое, щербатое, то ли без двух, то ли без трех клавиш пианино, спровоцировавшее-таки мальчика на тайное музицирование (в техникуме оно перестало быть тайным), в отличие от своего будущего героя К-ов числил себя в музыке профаном. Что-то, конечно, было по сердцу ему, что-то нет, свое мнение, однако, благоразумно держал при себе. Но вот почему так ложилось на душу пение детей, он, пожалуй, объяснить мог бы.

От полноты самоощущения пели они. От радостной уверенности в себе. От сознания, что они такие, какими должны быть... Несовершенств не было в этих маленьких людях; они, во всяком случае, их не чувствовали и, широко разевая рот, не терзались, что спереди вдруг нет зуба.

Разумеется, К-ов тоже пребывал когда-то в этом доверчивом неведении, но именно — когда-то, потому что время это он помнил и смутно и отрывочно. Ну, похороны деда... Ну, купание в кухоньке возле плиты, в оцинкованном корыте, которое казалось ему таким огромным, а льющаяся сверху вода — такой обильной. Он зажмуривался от наслаждения, ничуть не стесняясь своей наготы, не подозревая даже, что наготы можно стесняться. Потом стоял на табуретке вровень с бабушкой, и та проворно вытирала его чем-то большим и жестким. Послушно поворачивался он, топча голыми ножками собственную рубашку: бабушка стелила ее на холодную крашеную табуретку, он же в чистую нырял, от которой пахло мылом и высушенными на подоконнике веточками лаванды. Раскинув руки, ждал, когда на кровать отнесут. И вот это-то нетерпеливо-радостное ожидание, это предвкушение, эта безоглядная уверенность, что сейчас он обхватит руками бабушкину шею, обовьет цепкими ногами ее туловище и поедет как король в уже разобранную постель, тоже чистую, тоже прохладно и свежо пахнущую мылом (хоть и с заштопанными простынями), — это-то, понял он впоследствии, и было подлинным счастьем. Счастьем, за которое не приходится благодарить кого-либо.

Позже К-ов вычитал у одного замечательного философа, причем не древнего, современного, едва ли не ровесника К-ова и при этом его соотечественника, — вычитал, что благодарность — самое сердце счастья; изымите ее и что останется? Пошлое везение, всего-навсего.

Мысль эта понравилась К-ову чрезвычайно. Он охотно повторял ее, он зачитывал это место своим знакомым, но хоть бы раз догадался уточнить (и философ, кстати, тоже не оговорил этого), что речь идет о счастье взрослого человека! Взрослого...

Нас умиляет (рассуждал беллетрист), когда какой-нибудь карапуз говорит «спасибо». Почему? А потому, что есть в этом нечто от игры, от обезьянничества, как если бы, например, тот же карапуз нацепил отцовскую шляпу. «Спасибо» в устах ребенка — это свидетельство хорошего воспитания, не больше, но если оно искренне, если отражает некое душевное волнение, то становится немножко грустно.

Вернувшись с младенцем на руках в разграбленный, разрушенный войной город, бабушка сразу пошла работать, однако что такое зарплата курьера! — и она с жадностью хваталась за все, что давало живую копейку. Стирала белье людям... Продавала на толкучке чужие обноски... Впоследствии К-ов оценит бабушкин подвиг, оценит и с сердечным трепетом опишет его, но это впоследствии, тогда же принимал все как должное.

Принимал... Если бы только принимал! Еще ведь и требовал. Вон, кивал, у Вити Ватова...

Бабушка вспыхивала. Нечего, мол, на Ватова равняться, у Ватова мать с отцом, а у тебя?

Внук замолкал, пристыженный. Отец, знал, погиб на фронте, мать же бросила его. В и л ь н у л а х в о с т о м (одно время маленький К-ов с ужасом думал, что у матери его скрыт под юбкой маленький хвостик) и — ни слуху ни духу. Открыточки, впрочем, иногда слала. А то вдруг и сама являлась, налетала как вихрь — шумная, нарядная — и так же внезапно исчезала. «Мать! — бросала ей вслед бабушка. — Собакам отдать». То была ее излюбленная присказка. Но вообще-то мать проходила в доме под именем х а б а л к а, причем в устах бабушки, настроение которой быстро менялось, словечко это принимало подчас оттенок едва ли не ласковый. «А хабалка-то наша опять не пишет!» Или — о клубничном, например, вареньице: «Хабалкино любимое». Но это — когда ее не было рядом, в глаза же говаривала такое, что мать белела вся. А однажды в бешенстве принялась колотить посуду. К-ову запомнилось, как бабушка отнимает у нее блюдо, огромное, с синей каймой, довоенное еще, но, отняв, сама же роняет, и блюдо — вдребезги. На полу (почему-то на полу) возле кровати сидит бабушка и громко икает без слов, а маленький К-ов бросает в лицо запыхавшейся матери: «Хабалка! Хабалка!» Сейчас он не боится ее, пусть делает с ним что угодно, но мать ничего не сделала. Только щека дернулась — раз, другой...

В школе время от времени записывали сведения о родителях. На уроке, при всех... С замиранием сердца следил К-ов, как неумолимо подкрадывается к нему алфавитная очередь. Отец — ничего, без отцов многие

росли, а вот на вопрос о матери, где и кем работает мать, лишь он один отвечал — когда с деланным равнодушием, когда с вызовом: не знаю.

По классу прокатывался смешок. Ха, не знает! Это про мать-то родную! Учительница подымала от журнала голову, внимательно смотрела на него. Так и не проронив ни слова, переходила к следующему — следующий как раз был Лушин.

Его о матери не спрашивали. Раньше спрашивали, а потом, когда умерла она, нет, и К-ов, пожалуй, завидовал ему. Другим не завидовал, а ему — завидовал, и позже это стало в его глазах — как и та нечаянная радость среди траурных шепотков — еще одним свидетельством явного в душе его непорядка. Если уж он завидует мальчику, у которого умерла мама... Но в то же время непорядок этот странно успокаивал К-ова. Он, этот маленький, этот частный, этот домашний непорядок, служил в глазах юного философа косвенным доказательством, что в большом мире порядок как раз есть. Порядок и справедливость. Ибо разве заслуживает он, в некотором смысле уродец, да еще явившийся сюда как бы с черного хода, — разве заслуживает он лучшей участи?

«Ешь, что дают! — сердилась бабушка, если он начинал капризничать. — У матери будешь выкаблучиваться». Это означало, что кормят его из милости. Из милости одевают («Мать-то не думает, в чем в школу пойдешь!»), из милости оставляют, когда ложится, приоткрытой дверь... А он еще (бабушка права!) на Ватова равняется. На умного, благородного, одаренного (высокоодаренного, говорили учителя) Витю Ватова. Ви-Вата...

Ви-Ват плакал, когда умерла мать Лушина. Почти плакал... Губы, во всяком случае, задрожали, задрожал подбородок — белый, нежный, как у девочки, и он быстро отвернулся. К-ов наблюдал за ним украдкой, что тоже было нехорошо, нечестно; Ви-Ват — тот никогда ни за кем не следил.

Называя его мальчиком одаренным (высокоодаренным), учителя имели в виду не только учебу, но в первую очередь его рисунки. Тут и впрямь равных ему не было. Так, общешкольные стенные газеты, что выпускались к праздникам, непременнейше оформлял Витя Ватов. Когда газету вывешивали, возле нее собиралась на переменах толпа. Гудели восторженно, ахали, цокали языками. Некоторые тут же разыскивали художника, одобрительно по плечу хлопали.

К-ов тоже восхищался этими яркими, со звездами и цветным салютом рисунками, но восхищался в отличие от других молча. Благоговение перед талантом запечатывало уста, и это, между прочим, осталось у него на всю жизнь.

Ви-Ват не замечал его. Ни его, ни Лушина... На первой парте сидел он, среди маленькой дружины хорошистов и отличников, а что там сзади происходило, за спиной, его не интересовало. Кто-то подбрасывал карбид в чернильницу, после чего вся парта покрывалась синими пузырьками, кто-то, едва раздавался звонок, с тарзаньим воплем выпрыгивал из окна, кто-то сбивал булыжником электрический выключатель, и, чтобы зажечь свет (на последнем уроке во вторую смену было уже темно), приходилось сцеплять болтающиеся провода. Потом их исподтишка обстреливали из резинки алюминиевыми шпильками, какая-нибудь да попадала в цель, и провода, искрясь, рассоединялись. А иногда не в провода попадали, кому-нибудь в щеку, и щека дергалась, как тогда у матери... Но это случалось редко. Чаще все-таки — в провода (или в лампочку; тут К-ов отличился однажды), и класс погружался в темноту. Свист, улюлюканье, топот ног... Со второго этажа спускался завуч Борис Андрианович. Чиркнув спичкой, медленно обводил всех пытливым взглядом. Останавливался этот проницательный взгляд на ком-нибудь из сидящих сзади.

Нередко это был К-ов. По ночам ему снилось, как с риском для жизни вытаскивает Ви-Вата то из огня, то из их убогой речушки, в которой при всем желании утонуть было невозможно, — вытаскивает, и они на пару, как равный с равным, шагают по солнечной улице. Но это во сне, наяву же выкидывал, побледнев, те еще коленца. Однажды, например, устроил костер в парте... Вот и останавливался на нем острый завучевский взгляд. Вот и подымали его учителя, а то и выпроваживали из класса. Огрызаясь, шел он к двери — и мина недовольная, и походка развинченная, сердце же в груди замирало сладко и гордо: Ви-Ват, знал он,

оторвался от своих аккуратных, обернутых в полупрозрачную белесую бумагу тетрадей и провожает его любопытным взглядом.

Наверное, смотрел и Лушин, но это не волновало К-ова. Он вообще смутно помнил его до того осеннего дня, когда взъерошенный, бледный мальчик пересек с портфелем под мышкой замерший класс и исчез за дверью. Исчез навсегда, ибо тот, кто спустя несколько дней появился в школе, был другим совсем человеком. Не то чтобы он изменился, нет, все вроде бы осталось прежним, во всяком случае — внешне, изменилось отношение к нему окружающих. И учителей, и учеников. Особенно — учеников...

Прежде они нередко обижали его. Почему-то им не давала покоя белая полотняная кепочка, какую надевал он, когда пекло солнце. Из предосторожности надевал: часто у него ни с того ни с сего начинала идти носом кровь. Запрокинув удлиненную, похожую на баклажан голову, одной рукой прижимал к лицу скомканный, не первой свежести платок, другой придерживал, чтоб не свалился, свой стариковский картузик.

На него-то и покушались однокашники. Срывали, подкидывали высоко, а он безропотно ловил и надевал снова. Но все это — пока не умерла мать. Она умерла, и его сразу же оставили в покое. Навсегда.

Был ли он рад этому? Прежде даже вопроса такого не возникало у К-ова, но потом, когда стал перебирать в памяти историю Лушина, когда в папке, на которой было выведено крупно «Лушин», поднакопилось множество записей, заподозрил, что было в новом отношении к Лушину однокашников и нечто для Лушина неприятное.

Так всегда. Лишь за письменным столом постигал всерьез всю глубину и многозначность жизни. Слышал запахи, которые в ту минуту, то есть минуту, хрупко воссоздаваемую им сейчас с помощью слов, от него ускользнули. Различал звуки, что прошли тогда мимо его сознания, — тот же легкий звон уголька, упавшего с печи на прибитый к полу лист жести. Да и всю головокружительную сладость путешествия, которое он совершал на бабушке, вымытый, облаченный в чистую рубашонку, беллетрист, собственно, тоже вкусил лишь впоследствии, когда, мучаясь от бессилия, пытался путешествие это запечатлеть...

Едва ли не всех своих близких описал мало-помалу в повестях и романах. И бабушку. И сестру ее Валентину Потаповну. И супруга Валентины Потаповны Дмитрия Филипповича, единственного мужчину в его тогдашнем окружении. И свою мать-хабалку... Вот только собственная его персона если и появлялась иногда, то лишь на периферии повествования. На самом-самом краешке полотна. Неким карандашным наброском ощущал себя, в то время как в жизни, в реальной жизни, царствовали те, кто был очерчен сочно и грубо.

Он на эту полнокровную жизнь смотрел со стороны, как бы поверх ограды (или сквозь нее, прижавшись лбом к холодному металлу), а там, за оградой, играл разухабистый оркестр, смеялись девушки, кружились в вальсе влюбленные пары. Если угодно, то была танцевальная площадка, но он не чувствовал за собой права ступить на огороженную чугунной решеткой территорию.

Впрочем, если говорить о конкретной танцплощадке, о той, что располагалась в городском саду, возле которого Лушин и К-ов жили, то здесь никаких чугунных решеток не было. Кустарный забор, наполовину деревянный, наполовину металлический, настил из струганых досок, сменившийся позже цементным покрытием, невысокая эстрада в форме раковины. Ни микрофонов, ни усилителей, но они, кажется, и не требовались. Все всё слышали, хотя шарканье полустертых подошв и заглушало подчас нехитрую музыку.

Оба — и К-ов, и Лушин — мечтали, что когда-нибудь тоже будут там, на заветном пятачке, и не через забор махнут, не между прутьями продавят себя, обдираясь в кровь, а войдут, как люди, в калитку. А пока что... Пока что, устав от одурманивающего созерцания и доверчиво принимая эту усталость за пресыщение, со светлой печалью на душе — печалью отверженных — расходились в одиночку по своим углам. Лушин открытки перебирал — он коллекционировал открытки с видами старого города, а К-ов принимался за сочинительство. Ви-Ватов описывал. Не себя и не свои н е п р а в и л ь н ы е чувства, а Ви-Ватов.

Под разными именами действовали они — сперва в набросках и небольших рассказиках, потом, спустя годы, — в пространных опусах. К-ов поражался: какую легкость обретал вдруг его заплетающийся язык! Какую напористость! Ба, неужто это он говорит? Глаза его блестели, брызги чернил летели из-под пера. На первой парте сидел он — собственной персоной. Однако и сам он, и его отличники прекрасно понимали, что он тут — птица залетная. Что он, лицедействуя, лишь примеряет на себя их сверкающую одежку, по-настоящему же воплотиться в кого-нибудь из них ему заказано. Не по Сеньке шапка...

Между тем жавшаяся на краю полотна маленькая фигурка нет-нет да пошевеливалась. Озираясь, шажок делала, другой и снова замирала надолго.

Всякая автобиография, полагал К-ов, даже самая объективная, даже самая беспощадная, — это перемещение с некой условной периферии в столь же в общем-то условный, но центр. Не зря ведь, продолжал рассуждать беллетрист, Антон Чехов избегал подобных писаний. Не зря выдумал для себя болезнь автобиографофобию, и К-ов отнюдь не воспринимал это как шутку.

Сорок с лишним было ему, точнее, сорок четыре — чеховский возраст! — когда отправился паломником в Таганрог. Некогда самый ясный, самый прозрачный русский классик сделался для него к тому времени писателем наитаинственнейшим. Он не понимал, к примеру, отчего Чехов, уже известный литератор, приехав после долгого отсутствия в родной город, не удосужился за две недели хотя бы краем глаза взглянуть на дом, в котором двадцать семь лет назад появился на свет божий.

К-ов в доме этом был. Бродил по беленым комнатенкам с низкими потолками и припоминал в смятении другое свое паломничество — в среднеазиатский городок, где родился когда-то. Сколько слышал о нем будущий сочинитель — и от бабушки, и от Валентины Потаповны, и от матери, периодически возникающей в их доме! Сколько раз выводил в официальных бумагах неблагозвучное для русского слуха название! Однако неблагозвучие замечалось им лишь при посторонних, а так короткое слово это ассоциировалось с чем-то зеленым, журчащим, солнечным... Сродни другим замечательным словам было оно, таким, как кишмиш, кишлак, арык. Он мечтал, что когда-нибудь побывает там. И вот сбылось... Это была та самая поездка — первая его поездка в Среднюю Азию, — когда он лицезрел у мазара на окраине Бухары молящихся старцев.

Закончив дело, не в Москву купил он билет, а в свой город. Свой! Вот здесь-то уж, на этой земле, название его не звучало экзотично. Впервые видел его не у себя в паспорте, не в анкете рядом со своей фамилией, а отдельно от себя, в бесстрастном аэрофлотовском расписании. Кассирша-узбечка не удивилась, когда пассажир произнес его, не переспросила, не глянула удивленно. Нечто реальное означало оно (во что там, где жил он, не очень-то верили), и, стало быть, реальностью был он сам.

Летели в обществе овцы, которая вела себя так спокойно, будто всю жизнь путешествовала над облаками. Печальная морда ее мягко тыкалась в колени К-ова. Это не раздражало его. Не сетовал он и на медлительность самолетика, словно бы зависшего над хлопковыми плантациями.

Мудрая ли нерасточительность была это? Понимание, что лучше, чем сейчас, все равно не будет? Или, может быть, предчувствовал, что город, о котором он столько грезил, не то что разочарует его, нет, — хотя, конечно, и разочарует тоже, но как бы не совпадет с собственным названием?

Беллетрист давно заметил, что слова, причем не обязательно названия городов, вообще слова, волнуют его сильнее, нежели то, что слова эти обозначают. Они, как-никак призраки, исподволь оттесняли реальность, вынужденную проходить — и чем дальше, тем неотвратимей — жестокую цензуру языка. Пропускалось лишь то, чему находился фонетический эквивалент, словесный маленький кирпичик. Из таких вот микроскопических элементов и воссоздавался — заново! — разобранный, разрушенный, расщепленный мир. Разве что схваченное в детстве уцелело в неприкосновенности. Например, крупная, черная, зернисто поблескивающая ежевика, которую он собирал на откосе заброшенного шоссе. Не слово, не эфемерный звук — ягода. Он помнил ее вкус. Он помнил оскомину от несозревшего, розового, твердого кизила, гладенького и теплого: до самой косточки прогревало августовское солнце.

И на кизил, и на ежевику натыкался, предпринимая в одиночестве дальние вылазки — походы, как он торжественно именовал их с тех пор, когда его в наказание за разбитую в классе лампочку (с первого раза попал!) не взяли в пещерный городок.

Вот то был настоящий поход — с ночевкой под открытым небом, с костром, с печеной картошкой, — о ней почему-то говорили больше всего. Предвкушали, как будут выкатывать ее палочкой из жарких угольков, и подбрасывать на ладони, и дуть, и посыпать сольцой, хотя, доказывали некоторые, можно и без соли... К-ов делал вид, что не слушает, резиночкой играл, натянутой между большим и указательным пальцами. (Из нее-то и пальнул по лампочке.) И вдруг — голос Ви-Вата. Сперва не голос даже, сперва взгляд, тревожный, участливый взгляд, от которого опальному снайперу сделалось жарко. «Может, — услышал он, — к завучу сходить?»

Резиночка завибрировала, как струна. К-ов отпустил ее. «Зачем?» — усмехнулся, хотя прекрасно знал — зачем и даже сам подумывал, не сходить ли. «Борис Андрианович простит», — объяснил Витя Ватов.

Добрый, благородный Ви-Ват! Только бы не догадался он, как любит его хабалкин сын... Не оттого ли и не пошел к завучу, а вот в поход — пошел, один, украдкой сунув в карман бублик и что-то наврав бабушке.

Так это началось. Обычно в горы отправлялся, по лесистым лазил холмам, но когда гостили с бабушкой у ее младшей дочери (благополучной — в отличие от матери К-ова) в приморском курортном городке, куда после перебралась, поменяв квартиру, и бабушка, а следом за ней приехала и дочь-хабалка, то здесь уже маршрут был иным. Через лиман, по старой дамбе... Ни души вокруг, печет солнце, перенасыщенная солью вода мертва — ни рыбешки, ни головастика, мертво белесое небо, и лишь с далекого берега, на котором, как шатры, темнеют кусты дикой маслины, долетает, овевая лицо, жаркий ветер. Там степь, но ветер не несет ее ароматов: их убивает пряный запах рапы. Высоко подымая босые ноги, перешагивает он через ржавую проволоку, туго стягивающую покрытые солью деревянные борта дамбы. Когда-то она была до краев засыпана землей, но с годами земля ссохлась, потрескалась и осела. И вот уже он не перешагивает через проволоку, а скачет по ней, с одной перевязи на другую, очень быстро, потому что иначе не удержишь равновесия, да и горячая, скрученная, жесткая, слегка пружинящая проволока вопьется, чуть замешкаешь, в незащищенные ступни.

Удивительно: по прошествии лет эти ближние вылазки, эти, по сути дела, блуждания в окрестностях виделись ему как путешествия куда более дальние, нежели командировочные вояжи через всю страну.

Городок, куда его после нескольких часов лету доставил хрупкий самолетик с десятком молчаливых пассажиров на борту и печальной овцой, оказался не чем-то журчащим, зеленым, солнечным, а сухим и пыльным городом, оглушившим пилигрима треском мотоциклов. Пахло жареным мясом, луком пахло, уксусом: едва ли не на каждом углу дымился мангал, а то и два, рядом же непременно располагалась чайхана. Минул день, и поосмотревшийся беллетрист отважно вошел в одну. «Черный, зеленый?» — проронил хозяин, ошпаривая толстой струей заварочный чайник с наставленным жестяным носиком.

Уже сам вопрос давал понять, что он чужой здесь. Своих не спрашивали, своим молча наливали, лишь звякала привязанная к ручке щербатая крышка... «Зеленый», — твердо ответил К-ов. Скинув туфли (знаем, мол, обычаи! Знаем и уважаем), расположился с ногами на потертом ковре. И зеленый чай пришелся по вкусу (с тех пор, работая, пил только зеленый), и ленивое спокойствие вокруг, и язык, которого он не понимал

(почти не понимал, ибо мелькало вдруг русское слово), но который все же не казался ему чужим.

Рядом пристроился с чайником и бледной плоской лепешкой молодой узбек. Обычно К-ов не заговаривал первым, но тут всегдашняя застенчивость оставила его. Слово за слово, и скоро он, хвастун, упомянул будто невзначай, что родился здесь.

Узбек посмотрел на него с недоверием. Тогда К-ов достал паспорт, раскрыл где полагается и молча протянул з е м л я к у. Тот внимательно прочел из его рук, качнул головой и стал медленно рвать на части лепешку. Не ломать — рвать... Налив на донышко пиалы чаю, осведомился, где жил он. На какой улице.

Сокрушенно развел пилигрим руками. Маленький, дескать, был, не помнит... В тот же день послал телеграмму бабушке, и бабушка ответила: в районе мясокомбината. Не без труда разузнал, где это, поехал (грязный, с выбитыми стеклами автобус тащился что-то около часу), и здесь выяснилось, что мясокомбинат-то — новый, лет пять как пустили, а тот, прежний, дымил и вонял едва ли не в центре. К-ов туда отправился. Долго бродил по длинной широкой улице, застроенной одноэтажными, совсем как в средней полосе, домами, часто останавливался, переходил с одной стороны на другую — то прыгая, то просто перешагивая через канаву, что тянулась вдоль дороги. Это и был арык, но ничего, увы, не журчало в его пересохшем русле. Гнила прошлогодняя листва, обрывки газет желтели, посверкивали консервные банки со вспоротыми крышками. За саманным забором кричал осел. Завершив дневные труды, стояли у распахнутых калиток пожилые русские тетеньки, и сочинитель книг, у которого в этом городе чудесно развязался язык, легко заговаривал то с одной, то с другой. Жили ли они здесь, спрашивал, во время войны, и если жили, то не помнят ли случайно таких-то? Эвакуированная семья с восемнадцатилетней дочерью, у которой родился мальчик. «Да ведь здесь, — словоохотливо отвечали ему, — знаете сколько было эвакуированных!» Но уточняли все же, где именно жили (если б знал он!), фамилию переспрашивали. Щурили глаза, как бы вглядываясь сквозь дымку в то далекое время.

Ах, как хотелось К-ову, чтобы они вспомнили! Не его теперешнего, нет, а того, маленького... Как хотелось пробиться взором за тот красноводский предел, за пустынную ту дорогу, по которой тащилась в солнечный апрельский день подвода с некрашеным гробом!

Вообще-то кое-что о том времени он знал. Бабушка рассказывала... Рассказывала, как однажды вернулся с дедом из бани, молча к ведру с водой протопал, зачерпнул кружку и выпил не отрываясь. Крякнул, как мужичок, снова зачерпнул и снова выпил — до дна! Она часто вспоминала эту идиллическую картинку, часто и с удовольствием, но вот что вспоминала только ее и еще ну два, ну три, ну четыре эпизода, смутно настораживало стремительно взрослеющего внука. Сама бедность воспоминаний, их назойливая повторяемость свидетельствовали, по-видимому, о нежелании переводить взгляд на другое. Бабушка явно умалчивала о чем-то; К-ов рано почувствовал это, но любопытство, как ни странно, не подтачивало его, он не стремился у з н а т ь, инстинктивно оберегая взлелеянный в его душе счастливый докрасноводский мирок.

Центром этого мирка был дед. Добрый, умный, великодушный дед, ласковый и отважный. В двух толстенных альбомах хранилось множество его фотографий, которые будущий романист рассматривал с гордостью и восторгом. Вот молодой военный в глухо застегнутой шинели и высокой, с поблескивающим козырьком фуражке, на которой светится красноармейская звезда. Вот он же — во френче, также глухо застегнутом, перетянутом портупеей. А вот — на госпитальной койке, безволосая грудь обнажена и левая рука в гипсе. Восемнадцатый то был год, двадцатый или, скажем, двадцать второй — К-ов не знал, для него эти различия в датах не имели значения, но он знал, что именно тогда дед потерял здоровье. Туберкулезом обзавелся, который его в конце концов и свел в могилу. А еще знал К-ов, что дед был прекрасным семьянином. Любил жену, детей любил, а уж во внуке и вовсе души не чаял. О нем якобы были его последние слова. Береги, наказывал бабушке, внука...

В числе двух или трех неустанно прокручиваемых эпизодов был и такой. С работы приходит дед, громко спрашивает в дверях: а где мой внука (не внук — внука), и тот с щенячьим визгом выкатывается навстречу. В руках у деда то желтая, невероятной величины груша, то отборный урюк, а то и кусочек сахара, подлинный деликатес по тем временам. Хабалкин сын, разумеется, ничего этого не помнил, но, лежа в темноте у нагретой стены, за которой стучала конфорками бабушка, улыбался и сглатывал слюну...

То же, наверное, происходило с Лушиным. К-ов не сомневался, что именно в прошлое был устремлен взор осиротевшего мальчика, в чудесное прошлое, где жила, и разговаривала, и смеялась мама. Одна лишь мама, без отца — отец выскользнул из прошлого в настоящее и в этом настоящем сгинул, перестал существовать для сына, как только привел в дом пучеглазую рыжую толстуху с бородавкой на шее. По сути дела, не матери, а отца лишился Володя Лушин — мать осталась. Отца... У К-ва же его и не было никогда, не было даже в семейных альбомах, а если он, глупенький, пытался что-либо выведать у бабушки, та сердилась. «Отец! Только и умел, что на голове стоять!»

Это не иносказательно говорилось, это (что на голове стоял) говорилось в самом что ни на есть прямом смысле слова. Ибо акробатом был родитель К-ова. Профессиональным циркачом... Трюкачом профессиональным... Вот и заморочил голову несовершеннолетней девочке, тогда еще не хабалке, наобещал с три короба, а тут война. Классический, словом, разыгрался сюжет: с заезжим гастролером сбежала барышня... Так определила ситуацию начитанная Валентина Потаповна, бабушкина сестра, добавив при этом, что как было не сбежать, если в доме скандалы что ни день и пьяная ругань!

К-ов оцепенело молчал. Скандалы? Ругань? Нож, которым он размазывал масло, замер в руке, и тогда двоюродная бабушка отобрала его и намазала сама — щедро, толстым слоем, благо скуповатого, зорко следящего за своей расточительной супругой Дмитрия Филипповича не было рядом.

К-ов сосредоточенно взял бутерброд. «А кто скандалил?» — произнес, прежде чем откусить, — будто ему это было не так уж и важно. Вспугнуть боялся разоткровенничавшуюся Валентину Потаповну.

И Валентина Потаповна объяснила. Он уже достаточно взрослый, сказала она, поэтому должен знать правду.

Скандалил дед... «Дед?» — хотел переспросить К-ов, но не мог. Проглотить тоже не мог — так и сидел с полным ртом, глядел ошеломленно в синие честные глаза старой женщины, которая, знал он, любит его. Своих детей у нее не было...

Да, дед, подтвердила она, и он, увидев, как трудно говорить ей, с усилием зажевал, задвигался — лишь бы не замолчала... Скандалил дед. Сцены ревности устраивал, швырял что под руку попадется и раз угодил тяжелой металлической пепельницей в двухгодовалого Стасика. «В дядю Стасю?» — испугался К-ов, но испугался не за дядю Стасю, которого в глаза пока что не видел (ничего, скоро объявится), испугался за деда. Чувствовал: дед уходит из его жизни. Растворяется, как призрак...

«Ешь! — сказала, вздохнув, Валентина Потаповна и показала глазами на царский бутерброд. — В школу пора».

Он откусил послушно, еще откусил, но в школу в тот день так и не попал. Слонялся с портфелем по городу... Проще всего, конечно, было не поверить услышанному, но на памяти его не было случая, чтобы добрая, справедливая тетя Валя сказала неправду. Притомившись, на какой-то ящик опустился (кажется, из-под помидоров), поставил у ног обшарпанный портфель с бечевой вместо ручки и долго сидел так. Дул ветер, по низкому небу неслись облака, неподалеку возилась и кудахтала курица. Он был один в мире, совершенно один, и ему почудилось вдруг, что он разучился говорить. Забыл человеческий язык... Отдельные слова помнил и понимал (например, п е п е л ь н и ц а: металлическая пепельница), а язык забыл и никогда уже не сумеет ни с кем объясниться.

Удивительно, но это не испугало его. Не ввергло в панику... Некоторое даже спокойствие снизошло на десятилетнего шкета, очутившегося, по сути дела, на необитаемом острове. Он открыл портфель, достал яблоко, которое сунула ему Валентина Потаповна, и медленно вонзил в него зубы. Такого вкусного яблока он, пожалуй, не едал больше никогда...

Один проницательный критик, из молодых, определил общую черту его героев как странное и пугающее одиночество. Ну, что пугающее — это понятно, а почему странное? Потому, видимо, что многие из них отличались потрясающей контактностью... Критик так и написал: потрясающей. Тут явно о Ви-Ватах шла речь, а вообще-то герои его (не Ви-Ваты, другие) были больше чем одиноки, поскольку одиночество — это все же наличие хотя бы *одного* человека. Это принятие хотя бы одного человека — например, самого себя, они же себя не принимали. Стеснялись себя. Подчас даже себя ненавидели — за *неправильность* свою. За ту позорную радость среди траурных шепотков... За чудовищную зависть к мальчику, у которого умерла мать. Не сбежала, не вильнула хвостом, а умерла и, значит, осталась с ним навсегда. Взяла его, мертвая, под свою защиту.

Все вдруг оставили его в покое. Разом! Никто больше не срывал с головы белой кепочки. Никто не приставал... Один — на перемене, один — за партой, один — из школы домой, хотя с тем же К-овым, например, им было по пути.

Реставрируя шаг за шагом жизнь своего героя, романист пришел к выводу, что и дома тоже он был один. Уже через два месяца после смерти жены (в первоначальных набросках — через пять) отец привел в свой подвальчик (вернее, полуподвальчик: Лушины жили в так называемом цокольном этаже) ту самую рыжую толстуху. Даже не сняв шляпки, по-хозяйски огляделась она, шмыгнула с неудовольствием носом и сказала: «Но здесь же темно!»

К выключателю бросился отец. В абажуре засветилась желтая лампочка. «Вот! Можно читать, можно играть».

Гостья удивленно поворочала круглыми глазами. «Во что играть?» «Играть!» — И с гордостью простер руку в сторону пианино, единственного в квартире предмета роскоши.

Играть толстуха отказалась. Но пыль с пианино стерла. И с тумбочки тоже... И с этажерки... Она была поразительной чистюлей и, прежде чем сесть за стол, на который расторопный вдовец взгромоздил вскипевший на примусе закопченный чайник, просмотрела на свет один за одним все стаканы. Таз потребовала и, засучив рукава, принялась отмывать посуду. Всю воду извела, так что пришлось Лушину-младшему тащиться в соседний двор к колонке.

Это как раз был двор К-ова. Визг стоял на площадке, смех — играли в «охотников и зайцев». Черный мячик, отскочив от кого-то, подкатился к ногам будущего *прототипа*, но тот равнодушно обошел его. Точно не десятилетний мальчуган был это, не ровесник беснующейся детворы, а пресыщенный жизнью старец. Да еще эта белая кепочка...

За мячом К-ов побежал. «Привет!» — бросил на ходу, разгоряченный, счастливый, *принятый* в игру, а не *принятый* Лушин глянул на него из-под полуопущенных, как у птицы, век, сказал «здравствуй» и прошествовал дальше. Только звякнуло большое, залатанное свежей жестью ведро.

В тот же день — а может быть, не в тот, может быть, неделю или полторы спустя — Володя Лушин, но уже не реальный, уже *персонаж*, брел куда глаза глядят и очутился в конце концов на окраине. Среди мертвых колючек возилась, кудахтая, рыжая курица. Какие-то ящики валялись — видимо, из-под овощей (на шершавых планках, писал К-ов, розовела высохшая помидорная кожица), там и сям торчали из жухлой травы крупные обломки камня-ракушечника. Осторожно присел он, а рядом, на соседнем камне, дремала, сложив крылышки, блеклая бабочка. Он достал из кармана яблоко, медленно вытер о заштопанную рубашку и медленно, сосредоточенно съел. «Столь вкусного яблока...» — продолжал романист, но капризное перо дрогнуло и остановилось.

Что-то не так было здесь. Какая-то ложь, хотя писал он чистую правду.

Тридцать лет минуло, как принципиальная Валентина Потаповна открыла ему глаза на деда... больше, чем тридцать, но он отлично помнил все. Помнил, как блуждал в тот день по городу, помнил пустырь и обмякший портфель с бечевой вместо ручки. Помнил странное ощущение, будто он разучился говорить, однако — и это он тоже помнил! — не страшно было ему, а как-то тошно. (Незадолго перед смертью бабушка пожаловалась врачу: «Тошно мне...») А потом вдруг словно очнулся, словно проснулся и с радостной, звериной какой-то остротой ощутил брызжущий из-под зубов сок, прохладный и пенящийся (кандиль — называлось яблоко), различил запах пересохшей земли, по которой сновал, не ведая о нем, двуногом великане, юркий муравьиный народец, услышал озабоченное кудахтанье иного, чем он, рыжего существа...

К-ов медленно огляделся. Вверху неслись розовато-желтые облака, внизу сквозили высокие, причудливой формы колючки и все так же хлопотала о чем-то нарядная курица... Да, пускай он не такой, как все, да, пускай он родился в городе, которого нет на свете (тогда ему казалось, что нет), но все же он родился, он существует, он видит и слышит, он осязает — разве этого мало? В одиночку готов пировать он, коли они не хотят его, однако нелепые слова эти (про пир в одиночку) лишь мелькнули в голове беллетриста, но на бумагу не легли, как не легла перед этим фраза о вкусном яблоке. Все правдой было — все-все, но правдой его, а не Лушина. Лушин, почувствовал обескураженный сочинитель, без аппетита съел извлеченный из кармана кисловатый плод, поднялся, отряхнул штаны и отправился домой, где его ждала недовязанная авоська.

Эти большие, как рыболовная сеть, разноцветные авоськи плел в прежние времена отец и сам же продавал по воскресеньям на рынке. Среди инвалидов-колясочников отирался он, что торговали глиняными копилками, леденцами на палочке и школьными, вдесятеро дороже, тетрадями. Он и сам был инвалидом, хотя никаких внешних зазубрин война на нем не оставила... Но все это в прежние времена. После смерти жены он так ни разу и не взял в руки нити, начатую же и на половине брошенную авоську закончил сын, уже тогда не по возрасту педантичный. Случайно ее увидела соседка, купила за гроши и вскорости заказала еще одну, то ли на дешевизну польстившись, то ли просто из сострадания к сироте. Так и пошло... Прочны и красивы были изделия Володи Лушина, цену же сам не называл никогда. Что дадут, за то и спасибо. Мачеха, решил великодушно автор, не покушалась на деньги, которые зарабатывал его герой, так что все они уходили на открытки с видом старого города. Со временем их набралось штук триста, а началась эта уникальная коллекция с полдюжины карточек, случайно подаренных близкой подругой покойной матери...

Беллетрист знал эту женщину. В их дворе жила, в дальнем закутке, за мусорным ящиком. Дочерью Тортилы была она, высохшей старухи, широкоскулое лицо которой темнело по вечерам в глубине распахнутого настежь окна. Рядом восседал на подоконнике кот-красавец, холеный и мудрый. Время от времени он спрыгивал на травку, прогуливался, задрав пушистый хвост, а обеспокоенная хозяйка высовывала из окна голову. Ни дать ни взять черепаха.

Неизвестно, кто первым подметил сходство, во всяком случае, не будущий литератор, потому что вначале он не понимал даже, почему собственно Тортила, откуда сие заморское прозвище, и, лишь прочитав, с изрядным запозданием, «Золотой ключик», весело удивился, до чего же метко припечатали.

Вообще-то дочерей у Тортилы было две, но младшая вышла замуж и жила отдельно, а старшая прозябала с матерью в мрачном и темном, похожем на панцирь доме.

К-ов бывал в нем. Не один, в составе мальчишеской делегации, которая обходила соседей, выманивая денежки. То на мяч — большой, с камерой, как у настоящих спортсменов, то на волейбольную сетку... К иным, впрочем, не заглядывали, ибо знали: не дадут. Как ни растолковывай исключительность и важность мероприятия, как ни шурши деловито бумажками, придававшими их миссии (надеялись они!) официальный характер, скопидомы не желали раскошеливаться. Но были и другие дома — там не просто давали, а давали щедро.

К числу этих чадолюбивых домов относилось и угрюмое обиталище старой Тортилы. Сама она, правда, денег не давала — не отказывала, но и не давала, вообще не произносила ни звука, и, если была одна дома (кот, разумеется, не в счет), малолетние предприниматели уходили ни с чем.

Деньги давала Тортилова дочь. Торопливо как-то, виновато, будто не давала, а брала, и очень смущалась, когда, во исполнение все того же ритуала, ее просили расписаться. Зачем? Она им верит... Но они упорствовали, и добрая женщина, не умея отказать, брала у них разграфленный листок, книгу подкладывала — книги тут где только не лежали! — и ставила узкую, сжавшуюся от стыда закорючку.

Да, где только не лежали книги, причем некоторые были раскрыты и вдруг сами по себе с шелестом перелистывались. Как живые... Тортилова дочь и относилась к ним как к живым — начинающий сочинитель понял это, когда пристрастился ходить в читальный зал, где она работала. Бережно выносила из-за стеллажей разновеликие фолианты — по одному, по два, не больше, а если какого не оказывалось на месте, шептала простуженно: «В переплете. Скоро вернется». Будто в самоволку улизнул...

Однажды, совсем еще мальчишкой, К-ов с изумлением увидел ее на танцплощадке. (Той самой! В городском саду.) С изумлением, поскольку не раз слышал от бабушки: «Старая дева!» — а это для него было все равно что старуха. И вдруг — на танцах!

У самого забора стояла она, как-то отдельно от всех, в синем платье, которого он на ней прежде не замечал. Стояла и улыбалась — не так чтобы явно, не открыто, но все-таки улыбалась.

Сквозь нарядную толпу пробирался по направлению к ней мужчина — сейчас, сейчас пригласит... Юный разведчик даже на цыпочки привстал, так хотелось, чтобы пригласили (соседка как-никак!), но мужчина прошел мимо, словно не узнав ее... Потом еще один не узнал и еще, и для всех она как бы держала наготове улыбку. Как бы загодя прощала это их неузнавание, только все время, заметил наблюдательный К-ов, трогала зачем-то бусы. Бусы были самодельными, из белых ракушек.

Через несколько дней они перекочевали к племяннице. Маленькая модница разгуливала в них, чуть прихрамывая, по чужому двору (то есть двору К-ова), а рядом шествовал на веревочке флегматичный кот. «Бедная девчушка!» — переживала сердобольная Валентина Потаповна, но бедной внучка Тортилы отнюдь не выглядела. Кажется, она не замечала даже своей хромоты...

Наведывалась она к бабушке часто — или даже не столько к бабушке, которая как сидела в своем окне, так и сидела, сколько к тете, — поэтому открытки с видом старого города достались бы наверняка ей, не зайди однажды к Тортиловой дочери сын покойной подруги, неразговорчивый мальчик в белой стариковской кепочке. Увлекся, разглядывая их, вот ему и сказали: «Возьми, если хочешь».

Лушин взял. Подолгу изучал каждую, а после бродил в одиночестве по городу, отыскивая запечатленные на этих ветхих карточках дома и деревья. Дома за утекшие десятилетия сделались как бы меньше, вросли в землю, деревья, наоборот, выросли, но, если присмотреться и напрячь немного фантазию, то сквозь позднейшие наслоения проступал-таки прежний вид. Лушин у з н а в а л его, узнавал в том самом смысле слова, какой вкладывал в него филолог К-ов, отмеченный, как и Тортилова дочь, клеймом неузнанности.

Для него это состояние — состояние неузнанности — олицетворял толстяк в соломенной шляпе, с которым бабушка, почему-то оказавшаяся в то лето без работы, познакомилась на рынке. Работниц в пионерлагерь вербовал, на две смены, причем ехать можно было с ребенком.

Ребенок стоял тут же и слушал, затаив дыхание. Очень о море хотелось спросить, далеко ли море у них, но бабушка, знал, не любит, когда вмешиваются в разговоры старших. «Держи язык за зубами», — такова была ее первая заповедь. Такова была первая мудрость, которую усвоил маленький К-ов.

Договорились, что в понедельник толстяк заедет за ними. Пусть ждут, с вещами уже... Это (что с вещами) было для К-ова своего рода гарантией. Только бы не раздумала бабушка! Только бы не расхворалась!

Наконец понедельник настал, вещи лежали упакованные, непоседливый К-ов то и дело выбегал за ворота, но ни толстяка, ни машины не было. Бабушка нервничала. На ходики поглядывала, отдергивала и задергивала занавеску на окне, поправляла скатерку. «Может, адрес потерял?» — смиренно произносил внук, но его не удостаивали ответом.

И вот, направляясь в очередной раз к воротам, уже без спешки, уже обреченно, втайне, однако, надеясь умаслить судьбу этой своей обреченностью, увидел торопливо входящего во двор благодетеля. Да, это был он — в той же соломенной шляпе, в том же сером костюме. «Сюда! — закричал К-ов. — Сюда!» И уже летел навстречу, раскинув руки, и тыкался с разгону в живот, и пытался обхватить этот необъятный живот, а толстяк, не узнавая его, косил глазами в смятую бумажку и одновременно вытирал, сдвинув шляпу, потный лоб...

Сколько раз потом будет повторяться в памяти этот бег, но все тише, все медленней. И уменьшаться будет год от года детская фигурка, неотвратимо приближающаяся к фигуре большой, толстой, которая тоже, впрочем, поусохнет. И мельче станет чешуя вымощенного булыжником грязного двора. И сам двор как бы сожмется. И приплюснутся к земле дома с черепичными крышами. И съежатся до кустов взрослые деревья... Все тише, все медленней будет бег, но рано или поздно ликующее детское личико уткнется-таки — все равно уткнется! — в обтянутое грязным сукном, сыто бурчащее, пропахшее потом брюхо.

Что подразумевала бабушка, говоря о языке, который следует держать за зубами? Почему, стоило внуку повысить голос, испуганно озиралась? «Тише! Стены уши имеют». Чего боялась? Того же, наверное, что и все, но был у нее еще свой, личный страх — страх, что люди узнают о сыне Стасике. Проведают, где он и что с ним.

Внук знал — и что, и где, но не подавал виду, хотя прямодушная Валентина Потаповна давным-давно выложила все. Но раз не утерпел. За неблагодарность и лень отчитывала его бабушка, в пример же Стасика приводила. Вот кто благодарен! Вот кто трудолюбив! «А чего же в тюрьме тогда?» — брякнул К-ов.

Бабушка осеклась на полуслове. Застыла с открытым ртом — будто кино остановили, и в этом разинутом рте, запомнилось К-ову, не было спереди зуба. Как у ребенка... И такие же, как у ребенка, растерянные глаза. «Кто тебе сказал? Валька небось?» Но К-ов Валентины Потаповны не выдал. А бабушка уже что-то о дружках несла, ворюгах проклятых, о водке, о дурных женщинах, с которыми связался по молодости лет благородный и доверчивый Стасик.

С этого дня она говорила о нем беспрестанно. Считала, сколько месяцев — а потом недель, а потом дней — осталось до освобождения. В шкаф на специальную полку благоговейно складывались маечки и трусы, новая рубашка и не новый, но хорошо сохранившийся галстук. Еще бабушка собственноручно связала толстые шерстяные носки: Стасик писал, что у него обморожены ноги.

И вот однажды от громового стука проснулся К-ов. Одновременно барабанили и в окно, и в дверь, и даже, кажется, в крышу. «Что это?» — испугался он. Бабушка, не отвечая, торопливо прошлепала в темноте босыми ногами.

Скрежет замка, лязг задвижки, и до слуха окончательно проснувшегося К-ова донеслась хриплая мужская скороговорка. Потом смолкло все. Таращась в темноту, со страхом прислушивался, а в голове: Стасик? Но почему вдруг такой немолодой, такой грубый голос? И вот — опять, но уже как бы успокаивает, как бы ласкает (хотя хрипит по-прежнему ужасно), и сквозь него — тихие бабушкины всхлипывания. Он!

К-ов вскочил. Тьма стояла кромешная, и маленький хозяин, сообразив, бросился к выключателю. Долго шарил по холодной стене, нашел наконец, щелкнул, но свет не зажегся. Еще раз щелкнул и еще — все напрасно.

Из коридора несло холодком и ночной свежестью. Бабушка, шмыгая носом, бессвязно лепетала что-то, в ответ утешающе хрипел тот же прокуренный голос, но теперь уже К-ов явственно различил слово «мама».

Вошли, вспыхнула спичка, и в заметавшемся свете блеснул, отсвечивая, желтый череп. У К-ова вновь перехватило дыхание. Не Стасик, нет, — бабушка ошиблась, бабушку обманули, чужой проник в дом... Лысая голова быстро повернулась, сверкнули глаза. «А-а, племянничек!» Знакомство состоялось.

Света в ту ночь так и не дали, при керосиновой лампе сидели: взволнованная, счастливая бабушка потчевала сына то одним, то другим, но он налегал в основном на грецкие орехи. Раздавливал их с оглушительным треском, скорлупу на пол бросал, бабушка же хоть бы хны! Внука за каждую соринку пилила (именно ее чистоплотностью наградил беллетрист К-ов мачеху Лушина), а тут — ни единого словечка.

К-ов сидел тихо, как мышь (боялся: вдруг спать погонят), но Стасик не забывал о его присутствии. Нет-нет, да зыркнет взглядом и то подмигнет заговорщицки, то ткнет пальцем в живот. И все повторял: «Племянничек мой! У-у, племянничек...» — словно это чрезвычайно его забавляло.

Начало светать, загулькали, просыпаясь, голуби Дмитрия Филипповича, звякнуло у колонки первое ведро и упруго ударила заждавшаяся, по-утреннему тугая струя. Кто-то протопал, кашляя и отхаркиваясь, в уборную. Бабушка открыла ставни.

К-ову в тот день дозволилось не ходить в школу — да и что бы он делал там со своими слипающимися глазами! — он лег, и тут же опять наступила ночь, а когда проснулся, был уже полдень (он почувствовал это, еще не открыв глаза), и где-то совсем рядом играла музыка. Не радио — по радио не пели такого. В следующую секунду он вспомнил все, отбросил одеяло, вскочил (музыка сразу стала тише) и увидел сидящего на диване незнакомого мужчину. Лысого... С искривленным носом... На табуретке у его ног стоял взявшийся невесть откуда патефон, а рядом — бутылка шампанского.

Увидев племянника, Стасик медленно наполнил стакан и, не подымаясь, протянул издали. Крутилась пластинка, сладкий голос пел про любовь и море, за окном солнце светило, а у кровати стоял на холодном полу десятилетний мальчуган, которому впервые в жизни предлагали, как взрослому, настоящее вино.

К-ов завороженно приблизился, взял стакан и, втянув голову в плечи, аккуратно выпил все.

Все! До дна! Причем в абсолютной (музыка смолкла) тишине, которую взорвал, едва племянник опустил стакан, сиплый дядин смех. По мягкой, горячей со сна щеке одобрительно пошлепала костлявая рука, изрисованная наколками. Появилась вторая бутылка, гулко стрельнула в потолок, и выползший из серебристого горлышка белесый дымок затуманил мало-помалу взгляд К-ова. Асимметричное дядино лицо еще больше скривилось, а в голом черепе блеснуло солнце. Только было это уже, кажется, не дома, уже шли куда-то, торопились, и Стасик со своей обмороженной ногой не хромал, как вначале, а весело приплясывал. Какие-то люди вырастали на их пути, и всем им дядя торжественно представлял К-ова. «Племяш мой!» — и с силой ударял по плечу, как бы доказывая этим, что племяш действительно его, не чужой, потому что чужого так не похлопаешь. К-ов улыбался. К-ов говорил что-то, и его, видел он, слушают. Им нравилось, как рассуждает он, и самому ему тоже нравилось — впервые в жизни.

В темной какой-то комнате оказались они, с дырой посреди грязного пола, и из этой темной дыры выпрыгивали, как живые, белые мешочки. Их жадно ловили, передавали из рук в руки и в конце концов, чудилось захмелевшему мальчугану, возвращали обратно. Вот только в тот ли день было это, на другой или, может, через неделю — К-ов не знал: все слилось в один беспрерывный праздник, закончившийся арестом дяди Стаси. Но что мешочки выпрыгивали — это точно, а потом вдруг появилась откуда ни возьмись бабушка. Она плакала и хлестала по лысой голове сына букетом гвоздик, им же подаренных.

Не в голос плакала — упаси бог — и хлестала не на виду у посторонних, а плотно закрыв двери. В этом была вся бабушка. Пусть муж пьет и швыряется пепельницей, пусть сын в тюрьме, пусть дочь колотит посуду — соседи не должны ни о чем знать. «Смотри, чтоб не видел никто!» — предупреждала строго, когда внук выносил после хабалкиного разбоя черепки и осколки.

Были тут и останки довоенного блюда — того самого, с синей каймой. Прорвав газету, высыпались со звоном, уже, правда, возле мусорного ящика, поэтому можно было б и оставить их здесь, среди обглоданных

костей и ржавых жестянок, но маленький К-ов не решился. Вдруг увидят? Вдруг поймут, кому принадлежала разбитая посудина? Украдкой оглядевшись (из окна за ним наблюдала Тортила), принялся собирать стекляшки. Значит, и в нем тоже жил этот страх — страх, что все выйдет наружу. И мать-хабалка... И сдавленная радость среди траурных шепотков... И неукротимое желание быть таким, как все...

Он немало удивился, когда, уже взрослый, уже немолодой, уже после смерти бабушки, обнаружил это потаенное желание и в своем беспутном дяде, который, хрипло смеясь, всю жизнь, казалось, только и занимался тем, что бросал вызов скучной добропорядочности. И вдруг...

Под шестьдесят было ему — живой скелет, неровно обтянутый тонкой, желтой, как пергамент, заштопанной там и сям кожей, причем добрая половина из этих шестидесяти осталась за решеткой... Выйдя очередной раз на волю, поклялся жене — тоже в очередной раз, — что больше не попадет туда, вот только у жены за время последнего Стасикиного сидения другой появился муженек. Однако и прежнего не оставила в беде. Пока сидел, посылочки слала, а как освободился — пустила во времянку к себе. Где-то ведь да надо жить человеку! Она была доброй женщиной, доброй и жалостливой, несмотря на деньги, в которых никогда не знала нужды. С молодых лет работала на мясокомбинате, и не где полегче, а в разделочном, трудном самом цеху — не каждый мужик выдерживал. Ноги отекали, ревматизм пальцы скрутил, а на землистом лице лежала печать теперь уже неистребимой усталости. Зато платили хорошо... Но главное, конечно, была не зарплата.

На себя времени не хватало. Ходила в золоте, но без зубов (который уж год вставить собиралась!), со свалявшимися серыми волосами. Дочь вырастила — одна, без мужа. Когда со Стасиком сошлась, она уже была, так что он лишь удочерил ее и через месяц, с чувством исполненного долга, вновь отправился куда Макар телят не гонял.

Теперь Люба — так звали Стасикину жену — была уже бабушкой, Стасик же, которого К-ов без приглашения навестил в его времянке, хлопотал и суетился вокруг малыша не хуже настоящего деда. И салфеточку подоткнет, и чай попробует — не горячий ли, и в туалет сводит. А сам все подмигивал племяннику: как, мол?

Опустившись перед ребенком на корточки, бил себя кулачком в грудь. «Ну-ка, — хрипел, — кто это?» — и мальчонка бесстрашно выговаривал: «Дедушка».

Глаза старика лукаво сверкали. Вот так же, наверное, поблескивали глаза десятилетнего мальчугана, когда в голову ему ударил — впервые в жизни! — сладкий хмель. Нет, то не шампанское подействовало, хотя, конечно, и шампанское тоже, то были радость и счастье приобщения. Его приняли, его признали, с ним держат себя как с равным... «Ну что, племяш?» — спрашивал рецидивист с тридцатилетним стажем и снисходительно по плечу похлопывал — точь-в-точь, как тогда. А племяш-то сам не сегодня-завтра станет дедом, то есть давно обогнал словно бы застрявшего в тех годах горемычного своего дядю.

Тот не унывал, однако. Шуточками сыпал и прохаживался все, прохаживался по К-ову, в особенности — по его писательству. «Ты вон о дядьке своем напиши! О Хрипатом! Меня там Хрипатым зовут... Что, слабо?»

К-ов посмеивался, но дядя, и прежде удивлявший внезапной, как удар из-за угла, проницательностью, попал в точку. Едва ли не всех своих родственников запечатлел на бумаге предприимчивый беллетрист — всех, кроме Стасика. Почему? Ведь вот он, казалось бы, весь на виду — бери да описывай, ан нет! Уходит... Сочинитель долго не мог понять, в чем тут дело, пока не осенило: а Стасика-то нет вовсе! Он и хорохорится, и в грудку себя бьет, и выманивает из уст младенца золотое словечко *дедушка*, но какой, в самом деле, дедушка Стасик! Какой он муж, если через стенку другой сидит, накачивается пивом с воблой!..

Сколько помнил своего дядю К-ов, всегда он изображал кого-то. «Лидия Павловна говорит, — польщенно передавала сыну бабушка, — ты на инженера похож», — и Стасик, в сером дорогом костюме, в шляпе и с «Казбеком» в зубах, ощерялся, довольный.

К-ов не осуждал его. Не смел... Ибо и он тоже примерял на себя

чужую одежку — разве нет? Разве не имитировал — в тех же книгах своих — легкий виватовский голос? Но время шло, он взрослел, он старел, и его, как и бабушку когда-то, стали беспокоить вдруг закрытые двери. О себе захотелось рассказать — о себе самом! — и своим непременно голосом. Вот тут-то и обнаружил всполошившийся романист, что своего голоса у него нету. И так начинал, и этак, но все на чужую речь сбивалось увертливое перо. Все краешком полотна довольствовалась фигура повествователя. А когда стронулась-таки с места, чтобы ближе к центру переместиться, то и ежилась, и спотыкалась что ни шаг, и все по сторонам озиралась: не пропустить ли кого вперед себя?

Однажды Лушин сказал отцу, что с сентября — а до сентября оставалось месяца полтора — он хотел бы ходить в другую школу. «В какую другую?» — рассеянно переспросил бывший вдовец, так расторопно обзаведшийся новой супругой. Перед ним стояло блюдо с крупной, вымытой, влажно поблескивающей вишней, из которой он выковыривал шпилькой для волос косточки.

Шпильку, разумеется, дала жена. Она же усадила его за эту скучную работу; именно его, не пасынка — романист подробностью этой дорожил. Ему казалось, она хорошо передает атмосферу лушинского полуподвальчика после воцарения там новой хозяйки.

Нет, то не была традиционная злая мачеха, тайком от мужа измывающаяся над сиротой. Она не шпыняла мальчонку, не отнимала деньги, которые он выручал за свои авоськи, не загружала домашними делами, даже столь необременительными, как вытаскивание косточек из вишен. Но в то же время она не была матерью. Ибо родная мать вручила б шпильку и сыну тоже; сыну даже скорее, чем мужу. А впрочем... Впрочем, знал по собственному опыту К-ов, не всякая родная. Его, например, насколько помнил он, ни разу не повысила на него голос — это при ее-то вспыльчивости! Ни разу не потребовала: сделай то-то и то-то. И даже когда он посреди разгромленного дома бросил в лицо ей, дрожа от ненависти: «Хабалка! Хабалка!» — а потом, вслед за бабушкой, еще одно слово, не очень понятное ему, страшное, чужое (это ведь там где-то такие женщины, не у нас; из-за него-то мать и начала колотить посуду), — даже после этого она ничего не сделала ему. Только щека дернулась, будто кто-то пальнул в нее из натянутой между пальцами невидимой резинки...

Итак, двенадцатилетний Володя Лушин, улучив момент, когда родитель, с одной стороны, был при деле, так что на личное его время сын ни в коем случае не посягал, а с другой — мог и слушать и говорить, сообщил как бы невзначай о своем желании перейти в другую школу. Отец не понял. «В какую другую?» — и с хлюпаньем втянул губами бегущий по волосатой руке вишневый сок. «В женскую», — проговорил сын, но даже этот странный, этот невразумительный ответ не заставил папу отложить шпильку. «Почему в женскую?» — сказал он, беря багровыми пальцами треснувшую от спелости ягоду.

То было время, когда упразднялось раздельное обучение. В мужскую школу, где учились К-ов и Лушин, должны были осенью прийти девочки, а часть мальчишек отправляли на их место. Уходить, однако, никому не хотелось — в девичье-то царство! — но одно исключение было. Лушин... Володя Лушин... Он как раз мечтал уйти, но надо же сказать об этом! Надо, набравшись духу, подойти к классной руководительнице Анне Адамовне и кратко, веско объяснить ей, что он... Что он... Здесь мысль его буксовала. Никак не мог придумать Володя Лушин этих веских, этих единственных слов.

Выбрав момент, когда возле учительницы никого не было, стал, запинаясь, бубнить что-то. Анна Адамовна подняла голову. Пухленькое, ржавое от старческой пигментации ласковое лицо... Внимательно смотрела на сироту сквозь треснутые очки и, участливая бабуся, заранее соглашалась на все, что ни попросит он. А сирота явно просил о чем-то. О том, кажется, чтобы его здесь оставили. («Другая школа», — разобрала Анна Адамовна.) Об этом все просили Но всем отвечали уклончиво, говорили, что пока, дескать, вопрос не рассматривался, Лушина же классный руководитель заверила, ласково прикрыв глаза: «Не волнуйся, Володя. Тебя мы не отдадим».

К нему вообще было особое отношение, щадящее — ни одной двойки не получил, как умерла мать, — но пусть бы лучше двойки, сообразил впоследствии К-ов, пусть колы, чем этот всеобщий заговор жалости. Туда хотелось ему, где о нем ничегошеньки не знали. Где не помнили, как однажды во время урока открылась дверь, кто-то невидимый поманил учительницу, и она, оцепенело вернувшись через минуту к столу, выговорила глухим, севшим вдруг голосом: «Володя... Ступай домой, Володя, маме плохо». С тех пор никто не издевался над ним, никто не срывал с баклажановидной головы кепочки, никто не выбивал из рук портфеля. Была такая забава: подкрасться сзади и шарахнуть изо всех сил по чужому портфелю — своим, крепко стиснув его обеими руками... А еще была забава выставлять в коридоре, перед входом в класс *охранников*. С разгону налетали они на каждого, кто приближался к двери, плечом отталкивали. Именно плечом — не руками. Руками запрещалось... Опередить их было не так-то просто, но К-ов сумел и, прорвавшись (его лишь задели слегка), перешел в почетный разряд болельщиков. Издали наблюдал за сокрушительными столкновениями.

И тут появился Лушин. Ну, как появился... И прежде выжидательно топтался в сторонке, но его не замечали, а теперь заметили и нехотя расступились, пропуская. Его, знали, не тронут... И действительно, главарь охранников, запыхавшийся крепыш, энергично махнул рукой: иди, можно. Тебе — можно... Лушин помешкал немного и быстро прошел. Но быстро не потому вовсе, что его могли отпихнуть, как других, — нет, никто не пошевелился даже, лишь следили зорко, не прошмыгнул бы кто следом, а — чтобы не задерживать игру. Тихо сел за свою парту и, какой бы визг, какие б крики и возгласы ни доносились от двери, ни разу не посмотрел в ту сторону.

Вообще говоря, прямых доказательств, что Лушин намеревался уйти из школы, у К-ова не было. Эпизод с вишней действительно имел место, но гораздо позже, когда они уже в техникуме учились. К-ов запамятовал, что привело его в лушинский полуподвал, но что-то привело, и он собственными глазами лицезрел главу семьи в фартуке и со шпилькой в обагренной соком руке. В романе, правда, эпизод этот перемещался во времени на несколько лет назад и служил фоном для неудавшегося семейного разговора. Неудавшегося, ибо сын надеялся, что отец сходит к директору, объяснит все, и тогда, может быть, его переведут. Но отец не пошел... Прямых доказательств не было, но чем пристальней всматривался романист в своего героя, тем больше убеждался, что он делал, наверняка делал попытки удрать из школы, где все знали его историю.

Тогда будущий сочинитель попыток этих не приметил. Никто не приметил — так поглощены были грядущими переменами. «Ничего-ничего, — стращали учителя. — Скоро вот придут девочки...»

В ответ смех раздавался. Несколько натужный, несколько вызывающий, но — смех. Ребята хорохорились и отпускали шуточки, расхрабрившийся К-ов тоже бросал реплики, причем в голосе его прорывались вдруг хриплые Стасикины нотки, но втайне все они, даже Ви-Ват, не говоря уже о К-ове, и волновались, и робели. Новая жизнь наступала! Почему-то казалось, что девочки, которые придут к ним, будут совсем другими, нежели живущие по соседству. В его ли дворе... В лушинском...

В этих никакой загадочности не было. По утрам тянулись, заспанные, в дворовую уборную, грязную, мокрую, разделенную дощатыми перегородками на три кабины. В перегородках щели светились. Время от времени их затыкали газетами, но мальчишки выковыривали их и вели наблюдения. Результаты обнародовались после на чердаке.

Пробирались на чердак украдкой от взрослых, поодиночке, предварительно набив карманы окурками. (*Стрелять бычки* именовался этот уличный промысел.) Иногда, впрочем, удавалось раздобыть и целехонькую папироску, а однажды К-ов небрежно извлек из-за пазухи непочатую коробку «Казбека», царский подарок дяди Стаси. Тут же протянул свою рыжую лапу Костя Волк, взял коробку (К-ов беспрекословно разжал пальцы), потряс над ухом и, убедившись, что полная, одобрительно причмокнул. Он был самый старший здесь, мужчиной был, что и демонст-

рировал наглядно. Вдохновенно и яростно предавался рукоблудию, а малышня, почтительно обступившая его полукругом, взирала на эту имитацию любви с почтительным и напряженным вниманием. После же, разбредясь по укромным местечкам, тоже проверяли себя на мужественность.

Но все это, понимали они, было лишь прелюдией, лишь разминкой, лишь генеральной репетицией перед тем главным действом, что свершалось, скрытое от глаз, между мужчиной и женщиной. Костя Волк повествовал о нем упоенно и со знанием дела. Ему верили. Ему внимали, поразевав пересохшие от волнения рты, в которых еще не все молочные зубы повыпадали, а после объединялись по двое, по трое и без особого труда заманивали на все тот же чердак дворовых девочек. Те были уступчивы, но неумелы, как и их малолетние соблазнители. Любопытство пробудилось в них раньше, нежели женский стыд...

Подрастая, девочки, однако, начинали сторониться бывших своих дружков. Теперь их не то что на чердак — на дворовую площадку не вытащить было. Припудрив носики, надев туфли-лодочки, уплывали ближе к вечеру за ворота, в таинственную взрослую жизнь, а их ровесники, недавние товарищи по чердачным забавам, самозабвенно гоняли во дворе мяч. Но и они тоже (К-ов по себе судил) все чаще грезили — не говорили вслух, не обсуждали публично, а именно грезили — о гордых красавицах, благосклонность которых рано или поздно завоюют. Мимолетную улыбку... Ласковый взгляд... Или (но думать об этом было уже дерзостью) легкий поцелуй — стыдливый, куда-нибудь в щечку. Как ни странно, они были идеалистами и мечтателями, романтиками были, — хотя, впрочем, отчего же странно? Не чердак ли, не коммунальная теснота вкупе с всеобщей верой в прекрасное и близкое будущее и сделали их таковыми?

В небольшой московской церквушке, давно уже не действующей, превращенной в музей, выступал хор. Вверху — черная шеренга мужчин, внизу, два или даже три ряда, — женщины, все в белых платьях, все строгие, даже суровые, все с большими нотными листами в руках.

К-ов попал сюда случайно. Хорошо ли они пели, плохо, он не знал, не понимал в этом, не имел органа, который откликался бы на такое. Вот когда дети пели, там понимал, здесь же не столько слушал, сколько напряженно и ревниво смотрел. Как глухонемой... Смотрел на некрасивые с черными, круглыми, одинаковыми ртами женские лица, и по телу его, тяжелому, придавленному к земле, медленно и редко ползли мурашки. Хотелось расширить себя, раздвинуть, преодолеть долгую сжатость свою, дабы освободить хоть толику пространства для того, что невнятно и мучительно угадывал он в этих белых, тонких, вытянутых к небу фигурках.

Потом он видел, как выходили они из церквушки, бедно и серо одетые, с усталыми лицами, не у з н а н н ы е (сколько же их, оказывается, Тортиловых дочерей!) и уже не надеющиеся, что узнают.

Когда-то, очень давно, они с Лушиным еще в школу не ходили, во двор к ним приезжал на мотоцикле у х а ж е р в шлеме и огромных, в пол-лица, очках. Это лишь и осталось в памяти: тарахтящий, вспугивающий голубей Дмитрия Филипповича мотоцикл с коляской да насмешливое бабушкино словечко у х а ж е р. Вот только бабушка ошибалась, относя его к старшей Тортиловой дочери. Вовсе не ее, как выяснилось, охмурял мотоциклист, младшую, хотя до поры до времени скрывал это. Бабушка ошибалась, ошибалась, возможно, Тортила, тогда еще не вправленная, как в раму, в растворенное окно, да и сама виновница не подозревала, из-за чего ездит к ним добрый молодец, но старшая поняла все. Потом поняла и младшая — как было не понять, если он, набрав однажды полную грудь воздуха, предложил руку и сердце! Очень удивилась она, засмеялась и сказала: нет. Сразу ли сказала, некоторое ли время спустя, но сказала, и самолюбивый гонщик, надев марсианские очки, шлем нахлобучь, двинул на кавалерийских ногах к верной своей машине. (Так рисовал себе романист К-ов эту сцену.) Мимо старшей сестры прошествовал, сопя, и даже не кивнул на прощание — не у з н а л, но она ничего, она уже умела не ждать...

К-ов, особенно молодой К-ов, великим искусством этим владел плохо. Всякая грядущая перемена возбуждала и взбадривала его, вселяла надежду, что все теперь пойдет по-другому. В детстве таких о ж и д а т е л ь н ы х дней было множество, но они как-то перемешались в сознании, слились в один: на дереве сидит он, на старой дворовой шелковице, что у водоразборной колонки, в густой ее кроне, которая, ворочаясь и шепча что-то, надежно хоронит его и от августовского зноя, и от взоров расхаживающих внизу, позванивающих ведрами соседей. То на одном, то на другом листе, уже предосенне обмякшем, вспыхивает солнце. Ветка, на которой примостился он, не слишком толста, она пружинит и раскачивается высоко над землей, но он уверен в ней. И еще уверен, что скоро произойдет что-то хорошее. Завтра... Послезавтра... Через три дня...

К-ов не помнил, чего именно ждал тогда на шелковичном корабле (мальчишки звали это могучее древо кораблем), о чем грезил. Быть может, о юных феях, которые, в ленточках и фартучках, должны были переступить первого сентября порог их мужской крепости?

И вот переступили. И вот стоит он, выгнанный из класса (с приходом девочек дисциплина, вопреки ожиданиям учителей, не стала лучше; напротив!) — стоит в коридоре, еще пахнущем после летней побелки известью, и, не отрываясь, смотрит в дверную щель на схваченные крест-накрест тощие косички. Белая лента вплетена в них, изумительно бел резной воротничок, а шейка — тоненькая-тоненькая... От умиления и нежности замирает двенадцатилетний мужчина К-ов, сделавший наконец свой выбор (другие давно уже сделали. Сразу... Половина мальчишек повлюблялась первого сентября), однако не подозревающая ни о чем обладательница косичек вскоре надолго заболела. К тому времени, когда она, поправившись, вернулась в школу, его верное, но нетерпеливое сердце было уже отдано другой.

Звали ее Таней Варковской. Не он один отдал ей сердце, еще кое-кто, но — поразительное дело! — не ревновали друг к другу, не ссорились, а любили этакой дружной семейкой, как любят знаменитую актрису.

Что, такой уж красавицей была Таня Варковская? Нерыцарский вопрос этот просто-напросто не приходил в голову, но позже, всматриваясь в снимок, на котором был запечатлен их класс, удивленный сочинитель не находил в своей избраннице ничего особенного. Глазастая серьезная девочка, чуть курносенькая, с колечками светлых волос... Перед взором его стояло (и с годами картина эта не потускнела), как быстро идет она по школьному вестибюлю, прямая, высокая, в мягких, без каблуков, туфлях — не идет, а плывет бесшумно, руки же неподвижны (совершенно!), а взгляд перед собой устремлен. Кто-то окликает ее, и она, замедлив шаг, поворачивает голову. Только голову, скосив под удивленно приподнятыми бровями живые, серые, готовые и приветливо улыбнуться, и обдать холодком глаза...

Не домой отправлялся он после школы, а в противоположную сторону — туда, где жила она. Однако не рядом шел и даже не по той, что она, стороне, а по другой и держался сзади. Но не очень далеко... Чтобы, в случае чего, прийти на помощь.

Увы! — никто не нападал на нее. Никто не преследовал. Лишь раз остановили двое мальчишек, совсем пацаны — она рядом с ними выглядела взрослой. К-ов ринулся через дорогу. Тут же, правда, замедлил шаг и, чуть прихрамывая, как прихрамывал из-за обмороженной ноги Стасик, едва ли не вплотную подошел. Глядел, посвистывая.

Мальчишки изумленно уставились на него. Ни тот, ни другой не выказали, к разочарованию К-ова, ни малейшей агрессивности (и страха тоже), а Таня посмотрела холодно и отвернулась. Но он не уходил. Он стоял и наблюдал (посвистывая!) и, лишь когда мальчишки двинулись своей дорогой, а Таня — своей, догнал ее и бросил со Стасикиной хрипотцой в голосе: «Чего они?»

Варковская молчала. Прямо перед собой глядела она, неподвижная в своей ровной и плавной поступи (сравнение с лебедем не явилось ему, хотя стишки строчил уже), потом губы ее приоткрылись, и он услышал: «Это брат мой».

Оконфузившийся мушкетер не нашел ничего лучшего, как снова засвистеть. Развязным и глупым чувствовал себя, ничтожным, и так было

всегда, когда оказывался с ней рядом. (Почти всегда. Одно исключение все же имело место.) Лишь вдали от нее становился он ее достоин, в уединении, на том же, например, шелковичном корабле, где вырезал четыре заветные буквы: свои и своей избранницы инициалы.

Буквы эти сохранились. Он обнаружил их, когда, уже взрослый, уже женатый, уже живущий в Москве и приехавший ненадолго в свой город, забрался на корявое от старости, тучное дерево.

Предлог для этой экстравагантной выходки был, и предлог благовидный. Соседка, что снимала белье с балкона и заодно словоохотливо беседовала со стоящим внизу К-овом, которого не видела уже лет десять, с тех самых пор, когда бабушка переехала в приморский городок, где можно было, подрабатывая к пенсии, сдавать курортникам,— возбужденная встречей соседка упустила наволочку. Медленно спланировала она, шевеля, как усами, белыми тесемками, и застряла в ветвях шелковицы. В ту же минуту москвич скинул туфли, подпрыгнул, подтянулся на руках и оказался, к великому своему удовольствию, на нижней п а л у б е.

Еще эту палубу называли женской. Из-за девочек... Девочки располагались тут, дворовые девочки, которые тогда еще не пудрили носики и не уплывали по вечерам за ворота в туфлях-лодочках. Сами они забраться не могли, их подсаживали, а они визжали и, вместо того чтобы держаться покрепче, испуганно оправляли задирающиеся платьица.

К-ов огляделся. Он узнал палубу, узнал р е ю, на которую ставил когда-то ногу (и поставил сейчас), узнал оплывшую культю другой ветки-реи, ампутированной; ее спилили, потому что заслоняла свет живущим на первом этаже. Однако и спиленная, отделенная от ствола, она никак не хотела падать, держалась, и восседавшему на дереве дворнику Егору пришлось, к злорадству мальчишек, немало потрудиться, чтобы столкнуть ее. Наконец она, шелестя и цепляясь за остающиеся жить упругие веточки, грузно рухнула. На ней оказалось множество ягод — и совсем еще зеленых, и уже покрасневших, и зрелых, матово-черных. Там, наверху, она утаивала их, берегла неведомо для кого, а теперь выставила — все, разом: нате, берите! Хабалкин сын, конечно, тоже набросился, и никаких аналогий, никаких глубокомысленных сравнений не было в легкой его голове, но много лет спустя, когда бабушка стала раздаривать незадолго перед смертью вещи, ему вдруг вспомнилась эта зеленая махина, такая беспомощная, с подрагивающими листьями.

С нижней палубы махнул на верхнюю, потом — на м о с т и к («Осторожно!» — вскрикнула соседка) и здесь замер. Вот так же сидел он когда-то, на этой самой ветке, только была она потоньше и попружинистей, а внизу звенели у колонки ведра и пахло землей, ныне упрятанной под асфальт... С каким удовольствием остался бы тут — на час, на два, но соседка нервничала на своем балконе, умоляла не лезть дальше (решила, должно быть, что это страх сковал его), и он, удало выпрямившись, схватил беглянку-наволочку за увертывающийся ус.

Женщина не знала, как благодарить его. Но она зря хлопотала: и без нее он был щедро вознагражден за свою спасительную акцию. Не сразу, правда, чуть позже, когда покинул двор и направился к дому Тани Варковской. Вдруг некая догадка блеснула в голове, блеснула ослепительно и кратко — от неожиданности он даже остановился.

З а к о н ш е л к о в и ч н о г о д е р е в а — так впоследствии назовет он открытое им явление. Не он ли, подозревал беллетрист, не таинственный ли и всесильный этот закон, и побудил его взяться за лушинский роман?..

Отложив рукопись, вышел, уже далеко за полночь, на балкон и, повернувшись спиной к пустынной улице, долго смотрел на оставленную им узкую от книжных стеллажей, погруженную в полумрак комнату. Лишь белые листки ярко освещались настольной лампой да тяжелые садовые ромашки.

В молочной бутылке стояли они, на самом краю стола. Дальше темнела распахнутая в другую комнату дверь, тоже пустую (жена с младшей дочерью уехала, старшая же вот уже полгода жила отдельно), а над дверью вырисовывался четырехугольник подаренной земляком-художником картины: уг ок южного города. Оцепенело всматривался К-ов в свою комнату, но всматривался не с балкона, а откуда-то из будущего, из далекого-далекого будущего. И вспоминал — там, в будущем,— что так уже было однажды, очень давно, когда старость еще не скрутила его, когда молоды еще были дочери (младшая — совсем ребенок), стояли ромашки на столе и лежала рукопись. То был лушинский роман — К-ов узнал его. Роман этот давно вышел в свет (там, в будущем), и автор, с пристрастием перечитав его, понял: не то опять, совсем не то. Но для него это уже не имело значения. Ни там не имело, в будущем, ни здесь, пожалуй... Да, и здесь тоже, на сегодняшнем балконе, прохладном и сыром от недавнего яростного ливня. К-ов озяб, но взгляд его не в силах был оторваться от бесшумно уехавшей в прошлое уютной комнатки, легкое живое тепло которой овевало сквозь огромные пространства его лицо.

Вернувшись к столу, он записал в дневнике, что жизнь можно уподобить переводным картинкам. Тусклы и неотчетливы они, невнятны, однако рано или поздно время смывает с них защитную пленку, и тогда выпукло и сочно проступает изображение. Время смывает, только время, но оказывается, вовсе не обязательно физически перемещаться в будущее, можно (писал он) перенестись туда мысленно, как вот только что, на балконе.

О бабушке подумал он. В свои последние приезды к ней, когда она, по-прежнему экономная, даже прижимистая, стала раздаривать мало-помалу все хоть сколько-нибудь ценное, лишь крестик оставила себе, маленький золотой крестик (его она сняла уже в больнице незадолго до смерти и, приказав движением век нагнуться, надела дрожащими руками на внука) — в свои последние приезды к ней он часто ловил себя на том, что видит ее как-то очень ярко, очень компактно (словно в некой рамочке) и в то же время с подробностями, которые прежде ускользали от его рассеянного взгляда. Вот стоит она, прислонившись спиной к горячей батарее, худенькая, в накинутом на плечи пуховом платке, и вяжет, вяжет из цветных лоскутков круглые, расширяющиеся от центра коврики. (Два таких коврика, самые последние, и поныне лежат под пишущей машинкой К-ова.) А вот телевизор смотрит, не цветной, с маленьким экраном, смотрит напряженно и доверчиво, как ребенок, то вдруг тихо ойкая, то радостно смеясь, то чему-то умиляясь до слез, и светлые детские слезы эти медленно расплываются в извилистых морщинах. К-ов, с книгой на коленях, сидит поодаль, но не на экран устремлен его осторожный взгляд и не в книгу, а на вырастившую его восьмидесятилетнюю женщину. Господи, думает он, как же хорошо сейчас! Как счастлив он! Как завидует себе, теперешнему,— завидует из того, уже недалекого, уже грозно подкравшегося будущего, когда ничего этого не будет.

То, что доморощенный философ называл про себя законом шелковичного дерева, безусловно, имело в своей основе идею повторения — центральную идею вечнотекущей жизни (ибо повторенное однажды будет повторяться, и повторяться, и повторяться до бесконечности), но в этой мысли, собственно, ничего нового не было, открытие же К-ова заключалось в том, что настоящее отзывается (и, стало быть, повторяется) не только в прошлом, как это было, например, когда он, отважный спасатель наволочки, сидел на пружинящей, утолстившейся за полтора десятилетия ветке,— не только в прошлом, но и в будущем, которое еще не наступило. И которое в реальности, конечно, ничего этого уже не повторит. Разве что как образ... Как воспоминание...

Вернув соседке упорхнувшую наволочку, в смятении покинул столичный житель бывший свой двор. К дому Тани Варковской отправился. Тоже бывшему...

Сколько раз прогуливался здесь поздним вечером под светящимися низкими окнами! Если никого не было поблизости, придерживал шаг, а то и вовсе останавливался, заглядывал в щель между белыми занавесочками. Иногда везло, и он, с обрывающимся сердцем, лицезрел сквозь стекло свою царицу. То за столом сидела она, сосредоточенная, под большим абажуром (уроки делала?), то мимо проплывала, кому-то улыбаясь на ходу. Еще прекрасней казалась она в эти мгновения. Еще недоступней... А раз, едва ли не в полночь, когда улица совсем опустела и он мог торчать у окна сколько угодно, она появилась вдруг в юбке и лиф-

чике. Остановилась, беззвучно и живо говоря что-то, но он уже отвернулся, уже испуганно, с пылающим лицом шагал прочь.

Варковская отвечала ему полным равнодушием. И ему, и многим другим, объединившимся, как у Гомера в «Одиссее», в этакий синклит женихов. На Ви-Вата пал ее выбор, и К-ов в глубине души считал это справедливым. Если бы случилось чудо и она предпочла Ви-Вату его, К-ова, то в глазах К-ова это бы уронило ее.

И все-таки однажды она заметила его. По имени назвала — не по фамилии! — улыбнулась и, подвинувшись, как бы пригласила сесть рядом.

Кто-то из поклонников, из гомеровских женихов, притащил в школу ежа и тайком сунул на перемене в новенький портфель Тани Варковской. Та, ни о чем не подозревая, открывает портфель, неторопливая, спокойная, никогда не повышающая голоса — царица! Снежная королева! — и вдруг, зажмурив глаза, визжит как резаная.

На ее беду, как раз в этот момент в дверях появился завуч Борис Андрианович. Проницательный взгляд его обежал класс, но остановился не на задних партах, а на передней. На той, где сидела (сейчас, впрочем, не сидела, а стояла, вскочив) примерная ученица Таня Варковская. «Завтра, — молвил в тишине завуч, — придете с матерью».

Примерная ученица стояла, вся красная, потом тихо села и за весь урок (К-ов наблюдал) хоть бы шевельнулась! К-ов наблюдал, а в голове тем временем зрел план спасения. Нет, сначала не план, не было сначала никакого плана — была лишь решимость выручить из беды. Он не знал, как сделает это, но знал, что сделает, и, едва закончился урок, прямиком направился в кабинет завуча.

Варковская, объявил, не виновата. Это он напугал ее и, если уж вызывать родителей, то не ее, а его. (Под словом «родители» подразумевалась бабушка.) Он готов... Не говоря ни слова, Борис Андрианович взял листок и написал быстрым бисерным почерком: «Уважаемая товарищ Варковская! Ваш приход в школу необязателен».

Мыслимо ли было доверить карману сей бесценный документ? Так и шел, сжимая его в руке (не очень сильно), шел деловито и смело по ее улице, хотя вовсе не вечер был (обычно он проникал сюда вечером) и его могли увидеть.

На двери висел почтовый ящик, такой же аккуратный, как тетради ее и учебники, и такой же, как учебники, синенький. (Она оборачивала их в синюю бумагу.). Он постучал. Не открывали долго (или ему казалось, что долго), но — странное дело! — он не волновался. Кровь не приливала к мужественному лицу, и ладони не потели. Тверд и спокоен был он. Ясен духом... Сейчас он не мальчик К-ов, не одноклашник провинившейся девочки, чью мать вызывают в школу; сейчас он — официальное лицо, курьер, посланник, которого уполномочили вручить документ.

Позже так было всегда. Всегда он чувствовал себя куда увереннее, ежели выступал не от своего имени, а от имени других людей. Кого — неважно; важно, что других...

Наконец дверь открылась. Бесшумно, будто сама по себе, и не мать увидел он, как ожидал, а дочь. Отнюдь не заплаканную... Не убитую горем... В халатике... В розовом халатике, который как бы уменьшал ее, однако выглядела она почему-то старше.

К-ов не струсил. Записка была уже наготове, он протянул ее и сказал голосом, которого Таня, наверное, не узнала: «Отдашь матери!» И, повернувшись, зашагал прочь. Минул окна — те самые, заветные, к которым столько раз липнул по вечерам, а сейчас даже взглядом не удостоил. К остановке, трезвоня и раскачиваясь, подкатил трамвай, но К-ов, все еще выполняющий миссию, не вскочил, по своему обыкновению, на подножку, а пошел пешком.

У ворот навстречу ему попался Лушин. Авоську с баклажанами нес, очень крупными, и баклажан опять-таки напоминала голова его; не тогда ли и явилось сочинителю это овощное сравнение? «Привет!» — бросил он.

Он сказал это весело и чуть-чуть снисходительно, с высоты своего нового положения, и чуткий Лушин, уловив эту необычную интонацию, глянул на него несколько удивленно. (Что само по себе говорило о многом: Володя Лушин удивлялся редко.)

Легкой походкой вошел К-ов во двор. Светило солнце, малышня верещала, бухал топор (соседи запасались к зиме дровами), громко играл выставленный на подоконник проигрыватель, один из первых во дворе. У голубятни Дмитрия Филипповича расхаживали по утрамбованному пятачку сытые голуби. И вдруг сорвались разом, захлопали крыльями, взлетели — кто на будку, кто на дерево. Спаситель Тани Варковской прибавил шагу. Что испугало птиц? Он огляделся, уже догадываясь — что, вернее — кто, и оказался прав: от пятачка в сторону подвала быстро и бесшумно скользила кошка — рыжая, длинная и вместе с тем, показалось ему, какая-то небольшая. Зато голубь, которого несла она, выглядел огромным. По земле волочилось распущенное сизо-белое крыло. Это было не первое убийство рыжей бандюги, уже двух или трех сцапала (одного, правда, успели отнять, буквально из пасти вырвали, но он, покалеченный, не летал больше), хозяйка же, горластая Банницева по прозвищу Варфоломеевская Ночь, уперев руки в бока, отвечала взлохмаченному, взъерошенному, похожему на своих питомцев Дмитрию Филипповичу: «А я здесь при чем? Ваши голуби, вы и следите!»

С криком бросился К-ов за преступницей, подобрал камень на ходу, запустил, а она тем временем, даже не убыстрив мягкого, плавного своего скольжения, исчезла в подвале. Вслед ей полетел еще камень, отбил от стены кусок штукатурки.

К-ов остановился, долго глядел на шевелящиеся под солнцем мертвые перышки... В тот же день поймал рыжую убийцу (она дремала, сыто развалясь), сунул в брезентовую крепкую сумку, с которой вернулся когда-то Стасик, сел на трамвай и доехал до конечной, а там еще два или три квартала прошел пешком.

Возле строительных лесов стояла помятая железная бочка, ржавая, со следами известки. В нее-то малолетний поборник справедливости и вытряхнул содержимое сумки (кошка даже не мяукнула), после чего, довольный собою — еще бы, два таких подвига сразу! — возвратился домой.

Награда не заставила себя ждать. Уже на следующий день Таня Варковская улыбнулась ему — был урок физкультуры, — по имени назвала и даже подвинулась, как бы приглашая сесть рядом.

Он сел. Напряженно опустился на низкую крашеную скамью, еще хранящую тепло ее сильного тела. Мягкий локоток ее нечаянно коснулся руки К-ова. Она-то скорей всего не обратила внимания, а вот его (писал беллетрист в набросках к лушинскому роману) — его, то есть Лушина, до сих пор существовавшего как некая суверенная система, словно бы подключили на миг в электрическую цепь.

Образ, конечно, получился вычурным, но ощущения героя передавал точно: подключили... «Спортзал» — так обозначалась в конспекте романа эта сцена, однако подразумевался не школьный спортзал, а уже техникумовский, ибо то, что у нетерпеливого К-ова произошло в школе, с целомудренным Лушиным приключилось несколькими годами позже.

Физкультура была последним уроком в тот день. Проворно одевшись и выскочив во двор, триумфатор не ушел домой, а с деловым видом копался в портфеле, как бы проверяя, не забыл ли чего. Раз десять, наверное, перебрал тетради и учебники, прежде чем на высоком школьном крыльце появилась та, кого он с замиранием сердца ждал. Но она появилась не одна: рядом Ви-Ват был. Он увлеченно говорил что-то, она смеялась (синие ленточки прыгали) и поглядывала на своего остроумного спутника, и щурилась от солнца. Мимо К-ова прошли, совсем рядом, не заметив его, а он, согнувшись в три погибели, долго еще возился с портфелем.

Опущенная в бочку на окраине города четвероногая воспитанница Варфоломеевской Ночи, такая же, как хозяйка ее, рыжая и хитрая, вернулась во двор уже на второй день, а на третий вновь учинила разбой. Белую, с хохолком, голубку сцапала — несчастный Дмитрий Филиппович едва не плакал. А что тайный поборник справедливости, защитник оби-

женных? Тайный поборник справедливости предпринял еще одну попытку положить конец террору.

На сей раз ему помогла в этом мать. То был период, когда она у них не гостила, как обычно (несколько дней, до очередного скандала), а жила. Жила... Наведывался к ней некто Авдеев, на «Москвиче» прикатывал, на собственном «Москвиче», что было по тем временам редкость большая. К-ов, во всяком случае, испытывал чувство гордости, когда во двор въезжала бежевая машина и сидящий за рулем человек дружески вскидывал, приветствуя его, руку.

К-ов тоже вскидывал, тоже приветствовал, точно это его кореш был, которому он, хабалкин сын, как бы даже и покровительствовал. В эти минуты, впрочем, мать не была для него *хабалкой*, он уважал ее, он ее *ценил*. Лишь задним числом, уже взрослый, уже в Москве, поймет он всю подноготную своего отношения к Авдееву. Поймет, за что ценил тогда мать. Не осуждал, хотя бы в душе, не стыдился, как стыдилась своей племянницы целомудренная Валентина Потаповна («О господи! Срамище-то какой!»), а гордился, что к ним — к ним! — ездит легковая машина.

Москва вообще на многое открыла ему глаза. Дневники тех лет — студенческие его дневники — вместили столько презрения к себе, столько ужаса перед собой, столько отчаяния, что беллетрист, перечитывая их в связи с лушинским романом, удивлялся, как не укокошил свою милость. Ибо он, конечно же, находился в состоянии войны с самим собой и воевал исступленно, не давая противнику и мига передышки.

Упоминалась в этих московских дневниках и питомица Варфоломеевской Ночи. Вне всякой видимой связи с предыдущей и последующей записями, без комментариев. Одно-единственное слово — КОШКА!!! — выведенное крупно, с тремя восклицательными знаками. Как завершающий, убойной силы удар. (Война есть война...)

Свое второе путешествие рыжая тварь совершила в той же, что и первый раз, брезентовой сумке, но не на трамвае, а в авдеевском «Москвиче»... Мать даже не осведомилась, хочет ли он с ними, просто сообщила, что в воскресенье они едут в лес за орехами, так что пусть заранее сделает уроки. Знала, выходит, своего сыночка! Знала, что не только не откажется, но и раздумывать не станет...

Она впереди сидела, рядом с Авдеевым, сын — сзади, но не один, как полагали они, а с молчащей до поры до времени пожирательницей голубей.

Голос подала, когда лишь свернули с шоссе на лесную ухабистую дорогу. То ли почуяла, что ее собираются оставить здесь, то ли машину подбросило, но она вдруг мяукнула. «Гав-гав!» — тотчас весело отозвалась мать. Решила: балуется сынок... Не угнетен, не агрессивен (сочинитель книг хорошо представлял себе, как держался бы на его месте другой мальчик), а настроен весьма игриво. И хотя никакой игривости не было, хотя и не помышлял мяукать, краска стыда заливала лицо взрослого К-ова, когда вспоминал эту минуту. Словно и впрямь так уж резвился тогда! Словно и впрямь мяукнул... Мать, во всяком случае, была уверена в этом (чего он, взрослый, не простит ей), был уверен Авдеев, и что с того, что через несколько минут из сумки лениво выпрыгнула на жухлую траву настоящая кошка! Что с того? Все равно остался навсегда — и в их глазах, и в своих собственных — этаким бесхребетным оболтусом, который, ради того, чтобы покрасоваться в машине, радостно потакает матери в ее распутстве.

Кошка потянулась, сделала, разминаясь, несколько осторожных шажков и, хищница, плотоядно повела взглядом. В тот же миг (услышал К-ов) дружно и громко, точно звук включили, защебетали вокруг птицы. «Вот и охоться здесь! — сказал он строго. — А то повадилась...»

Мать не спускала с кошки недоуменных глаз. «Что — повадилась?» — спросила она. «Голубей жрать — что! Я уж относил ее — вернулась. Ничего, отсюда не вернется!» И тоже потянулся, и тоже сделал, разминаясь два или три шага. Все, дескать, разговор окончен.

Но разговор не был окончен. Он чувствовал: мать напряженно следит за ним. «Ты собираешься оставить ее здесь?» «Конечно!» — ответил он бодро.

Авдеев открыл багажник и тихо возился там, показывая, что его дело сторона. Под лапами, на которых было столько крови (невинной!), хрустнул лист. «А вдруг котята у нее?» — произнесла мать.

К-ов захохотал. «Откуда?» Он и впрямь был уверен, что котят нет, не может быть — у такой-то стервы! — а если даже и есть... «Еще неизвестно, кошка ли это».

Ни слова не говоря, мать медленно, чтобы не вспугнуть, подошла к изгнаннице, медленно нагнулась, взяла обеими руками, перевернула (рыжий хвост задвигался, как змея) и, всмотревшись, поставила обратно на лапы. «Кошка. Но котят нет». «Я же говорил!» — воскликнул К-ов.

Его не удивило, что мать разбирается в таких вещах. А ведь понятия не имел, что она любит кошек. Лишь впоследствии узнал, много позже, когда, приезжая к бабушке в ее курортный городишко, навещал и ее тоже, обретшую к тому времени и постоянный дом свой — убогонький, зато в двух кварталах от моря, — и постоянного спутника жизни.

Звали его женским именем Ляля. Это был толстенький человечек, враль и выпивоха, которого она, впрочем, держала в руках. И пенсию отбирала, и зарплату (пенсия была приличной, до майора дослужился), но он еще и помимо имел в своем ателье проката, где выдавал раскладушки, холодильники, гитары и прочую дребедень. Немного, но имел — на винишко, во всяком случае, хватало.

Несмотря на все свои недостатки, Ляля нравился К-ову. И час, и два мог просидеть в «Прокате» у него, попивая дешевый портвейн и слушая невероятные рассказы. Если верить им (а К-ов, разумеется, не верил), Ляля исколесил весь белый свет. Вернее, не исколесил — избороздил, поскольку служил на флоте.

Это — что на флоте — было правдой. По праздникам он облачался в морскую форму и, весь сверкающий, с кокардой на фуражке, в надраенных башмаках, торжественно вышагивал по улице — немногословный, важный и трезвый. (До поры до времени.) «Капитан Ляль!» — говорила, подмигивая, мать.

Служить-то служил, но вот ступал ли хоть раз на палубу корабля, К-ов сомневался. Разве что в юности... Все остальные годы протирал брюки в штабах, писал что-то, все время писал, писал, благо почерк у него был великолепный, буковка к буковке — как в строю. Выдавая гражданам раскладушки да термосы, записывал их в амбарную книгу с таким тщанием, словно это был судовой журнал какого-нибудь океанского лайнера.

Как всякий истинный моряк, капитан Ляль был до болезненности чистоплотен. Драил полы дома (не мыл — именно драил), все свое стирал сам, а потом гладил, и не легким электрическим утюгом, а старинным, тяжелым, с дырочками и паром. Случалось, К-ов ночевал у них и тогда утром находил свои брюки отутюженными, причем отутюженными так мастерски, что стрелочки держались и месяц, и два... Ах, какой бы это был дом — не дом, а картинка! — кабы не мать, которая разбрасывала все, и в особенности не ее кошки. Их капитан Ляль ненавидел люто. Из-за грязи, которую натаскивали... Из-за шерсти... Из-за вечно опрокидываемого блюдечка с молоком... Из-за рыбьих костей, которые он, страдая, где только не находил! «Или я, или кошки твои!» — выкрикивал весь пунцовый — от вина ли, выпитого тайком, от гнева ли, и мать, толстая, рыхлая, все еще, однако, молодящаяся, хладнокровно отвечала: «Конечно, кошки».

Раза два или три вспоминала к слову о когда-то оставленной в лесу рыжей хищнице. Нет, и в мыслях не было упрекать сына (она никогда ни в чем не упрекала его), просто жаль было *кошечку*. «Она так смотрела, когда уезжали!»

К-ов молчал. Язык не поворачивался сказать, что уже через неделю воспитанница Варфоломеевской Ночи была дома. Истощенная, ободранная... Сожрала, одного за одним, двух голубей и была собственноручно казнена будущим художником слова.

Это случилось в тот самый день, когда мать вновь надолго исчезла. Утром еще дома была, а вернувшись из школы, он увидел распахнутый шкаф, бумажки на полу и заплаканную бабушку. На столе лежала записка: «Сынок, дорогой мой, я тебе напишу», — и пятьдесят тогдашних руб-

лей, огромная сумма, на которую можно было купить пятьдесят порций мороженого.

Он ни одного не купил. Все на столе оставил — и записку, и деньги, вышел во двор и первое, что увидел, был бьющийся в агонии голубь.

На сей раз хабалкин сын не стал преследовать убийцу. Дождался, когда выйдет, облизываясь, из подвала, затащил в сарай, сотворил дрожащими руками петлю и, не колеблясь ни секунды, накинул на увертывающуюся голову. Кошка цеплялась за веревку, подтягивалась, кричала, извивалась вся, и тогда владелец пятидесятирублевой ассигнации, схватив какое-то тряпье, поймал нижние лапы. Поймал, и с силой оттянул их, и слегка раскорячил — на случай, если тело метнет напоследок какую-нибудь гадость.

Лапы дернулись и затихли. Он еще подержал их (сердце колотилось — на весь сарай, на весь двор, на весь город), потом подставил ведро из-под угля, обрезал веревку — и мягкая, золотистая, сильно удлинившаяся тушка бесшумно скользнула вниз.

Справедливость восторжествовала. Нет, вовсе не жертвой ее считал себя отвергнутый поклонник Тани Варковской, а слугой и солдатом — да, солдатом и слугой! — но не прошло и суток после суда, учиненного им в темном сарае, как солдатик против госпожи своей взбунтовался...

С Валентиной Потаповной шли они, вдвоем, и честная, прямая Валентина Потаповна с болью выкладывала внучатому племяннику все, что думает о его матери: «Даже сучка последняя не бросает щенков своих. Сунься-ка кобель какой, если...»

Что «если» — К-ов так и не услышал. Стиснув зубы, повернулся и зашагал прочь. «Ты что?» — догнал его растерянный голос, но он, не оборачиваясь, удалялся от старой женщины, которая так любила его и так за него болела. Да-да, и любила и болела — юный адепт справедливости прекрасно сознавал это, но что-то, чего он не умел объяснить, гнало его все дальше и дальше. Ах, как ненавидел он в эту минуту и свою мать-хабалку, и добрую Валентину Потаповну, и самою справедливость, которую Валентина Потаповна воплощала!

Во дворе разгуливали по утрамбованному пятачку голуби Дмитрия Филипповича. Разгуливали спокойно и чинно, словно знали, что рыжего душегуба не существует больше.

К-ов, не останавливаясь, поднял камень. Поблизости наверняка были люди, но он, даже не глянув по сторонам, запустил что есть мочи в самодовольных птиц. Две или три шумно захлопали крыльями, но взлететь не взлетели, а лишь подпрыгнули невысоко и грузно опустились на прежнее место.

Когда люди настолько опротивели всевышнему своей алчностью, и глупостью, и жестокостью своей, и надменностью, что терпение его лопнуло и он решил наказать их, то не нашел ничего лучшего, как поселить среди них ясноглазую богиню с мощным, как пожар, факелом. По всему свету разгуливала она, то там появляясь, то здесь... Вдруг всполохи разрывали тесный мрак — сперва редко и далеко, потом все чаще, все ближе, и наконец все вокруг заливал холодный свет. К ногам испуганного человека, который за минуту до этого мнил себя великаном, ложилась, уличая его в ничтожности, съежившаяся, до смешного маленькая тень. Медленно втянув голову в плечи, человек оборачивался. Гигантская босоногая фигура возвышалась над ним, простерев руку с огнем вверх, к небу...

Звали богиню Истиной. К-ов вычитал о ней в книге одного мрачного итальянца, писавшего гениальные стихи и сочинившего в припадке жестокой ипохондрии собственную версию истории рода человеческого.

Людей, согласно этой версии, погубила жажда бесконечности. Она, жажда эта, лежит в самой природе их. В той же, например, тяге к удовольствию... Но удовольствие конечно, оно — и это в лучшем случае! — обрывается вместе с жизнью. Вот и канючили, чтобы вседержитель ниспослал им Истину, дабы авторитетно подтвердила их бессмертие. Но они просчитались. Когда раздосадованный хозяин спихнул им в конце концов всевластную богиню, и не на краткий миг, как требовали они, а на вечные времена, она не только не подтвердила, а, напротив, опровергла

смешные притязания праха на бесконечность. Свет факела ярко озарил край бездны, минуть которую не дано никому.

О чем беседовали столь возбужденно Ви-Ват и Таня Варковская, внезапно появившись парочкой на высоком, белом от солнца школьном крыльце? Чему улыбались?

К-ов догадывался — чему. Ниже склонился над своим портфелем (что он искал в нем? Неизвестно...), потом закрыл его и, посвистывая, вышел на улицу. Прямиком в горсад двинул, к тому времени, впрочем, торжественно переименованный в парк культуры и отдыха. Вниз спустился — к воде, к лягушечьему гвалту, не умолкаемому ни днем, ни ночью, к запаху сырости и гнили. Жалкая речушка эта, позже неоднократно описанная им, выглядела в его повестях и рассказах куда презентабельней, нежели была на самом деле. Ловкие парни умудрялись перемахивать через нее, не замочив ног.

Сам К-ов даже попыток таких не делал, но сейчас, не колеблясь, ступил на осклизлый камень. Спокойно на другой перескочил, на третий и через минуту прыгнул, балансируя одной рукой (в другой портфель был, который мог в любой момент расстегнуться), на низкий, упругий от густой и сочной травы берег. Под ногой чавкнуло, но он уже оторвал ногу и по заросшим осокой кочкам, пружинящим, как диванные подушки, добрался до безопасного места. Здесь он аккуратно поставил свой обшарпанный портфель, повернулся, окинул взглядом преодоленный рубеж и вдруг понял (словно яркий свет озарил все вокруг — тот самый, от факела), что Таня Варковская никогда не будет с ним. Как на сцене, увидел потрясенный К-ов и убогую речушку, и зеленые булыжники, по которым скакал только что, и полуобломанный куст на том берегу, и свою тощую фигурку — на этом... Никогда в жизни не будет с ним Таня Варковская, пусть хоть лоб расшибет, ибо Таня была сейчас не просто Таней, не просто девочкой из их класса, она была воплощением всех будущих женщин, которые, прекрасные и загадочные, равнодушно пройдут мимо него в сопровождении Ви-Ватов. И мимо него, и мимо Лушина. Вот только Лушин догадался об этом раньше него. Или нет, позже... Конечно, позже, когда в его аскетическую жизнь вошла некто Людочка Попова. Весь техникум следил за ними, затаив дыхание...

В романе, вернее, в подготовительных записях к роману, глава эта называлась «Лушин влюбился», что свидетельствовало о некотором ироническом отношении автора к своему герою. К его, во всяком случае, сердечным делам. А косвенно — и к своим тоже...

Давно началось у него это, с тех еще пор, когда он, сиганув через речку, лицом к горсаду стоял — с его качелями-лодочками, с танцплощадкой (той самой!), со сколоченным из фанеры зеленым тиром — стоял и усмешливо напоминал неведомо кому, что теперь это, господа, не горсад, теперь это парк культуры и отдыха.

Господа... Как обезболивающий укол было это юродивое словцо, и К-ов, обращаясь к высыпавшим на бережок любознательным лягушкам, повторил, теперь уже вслух: «А ну, господа!» — и, подняв комок ссохшейся грязи, ловко запустил в них.

Лягушки одна за одной попрыгали в воду. Отвергнутый юнец смотрел на их мелькающие в воздухе растопыренные лапки и саркастически улыбался. Таня Варковская? А что, собственно, Таня Варковская? Он улыбался, будущий автор иронических текстов, и искал глазами, нет ли еще лягушек, чтобы турнуть их: больно уж уморительно прыгали они.

Удивительно, но об иронии желчный итальянский поэт не обмолвился ни словом, что, по мнению К-ова, было серьезным пробелом его «Истории»... Романист захватил ее с собой, улетая поздней осенью в приморский пансионат, что с наступлением мертвого сезона погружался в спячку. Пока жива была бабушка, он не нуждался в подобном пристанище, у нее останавливался, теперь же с радостью воспользовался предложением земляка-журналиста.

Две дороги вели от аэропорта: одна — налево, в степь, другая — направо, к горной, вытянутой вдоль побережья гряде, за которой притаилась узкая субтропическая полоска. Прежде, прилетая, К-ов сразу отправлялся к бабушке, теперь же его автобус повернул направо... Прикрыв глаза, медленно провел по лицу ладонью. Там, в степном курортном городке, оставались и мать, и тетка (благополучная дочь), но без бабушки древний городок этот, к которому он так привык за последние двадцать лет, выглядел чужим и даже враждебным. Лучше уж пансионат...

Сейчас это было запущенное двухэтажное строение с шелушащимися колоннами, с лоджиями, где громоздились списанные шкафы, с проржавевшими водосточными трубами, — но то сейчас, а когда-то дом процветал. Об этом говорили многочисленные балюстрады, мостики и фонтаны. Последние бездействовали, но когда, уже поздно вечером, вновь прибывший пансионер, отложив томик поэта с язвительнейшей «Историей рода человеческого», вышел на воздух, до слуха его явственно донеслось негромкое журчание.

К-ов остановился. Днем он уже заглядывал сюда и хорошо помнил, что как раз на этом месте был фонтан в виде лягушки. Как и другие фонтаны, он не подавал признаков жизни. Озадаченный беллетрист, не столько различая дорогу, сколько угадывая, подобрался ближе и долго, напряженно всматривался в неясные очертания. Лягушка ли? Не ошибся ли он? Не ошибся. Из каменного рта била, слабо серебрясь в падающем из окон жидком свете, тонкая упругая струйка.

Пожав плечами, медленно побрел он прочь. Под ногами шуршали листья. Стоял ноябрь, в средней полосе опавшая листва давно уже гнила, неоднократно смоченная и дождем, и снегом, и снова дождем, а здесь деревья только-только сбрасывали одежку. К-ов вернулся в свою комнату, разделся и лег в холодную постель. Свет погасил. За дверью истошно заорал кот и орал долго, а напоследок негромко выругался по-человечьи. Потом что-то забилось вверху, зашуршало, зажужжало. Торопливо зажег он настольную лампу. На потрескавшемся потолке чернело неведомое существо — то ли жук, то ли ночная южная бабочка. Но какие жуки на пороге зимы? Какие бабочки? Да и как попал в комнату этот мрачный гость, если хозяин еще с вечера закрыл форточку?

К-ов выключил лампу, повернулся на бок и, как в детстве, натянул на голову одеяло, стараясь уснуть. Бесполезно... Стучали огромные, с облупившейся краской батареи водяного отопления, будучи при этом совершенно холодными — он специально потрогал, перед тем как лечь. Гремели трубы, а разбитая, с ржавыми потеками раковина начинала вдруг жутко вибрировать. Вскрикивали половицы — то ли сами по себе, то ли под чьими-то крадущимися шагами. Казалось, дом охал и стонал по-стариковски, и некрепкие кости его трещали от запущенного ревматизма.

Из головы не выходил странный фонтан. Какой весельчак пустил его на ночь глядя? Кто вообще обитает здесь? Днем он видел нескольких древних старух, они жужжали, как то фантастическое насекомое на потолке, они ахали, округляли глаза и заливались вдруг тоненьким смехом.

С двумя из них, сестрами Пантелеевными, Елизаветой и Марьей, К-ов познакомился вскоре довольно близко: за одним столом сидели. Буквально на второй день, за завтраком, набросились с расспросами — он едва отвечать успевал, а вот есть уже не успевал, не до еды было. Зато они, перекидывая его, как мячик, из рук в руки, уминали все подряд: аппетит у этих тучных семидесятилетних дам был тот еще.

На завтрак в качестве дополнительного блюда варили кашу, то манную, то рисовую, но большинство отдыхающих от каши отказывались, сотрапезницы же К-ова всякий раз колебались, брать ли, не брать, дотошно выясняли, какая именно каша, и, получив ответ, на непродолжительное время задумывались. Взгляд их туманился. Это они прикидывали, влезет ли в них еще что-либо. Официантка терпеливо ждала. «Ну что, сестренка? — спрашивала одна у другой. — Кутнем?» И сестренка, с трудом переведя дух, отчаянно махала рукой: «А! Была не была...» Потом сидели, отяжелев, таращили друг на друга глаза и любопытствовали: «Цела, божий одуванчик? Не лопнула?»

За семьдесят было им, но словно некая высшая сила лишила их, неугомонных насмешниц, не только семьи, не только детей и внуков, но и отдохновения старости. Ее благообразия. Тихих радостей ее... Был момент, когда беллетриста так и подмывало сесть и написать о сестрах, но не затем приехал он сюда. Он приехал, чтобы вплотную заняться наконец лушинским романом.

«Зануда» условно назывался он. Лушин действительно схлопотал такую кличку, но не в школе, правда, и даже не в техникуме, а после техникума, когда, работая в тресте, прославился въедливостью своей и педантизмом.

В техникум обоих — и будущего автора, и будущего героя — загнала нужда. Какая-никакая, а была тут все же стипендия, да и к восемнадцати уже годам гарантировалась специальность.

К-ов, с детства равнодушный к технике, откровенно *филонил*, а вот Лушин мог проторчать у наглядного пособия всю перемену. Нет, он не имитировал любви к шестеренкам и коленчатым валам, не изображал интереса к тайнам механики, но он знал, что *это* ему необходимо, и дисциплинированно приучал себя к царству машин, станков, смотровых ям и двигателей. Последние давно отслужили свой срок и, выкрашенные в серебристый цвет, стояли на металлических опорах. Часть двигателя была иссечена, чтобы учащиеся могли увидеть внутренности.

Был, впрочем, в этом мертвом царстве один живой, один светлый и радостный уголок: клуб. Небольшое приземистое строение, в котором занималась техникумовская самодеятельность. Руководил ею Сергей Сергеевич Пиджаченко, преподаватель литературы.

На уроках он не столько рассказывал о произведениях, которые *проходили*, сколько играл их. То были минуты подлинного вдохновения. Лысина багровела, тяжелое веко на больном глазу опускалось, и он машинально прикрывал его ладошкой. Другая рука по-мальчишески сидела в кармане брюк. Так и расхаживал между рядов — нервный, быстрый, со склоненной набок головой.

Впервые Сергей Сергеевич (или Пиджачок, как любовно звали его) предстал перед будущими воспитанниками на вступительных экзаменах. Шагая, медленно произносил на память какой-то текст. На память! Потрясенные столь необычной манерой диктовки, устрашенные глазом, который нет-нет да жутко выглядывал из-под приспущенного века, абитуриенты думали: все, каюк, не видать им техникума, как своих ушей. И вдруг: «Вы что смотрите на меня?»

Все мигом подняли головы. Недалеко от К-ова сидела девочка с перекинутой на грудь толстой, не до конца заплетенной косой и спокойно, ласково улыбалась. «Я не расслышала», — призналась она.

Циклоп остановился, как бы пораженный чем, голова его приняла вертикальное положение, а рука выползла из кармана. Поскрипывая туфлями, стал приближаться. «Я тоже не расслышал», — известил он. «Вы?» — удивилась она. «Я. Скажите-ка еще что-нибудь. Или нет, спойте лучше. Вы ведь поете?»

Спиной к К-ову стоял он, так что будущий сочинитель не мог видеть его лица, тем не менее отчетливо представлял, как при словах «вы же поете» поднялось больное веко и из-под него холодно глянул мутный глаз.

Вот тут уж она затрепетала. «Откуда, — выдохнула, — вы знаете?» И уже не сидела, уже стояла... «Пой!» — приказал он.

Вся в оборочках была она, голубых и белых, и оборочки эти нежно дрожали; дрожали распущенные тонкие волосы, дрожали блики августовского солнца на полных, в ямочках и складках, руках. Когда же, минуту спустя, она запела, то и голос ее слегка дрожал. Это не портило его. Чист и тонок был он, как у ангела, и про ангелов, чудилось К-ову, она пела. А через пять месяцев, на новогоднем вечере, прелестный голосок этот звучал со сцены.

Так Людочка Попова, будущая избранница Володи Лушина, стала солисткой. Он аккомпанировал ей, но это потом уже, на третьем курсе, пока же пела в сопровождении Кости Гречанинова, несовершеннолетнего лопоухого маэстро с вечной дурашливой улыбкой на лице. Лишь когда

за инструмент садился, блаженная улыбочка эта исчезала. Строго губы собирал, морщил лоб и даже уши, казалось, прижимал к черепу.

Устоять против Сергея Сергеевича было трудно. Не только Людочку Попову, не только Лушина, но и К-ова вытащил на сцену.

Любовь к цирку — на ней сыграл многоопытный искуситель. Очень рано проснулась она в сыне партерного акробата, лет этак в семь или восемь, когда в городе раскинули первое шапито. Чуть ли не каждый день ходил сюда, благо наловчился проникать без билета, растворяясь в толпе опаздывающих, прущих напролом зрителей. В доме не было ни единой отцовской фотографии, даже плохонькой, даже маленькой, и сын, волнуясь, жадно и ревниво всматривался в артистов. Особенно в тех, что на голове стояли. (Позже он попытается отыскать место, где погиб отец; не могилу — место хотя бы: городок ли, деревню, а ему, отвечая, называли сразу целые области.)

Номер, с которым он, совращенный Пиджачком, выступал в техникумовской самодеятельности, именовался иллюзионным аттракционом... Лушин — тот к фокусам был безразличен; даже самые головоломные трюки не поражали его, отпрыск же профессионального циркача считал делом чести разгадать все их.

Чем завораживали его современные факиры? Уж не умением ли провести за нос босоногую тетеньку с факелом? Так или иначе, но интерес к грациозному обману сохранился в нем до зрелых лет и истощился в одночасье, вдруг, после концерта, который назывался «От фокуса к фокусу».

Вел его разбитной малый во фраке, этакий говорящий пингвин. Обнимая микрофон, выдерживал после каждой шуточки паузу, пока публика, редеиько рассевшаяся на мокрых после дождя крашеных скамейках зеленого театра, не начинала-таки смеяться.

Столько фокусников зараз К-ов видел впервые. В основном это были молодые люди, легкие, элегантные, исполняющие свои трюки под фонограмму модных песенок. Но вот после очередной репризы что-то щелкнуло в мощных усилителях — должно быть, выключили магнитофон, — и на сцену выпорхнули в абсолютной тишине два ветхих человечка, старичок и старушечка. Магнитофон выключили, всего-навсего, а К-ову почудилось, что это со звоном открылась волшебная, старинной работы шкатулка и выпустила на волю гномиков.

Старичок был сама галантность. Украдкой выхватив из-под полы бумажную розу, торжественно преподнес ее своей даме. Встряхнул алым платком, взял за кончик и бережно, точно живое существо, накрыл розу. А когда сдернул платок, на ее месте подрагивал в облачке пыли пышный букет. Просияв, оба разом повернулись к публике.

Еще несколько минут сновали по сцене, ручонками разводили, шуршали бумажными веерами, явно подкрашенными к сегодняшнему вечеру. Потом, раскланявшись, нырнули под жидкие аплодисменты в свою шкатулку, и та захлопнулась навеки.

Но К-ову еще суждено было увидеть их — в тот же вечер, сразу после концерта. Свернув на боковую аллейку, едва не столкнулся с ними, деловито семенящими к выходу. На старике был длиннополый плащ (это летом-то! В июле месяце!) и выцветшая из моды осенняя шляпа. Чемодан с реквизитом нес он. Сын циркача замедлил шаг, пропустил возбужденную чету и некоторое время следовал поодаль. Ему рисовалось, как они, давно ушедшие на покой, неожиданно получили приглашение участвовать в летнем концерте; как радостно засуетились, как спустили с антресолей допотопный чемодан и извлекли на свет божий пропахшие нафталином платки, ленты, ширмочки... Как, не откладывая, начали репетиции, а на другой день отправились в неблизкий путь. Будто так просто, для моциона, на самом же деле взглянуть на афишу.

И вот все позади. Руки не подвели их: и цветы распускались, и ленточки разворачивались, и платочки исчезали... Упоенные успехом, смеялись в темной аллейке, перебивали друг дружку, потом старичок чихал и очень сердился, что чихает. Выйдя из парка, двинулись с тяжелым своим скарбом к троллейбусной остановке, К-ов же медленно пошел в другую сторону, и давнего детского интереса к древнему жанру в душе его не было больше.

Воспитанники изобретательного и энергичного Пиджачка разъезжали с концертами по всей области. Три или четыре рубля стоил билет — тогдашними деньгами, выручка же шла на нужды самодеятельности. Костюмы... Реквизит... Но заветнейшей мечтой Сергея Сергеевича — и он этой мечтой заразил своих подопечных — были инструменты для маленького эстрадного ансамбля, квартета, например. Вот тогда бы они развернулись! Тогда бы показали класс!

Едва ли не каждую субботу отправлялись на учебном автомобиле в путь. Поперек кузова клались толстые, гладко обструганные доски, несовершеннолетние гастролеры усаживались рядком, Сергей Сергеевич нырял в кабину, и грузовичок, за рулем которого был не стажер, как обычно, а инструктор, выкатывал из города.

Их ждали. У въезда в деревню (на о к о л и ц е следовало б сказать, но горожанин К-ов не чувствовал за собой права на это слово) — у первых домов их караулили мальчишки. С криком «Едут! Едут!» неслись сломя голову впереди подпрыгивающей на ухабах машины. Событие и впрямь было немалое. Взаправдашние артисты в те времена и носу не казали в этакую глухомань, а телевизионная вышка только строилась. Да что телевидение! — электричество-то не всюду было. Случалось, выступали при керосиновых лампах, зато как принимали! Взрослый К-ов вспоминал об этих концертах с умилением.

Гвоздем его номера была «Яичница из воздуха». На сцену выносился примус, уже гудящий, уже светящийся голубым пламенем, ставилась сковорода, он делал над ней несколько пассов, трогал волшебной палочкой, и в сковороде трепетала, шипя и фыркая, бледно-желтая яичница. Спускаясь в зал, угощал зрителей.

Секрет в палочке таился. Яркая, обернутая фольгой и красной бумагой, вовсе не палочка была это, а стеклянная трубка, позаимствованная в кабинете химии. Нижний конец замазывался сливочным маслом, которое он выносил потихоньку из дому (или Валентина Потаповна давала, добрая душа), масло таяло, едва сковороды касался, и выпускало на раскаленную поверхность два сырых яйца. «Прошу!» — говорил он, протягивая на вилке еще живой, еще подрагивающий лоскуток.

Взять отваживался не каждый. Улыбались изумленно, благодарили, качали головой: сыты, дескать. Но иные отваживались. К-ову запомнилась старушонка в белом платке, которая аккуратно, двумя пальцами, сняла с вилки кусочек, в рот положила и, закрыв глаза, долго, сосредоточенно мяла беззубыми деснами. Соседи внимательно следили — внимательно и даже с некоторой опаской, а она, проглотив, разлепила глаза (они, маленькие, блеснули хитро) и произнесла внятно, неожиданно звонким, молодым голосом: «Вкусно!»

Вокруг захлопали. Кому предназначались эти аплодисменты? Малолетнему кудеснику, из воздуха сотворившему кушанье, или бесстрашной бабусе, дерзнувшей кушанье это отпробовать? «Только, милок, посолить забыл», — укорила она, и все засмеялись, и снова захлопали, и потянули руки, тоже желая угоститься.

Битком всякий раз набивался клуб, кое-кто даже притаскивал из дома табуретки, мальчишки — те на полу рассаживались, прямо перед сценой, но не мальчишеские лица стояли перед глазами беллетриста, когда по прошествии многих лет вспоминал эти поездки, а лица стариков и старух. Особенно старух... С каким доверием следили за его манипуляциями! Как испуганно ахали, когда он, накрыв платком стакан с водой, осторожно подымал его одной рукой (вода чуть-чуть проливалась), нес, а потом, взяв платок за конец, сильно встряхивал и — никакого стакана. Невдомек было им, что не стакан, а вшитый в платок картонный круг держат растопыренные пальцы, вода же капает из обильно смоченной ватки. Лишь мальчишки догадывались, в чем дело, выкрикивали, что ничего нет под тряпкой, пусто, старухи же принимали все за чистую монету... Вот и они, стало быть, явились в лушинский роман, пробрались, непрошеные, как прежде неслышно вошли и те коленопреклоненные старцы

у мазара, и ветхая, из шкатулки, чета фокусников, и ироничные обитательницы приморского пансионата, прозванного им впоследствии домом Свифта. Эти, впрочем, не вошли, эти вломились, сопя и чавкая... Что притягивало сюда всех их, уже отживших свое, уже достигших края бездны? Была, была тут, чувствовал автор, некая тайная цель, был умысел, который еще предстояло разгадать. (Надо думать, была своя цель и у беллетриста, давно и охотно пускавшего стариков в свои сочинения. Уж не в бездну ли норовил заглянуть, нетерпеливый человек, хоть одним глазком, самому, однако, к ней не приблизившись?)

Книгу о Гулливере К-ов впервые получил из рук Тортиловой дочери. Он так и сказал: о Гулливере, хотя обычно, приходя в читальный зал, называл авторов: Жюль Верн, Дюма, Майн Рид... А тут об авторе понятия не имел, просто слышал, что существует такая забавная история — про лилипутов и великанов.

Тортилова дочь пытливо глянула на него, ушла, не проронив ни слова, за стеллажи и вынесла сразу два томика: один толстый, другой — так себе.

Он, естественно, выбрал тот, что потолще, — взрослое, не адаптированное издание. Первые две части прочел залпом, потом заскучал, и они надолго расстались: юный поклонник фантастики и занимательный — но не очень — писатель Свифт. А когда через много лет встретились вновь, то это была уже совсем другая книга.

К-ов цепенел, читая ее. Такого презрения к человеку — не к конкретному индивидууму, а к человеку вообще, такой издевки над ним, такого надругательства он и вообразить не смел...

Тревожно вглядывался беллетрист, тоже склонный к иронической игре, в скудную летопись свифтовской жизни. Отец? Отца не было, умер, не дождавшись, пока жена разрешится от бремени. Мать? Сердце хабалкиного сына нехорошо забилось, он понял, что произошло с матерью Свифта, — понял, еще не прочитав о ней. Тот, кто высмотрел в венце природы неопрятное и злобное животное еху (слово-то, слово какое! Брезгливо и кратко, точно отмахнулся), вряд ли знал когда-либо материнскую ласку.

И точно... Мать уехала, бросила грудного, и лишь из милости кормили маленького Джонатана, из милости учили. О, как хорошо понимал К-ов значение этих слов: из милости!.. Но Свифт отомстил. Язвительный ум его, окрепнув, не знал пощады, а налитое желчью сердце так и не оттаяло никогда. Даже (докопался К-ов) когда умерла Эстер Джонсон, самое близкое Свифту, самое преданное существо, вывел недрогнувшей рукой на конверте с ее локоном: «Волосы женщины, только и всего...»

Дни напролет сидел престарелый декан в комнате с закрытыми ставнями, молчал — ни словечка за много месяцев, а ночами колобродил. В сад выходил, пробирался в темноте к перекрытому на ночь фонтану и осторожно пускал его. Вот разве что не в виде вульгарной лягушки был фонтан, крашеной и пучеглазой жабы, — что-нибудь поизящнее. Например, обнаженная нимфа с амфорой на плече. Подставив руку, декан набирал горсть воды, мочил лысую, без парика голову, после чего неслышно удалялся, а фонтан журчал себе, олицетворяя нелепость и бессмысленность человеческого существования... Так фантазировал беллетрист К-ов, лежа без сна среди скрипа половиц, кошачьих воплей и утробного, как в гигантском чреве, бурчания труб. За стеной хихикали. То, догадывался пансионер, сестры Пантелеевны, Елизавета и Марья, баловались, глубоко за полночь, чайком с мармеладом да перемывали косточки ближним.

Особенно доставалось парочке, что проводила здесь свой медовый месяц. Он, как установили сестры, был едва ли не ровесником их, но держался молодцом, под стать своей пышнотелой и юной — по сравнению-то с ним! — избраннице. Ядреный грибочек (а ноги кривые и тонкие), по утрам бегал в шортах по сырым от росы асфальтированным дорожкам. «Тренируется! — перемигивались семидесятилетние охальницы. — Чтобы ночью кондрашка не хватила». Рядом сидел, помалкивая, сотрапезник К-ов, который годился в сыновья им (если не во внуки), но они не только не стеснялись его, а словно бы вдохновлялись его присутствием. Глаза поблескивали, щеки лоснились, а жирные руки плотоядно двигались. Аппетит, и без того отменный, разгорался еще пуще. «Пожалуйста, милочка, — обращалась к официантке одна из сестер, — Елизавете Пантелеевне двойной гарнир». «А Марии Пантелеевне, — парировала другая, — тройной. И компотика, если можно». То есть и самих себя подначивали, что, заметил поклонник Свифта, свойственно всем насмешникам. Тому же Стасику, например, первому в его жизни ироничному человеку.

Шумно суетясь вокруг внука, старый, ссохшийся — кожа да кости! — дядя изо всех сил подмигивал племяннику. Не принимай, дескать, всерьез! Знаю: никакой я не дедушка и никакой не муж, ибо за стеной у этой каракатицы (так любовно звал он бывшую супругу) другой сидит, хлещет пиво.

Люба на каракатицу не обижалась. Она вообще ни на что не обижалась, а вот К-ову неприятно было. Нежное благодарное чувство испытывал он к этой толстухе с беззубым ртом, который она, когда смеялась, стыдливо прикрывала ладошкой. Бессонную ночь провели у бабушкиного гроба, вдвоем, — за эту ночь К-ов будет признателен ей до конца жизни...

Ей, как полагается, дали телеграмму — всем дали и ей тоже, — но на приезд не рассчитывали. Стасик в тюрьме, да, собственно, и не жена она уже Стасику, почившая же восьмидесятилетняя старуха и вовсе никто ей. Но Люба приехала. Грузно переваливаясь, вошла с тяжелыми сумками, аккуратно поставила их и — запричитала вдруг, заголосила. На гроб повалилась... Как по матери убивалась, родной матери, и, странное дело, К-ова, который не переносил фальши, представление это — ну конечно, представление, что же еще! — ничуть не покоробило.

Отпричитав, по-хозяйски захлопотала у гроба. Что-то поправила, что-то убрала, вложила иконку в руки. Бабушка, хоть и носила последние годы крестик, верующей не была, но никто не запротестовал. А Люба уже доставала свечечки, тонкие, слегка погнутые, очень много. К-ов внимательно следил за ней. Именно этого, чувствовал он, и не хватало сейчас. Не хватало причитаний, пусть даже и неискренних. Свечечек не хватало. Не хватало уверенного Любиного знания, что и как полагается делать, когда умирает человек в доме, и ее панического страха нарушить, упаси бог, вековые установления. Как разволновалась она, когда выяснилось, что никто не собирается сидеть ночью у гроба! «Да вы что! — изумленно переводила взгляд с одной дочери на другую. — Как же ее, одну-то? Нельзя!» «Я буду сидеть», — поспешно, чтобы Люба вдруг не раздумала, произнес К-ов.

Ни мать его (хабалка), ни тетушка (благополучная дочь) на ночь не остались. Они и правда чувствовали себя плохо, они и правда боялись, что не выдержат после бессонных суток завтрашних похорон — словом, К-ов не осуждал их, старался не осуждать, тем более в такую минуту, но все же не с ними, не с матерью и теткой, ощущал он в эти последние бабушкины часы на земле кровную связь, а с посторонней, по сути дела, женщиной.

Прямо с работы приехала она, не отдохнув и не поев, лишь наскоро посовав в сумку — для поминального стола! — какие были продукты, мясо в основном; в чем-чем, а в мясе нужды не знала. Она не скрывала, что ворует, так прямо и говорила, рассказывая о себе в ту ночь у бабушкиного гроба: «Двести в месяц выходит, двести пятьдесят, да еще украду, считай».

То была удивительная ночь, вовсе не тяжелая (он готовил себя к тяжелой ночи, тяжелой физически и морально). Они все время говорили о чем-то — о детях, о Стасике, которому она как раз накануне отправила посылку с салом, вафлями и изюмом (Стасик, как ребенок, любил сладкое), они смеялись даже, но, спохватившись, обрывали смех, виновато и скорбно на гроб глядели. Гроб был светлым, как и хотела бабушка, как наказывала, и в изголовье празднично горели, потрескивая, свечечки. К-ов аккуратно менял их.

Среди ночи он вышел из дома (туалет во дворе был), а когда вернулся, Люба, поеживаясь, караулила его у распахнутой двери. «Боюсь, —

призналась смущенно.— Не могу одна с упокойником». Это «с упокойником» резануло слух, но он не обиделся, нет, он обнял ее, озябшую, обнял как самого близкого сейчас, самого дорогого человека.

Под утро ее сморило-таки, приткнулась в кухоньке и захрапела. Один на один остался с бабушкой — для него-то она по-прежнему была бабушкой, а не «упокойником». Вглядываясь в лицо ее, вглядываясь совсем иначе, чем при Любе (при Любе стеснялся), заметил, что оно исподволь молодеет. Это морщинки распрямлялись, высвобождая из-под старушечьей маски прежний, то ли забытый уже, из детских лет, то ли вовсе не ведомый ему образ.

Тем не менее он узнавал ее. Такой вот была бабушка на старых фотографиях (К-ов с детства обожал рассматривать фотографии) — и такой, и еще моложе, совсем юной, тоненькой, с прямыми волосами. (На его памяти, она всегда завивалась.) Тогда еще объектив не умел схватить движение, приходилось замирать — «Внимание! Снимаю!»,— поэтому кокетливая игривость, с какой молодая женщина, будущая бабушка его, позировала перед камерой, выглядела не очень естественной. Тем отчетливей проступало желание понравиться... Кажется, ей это удавалось. Вот и Валентина Потаповна, припоминал он, намекала, что вовсе не без повода закатывал дед сцены ревности. Но давно уже не было деда, не было Валентины Потаповны, а теперь вот и бабушка умерла — никто ни о чем, стало быть, не расскажет К-ову, угроза миновала, и он со светлым, грустным и в то же время каким-то приподнятым чувством — это в такую-то минуту! У гроба! — думал о безопасно-далекой, а потому чистой и прекрасной бабушкиной любви.

Трудность задачи, которую поставил перед собой К-ов, принимаясь за роман о Лушине, состояла, помимо всего прочего, еще и в том, что это, в сущности, был роман без любви. Во всяком случае, без напряженной любовной интриги. Ибо история с Людочкой Поповой, при всем ее драматизме, имела все-таки оттенок фарса.

Как пронюхал Сергей Сергеевич о домашних музицированиях скрытного, держащегося особняком подростка, до сих пор оставалось для беллетриста тайной. Но как-то пронюхал. Ткнув в него рыжим пальцем (а также еще в двоих), произнес: «Ты, ты и ты! Сегодня в пять, в клубе. Не опаздывать!» Поскрипывая туфлями, дошел до стола, где лежал наискосок закрытый классный журнал, в который он не заглядывал по два, по три занятия кряду, повернулся, и взгляд его, обежав аудиторию, остановился на растерянно поднятой баклажановидной голове. «Ты хочешь сказать что-то?»

Лушин хотел. Он был ошарашен, что ему — ему! — предложили явиться в клуб, но выразить свое изумление не умел. А разбойничий глаз не отпускал его, прожигал насквозь и ждал ответа. Ученик завозился, намереваясь подняться,— он не умел разговаривать с преподавателями сидя,— но Сергей Сергеевич, оторвав ладонь от приспущенного века (другая рука была, как всегда, в кармане), приказал жестом: сиди! И дисциплинированный Лушин остался сидеть.

В пять часов, ни минутой позже, был он в клубе. Пиджаченко обнял его одной рукой (вторую он вытаскивал из кармана лишь в исключительных случаях), подвел к пианино, усадил заботливо и поднял крышку.

Унылый юноша глядел на него, воздев очи. Не понимал? Делал вид, что не понимает? И вновь оторвалась от больного глаза ладонь, вновь выпрыгнул, как маленький штык, рыжий палец. Но теперь уже не на Лушина указывал он, а на замершие в ожидании клавиши. «Играй!»

К-ов со своими лентами, платками и волшебными палочками стоял на другом конце сцены, но видел — или ему казалось, что видел,— как сгорбился, сжался весь его давний знакомец. «Что играть?» — пролепетал он. «Что хочешь»,— был ответ. И вдруг гаркнул на весь клуб: «А ну тихо!» И сразу смолкло все, отступило куда-то, в центре же возвышался с простертой рукой краснолицый дьявол. «Пожалуйста, играй»,— повторил негромко, и это уже не приказ был — просьба. Мягкая, ласковая просьба. Не внять ей было нельзя.

Лушин повернулся, посидел с опущенными руками, потом тяжело

поднял их — тяжело, хотя руки были тоненькими, как у цыпленка, и теперь так посидел, с поднятыми, а затем осторожно опустил их на клавиши.

О том, как играл он, К-ов судить не мог. Ни как играл, ни что в этот момент чувствовал. Герой ускользал от него, все время ускользал, вот и приходилось автору в тщетной погоне за ним уподоблять таинственные музицирования Владимира собственному бедному вдохновению...

В те времена оно являлось ему куда чаще, чем во времена нынешние. Часами строчил на кухне тайком от бабушки стихи и рассказики. Тайком, потому что дела в техникуме шли из рук вон плохо, отчислить грозились, и бабушка строго-настрого запретила внуку заниматься п и с а н и н о й. (Она звала это писаниной.) Конспиративно обложившись учебниками, сочинял будущий реалист и бытописатель бесконечную историю о металлическом человеке, который, будучи, как выяснялось, роботом, невесть зачем раскатывал в лодке по ночному, в лунном сиянии, морю.

Не того ли сорта, подозревал К-ов, была и музыка, что выстукивал в своем полуподвале Володя Лушин? «Мишка» там какой-нибудь... «Ландыши»... Именно их — и «Ландыши», и «Мишку» — исполняла Людочка Попова, исполняла с триумфом, но под угрозой оказалась вдруг ее артистическая карьера. Лопоухий маэстро Костя Гречанинов, пришедший в техникум не после семи, а после десяти классов, уже заканчивал его, а она оставалась. Одна... Без аккомпаниатора... Тут-то и выудил Пиджачок, как золотую рыбку, затаившегося пианиста. Привел в клуб, за инструмент усадил, сказал: «Играй!» — и тот, втянув голову в плечи, начал играть.

Едва музыка смолкла, Сергей Сергеевич звучно ударил в ладоши. Раза два или три, не больше, но и этого было достаточно. Его тут же поддержала Людочка Попова: захлопала радостно и даже, малышка, на цыпочки привстала. Пусть, пусть видит, кто это ему аплодирует!

В отличие от Тани Варковской (а в то время К-ов едва ли не всех девушек вокруг сравнивал с пренебрегшей им надменной красавицей) — в отличие от Варковской пухленькая большеглазая Людочка была существом веселым и приветливым. Стоило подойти к ней, и она уже улыбается. Еще не услышав ничего... Еще не разглядев даже, кто это... Близорука была добрая Людочка, но очки стеснялась носить; лишь в кино надевала да за рулем учебного автомобиля, в аудитории же — никогда.

А если прочесть надо, что на доске написано? К примеру, условия задачи. Ничего... Попросит кого-нибудь своим серебристым голоском, и ей не только прочтут, ей на бумажке напишут.

Серебристым голосок ее прозвал Сергей Сергеевич. Давно, еще на вступительном экзамене, который она не сдала, а спела... Это Ви-Ват сказал (что не сдала, а спела), но не школьный Ви-Ват, не счастливый соперник К-ова, а Ви-Ват техникумовский, соперник Лушина. (Будущий, правда. Но тоже счастливый.) На уроке Сергея Сергеевича сказал он это, совсем тихо, однако Пиджачок расслышал. Вынул из кармана руку, дважды одобрительно хлопнул в ладоши. «Из вас, молодой человек, выйдет отличный конферансье. Прошу в клуб сегодня. К пяти».

Пиджачок не ошибся. Конферансье из Ви-Вата получился и впрямь отменный, и когда спустя тридцать лет бывший самодеятельный фокусник смотрел в зеленом театре фокусников профессиональных, среди которых были и выпрыгнувшие из шкатулки пенсионеры-гномики, то без труда распознал в ведущем концерт элегантном пингвине давнего товарища по сельским гастролям. И имя, и фамилия были, конечно, другими, другой цвет волос и другой голос, но Ви-Ват все равно оставался Ви-Ватом, закон шелковичного дерева срабатывал и тут, все повторялось, все выстраивалось в длинный, уходящий в бесконечность ряд. Один Ви-Ват, другой, третий...

Сколь ни различались между собой техникумовский конферансье и конферансье столичный, манеры у них были одни и те же и одни и те же примерно шуточки. «Она не сдала экзамен, она его спела». Верхом остроумия казалось это косноязычному фантасту, который если и бывал остроумен, то лишь наедине с собой.

Сознавал ли он, что существует иной совсем смех, для простого глаза невидимый? (Как, нашел он потом сравнение, невидим вирус.) Догадывался ли, что он, будущий сочинитель иронических текстов, вирусом этим

уже заражен? «Теперь это, господа, не горсад, теперь это парк культуры и отдыха».

Тогда помогло. Тогда, на берегу речушки, столь ловко и неожиданно форсированной им, он почувствовал облегчение. Таня Варковская? А что, собственно, Таня Варковская? Волосы женщины, только и всего...

«Волосы женщины, только и всего». Но если бы лишь это написал Джонатан Свифт! Если бы ограничился конвертом с локоном! Оскорбительную книгу швырнул в лицо человечеству бывший подкидыш, за что поплатился прижизненной могилой. Слишком много, видать, знал автор «Гулливера» про существо, именуемое homo sapiens,— мудрено ли, что память в конце концов отказала? Ни друзей не узнавал, ни слуг — даже слуг! — а это значило, что перед взором старика являлись что ни день новые лица. Мыслимо ли более страшное одиночество? Вот разве что в детстве, когда мать бросила, любвеобильная вдова английского клерка... Завязка судьбы уже ведала финал ее, готовила его и вела к нему неукоснительно, отсекая все лишнее: любовь, семью, отцовские радости... Чистота жанра была соблюдена, форма, которая, по мнению К-ова, играет в жизни гораздо бо́льшую роль, чем это принято думать,— форма продемонстрировала всю свою вкрадчивую власть и сумела возвысить себя до совершенства.

Самокритичный К-ов отдавал себе отчет в том, сколь жестока в своей холодной объективности эта мысль — мысль об эстетическом совершенстве судьбы, в которой не было, кажется, ничего, кроме страданий, однако он угадывал за собой право думать так. Ибо не как ценитель прекрасного всматривался он в эту чужую судьбу, а как человек, который хочет знать, что ждет его в будущем. Тождество исходных точек сулило тождество пути (за исключением, разумеется, гениальной книги), и путь этот, впервые открывшийся ему в доме Свифта под полуночный вой котов, под треск насекомого на потолке и хихиканье семидесятилетних чревоугодниц, путь этот, особенно финал его, страшил К-ова. Он ведь знал уже, что такое бессилие памяти. Молодой паломник, прибывший в среднеазиатский городок, где родился когда-то, как жаждал он пробиться за тот незримый рубеж, за ту демаркационную линию, что прочертила по пыльной красноводской дороге тащившая гроб старая кляча! Увы... Ни арык, в котором гнила прошлогодняя листва и сверкали жестянки, ни тутовые, с обрубленными ветвями деревья, ни кричащий за забором ишак — ничто не отозвалось в нем. Но это тогда... А спустя двадцать лет он вспоминал все это с душевным волнением. Память наработала пусть небольшой, но капитал, и он, старея, приноравливался мало-помалу капитал этот тратить. Перечитывая свои первые, еще детские (полудетские) дневники, где Таня Варковская фигурировала как Т. В., а Володя Лушин, ради которого, собственно, и затеял чтение, не фигурировал вовсе, он вспоминал давно отзвучавшие слова, вспоминал краски, запахи и существовал не только сегодня, сейчас, в данный конкретный миг, к которому обычно и сводится жизнь, а существовал п р о т я ж е н н о. И вот уже он листает выцветшие записи не ради Лушина, не ради будущего романа о нем — в тщетной надежде сдвинуть наконец с места застопорившуюся рукопись, а ради собственного удовольствия...

Живя в доме Свифта и трижды в день встречаясь за столом с прожорливыми насмешницами, К-ов обратил внимание, что они в отличие от большинства стариков, с которыми ему приводилось сталкиваться, не говорили о прошлом. Всё злословили, всё хихикали — резвились на краю пропасти, и нипочем, кажется, была им ни эта пропасть, ни шорох осыпающейся из-под ног земли.

Из-под их ног. Из-под их... Неужто не слышали, глухие тетери? Слышали. Еще как слышали! Выйдя однажды ночью в коридор, чтобы турнуть разбушевавшихся котов, любознательный пансионер увидел, что дверь в комнату его сотрапезниц распахнута настежь. Как раз накануне Елизавета (а может, Марья) уехала на сутки домой, поэтому одна кровать пустовала, а на другой неподвижно лежала с разинутым черным ртом оставшаяся сестра. Неподвижно и, почудилось К-ову, бездыханно. Испуганно замер он, но в следующий миг раздался сырой дребезжащий храп. С облегчением переведя дух, к себе вернулся на цыпочках автор иронических текстов. Не о старухе, однако, думал он в эту ночь, не о двери, которую она оставила открытой, а о декане дублинского собора святого Патрика. О многолетнем молчании его перед смертью и о том, как однажды утром он нарушил-таки его. «Какой я глупец!» — произнес с трудом (это один из умнейших людей, когда-либо живших на свете!) и снова замолк, теперь уже навсегда, конец же не через день наступил и не через месяц, а через год с лишним.

И опять тревожно подивился склонный к аналогиям и обобщениям сочинитель: какого мрачного совершенства исполнена судьба этого человека! Своего рода эталоном была она, прообразом других, родственных ей судеб. Их, если угодно, замыслом. Уклониться от него, уже отчасти воплощенного, значило погрешить против формы, которая имела над литератором К-овым едва ли не безграничную власть. Так, например, ритм фразы играл для него роль столь существенную, что в угоду ему он готов был пожертвовать если не смыслом, то оттенком смысла, а значит, в конечном счете и смыслом тоже. К-ов расценивал это как профессиональную суетность, как малодушие, как предательство высших интересов ради в общем-то пустяков. Однако деспотизм формы, против которого восставал литератор К-ов, был втайне желателен ему, но уже не как литератору, а как человеку. Упиваясь разрушительной мощью Толстого в его сочинениях, слыша, как трещат и ломаются под его пером рамки классических жанров, К-ов одновременно восхищался тем, сколь безукоризненно выстроил Толстой сюжет собственной жизни. Каким грандиозным финалом увенчал ее... И вообще, заметил он, жизнетворчество великих писателей не только не уступает творчеству их как таковому, но часто превосходит его по силе воплощения сокровенной идеи. Она, идея эта — будь то идея Толстого, Чехова или Свифта,— всякий раз находила в их жизни адекватную форму (именно в жизни; писательство было лишь составной частью ее), аморфность же формы, а то и полное отсутствие таковой свидетельствовали об аморфности или отсутствии центральной идеи...

Аморфной на первый взгляд казалась и судьба Лушина — судьба тихая, ровная, незамысловатая, но чем внимательней всматривался в нее К-ов, тем отчетливей различал контуры почти безупречные. Он так и записал в своей тетрадке: п о ч т и, потому что одна неправильность, одно возмущение все же было.

Спровоцировала его Людочка Попова. Вообще-то она всем улыбалась, всех обласкивала близорукими своими глазами, которые не всегда различали, кого именно обласкивают они, но с ним и впрямь была особенно нежна. К-ов собственными ушами слышал, как звенел ее серебристый голосок: «Лушинек — прелесть! Что бы я делала без него?» Или — на вечере отдыха, когда спеть просили: «Это не от меня зависит.— И выразительно смотрела на своего безотказного аккомпаниатора.— Как Владимир Семенович».

Она звала его то Лушиньком, то Владимиром Семеновичем, и он, доверчивое дитя, на которое ни одна женщина до сих пор не обращала внимания, усматривал в этом знак особого к нему отношения. Голова его кружилась. Узкие плечи нерешительно распрямлялись, а полуприкрытые, как у птицы, печальные глаза начинали тревожно золотиться. То были первые, пока что отдаленные всполохи огня, который вскорости охватил беднягу с головы до пят.

Обычно Людочка завершала концерт. Улыбаясь, выходила на сцену, выходила так, будто знала: ее ждут, ей рады, и она тоже рада: здравствуйте, вот и я!..— а Лушин тем временем усаживался за пианино, наличие которого было непременным и, пожалуй, единственным условием гастрольной поездки.

О скромном помощнике своем солистка не забывала. Едва ли не после каждой песенки — а все ее песенки встречали на бис — подымала Владимира Семеновича. Уходя же со сцены — не насовсем, ее снова и снова возвращали аплодисментами,— по-царски подавала ему свою обнаженную ручку. Не скупилась... А однажды ее мягкие, ее белые пальчики

коснулись не длани его, как выразился насмешливый Ви-Ват, а целомудренного чела.

В деревенском клубе случилось это, за несколько минут до Людочкиного выступления. Рецидив детской болезни настиг семнадцатилетнего пианиста: пошла носом кровь. На лавку уложили его, вверх лицом, и кто же хлопотал больше всех и больше всех беспокоился? Конечно, Людочка. Носовой платок смочила — тонкий, кружевной, безукоризненной чистоты платочек — и аккуратно пристроила на кровоточащий нос.

Блаженно опустил он веки. А она стояла над ним в своем белом платье, как ангел — ангел-хранитель! — и тревожно вопрошала серебристым голоском: «Ну что, Лушинек? Тебе не лучше?» Горела керосиновая лампа, язычок пламени трепетал и изгибался, и так же трепетала и изгибалась, склоняясь над занемогшим аккомпаниатором, юная певица. Поскрипывая туфлями, ходил из угла в угол насупленный Пиджачок. Одна рука его сидела, как всегда, в кармане брюк — глубоко и надежно сидела, прочно, другой прикрывал зловещий глаз, словно тот мог выстрелить ненароком в расхворавшегося — так некстати! — музыканта. Лушин, однако, не сорвал концерта. Перевернув платок, тихонько носа коснулся, посмотрел, нет ли крови, и, убедившись, что нет, медленно сел.

Сергей Сергеевич остановился. «Может, не будем лучше?» — проворковала Людочка. Так нежно сказала она это, так ласково, с такой трогательной готовностью пожертвовать, если надо, очередным триумфом, что Лушинек тут же поднялся, постоял секунды две-три и осторожно двинулся к сцене. Словно по мосточку шел он. По мокрым досточкам, брошенным поперек реки. К-ов же, глядя на него, вспомнил вдруг реальную вполне речку, через которую Володя Лушин, еще не влюбленный, еще школьник, перебирался когда-то на другой берег. Весна была, вода поднялась, и камни, по которым осенью скакал с портфелем в руке отвергнутый спаситель Тани Варковской, почти все затопило...

То ли с экскурсии возвращались всем классом, то ли с общественных каких работ и, спрямляя дорогу, через парк пошли. К-ов, человек опытный, один из первых форсировал разлившуюся речушку. Во всяком случае, раньше Ви-Вата... Тот не спешил. Пропустив вперед Таню Варковскую, двинулся следом, готовый в любую минуту прийти на помощь. Но помощь не понадобилась. Спокойно, как-то даже задумчиво шла Татьяна, точно не шаткие досточки были под ногами, а твердый настил. Другие девочки повизгивали и пугливо замирали, но все в конце концов благополучно перебрались. Плюхнулся Лушин. Уже возле самого берега, шажка два или три осталось... На бок упал, вскинув руку, кепочка же — та самая, стариковская! — слетела с баклажановидной головы и медленно поплыла среди весеннего сора. Проворно поднявшись, он шагнул было за ней, но поскользнулся и шлепнулся вновь — на глазах всего класса, под дружный хохот, причем будущий биограф его — и апологет! — смеялся если не громче других, то уж и не тише. Этим своим смехом он как бы отделял себя от опозорившегося соседа: видите, видите, ничего общего нет между нами! — и даже брызги, которые попали на руки его и лицо, весело и небрежно скидывал щелчками.

Домой, разумеется, возвращались порознь. Одно дело — вышагивать рядом с Ви-Ватом — по солнечной улице, обмениваясь неторопливо умными мыслями (несбывшийся сон!), а другое — сопровождать мокрого Лушина, на которого оборачивались, хихикая, девушки... И вдруг — Тортилова дочь навстречу. Замедлила удивленно шаг, встала — К-ов, обходя ее, близко увидел тревожные внимательные глаза. Во двор свернул, а следом — он еще и дверь не успел отпереть — они...

В глубине распахнутого окна желтело лицо Тортилы. Кота не было рядом, внизу разгуливал по весенней травке, на голубой длинной ленте, которую крепко держала хроменькая Тортилова внучка.

При виде Лушина она ленту выпустила — такой у него был видец. «Ты утонул, да?» — спросила испуганно. Забыв о коте, поспешила — с тетей и гостем — в дом, кот же, дурачок, не воспользовался свободой, не удрал, а запрыгнул на подоконник и воссел рядом с хозяйкой. Так и красовались в оконной раме, точно нарисованные, и лишь свисающая до земли голубая лента слегка раскачивалась на весеннем ветру... Именно она и запомнилась почему-то К-ову, а вот что в доме делалось, беллетрист

довообразил. Довообразил, как заставили раздеться его героя, как согрели на примусе воду и приказали ноги парить, а тем временем брюки его, уже выстиранные, сушились горячим утюгом. Сцена эта, по замыслу автора, перекликалась (рифмовалась) с эпизодом в тесном и темном деревенском клубе, когда у переутомившегося аккомпаниатора пошла носом кровь.

И там и здесь сирота, пасынок, изгой был в центре внимания. И там и здесь хлопотали вокруг него, нянчились, но в клубе, пожалуй, обошлись даже поласковее. Собственными глазами видел фокусник (не вообразил — видел!), как нежные пальчики опустились на побледневшее чело, которого вот уже столько лет не касалась женская рука. (Шесть! Шесть или семь: мать умерла, когда ему было десять.) Лушин прикрыл глаза. Слабый ток пробежал по его субтильному телу, точно его, до сих пор существовавшего как некая суверенная система, подключили ненадолго в электрическую цепь. В первоначальных набросках сцена эта фигурировала как «Спортзал» — в память о том уроке физкультуры, когда гордячка Варковская нечаянно дотронулась до руки К-ова, но жизнь диктовала иной сюжет, и не посмевший перечить ей автор перенес эпизод в сельский очаг культуры.

Воскресший целительным прикосновением, Лушин поднялся и сомнамбулически прошествовал на сцену. Ах, как пела в этот вечер Людочка Попова! Как жарко аплодировали ей! Как растроганно подымала она своего помощника, вперед выводила (за руку!) и хлопала ему вместе со всеми! А он? Он стоял, как истукан, не кланялся и не улыбался и, кажется, лишь в кузове учебной машины, которая торопливо везла их в город, пришел мало-помалу в себя.

Проселочная дорога была пуста — ни встречных фар, ни огонька в степи, только густо горели над головой звезды, уже по-осеннему холодные. Прижавшись друг к дружке, подняв воротнички (девушки — те прикрывались трепещущими на ветру платками и шалями), горланили мы песни. Подпевал и Лушин — благо никто не видел в темноте, а безголосый К-ов воображал себя едва ли не солистом.

Что, неужто и его тоже коснулись в тот вечер ласковые девичьи пальцы? Нет, не коснулись, пока еще не коснулись, но впереди была ночь, и ночь эта обещала многое... К благополучной дочери уехала бабушка, один остался он, но тем не менее знал, что его ждут — ждут, несмотря на поздний час, и явятся без стука.

Так уже было вчера. С распахнутой настежь дверью сидел он в кухоньке и, пользуясь бабушкиным отсутствием (запрет на писанину все еще не был снят), творил вдохновенно. И вдруг чувствует: он не один.

Семнадцатилетний пиит (тогда еще К-ов числил себя пиитом) поднял голову. Прямо перед ним, на фоне колеблющейся от ночного ветерка занавески стояла... Не прекрасная незнакомка, нет — стихотворец уже видел ее и даже знал, как ее зовут (Ольга), знал, что живет она на квартире у Варфоломеевской Ночи, а работает на автостанции в кафе (дворовая служба информации действовала безупречно), но официально, так сказать, знакомы не были. Встречаясь с ней — во дворе ли, на улице, упорно смотрел он в сторону, однако особого волнения при этом не испытывал. Слишком красива была она. Слишком уверена в себе. Слишком — Таня Варковская... Одна из Тань, ослепительный ряд которых уходил в бесконечность — как и ряд Ви-Ватов, и ряд Лушиных. (А также, убедился он с годами, одиноких Тортиловых дочерей...)

Эта женщина, знал К-ов, не для него. Он понял это давно, еще школьником понял, когда с портфелем в руке сиганул через речушку и, повернувшись к бывшему горсаду, теперь торжественно именуемому парком культуры и отдыха, увидел вдруг все так ясно-ясно. И сочную осоку, на острие которой балансировали, слетев с тополей, желтые листья. И полуобломанный куст на том берегу. И осклизлый булыжник, что служил постаментом для окаменевшей лягушки, — прообраз фонтана, явленного ему много лет спустя в доме Свифта.

Итак, на фоне колеблющейся занавесочки стояла квартирантка Варфоломеевской Ночи. Не спросив, можно ли, не извинившись за втор-

жение, не поздоровавшись, медленно приблизилась к кухонному столу. Высока и крупна была она, но двигалась бесшумно, как Таня Варковская.

На этом, пожалуй, сходство заканчивалось. А вот различий много было, главное же заключалось в том, как смотрели — та и другая — на К-ова. Собственно, Варковская никак не смотрела, вернее, смотрела, но не видела, не замечала, эта же глядела прямо в глаза и загадочно улыбалась. «Стихи?» — произнесла глуховато (это было первое ее слово), и взгляд насмешливо скользнул по вырванным из школьной тетради исписанным листкам.

К-ов, ошеломленный, инстинктивно прикрыл их рукой. Ни одна живая душа не знала о писанине — кроме, разумеется, бабушки, которая не одобряла ее, и Валентины Потаповны — та, наоборот, относилась сочувственно. (Сестры редко в чем сходились.)

«Не бойся, — успокоила поздняя гостья. — Я не любопытная».

Она села, и теперь лицо ее было совсем близко. Темные сросшиеся брови слегка шевелились. «Ты ведь знаешь, как зовут меня?» «Знаю», — признался он и убрал наконец руки, а стихи остались.

Она засмеялась — уже не про себя, уже открыто. «Я знаю, что ты знаешь».

Он почувствовал, что краснеет. А стихи, между прочим, были о любви, но о любви не к кому-то конкретно, а о любви вообще.

«Ты не куришь?» — вдруг спросила она. К-ов оскорбился. «Чего это не курю!» «Куришь? — подняла она свои великолепные брови. (В глаза смотреть он не решался.) — И вино пьешь?»

Пиит молчал. Образ Стасика призывал он на помощь: уж Стасик бы нашелся сейчас, что ответить, но он был далёко, находчивый Стасик. (Хотя бабушка уже считала деньки до очередного его возвращения.) Пиит молчал, и тогда Ольга, загоревшая, с серьгами в ушах, поднялась, взяла обеими руками его звонкую голову и поцеловала в губы.

К-ов задохнулся. Задохнулся и смолк, выпал из песни, которую рвал и уносил в ночь степной ветер, по-осеннему холодный. Нет, не от ветра задохнулся он — от поцелуя, от вчерашнего, в кухоньке, поцелуя, который вот только теперь, спустя сутки, настиг его в кузове мчащегося к городу автомобиля.

На горизонте уже мерцали огоньки — фокусник оборачивался и, щурясь, всматривался в них. Да, с опозданием настиг его поцелуй, но важно, что настиг, не затерялся, не пропал бесследно, а мог ведь и пропасть, поскольку в ту минуту — минуту, когда случилось это, — он его не почувствовал.

Ольга поняла это. С улыбкой достала из-за пазухи носовой платок и осторожно, как ребенку, вытерла губы.

Платочек, разумеется, был надушен, но аромат его, как и поцелуй, догнал К-ова лишь сутки спустя, оттеснив овевающие грузовик запахи осенней земли. Однако и они тоже не сгинули навсегда, пришел и их черед, хоть и нескоро: лет этак через семь или даже десять. В самолете летел беллетрист, высоко над облаками, причем летел не в родной город (тогда хотя б понятно было, почему вспомнилось вдруг), а куда-то на север. Быть может, струйка вентилятора коснулась лба, напомнив ту ночную поездку?.. Вот так и жил он — как сурок, как крот какой-нибудь, таща все в нору — нору памяти, разветвленную, с бесконечными ходами и кладовками, с темными углами, куда предпочитал не заглядывать. Жил, по сути дела, впрок, для другой, будущей жизни, настоящее же доходило с запозданием, подобно свету звезд, иногда уже и погасших. Не оттого ли и зяб постоянно? Не оттого ли и любил так солнце? И час, и два мог бездумно пролежать под припекающими лучами, хотя врачи запрещали да и чувствовал себя потом скверно, бессонницей мучался, но встать и уйти не хватало воли. По сути, то была единственная радость, которую он, сурок, не тащил в нору, не припрятывал на потом, а весь, до конца — или почти до конца — растворялся в ней. Оставались лишь нагретые солнцем глазные яблоки под тонкими багровыми веками... Да горячее солнечное пятно на плече, которым лень было шевельнуть... Да узенькая полоска кожи где-то на далекой-далекой ноге, щекотно оживающая под проворной и назойливой мушкой. Ее бы смахнуть — пусть летит! — но приказы дремлющего мозга не достигали конечностей, гасли, и насекомое беспрепятственно разгуливало по его словно бы отдельно живущему телу. Бессмертно было оно — снова бессмертно! — как солнце над головой, как земля, бегущая под ногами ребенка, как лошадь, везущая гроб, как человек в гробу... В сущности, совсем недалеко ушел он от красноводской той дороги — дороги на кладбище, а жизнь между тем давно одолела половинный рубеж и летела, не оглядываясь, к своему завершению.

К-ов чувствовал, что не поспевает за ней. Спохватываясь, делал вид, что ему за сорок (хотя ему и впрямь было за сорок), и эта имитация собственного возраста порой смешила его, порой угнетала. Опять на Лушина оглядывался — вот кто жил в полном соответствии со своим паспортом! А когда-то даже опережал — конечно, опережал (чего стоила одна только белая кепочка!), — но кудесница Людочка Попова коснулась его, навзничь лежащего на лавке с побледневшим лицом, и он ожил, он помолодел, он встал и, балансируя, прошествовал по досточке к инструменту... Да, он помолодел и на обратном пути пел вместе со всеми — неслыханно!

Людочка рядом сидела. Наклонившись к самому уху его, шепнула: «У тебя замечательный голос, Лушинек», — хотя как, спрашивается, могла она распознать его голос? «А ушко — холодное!» — прибавила она засмеявшись.

Бедный Лушинек! Бедный счастливый Лушинек — он сжался весь, он втянул голову в плечи, и никакой ветер не в силах был сорвать и унести тепло ее быстрых губ.

В ту ночь он не мог уснуть, ворочался и, не выдержав, тихонько поднялся. Из соседней комнаты доносился храп мачехи; там же отец спал, но спал неслышно, точно и во сне боялся лишний раз подать голос. Жмурясь от света, сын подошел к зеркалу и долго стоял перед ним в черных сатиновых трусах на молочно-белом теле. В отличие от К-ова он не переносил солнца...

К-ов тоже не спал в эту ночь. Когда он, с чемоданчиком, в котором лежал его немудреный реквизит, вошел торопливым шагом во двор, света в окнах Варфоломеевской Ночи уже не было. Легли обе — и хозяйка, и квартирантка? Нет, лечь Ольга не могла — иначе зачем выпытывала вчера, во сколько закончится завтрашний концерт, и как далеко деревня, и долго ли еще прогостит у дочери бабушка, которую она сама посадила в автобус? Об этом, собственно, и зашла проинформировать внука...

Аккуратно поставив на крыльцо гастрольный свой чемоданчик, перетянутый на всякий случай веревкой, долго шарил в брюках, хотя отлично помнил, что ключ в пиджаке. Наконец отпер дверь, широко распахнул, вошел, откинув занавесочку, — точь-в-точь, как вчера откинула ее Ольга, и зажег в кухоньке свет. Дверь за собой, однако, не прикрыл.

Не бабушка ли и проболталась о стихах, растаяв от нежданной помощи молодой соседки? В кассу на автостанции была очередь, она даже подумывала, не вернуться ли домой, как вдруг — тук-тук по плечу. В сторонку отзывают, спрашивают ласково, куда ехать собрались, и через три минуты выносят билет. «А я-то и как звать ее не знаю!» К-ов слушал с отрешенным видом и имени не назвал, хотя про себя твердил его постоянно.

«Ольга! — радостно сообщила вскорости бабушка. — Ее Ольгой зовут... Какая замечательная!»

Для нее, привыкшей надеяться лишь на себя, замечательны были все, кто проявлял о ней хоть какую-то заботу. Благодарила растроганно, едва ли не со слезами на глазах, и даже в последние свои дни (и часы!), уже обреченная, произносила чуть слышно: «Спасибо, доктор!» Не жаловалась ни на что, ни о чем не спрашивала врачей, но, кажется, понимала все.

Едва К-ов, прилетев из Москвы, вошел в палату, собственными руками (они дрожали, старенькие, словно боялись не успеть) надела на него крестик. Он запротестовал было, но очень слабо. Не надо, понял, протестовать. Нельзя... Руки ее обессиленно упали на казенную койку — тонкие, сухие, с исколотыми синими венами. Она прикрыла глаза и лежала так, отдыхая. Внук не мешал ей. Она лежала, легкая, готовая, успевшая все...

Не все... Ночью вспомнила вдруг, что не забрала белье из прачечной. Внук успокоил ее: завтра же возьмет, хотя знал, разумеется, что не до прачечной сейчас. Бабушка посмотрела на него и ничего не сказала, не разомкнула спекшихся губ, но он понял, о чем подумала она.

Утром, придя из больницы, сразу же взялся за поиски квитанции. Не тут-то, однако, было. Отовсюду лезли какие-то лоскуты, коробочки какие-то и конверты, пожелтевшие бумаги с записями, в которых, мелькнуло вдруг, ему вскорости предстоит разбираться. В отчаянье опустился он на тахту. Медленно, будто впервые здесь, обвел взглядом комнату. Вот гардероб — К-ов помнил его столько же, сколько помнил себя. Гардероб этот пережил оккупацию, был ранен (на боковине шрам остался) и одиноко встретил их в разграбленной квартире, когда они, уже без деда, вернулись в сорок четвертом. (Бабушка рассказывала, что нашли в нем велосипедное седло и присыпанные землей луковицы георгинов.) Вот сервант — светлый, новый, но новый по сравнению со стариком гардеробом, а вообще-то давно уже вышедший из моды. Вот «Неизвестная» Крамского — одна она только и смотрела открыто, не таясь, все же остальное следило за ним исподтишка, недоверчиво и почти враждебно, как за чужим, хотя он-то здесь чужим не был. Но вещи не верили ему. Чувствовали: предаст их, сбежит, скроется, едва без хозяйки останутся. Но пока они были еще под ее защитой и молчаливо корили за бесцеремонность, с какой он, самозванец, командовал тут.

Квитанцию он все же нашел. На телевизоре лежала, на самом видном месте...

Девушка в прачечной покопалась недолго (ему, впрочем, казалось, что долго) и вынесла тонкую пачечку. У него горло сдавило, когда взял, — такой легкой была она, почти невесомой. Простынка, наволочка, два полотенца... Одно из них, хотя не было в этом никакой надобности, в тот же день принес в больницу. «Вот! — молвил браво. — Чистенькое. У вас тут хорошо стирают». Бабушке нравилось, когда хвалят ее город, улицу ее, двор... Сейчас, однако, глянула тускло и отвернулась.

И все-таки не в больнице было ему хуже всего — дома. В ее таком пустом вдруг, таком неуютном без хозяйки жилище. Места себе не находил и все рвался, рвался назад, в восьмую, на втором этаже, палату.

Еще с лестницы, с последних ступенек, быстрым тревожным взглядом окидывал коридор. И если видел, что сестра буднично перебирает что-то у своего поста, если видел спокойно гуляющих больных, причем кое-кто приветливо кивал ему, то страх, нехороший, предательский по отношению к бабушке страх отпускал его, и он, переведя дух (как будто запыхался, подымаясь), твердым шагом направлялся к палате.

Ночью все спали — и врач в дежурке, и сестра, и сопалатницы, он же пристраивался в коридоре на твердой, короткой, обитой холодным дерматином скамье. Но это даже хорошо, что твердым и холодным было его ложе — не разоспишься. Дверь в палату оставалась открытой, и он напряженно прислушивался — как когда-то, в другой совсем жизни, прислушивался, лежа у горячей стены, к звону кастрюль на плите, шипению воды или стуку упавшего на жесть уголечка. Только теперь они с бабушкой поменялись местами. Он был взрослым и сильным, а она — слабой, точно уменьшившейся (из головы не выходила та жалкая пачечка белья), и никого, кроме их двоих, не было на свете.

Стоило шевельнуться ей, как он тотчас подкрадывался на цыпочках. Давал воды, судно давал, поправлял одеяло. Она, несмотря на полумрак и забытье, сразу же узнавала его, и это внушало ему наивную (он понимал это) надежду. «Ты не спишь...» — переживала бабушка. Он бодро успокаивал ее: еще как сплю! Эта забота о нем — поспал ли он, поел ли («А ты? — произносила она, когда он, точно ребенка, кормил ее из ложечки. — Ты кушал?») — эта забота не угасла в ней до последнего ее мига. Все пережила, даже страх смерти.

Да и был ли он, этот страх? Малограмотная, не склонная к отвлеченным рассуждениям старая женщина, панически боявшаяся всю жизнь врачей, она умерла спокойно и тихо, как мудрец. Смерть не застала ее врасплох — бабушка успела подготовиться к ней, и бессознательная подготовка эта, постигал мало-помалу образованный ее внук, началась не с раздачи вещей, не со страха перед закрытыми дверьми и не с потрепанного машинописного сонника, который он нашел у нее под подушкой; она началась с той красноводской дороги, по которой тащилась подвода с некрашеным гробом, а рядом сидел, болтая ножками, так некстати явившийся в мир, не нужный никому ребенок.

Никому — кроме нее...

Незадолго до лушинского романа К-ов написал и напечатал статью, которая называлась «Другая жизнь людей». Слова эти он взял в кавычки, поскольку у Толстого позаимствовал их, причем у Толстого молодого, автора «Отрочества». Именно там прозвучали они в первый раз, прозвучали, как озарение: не все интересы, оказывается, вертятся вокруг нас, существует другая жизнь людей, но это — в первый раз, а когда — в последний? В последний — на станции Астапово, за шестнадцать часов до смерти. «Кроме Льва Толстого, есть еще много людей, а вы смотрите на одного Льва». Больше полувека, стало быть, шел от себя к другим людям, но вот дошел ли, сомневался К-ов. Ведь даже на смертном одре, говоря и думая об этих других, одновременно говорил и думал о Льве Толстом. Не выпускал его, единственного все-таки Льва, из поля своего меркнущего зрения — как не выпускал, как внимательно следил, фиксируя каждый шаг, каждое движение души, на протяжении всей своей жизни.

Это трезвое и жесткое отношение к себе, это нарастающее неприятие себя, несовершенного, долго служили примером для литератора К-ова, однако с некоторых пор в сердце его закралось подозрение, что прийти к другим людям можно лишь через себя. Коли не принимаешь (не любишь) себя, то обязательно — или почти обязательно — не принимаешь (не любишь) других.

Толстой, все больше убеждался К-ов, себя не любил. Не любил за чрезмерную как раз любовь к себе, за сосредоточенность на себе, за не отпускающий ни на миг страх смерти... Удивительно ли, что и других людей он в конце концов полюбить не сумел, несмотря на пять десятилетий беспрерывных отчаянных усилий?

Открытие это потрясло беллетриста. Если уж Толстой не сумел, то что с него взять? Почему-то вспоминалось вдруг, как, голенький и мокрый, топтал он, осторожно поворачиваясь под полотенцем, расстеленную на табуретке смятую рубашку, а тем временем другая, свежая, грелась у печи. Обхватив крепкую бабушкину шею, путешествовал по воздуху в уже разобранную постель. Рубашонка задиралась — та самая, нагретая, но он не стеснялся своей наготы. То была нагота легкая, радостная, веселая, нагота входящего в мир человека — полная противоположность тяжелой, насильственной наготе человека уходящего. Насильственной, потому что бабушка (а, думая о человеке уходящем, К-ов всякий раз представлял себе бабушку), потому что бабушка, чистюля и великая целомудренница, из последних сил старалась утаить от посторонних глаз свою изношенную плоть. Ей шевелиться-то не разрешали, а она порывалась встать и сама дотащиться до уборной. К-ов отчитывал ее, как ребенка, и она не оправдывалась, она молчала, но такая мука стояла в ее ввалившихся глазах, когда он ловко — и откуда только взялось! — подсовывал судно. Тонкая — вот-вот обломится, фиолетовая от уколов и капельниц рука придерживала, и поправляла, и натягивала одеяло. Стыдливость, как и любовь к нему, тоже пережила страх смерти...

Все домашнее отняли у нее, лишь ночную рубашку дозволили, и она, отдыхая после каждого слова, подробно объяснила, какую именно принести. «Голубую... с кружавчиками... В шкафу, слева...» Он без труда нашел (вещи слушались ее даже на расстоянии), сопалатницы помогли облачиться, и бабушка, утомленная этой трудной процедурой, опустилась наконец на высокую подушку. Счастливая, отдохновенно прикрыла глаза.

Не было, кажется, в доме Свифта ни единой трапезы, чтобы сестры Пантелеевны, Елизавета и Марья, не завели разговора о сидящей в дальнем углу чете новобрачных. «Я-то перетрухнула нынче! — делилась одна с другой. — Мотоцикл, думала, а это голубочек наш. Трусцой... В шортах!» Уплетая кашу, сестра любопытствовала, почему мотоцикл. «А треск потому что... Как у мотоцикла!» Елизавета (а может, Марья) не слишком

удивлялась, но все же уточняла, проглотив, чего это он трещать вздумал. «Он! Не он трещит — косточки его трещат».

К-ов помалкивал, глядя в тарелку. В тот же день он встретил голубочков на набережной. Семидесятилетний бегун гордо вышагивал под ноябрьским солнцем рядом с цветущей своей супругой, и оба... К-ов даже глазам своим не поверил, но, подойдя ближе, убедился, что нет, глаза не обманывают: молодожены держали в руках по петушку на палочке. Кустарные лакомства эти продавались тут же, на парапете, из грязноватой корзины, и кто, кроме детей, мог польститься на них, но вот могли, оказывается. Могли! Оба так аппетитно облизывали уже утратившие форму леденцы, в которых янтарно горело холодное солнце, что К-ов, не выдержав, тоже купил себе. Нетерпеливо целлофан развернул, коснулся языком гладкой поверхности. Было приторно и липко. Невкусно... Он дошел до ближайшей урны и незаметно опустил в нее целехонький петушок.

Набережная упиралась в гору, вплотную подступавшую здесь к морю. Можно было сойти по лестнице вниз, на узкий, пустынный сейчас пляж, а можно было, наоборот, вверх подняться, где беспорядочно лепились среди поредевшей зелени беленые домики. К-ов вверх пошел. Море опускалось, и синева его становилась все гуще, волны распрямлялись, а белый катерок как бы подтягивался к берегу. Досужий пансионер остановился, чтобы перевести дух, и долго смотрел сверху..

Накануне к нему пожаловала в гости мать, которой он послал из дома Свифта вежливую открыточку. Несколько приветливых слов: я здесь, мол, на обратном пути, быть может, заскочу, но у него и в мыслях не было, что приедет она. Как-никак пять часов на автобусе.

Но она приехала. Возвращаясь с утренней прогулки, он увидел у фонтана — того самого, в виде лягушки — сидящую на скамейке среди золотых и багряных листьев грузную женщину. Просто женщину, не мать, и то, что он не сразу узнал ее, устыдило К-ова. «Богатая будешь!» — и чмокнул холодную, напудренную, чуть вздувшуюся (ела что-то) щеку.

Мать торопливо смяла бумагу с остатками еды, стряхнула крошки. «Не позавтракала... В половине шестого...» Он мягко перебил ее: «Ты прекрасно выглядишь, мама! Совсем молодая...»

Она польщенно улыбнулась. Молодым, однако, было только ее одеяние: светлая, с блестками, шляпа, кремовое пальто, огненный, как листья, шарф. «Какая ты умница, что приехала!» Он правда был рад ей и лелеял эту радость, не отпускал от себя, как бы компенсируя давешнее свое неузнавание. «Прошу вас!» — и, галантный кавалер, взял со скамейки тяжелую, спортивного покроя сумку.

Наверх поднялись, он усадил даму в кресло, вскипятил чай и принялся с преувеличенным аппетитом уплетать привезенное ею черешневое варенье. «Твое любимое», — напомнила она. (Вот! И она, как настоящая мать, знает, что любит, а чего не любит ее чадо.) Тут же устыдилась своего хвастовства, посетовала, что жидковатым вышло.

Сын уверил, что вовсе не жидкое — в самый раз. Их взгляды встретились и поспешно разошлись, разбежались, но он успел заметить расплывшуюся в морщинах у виска черную косметическую краску. Розеткой служила полиэтиленовая крышка, он подчистую выскреб ее и положил еще. Его не покидало ощущение, что все это уже было когда-то: и пансионат, где орали по ночам коты и шушукались старухи, и сиротливое это чаепитие, и тяжело сидящая в казенном кресле старая женщина, от которой ушел ее последний поклонник, капитан Ляль, и которой очень хотелось почувствовать себя, хоть ненадолго, матерью. Было все это, было, вот разве что не в реальной жизни, а в его сочинениях. Нет, он нигде не описывал — пока что! — дома Свифта с его злоязычными обитательницами, не выстраивал — тоже пока что! — хитроумного диалога о варенье, где в каждом слове таилась маленькая ложь, хотя и он, и она говорили вроде бы правду, но, прокладывая в будущее судьбы своих героинь, прообразом которых стала его матушка, уготавливал им всякий раз такую вот печальную старость. К-ов напряженно поднялся, подошел к раковине и, открыв кран, отчего вздрогнул и завибрировал весь дом, тщательно прополоскал стакан. Не первый раз сбывалось его пророчество, но к тайной авторской гордости примешивалось — и чем дальше, тем отчетливей — сознание

странной своей причастности к уже не воображаемой, не сочиненной, а реальной вполне судьбе.

Прототипы его, мать в том числе, редко узнавали себя, а если и узнавали, то не сердились, хотя склонный к шаржированию летописец отнюдь не льстил им. Читая, они улыбались. (Так улыбается человек, когда видит себя, нелепо дергающегося, с обеззвученным ртом, на любительском киноэкране.) Главное-то в них, не без оснований полагали они, осталось незамеченным. Посмеивались над простодушным сочинителем, но он не обижался. Ему казалось, они сошли со страниц его сочинений. Не потому ли и был с ними как-то особенно добр и особенно терпим? Словно заглаживал невольную вину свою перед ними... Чуял: вина есть. Нельзя, грех писать о дышащих, ходящих по земле людях...

Или, может быть, не с ними вовсе был он добр и терпим, не с реальными людьми, а со своими наполовину списанными, наполовину выдуманными героями? Лишь их и жалел по-настоящему. Лишь им сострадал, даже виноватым. Любил их — и мать тоже! — но любил необременительно, на безопасном расстоянии, в книгах своих, и при случае книги эти как бы инсценировал. «Варенье замечательное, мама! Я еще ложечку... Как там капитан Ляль?»

Мама отвечала, что дала капитану отставку. К другой ушел, обливаясь слезами, но сердце, разумеется, осталось с нею. И еще осталась — что мама подчеркивала особо — морская офицерская форма, которую он, щеголь, натягивал, бывало, по праздничным дням.

Теперь не натянул бы... Растолстел с новой супружницей. Обрюзг... «В мятых штанах ходит!» — с презрением бросала мать, и сын, которому капитан Ляль утюжил когда-то брюки, понимающе качал головой.

Весь техникум потешался, наблюдая, как перемещается по жердочке-мосточку бледный юноша. Весь техникум жужжал, что Лушинек, дескать, втюрился в Людочку Попову. И только сама Людочка, выманившая его, неуклюжего, на опасный мосток, делала вид, что ничегошеньки не замечает.

В громоздком и скучном расписании уроков не значилось так называемой практической езды, но был ли хоть кто-то, кто не ждал бы с нетерпением, когда придет его черед сесть за руль учебного автомобиля? Был. Такой учащийся был. Обреченно устраивался в кабину рядом с инструктором, обреченно обводил взглядом щиток приборов. А инструктор, златозубый мужик по кличке Шалопай, вопрошал с улыбочкой: «Ну-с, молодой человек! Лихачить будем?»

Подтрунивал над Лушиным. (Ибо то был, конечно же, Лушин.) Подтрунивал, поскольку так вяло, так медленно, так осторожно не ездил больше никто. Даже на совершенно прямой и совершенно пустой трассе не выжимал больше сорока километров. И вдруг — о чудо! Не взгромоздился с неохотой, а взлетел! — прямо-таки взлетел! — на высокое сиденье, расположился по-хозяйски, решительно на стартер нажал, и задребезжавший автомобиль рванул с места. Шалопай раскрыл от удивления рот. («В кабине, — писал романист, — так и полыхнуло золотом...»)

К-ов думал об этой сцене с вожделением. Как бы тяжек и монотонен ни был путь, по которому в одиночестве тащится наугад усталый сочинитель, где-то на горизонте ему обязательно светит пусть слабый, но огонек. Вот там-то уж он переведет дух! Вот там-то уж погреет окоченелые руки... В нарождающемся романе, заведомо скучном (как и название его; как и герой), таким волшебным огоньком была для автора внезапная, бурная, нелепая в своей наивности, смешная, безнадежная лушинская любовь...

Выпучив глаза, инструктор до отказа утопил дублирующие педали. «Шалопай! Того, что ли?» — и яростно постучал по лбу костяшками пальцев.

Черное рулевое колесо под сжимавшими его тонкими пальцами стало еще чернее. (Или это пальцы побелели?) «Я прошу вас... — выговорил бессловесный, безответный Володя Лушин. — Я прошу вас не называть меня шалопаем».

Изумленный инструктор медленно надел очки. Карточку достал,

проверил, тот ли это учащийся. Тот... Лушин Владимир Семенович, четвертый курс.

Тот, да не тот... Сроду не курил (ни в школе, ни во дворе — уж К-ов-то знал), а тут достает вдруг на перемене пачку «Беломора», небрежно вытаскивает двумя пальцами папироску, небрежно в рот сует. Прикуривает (тоже небрежно) и тотчас возвращает левую руку обратно в карман, где она с некоторых пор сидела у него постоянно. Точь-в-точь как у Пиджачка. И так же голову набок склоняет. И так же ходит... Даже одно веко стало как бы ниже другого.

От былой застенчивости не осталось и следа. Громко смеялся, пробовал сам шутить (тут уж не смеялся никто) и раз даже набрался духу пригласить даму своего сердца на танец. То есть уверенным шагом вошел в центр того самого круга, на который прежде тихо и печально взирал вместе с К-овым со стороны. Правда, не в парке случилось это, не на городской танцплощадке, куда они, было время, приходили порознь, порознь стояли и порознь потом возвращались домой, к стишкам своим и своим открыточкам, — не на танцплощадке, а в техникумовском клубе, в самый разгар вечера, когда, ко всеобщему ликованию, на крохотной сцене появился — впервые! — еще не сыгравшийся, с новенькими инструментами, квартет. Мечта Сергея Сергеевича сбылась-таки...

Он тоже был здесь — маэстро, кудесник, вождь. Скромно у двери стоял со склоненной набок умной (гениальной, по мнению его питомцев) головой. Одна рука покоилась, как всегда, в кармане брюк, другая время от времени прикрывала триумфально поблескивающий из-под века глаз.

Кто в техникуме не знал этого торжествующего блеска! Кто не помнил его!

Жизнь баловала Пиджачка. То девочка с первого курса, косоглазенькая замухрышка, которую он уговорил поучаствовать в хореографической сценке, нежданно-негаданно исполняет в паузе между репетициями итальянскую песню; лысина Сергея Сергеевича багровеет, он дважды звучно хлопает в ладоши и провозглашает в наступившей тишине: «Блестяще!» (Людочка Попова, чья слава в самом зените, ослепительно и неподвижно улыбается.) То разворачивает утром газету, а в ней стихи, под которыми значится: учащийся автомобильного техникума. Десять экземпляров покупает на радостях преподаватель литературы, целую пачку, и, войдя в аудиторию, бухает ее на стол, за которым сидит именинник. А затем без запиночки декламирует его опус, все двенадцать строк, и декламирует так, что хоть слово «блестяще» и не звучит на сей раз, незримое присутствие его стихотворец угадывает...

Впоследствии он посылал Сергею Сергеевичу все свои книги. Или посылал, или, наезжая, сам заносил в техникум, где постаревший Пиджачок все так же выискивал среди будущих автомехаников великих певцов, великих чтецов и великих музыкантов. (Этих особенно: квартет мало-помалу разросся до небольшого оркестра.) Голова его еще ниже клонилась к плечу, больное веко совсем отяжелело, но иногда все же подымалось, и пиратский глаз вдохновенно и светло выстреливал в собеседника. По-прежнему на т ы звал бывшего ученика, ныне уважаемого столичного литератора, и К-ову, вообще-то не жалующему панибратство, это бесцеремонное обращение ласкало слух.

Последний раз не застал учителя. На больничном был — в тяжелом (о ч е н ь т я ж е л о м, уточнили значительно и скорбно) состоянии. К-ов, поколебавшись, взял адрес.

Жил Сергей Сергеевич в районе старого города, который понемногу, начиная с центра, сносили. Вот и двор, куда, сверившись с бумажкой, вошел непрошеный гость, явно доживал последние дни. Это чувствовалось по ветхим, с обвалившейся штукатуркой домам, по куче мусора возле водопроводной колонки, по запущенным палисадникам, где вперемешку с мелкими выродившимися георгинами запоздало — близился октябрь! — цвели подсолнухи. На провисшем электрическом проводе болталась, как флаг, тряпка.

Из одной квартиры, судя по огромной трещине в стене и распахнутой настежь двери, уже выехали. К-ов скользнул взглядом по голым окнам (на одном, впрочем, висела за стеклом такая же, как на проводах, розовая тряпица) и двинулся дальше. К мусорной куче подошла толстуха в джинсах, с размаху зашвырнула наверх останки стула: сиденье и гнутую, под старину, спинку. Все тут же сползло вниз, увлекая за собой дребезжащие консервные банки.

К-ов спросил, где живет Пиджаченко, — спросил негромко и строго, как подобает говорить о безнадежно больном человеке, но женщина, к его удивлению (и встрепенувшейся надежде!), ответила легко, почти весело: «Да вон!» — и кивнула на распахнутую дверь.

Беллетрист, удивленный, еще раз обвел взглядом мертвые окна. Нет, в доме пока что жили. То, что он принял за тряпье, оказалось занавеской, а под ней восседал на подоконнике хомячок. Минуту назад его не было.

Не верящий в чудеса бывший фокусник поднялся на крыльцо — оно тоже было в выбоинах и трещинах (К-ов покосился на ту, страшную, в стене), и тут из дому выскочил мальчуган. С разгону ткнулся головой в живот беллетриста, задрал головенку, крикнул, блестя глазами: «А Зуб — чемпион мира!» — и был таков.

Изнутри доносились детские голоса. Щепетильный гость, сызмальства познавший, что такое быть гостем незваным, внимательно огляделся в поисках звонка, но никакого звонка, разумеется, не было. Тогда он постучал — не очень громко и, не дождавшись ответа, осторожно вошел.

Маленький коридорчик был завален связками журналов — музыкальных, театральных, эстрадных... Воспитанник Сергея Сергеевича понял, что попал туда.

Дверь в комнату, как и входная, была распахнута, а за ней сгрудились вокруг стола мальчишки. К-ов снова постучал, на сей раз в дверную раму с облупившейся краской, и ему снова никто не ответил, так все там увлечены были. Чем? Он сделал два деликатных шага и увидел: шашками. В шашки играли...

Собственно, играли лишь двое, остальные болели, в том числе и примостившийся на табуретке, облаченный в халат Пиджачок. Больной глаз прятался за приспущенным веком, зато здоровый следил за битвой жадно и цепко.

Жить между тем оставалось два месяца, два с небольшим, до первого снега... Два месяца оставалось жить, а он сзывает к одру мальчишек со всей округи. А он организовывает — на краю-то пропасти! — шашечные турниры. «Запомните! — было приказано К-ову, едва вошел. — Это Боря Зубов. — И корсаровский глаз стрельнул в наголо остриженного мальца. — Будущий чемпион мира».

Откуда-то появилась женщина со стаканом воды и таблетками на ладони. Не глядя Пиджачок бросил их в рот, запил не глядя, а женщина тем временем поправляла на нем халат.

Дочь аттракционы поманили, поманила ледяная пузырящаяся фанта, а К-ов надолго застрял в глубине парка между вековыми липами.

На толстом корявом стволе висел динамик — невысоко, рукой достать, внизу, прямо на земле, стоял проигрыватель, крутилась пластинка, и под мелодию, которую беллетрист столько раз слышал в детстве, танцевали на асфальтированном пятачке старые люди. На скамейках аккуратно лежали потертые плащи, шляпы, лежали и пузатые, давно вышедшие из моды сумочки. А еще — хотя совсем чистым было августовское небо — лежали наготове зонты. Не складные зонты и не зонтики-тросточки, что со свистом распускаются, стоит кнопку нажать, а зонты тяжелые, неуклюжие, которые ни за что не открыть одной рукой... Под стать им были и их хозяева: и тяжелы, и неуклюжи, но смеялись — блестело серебро зубов, но задорно встряхивали головами. Из-за лип выкатил на коротких роликовых лыжах парень в шортах, остановился на миг, потом дальше двинул — ни дать ни взять заправский лыжник, вот только не между деревьями лавировал, а между людьми...

Рядом неслышно выросла дочь. «Пойдем! — шепнула. — Ужасно грустно здесь». Но это ей было грустно, молодой, это она не понимала, как можно веселиться, когда тебе шестьдесят или семьдесят, как вообще можно жить, если отсутствует п е р с п е к т и в а (геометрическое словцо это уже просочилось в ее полудетский лексикон), однако перспектива — и К-ов

отлично видел это! — была, разве что не в будущее устремлялась, а спокойно и надежно уходила в прошлое.

В прошлое...

Так вот зачем прокрадывались в его книгу, в лушинский его роман, который непостижимо и самоуправно превращался в странноватое сочинение о нем самом (к центру, к центру смещалась фигура повествователя) — вот, оказывается, зачем пробирались сюда старики и старухи! Вот, значит, какова была их потаенная цель! Смотри, говорили они, смотри в оба! Видишь: у нас есть судьба, какая-никакая, но есть, а у вас? Да, у вас?..

Бессудебье — так, презрев благозвучие, окрестил словотворец К-ов свой недуг. Бессудебье — с ударением на втором слоге...

Дочь тронула его за плечо. «Пора, папа!» Ссутулившись, он пошел, но долго еще слышал спиной звуки чужой музыки.

Когда, уже после смерти бабушки, он снова приехал в свой город, то на месте двора, в котором некогда жил Пиджачок, раскинулась детская площадка. Качели, песочница, разноцветные, причудливой формы лесенки... Галдела малышня.

«А вы кто, дядя? — услышал К-ов. — Турист?» Рядом два мальчугана стояли, с уважением рассматривали висящий на плече у него фотоаппарат.

Турист... Это в родном-то городе! Он кивнул, улыбнулся с усилием, пошел прочь. Его двор пока еще был цел, цела была улица, по которой он ходил сперва в школу, потом в техникум, и все это он снимал, снимал, не жалея пленки: по два, по три дубля. Немногочисленные прохожие поглядывали на него кто удивленно, кто с подозрением: какие такие достопримечательности выискал здесь этот тип?

Он не обижался. Он узнавал это их подозрение, эту их тревогу и их бдительность — и тут, стало быть, срабатывал закон шелковичного дерева. (Шелковичное дерево, с его палубами и мостиком, он тоже снял.) Все повторялось, даже сами эти съемки, в которых, смутно угадывал он, было что-то нечестное по отношению к городу, — повторялось, хотя он твердо знал, что никогда прежде не фотографировал ни своего двора (с чего вдруг!), ни лушинского полуподвала, ни лестницы, по которой пробирались на чердак малолетние распутники... Или, может быть, это не съемки повторялись, а повторялось чувство, которое он при этом испытывал? Вот так же компактно и ярко, точно в рамочке видоискателя, видел он бабушку в свои последние приезды к ней. Она еще жива была, еще вязала свои коврики, те самые, что лежали сейчас под его пишущей машинкой, еще телевизор смотрела — по-детски увлеченно, то вскрикивая и прижимая к груди кулачки, то звонко смеясь, а внук наблюдал за ней украдкой, и этот его умиленный, этот запоминающий, этот как бы пришедший из будущего взгляд был, в сущности, предательством бабушки. Он, взрослый мужчина, оставлял ее здесь, совсем одну оставлял, с бижутерными сережками в ушах, а сам уходил на цыпочках вдаль, в то самое будущее, где ее уже не было.

Теперь, вооруженный фотоаппаратом, он переносился еще дальше. Там, куда переносился он, не было не только бабушки (ее уже здесь не было, сейчас), но не было и улицы, на которой они жили когда-то, и шелковичного корабля, и длинного, одноэтажного, похожего на барак дома, два последних оконца которого и дверь с козырьком он щелкнул воровато раз десять. (Козырек после появился, когда уехали; бабушка лишь мечтала о нем, сметая после дождя воду с крыльца.) Фотограф он был никудышный и, получив наконец проявленную пленку, стал здесь же, у стойки приемщицы, нетерпеливо разворачивать рулон. Получилось ли? Хоть что-нибудь?.. Пленка выскакивала из дрожащих пальцев, скручивалась стыдливо, но он растянул-таки ее, распял, и в тот же миг город, ожив на ярких слайдах, в реальном мире как бы перестал существовать. К-ов разрушил его раньше, чем сделал это шальной бульдозер. (Бульдозер пока что медлил.) И так, пришло в голову, было уже не раз. Бабушка еще смотрела телевизор, еще смеялась, еще смаргивала прозрачные слезинки, а он уже в с п о м и н а л ее. Еще мать, красивая женщина, бесстрашная в своем эгоизме, вовсю кружила голову мужчинам, а он уже

приволок ее в дом Свифта — толстую, старую, брошенную даже капитаном Лялем, с баночкой черешневого варенья, которое она сотворила впервые в жизни. Он приволок ее сюда, хотя тогда еще понятия не имел ни о каком доме Свифта...

Она спросила, заедет ли он все же на обратном пути, спросила небрежно, как о чем-то не очень существенном, и он так же небрежно ответил, что, разумеется, заедет, вот только надолго ли — неизвестно, это не от него зависит, хотя все, конечно же, зависело от него. «Тополек у бабушки посадили», — сказала мать. «Да?!» — встрепенулся он, невольно преувеличивая свою радость, как только что преувеличивал аппетит, с которым уплетал варенье.

О топольке, конечно, она обмолвилась не случайно. Не к себе, дескать, зовет, не только к себе (на это, понимала, у нее нет права) — к бабушке, хотя сама, знал он, редко ходит на кладбище... А он уже опять был далеко отсюда, уже в с п о м и н а л эту грузную старуху с крашеными волосами, которая, встав ни свет ни заря, тряслась в автобусе две сотни километров, чтобы повидать сына. «Пожалуй, — сказал он, — поживу у тебя пару деньков».

Она взяла стакан, с трудом глоток сделала — он видел, как глоток этот прошел в горле. Будто не жидкость была, не остывший безвкусный чай, а корка хлеба. «Еще вскипятить?» — с готовностью предложил он. Мать отрицательно качнула головой. Осторожно, словно драгоценность какую, поставила стакан.

Снимал он и техникум, но, оказывается, не он первый: в лушинской коллекции была открытка с видом этого импозантного здания, в котором обитала некогда чета знаменитых графов. Никаких пристроек (ныне пристройки с трех сторон облепили графский особняк), колонны безукоризненно белы, и парадный подъезд — действительно парадный подъезд, а не мертвое архитектурное украшение... На памяти К-ова сии дубовые, с медной ручкой двери не открывались ни разу; внутрь можно было попасть лишь со двора, через кирпичный флигелек, который учащиеся по сигналу звонка брали штурмом.

Взглянуть на уникальную коллекцию беллетрист напросился сам, встретив случайно бывшего соученика своего и соседа. Обрадовался: «Володя!» — причем обрадовался бескорыстно: тогда еще и не помышлял писать о нем.

Герой будущего романа удивился, что подавшийся в литераторы автомеханик помнит о его хобби. Столько лет прошло, давно в Москве живет, а помнит и даже хотел бы посмотреть, если можно.

«Можно», — сказал Лушин, подумав.

Коллекция оказалась и впрямь уникальной. Романист просидел над ней весь вечер: когда он откланялся, было уже одиннадцать.

В гостиницу не пошел, бродил в раздумчивости по безлюдному городу... Как же рано почувствовал малолетний мудрец в белой кепочке, что не только в будущее продолжает себя судьба, в ту подернутую дымкой голубую даль, куда его сверстники, К-ов в том числе, ломились с веселым азартом (точь-в-точь как ломились они, подгоняемые звонком, в кирпичный флигелек), — не только в будущее, но и в прошлое! Перед Лушиным, во всяком случае, дверь эта распахнулась. Дубовая, искусной работы дверь с медной ручкой...

К-ову захотелось проверить, действительно ли с медной, и он не поленился пройти несколько кварталов.

Во мрак был погружен техникум, лишь у кирпичного флигелька горела желтая лампочка да светилось, не очень ярко, единственное окно в длинном низком строении. Это был клуб. Именно здесь впервые заиграл созданный Пиджачком квартет. Он заиграл, и пианист Володя Лушин, не подозревая, какой страшный конкурент появился у него (бедняге изменила вдруг его ранняя мудрость), — Володя Лушин поднялся, пересек зал и глухо произнес, околдованный юноша: «Разрешите?»

Еще не закончил, а на губах близорукой прелестницы уже трепетала улыбка. Полные руки с готовностью поднялись было навстречу кавалеру, пока еще неведомому, но застыли на полпути. Людочка сощурилась.

Никогда не щурилась, предпочитая лучше не разглядеть собеседника, чем испортить гримаской личико, а тут сощурилась.

На нем был старомодный клетчатый костюм, прежде не виданный ею. (Все в этот вечер было впервые.) «Ты приглашаешь меня?» — ласково удивилась она.

Совершенно ошалев, он ткнул в нее пальцем. Приглашаю! Тебя! То был сугубо пиджаченковский жест; именно он когда-то вызволил из неизвестности затаившегося музыканта. Его и еще двоих. «Ты, ты и ты! Сегодня в пять, в клубе. Не опаздывать!»

Лушин не опоздал. Беспрекословно подчинился Лушин, и Людочка сейчас подчинилась тоже, тем более что кавалер ее, совсем как Сергей Сергеевич, прижал ладонь к левому глазу. Да и как могла она отказать ему, столь преданному ей, столь самоотверженно работающему во имя ее молодой славы!

Стоявший у двери Пиджачок энергично двигал рукой в такт музыке. Восторг и упоение были на лице, но вдруг рука замерла, а больное веко изумленно поднялось. Это он Лушина увидел. Танцующего Лушина... Мы прыскали и многозначительно толкали друг друга, лицо Людочки окаменело, как маска, и только ее невероятный Лушинек в клетчатом, явно с отцовского плеча костюме ничего не замечал.

Вечер кончился, в раздевалке, как всегда, было столпотворение, но пианист протиснулся-таки к своей даме и, не говоря ни слова, стал тянуть из ее рук шубку. Людочка испуганно сощурилась — вторично за какие-то полтора часа. Перед ней опять был он, вислоносый урод, которого она уже начинала ненавидеть. «Зачем?» — пролепетала.

Он молчал. Тянул и молчал, и тогда она сообразила, что вовсе не грабить собираются ее, а галантно за нею поухаживать. «Не надо, — произнесла робко. — Я сама».

Оскалив зубы, помотал он из стороны в сторону головой. Надо, дескать! Надо! И шубка вдруг оказалась на полу. На мокром, в окурках и семечной скорлупе полу. В тот же миг Владимир Семенович был на корточках и, расталкивая чьи-то колени, отбрасывая чьи-то пальто, спасал драгоценный мех. (Кроличий; но это неважно.)

В конце концов, писал романист, он напялил на несчастную Людочку, выдернув из-под ног, ее полуистоптанную шубенку, после чего объявил, что проводит ее. И опять взмолилась бедняжка: не надо, и опять он отрезал: надо! Делать нечего, на улицу вышли вместе.

Автор «Зануды» понятия не имел, о чем говорили по пути герой и героиня, лирический диалог этот еще предстояло воссоздать, но в одном был убежден твердо: длиннее обычного показалась ей дорога домой.

Наконец пришли. «Все! — с облегчением объявила она своим серебристым голоском. — Это мой дом».

Горел фонарь (или не горел), шел снег (или не шел) — все, словом, было в руках беллетриста. К собственному опыту, как всегда, отсылала память, к давнему эпизоду с Таней Варковской. Тоже уличному, хотя без фонаря и без снега... Зато с двумя подозрительными типами, которые, выросши из-под земли, преградили Татьяне путь. Четырнадцатилетний рыцарь, следовавший поодаль с портфелем в руке, был тут как тут. Спешил он, однако, напрасно. Напрасно хрипел, как дядя Стася, и, как дядя Стася, прихрамывал: один из неизвестных, как выяснилось, был родной ее братец.

Поэт шмыгнул носом. Поэт переложил портфель из одной руки в другую и беспечно засвистел... Вот и пусть, решил он, сделает то же самое его герой. Пусть сложит губы и старательно дунет. А Людочка? Людочка засмеется. Вовсе не смешно будет ей, пожалуй даже, ей станет чуточку страшно, но она засмеется. «Ты чего?» — спросит.

Герой сунет руку в карман, наклонит, как Пиджачок, голову и снова дунет, уже сильнее. Сроду ведь не умел свистеть — ни свистеть, ни лазить по деревьям, ни гонять футбол... Ах, как хорошо видел сочинитель книг эту сцену! Ночь, угрюмый подъезд, девушка в шубке, а перед ней с франтоватым видом стоит тощий безумец и громко дует на нее...

Она решила, он сошел с ума. «Лушинек-то наш, — вздыхала, — того». Но — за глаза, с ним же была по-прежнему ласкова, ибо, хотя кое-что

и пела уже в сопровождении квартета, аккомпанировал ей в основном пока что Лушин.

Сомневался ли он сколько-нибудь в Людочке Поповой? Нет. В ней — нет, а вот в себе — сомневался. Так ли он ухаживает за ней? Те ли говорит слова?

К-ов знал это чувство. Когда, откинув легкую занавесочку, в дверях возникла квартирантка Варфоломеевской Ночи — возникла, и неслышно приблизилась, и улыбнулась загадочно, и спросила, скользнув взглядом по исписанным листкам: «Стихи?» — у него и в мыслях не было, что она ведет себя как-то не так. Не так он вел... Надо было, сообразил он потом, уже ночью, в тысячный раз прокручивая в памяти ее фантастическое явление, — надо было ответить с легкой усмешечкой: «А вы проницательны, мадам!» — или что-нибудь в этом духе, как поступил бы на его месте Ви-Ват, а он? Он, как школьник, прикрыл листочки ладонью. «Не бойся, — успокоила она и подошла ближе. — Я не любопытная». И опять он не нашелся, что ответить (Ви-Ват нашелся бы!). Покраснел, заерзал, убрал со стола руки...

Ему казалось, Ольга знает про него все. Не только о стихах — вообще все, все и потому-то не пришла на другой день, когда он, вернувшись после концерта, не запер за собой, а, напротив, шире распахнул дверь. Ветер шевелил и взбугривал занавеску на двери, слегка приподымал ее, и у него всякий раз падало сердце. На ходу, по-воровски, сунул в рот что-то, проглотил торопливо: боялся, как бы она, упаси бог, не застала его жующим.

Было уже за полночь, когда, не выдержав, вышел на крыльцо. Двор спал, светились лишь два или три окна. Будто прогуливаясь (а что! Может прогуливаться человек на ночь глядя!), направился к воротам.

На улице не было ни души, тишина стояла, поблескивали под фонарем утопленные в булыжную мостовую узкие трамвайные рельсы. К-ов остановился. И фонарь, и рельсы, и щит с театральными афишами на той стороне, и толстый, сильно накренившийся ствол акации (так и рухнет сейчас, казалось, на самом же деле держался крепко: по двое, по трое усаживались рядком, ногами болтали) — все выглядело ново и странно, будто перенесся он в другой город...

Сколько раз впоследствии взаправду переносился, в прямом смысле слова, по воздуху! О, эти первые минуты в новом, то есть действительно д р у г о м городе! Этот первый — самый первый — час!.. Бросив вещи в гостинице, выходил налегке, брел куда глаза глядят, беспечный и праздный, помолодевший, никому не ведомый здесь и в то же время тайно ждущий кого-то. Кого? Не бесстрашную ли незнакомку, которая подойдет вдруг, внимательно посмотрит в глаза и — узнает? Да-да, узнает, и он, узнанный, распрямится наконец, расслабится, вздохнет полной грудью... Что это было? Смутное воспоминание о том, как стоял когда-то на пустынной, ночной, поблескивающей рельсами улице? Или он, собственно, и не уходил никогда с пятачка между воротами и накренившейся акацией, только забывался надолго, видел торопливые, набегающие друг на друга сны, а потом вздрагивал, открывал глаза и удивленно поводил взглядом? Ждал...

Ольга не пришла. Лишь на другой день предстала она перед его влюбленными очами, красными после бессонной ночи.

На автостанции случилось это, в тесном кафе, где пахло не столько котлетами (хотя и котлетами тоже), сколько бензином. Он явился сюда прямо из техникума, сбежав с последнего часа последней пары.

На раздаче, помимо нее, трудились — не слишком, как и она, рьяно — еще две женщины. Две или три — он не разглядел толком. Лишь на нее смотрел, пристроившись конспиративно за пузатой кадкой, в которой среди окурков, палочек эскимо и конфетных оберток торчал хилый чешуйчатый ствол полузасохшей пальмы.

Осторожно, чтобы не засекла раньше времени, приблизился к раздаточной стойке. Скромно в очередь встал — как и все, и, хотя двигалась очередь медленно, это не раздражало его. Наоборот! Он-то знал, что он здесь — не как все, что она ахнет, увидев его (он ошибся: не ахнула,

только вскинула брови, и глаза ее заблестели), что спросит с веселым любопытством, куда это навострил он лыжи (не спросила) и что стакан сока, который он вежливо попросит, будет подан ему иначе, чем другим.

Ему и впрямь захотелось вдруг пить, но сока он так и не получил. Ни у стойки, когда подошла его очередь и он пробормотал что-то, протягивая смятую трешницу, ни в кладовой, где она обещала напоить его (он поверил, дурачок!) и где пыльных бутылей с этим самым соком высилась целая пирамида. Какие-то бидоны стояли тут, ящики, плотно лежали мешки с пшеном... Один треснул под их тяжелой возней, и на пол лавиной хлынуло пшено. «Зараза!» — прохрипела она, а он, ошеломленный стремительностью, с которой произошло все, тайно обрадовался: авария как бы прикрыла, как бы замаскировала, сделала незаметной (надеялся он) его беспомощность, наступившую позорно рано, почти мгновенно.

Мешок обмяк, Ольга, от которой пахло ванилью, плавно вниз ушла, провалилась, а он уперся руками во что-то холодное и твердое и так держался на весу, весь потный.

Ее вдруг разобрал смех Хохотала, давясь, а снаружи глухо и отдаленно, словно из другой галактики, долетали автомобильные гудки, по радио объявляла что-то дикторша.

Совсем расшалившись, квартирантка Варфоломеевской Ночи схватила жменю зерна, легонько в лицо ему швырнула. Две или три крупинки угодили в пересохший от жажды рот. Он хотел выплюнуть их, но внизу было ее большое, накрашенное, трясущееся от смеха лицо...

Позже, выбравшись на волю и наконец-то напившись из-под крана, он обнаружил пшеничные зерна у себя за пазухой. А еще позже — в постели, на чистой гладкой простыне. Они кололись, но он никак не мог отыскать их в темноте. «Перестань ворочаться!» — раздраженно сказала со своей кровати бабушка.

Как справедливое возмездие воспринял он свой позор, возмездие за те тайные утехи, которым обучал на чердаке вдохновенный наставник Костя Волк... А через два дня Ольга подошла как ни в чем не бывало, очень близко подошла, он различил запах ванили, и пригласила на день рождения. Будет, шепнула, небольшая компания, три пары всего.

Пары! Не столько-то человек — три пары... Во рту пересохло — как тогда, среди бутылей с соком, и все тело закололо вдруг, будто под одежду вновь попали ядрышки пшена...

Домой вернулся под утро. Бабушка открыла ему босая, в ночной рубашке. Он старался не дышать на нее, но она учуяла-таки запах вина. «Пьяный?! Как Стасик хочешь!» И — раз по щеке, два, изо всей силы, а ему хоть бы хны! Разделся, лег и, закрыв глаза, блаженно поплыл в темноте. Господи, каким же дураком он был! Какое ужасное будущее рисовал себе — здесь, на этой самой кровати, всего два дня назад! Боялся, наивный мальчишка, что у него никогда не будет детей, и боязнь эта, довольно странная для семнадцатилетнего паренька (не девушки!), была, конечно же, предвестником другого, позднего страха — страха перед закрытыми дверьми...

Работая, оставлял непременно щелку, чем вызывал неудовольствие дочерей, которым приходилось убавлять звук телевизора, а на ночь и вовсе распахивал — настежь! — но все равно чувствовал себя запертым, сжатым, заключенным, как в одиночной камере, в самом себе и лишь в редкие мгновения выпархивал на свободу.

На пригорке стоял, в подмосковном лесу, недалеко от маленького, старого, давно закрытого кладбища. Закрытого, но не заброшенного: у многих могил возились по случаю вербного воскресенья люди.

Береза, к которой прислонился он, еще не распустилась, а вербы уже повыбрасывали зеленовато-желтые соцветия, уцелевшие, правда, лишь вверху, — понизу обломали все. Два тяжелых шмеля зависли в лучах позднеапрельского солнца — будто соцветия, ожив, оторвались от своих веточек.

Перед кладбищенской оградой мальчишки жгли хворост. Пламя то вырывалось, то пропадало в глубине костра, и тогда по бурой, заваленной хламом земле стлался сизый дым. Маленькие цветные фигурки сновали туда-сюда, размахивали руками, кричали что-то, но метрах в двухстах, сразу за кладбищем, проходило шоссе, и голоса тонули в монотонном гуле.

Поодаль от мальчишек расположились девочка и мужчина в спортивном костюме — видимо, отец. Сидя на поваленном дереве, держал двумя руками белую собачонку, а дочь стригла ее. Собачонке нравилось: стояла смирно, как изваяние. Верила, что люди не причинят ей зла.

В конце концов шерсть осталась лишь на хвосте. Маленькая хозяйка тщательно расчесала ее, подула, снова расчесала: под пуделя выделывала явно беспородного пса... Вот все, ничего больше, но у К-ова было ощущение, будто прозрачный денек этот — с мальчишками, с вербами, со шмелями — выпал нечаянно из какой-то другой, не ему принадлежащей жизни. Как золотое перо, опустился с неба и так же, как перо, улетит, стоит оторвать спину от березового ствола, по кровеносным сосудам которого путешествует молодой и прохладный сок.

Будь он сейчас в своем городе, тоже пошел бы на кладбище, подчинился обычаю, пусть даже и утаивающему от него свой сокровенный смысл, как безропотно и благодарно подчинился Стасикиной жене в ту долгую ночь у бабушкиного гроба...

Да, долгой, бесконечной была ночь. Люба, не выдержав, нечаянно заснула под утро, а он так и не сомкнул глаз. Нельзя, помнил он. Нельзя... Внимательно за свечечками следил да разбирал найденные в шкафу собственные письма.

Сперва сомневался, можно ли, не противоречит ли это у с т а н о в л е н и я м, но вспомнил вольные, не относящиеся к бабушке разговоры, что вела Стасикина жена, вспомнил ее детский смех и понял: можно.

Письма были бесцветны и однообразны. Одинаково начинались, одинаково заканчивались да и по содержанию не различались особенно, хотя писались на протяжении многих лет, и события, о которых сообщал внук, были всякий раз новыми. Но он именно сообщал, именно информировал. Ни одного живого слова не нашел сочинитель в своих посланиях. Ни единого проблеска своей к бабушке любви.

«Вчера получил твое письмо, спасибо...» «Чувствую себя хорошо...» (Вот разве что не добавлял: чего и тебе желаю) «Погода у нас мерзкая...» «Большой привет тете Вале, дяде Диме», — и так далее, с полным и подробным перечислением.

Сто лет назад писали так. Больше, чем сто. Ему бы стыдиться этих бездушных, чужих, взятых напрокат р и т у а л ь н ы х слов, особенно сейчас, у бабушкиного гроба, К-ов же, пробегая глазами их, ощущал — сперва смутно, потом все отчетливей — свою в п и с а н н о с т ь в некий общий порядок и свою вследствие этого защищенность.

Вот именно — защищенность. И письма с банальными фразами, и догорающие свечечки у гроба, и самое бдение его были как бы проявлением этого общего порядка, о тонкостях которого он, в отличие от похрапывающей в кухоньке женщины, мало что знал, но во власть которого отдал себя не раздумывая. Переполнявшая его благодарная нежность к Стасикиной жене была признательностью не только за ее приезд и ее самоотверженность, но и за то еще, что она как бы олицетворяла собой з а к о н, так своевременно взявший его под свою опеку.

Люба проснулась, когда уже совсем рассвело. С виноватой улыбкой вошла в комнату. Сняла оплывшие розовые лепешки воска, поправила платок на помолодевшем бабушкином лице. «Поспишь, может?» «Нет-нет! — испугался он. — Не хочу». Тогда она вскипятила чай, и они пили вдвоем, похрустывая осторожно сухариками, которые покупала еще бабушка. У К-ова с вечера не было во рту ни крошки, однако он глушил чувство голода, столь, казалось ему, неуместное сейчас, столь оскорбительное для памяти бабушки, но Люба вошла и дозволила его, как прежде дозволяла посторонние разговоры и даже смех. Описывай он подобную сцену где-либо в романе, у героя, того же Лушина, непременно сдавило б горло. И сухарики ведь бабушкины! (В лушинском случае — мамины.) И чай, как она любила... Сдавило б, точно сдавило б, и уж, конечно, ни словом не обмолвился б аккуратный автор про аппетит, который нашел когда разыграться! Утаил бы, как когда-то утаил ту дикую, неприличную (он понимал это) радость, что блеснула в душе его на похоронах лушин-

ской матери, насмерть перепугав десятилетнего мальчугана. Ибо он понял тогда, что не такой, как все. Что он — уродец...

Не спеша (время стояло, как стояли ходики над бабушкиной тахтой) пили они маленькими глотками чай, очень горячий, запретно-вкусный, а за окном гортанно переговаривались голуби, визжали на поворотах трамвайные колеса — город просыпался, но он был сам по себе, город, а они сами по себе: обрюзглая, неряшливо одетая коротышка, жена рецидивиста, и сочинитель книг, дальний ее родственник, седьмая вода на киселе... Сейчас, впрочем, не дальний, сейчас ближе ее у К-ова не было никого. И, быть может, впервые почувствовал хабалкин сын, что никакой он не уродец, что он такой же, как эта грызущая сухарь женщина, такой же, как муженек ее Стася, как собственная его мать-хабалка, как Ви-Ват — да, и как Ви-Ват! — словом, такой, как все вокруг, и судьба у них (или отсутствие таковой; б е с с у д е б ь е) — общая.

Читая и перечитывая легенду о Лоте, напряженно и как-то беспокойно вдумываясь в нее, он все больше склонялся к мысли, что этот знаменитый праведник, этот библейский Ви-Ват, лезущий из кожи вон, чтобы сохранить благочестие в царстве порока, не избежал в конце концов общей с согражданами своими участи. Выведенный ангелами из обреченного города, впал, пьяненький, в грех кровосмесительства, который ничуть не легче греха содомского.

К-ова сюжет этот держал крепко. И не только предательством Благочестивца дразнил и завораживал он (предательством, потому что останься Благочестивец, не сбеги, господь не обрушил бы на город огонь и серу), а некой своей универсальностью. В том числе тайной соотнесенностью с его, К-ова, жребием. Ведь если один, даже безмерно сильный, не в состоянии слишком уж уклониться от п р е д н а з н а ч е н н о г о соплеменникам пути, то, в свою очередь, судьба одного, сколь бы исключительной она ни выглядела, всегда отражает и несет в себе судьбу общую...

К-ов размышлял об этом, когда, оторвавшись наконец от лушинской коллекции, вышел на улицу. Из головы не выходили брошенные невзначай слова Лушина: «Я скучный человек». Он произнес их спокойно и просто, как нечто само собой разумеющееся, — в ответ на замечание восхищенного литератора, что с такой, дескать, коллекцией и с таким знанием истории города не грех и перед публикой выступить. Он берется посодействовать...

Лушин подумал. «Коллекция хорошая, — согласился. — Но выступать не буду». «Почему?» — удивился гость. И тут-то последовало: «Не станут слушать. Я скучный человек».

Обескураженный романист, тогда еще не помышлявший ни о каком лушинском опусе, залепетал, что ничего, дескать, подобного, ему лично очень интересно, а хозяин тем временем доставал из конверта еще одну открытку, потертую и потрескавшуюся, на которой тем не менее можно было различить булыжную мостовую и неказистые дома. «Узнаешь?» «Конечно!» — обрадовался К-ов. Это была их улица, ее он снимал нынче особенно много, и с каждым кадром, с каждым щелчком затвора она как бы чуточку изменялась. З а п е ч а т л е в а е м ы й город словно бы останавливался во времени, мертвел — беллетрист поймет это, когда с колотящимся сердцем раскрутит, уже в Москве, прохладный тугой рулон.

Щелкнул он в числе прочего и дом, где жила когда-то Валентина Потаповна, два ее окошка, но щелкнул как-то очень спокойно, почти механически, и никакого изменения, никакого омертвления не обнаружил. Дом у ж е был мертв, у ж е были мертвы окна, а те, прежние, к которым он столько раз подбегал босой и тетя Валя протягивала то хлеб с маслом, то яблоко, давно переместились на книжные страницы. Вместе с комнатой...

Горит керосиновая лампа (опять свет выключили), тикают ходики, мирно хозяева беседуют (как живые), а в дверях, коварно распахнутых сочинителем для всех желающих, появляются все новые и новые лица. Осматриваются, иногда вздыхают, иногда насмешливо ухмыляются — а то и плечами пожмут — и дальше. Ибо не в темный коридор распахнута дверь (на ощупь, бывало, пробирался здесь маленький К-ов среди ведер и рукомойников), а на залитую солнцем людную улицу. Бесшумно скользят туда-сюда низкие автомобили — ни Дмитрий Филиппович, ни Валентина Потаповна не видывали таких, снуют, тоже туда-сюда, юноши с плоскими чемоданчиками. Иные с любопытством придерживают шаг, но хоть бы взглядом повел осторожный и подозрительный Дмитрий Филиппович, старый голубятник! Хоть бы язычок пламени колыхнулся за выгнутым стеклом! Ничего... И лишь когда сам автор берет в руки книгу и пытается войти на цыпочках в заветную комнату, все в ней, подобно отражению в забеспокоившейся воде, начинает дрожать и искажаться. Зеркальный, светлого дерева шкаф (К-ов помнил, как торжественно привезли его на подводе). Кровать с никелированными шишечками. Гобелен, который висел нынче над его письменным столом... Все дрожит и зыблется, распадается на строчки, на слова, на бледные типографские знаки.

Сколько сил потратил он, чтобы сложить эти строчки! Сколько слов перебрал, переворошил, переворочал... Косноязычие, из тисков которого воспитанник Сергея Сергеевича так и не вырвался до конца, теперь, за письменным столом, сдавливало с новой силой. Но оно же, литературное косноязычие, целомудренно уберегало от разрушительного самодознания. Не умея определить, что происходит с ним, он безропотно страдал и безропотно радовался, он плакал (просто плакал) или смеялся (просто смеялся), однако время шло, и слово, которое он жестоко муштровал, выучилось охотиться на мысли его и чувства. Распластанные на белом листе, они сжимались, подрагивали и в конце концов затихали...

Слайды — те, умертвив город, хотя бы для самого фотографа сохранили его, он мог рассматривать их сколько душе угодно, книга же ему не принадлежала. Другие распоряжались ею. Хотят — приласкают, хотят — надругаются... Беззащитен был текст, беззащитен, как ребенок, которого бросили, родив, на произвол судьбы.

Но это еще, понимал он, пустяки. Это еще малое предательство. А большое? Большое заключалось в том, что он методично, день за днем, упрятывал живую, теплую, трепещущую жизнь (то есть самое жизнь предавая) в герметичное пространство повестей и романов.

То были (нашел он сравнение) своего рода объемные слайды. Все так похоже, все так выпукло, но хоть бы язычок пламени колыхнулся за стеклом! Хоть бы взглядом повел старый голубятник!

Теперь та же участь ожидала Лушина. Словно невидимую искру высекли мирные слова его: «Я скучный человек», — и пожар, который вспыхнул от этого краткого огня, озарил на неблизком горизонте темный тяжелый остов будущего романа.

К-ов заволновался. Час был поздний, и он, добравшись наконец до гостиницы, лег было, но не вытерпел, включил свет и стал торопливо записывать. Не план книги, нет, не сюжет и не идею, а хлынувшие вдруг подробности, начиная с белой стариковской кепочки, которую малолетние весельчаки — еще там, на другом конце жизни, — сдергивали, гогоча, с печальной баклажановидной головы, и кончая романтической историей с Людочкой Поповой...

Влюбленный пианист ходил за ней, как тень. («Свеженький образ!» — усмехнулся К-ов и уже занес было ручку, чтобы вычеркнуть, но подумал и оставил так.) Где она, там и он: на переменах, в клубе во время репетиций, не говоря уже о выездах; их, впрочем, с наступлением холодов стало меньше. На открытой машине далеко не уедешь, автобуса же в техникуме не было, и раздобыть его удавалось далеко не всегда, поэтому выступали в городе. Участвовал и квартет. Кое-что Людочка пела под его размашистый аккомпанемент, но Лушина, воспарившего Лушина, не пугало это. Ничего не боялся! Даже насморка... Даже таких суровых и главных в учебном расписании дисциплин, как устройство и ремонт автомобиля...

Впрочем, вспомнил романист, был предмет, который его герой знал превосходно. Лучше всех...

Большинство бумажную науку эту презирало. На кой им черт, рассуждали, перевозки («автоперевозки» — назывался предмет), механиками, а не диспетчерами собирались работать (кроме, разумеется, девочек). Лушин же в эксплуатационных дебрях — разные там коэффициенты, пробеги, тонно- и пассажирокилометры — ориентировался, как бог. Великое

будущее сулил ему на ниве эксплуатации преподаватель перевозок, но Владимир Семенович и прежде относился к подобным пророчествам без особого энтузиазма, теперь же, воспаривший, и вовсе не желал слушать о бабьей этой профессии. Наотрез отказался писать по перевозкам дипломный проект (как раз время диплома подоспело), взял что-то сугубо техническое. Виватствовал, словом...

От былой пунктуальности не осталось и следа. Мог опоздать, причем опоздать не на минуту, не на две — на четверть, на полчаса, и хоть бы тень смущения на лице! Нет! Удовлетворение... Гордость... Да-да, гордость — и он, дескать, не лыком шит. И ему доступны размах и опьяняющая недисциплинированность.

К-ов понимал его. После триумфа с Ольгой он тоже воспарил, он был легок и снисходителен, говорил «О'кей» и, как истинный мужчина, считал своим долгом развлечь даму. Сводить ее, например, в театр, и не на галерку, не на балкон, а в партер, на лучшие места, с обязательным и щедрым посещением в антракте буфета. Но деньги! Где деньги взять? Вот когда пожалел он, что нет Стасика рядом. (Стасик далеко был.) «Сколько тебе?» — прохрипел бы он, сунул бы руку в карман — наугад, деньги во всех были — и извлек бы, со звоном рассыпая мелочь, кучу смятых бумажек. Что-что, а деньги дядя делать умел.

Сумел и племянник. Несколько толстых книг увел из читального зала, прямо со стеллажей, к которым его, примерного книгочея и соседа своего, беспрепятственно пускала Тортилова дочь.

Книги выбирал новенькие и ходовые: фантастика, приключения — уж в этих-то жанрах будущий реалист разбирался прекрасно. Вырезав библиотечные штампики, продавал из-под полы у букинистического магазина.

Тортилова дочь узнала об этом десятилетие спустя из уст самого преступника. Он уже окончил институт, жил в Москве и издал книжицу небольших повестей, которая попала в руки бывшей соседки. Та написала автору обстоятельное письмо.

Письмо это ошеломило К-ова. Невероятно, но Тортилова дочь уловила в тяжеловесных беллетристических построениях отзвуки той истребительной войны, что затеял с самим собой новоиспеченный столичный житель.

Форменные допросы устраивал он на страницах своих опусов. Вырывал признания, которых с лихвой хватило б для самого страшного приговора... В протоколах этих допросов, хитроумно зашифрованных под повести и рассказы, фигурировали подробности, которые взялись бог весть откуда: в реальной жизни, мог поклясться он, ничего подобного не было. Так, герой не просто казнил пожирательницу голубей, но, заманив ее в сарай, что-то ласково шептал ей, дабы успокоить, гладил даже, причем ладонь (не героя — автора! Автора ладонь...) помнила струящуюся под ней шелковистую шерсть. Ну! А Тортилова дочь писала, и он, пробегая глазами ровные, без единой помарки, строчки, слышал ее глуховатый, медленный, как бы стесняющийся голос, — Тортилова дочь писала, что вовсе не кошку казнят здесь, а героя, и не кошку, следовательно, жаль ей, а жаль несчастного мальчонку, у которого такой ад в душе. «Да и наяву ли, — продолжала она, — совершил он это? Не приснилось ли ему?» «А хоть и приснилось! — восклицал беллетрист в ответном письме. — По-вашему, это меняет суть дела?»

Это не шутка была, упаси бог! Лишь в книгах своих давал волю иронии, а так был серьезен и тяжел, ненаходчив, патетичен даже — в особенности с женщинами.

Это еще с Тани Варковской началось... С Ольги началось, которая хоть ласково, но упрекала: «Ну что ты такой бука, миленький!»

Миленький! Вот бы где возгордиться ему, вот где воспарить, а он почувствовал себя уязвленным. Прокашлялся, выбулькал в стакан остатки пива (в театральном буфете сидели) и взял еще — такого же ледяного и горьковато-легкого. «Стипендию получил? — весело поинтересовалась квартирантка Варфоломеевской Ночи. — Или бабушка расщедрилась?»

Смеялась над ним. Не как тогда, на осевшем мешке с пшеном, но смеялась, и он отрезал, подняв глаза: «Украл».

Полные, влажные от пива губы изогнулись буквой «о» и «о» же произнесли. Он молчал. Для него это был не мимолетный роман, не любовное приключение, а нечто такое, с чем негоже шутить.

Уж не жениться ли собрался, совершеннолетний человек? А что, может, и жениться. Во всяком случае, объяви она вдруг, что ждет ребенка, то наверняка б услышала в ответ: «Поздравляю! И не вздумай, смотри, сделать какую-нибудь глупость!»

Вовсе не задним числом сочинил профессиональный беллетрист книжную эту фразу. Тогда еще поселилась в голове, и он сладко рисовал себе, какой эффект произведет сей строгий мужской наказ на растерянную, встревоженную Ольгу...

Увы! — ни растерянности, ни тревоги не было. Смеялась, ну что ты, говорила, миленький, такой серьезный, и умоляла не встречать ее после работы. Зачем, дескать, она и сама дойдет, ему же заниматься надо. «Обо мне не беспокойся!» — отрезал он со Стасикиной хрипотцой в голосе.

Эта старомодная основательность в отношениях с прекрасным полом осталась у него на всю жизнь. С завистливым восторгом взирал на мужчин, которые, открыв наугад записную книжку, весело вызванивали подругу на вечер...

Сам он не умел так. Если уж встречался с кем, то все, других женщин для него не существовало... А мама считала его ловеласом. Она так и говорила — с томным, кокетливым укором: «Ты ловелас, сын мой. Весь в маму свою».

Он улыбался в ответ. В маму, так в маму... Не будешь же доказывать, что нет, мамочка, я совсем другой, и ничего, ничего общего нет между нами. Ничего! Это, угадывал он, прозвучало б как обвинение, как оскорбление — еще одно оскорбление! — вдобавок к тому, давнему, когда он, весь дрожа среди черепков и опрокинутых стульев, бросил в лицо ей страшное, чужое, не очень даже понятное ему слово, от которого дернулась ее побелевшая щека. Будто не слово бросил, а пальнул из резинки алюминиевой шпилькой.

Ни он, ни она не вспоминали никогда ни о слове этом, ни об опрокинутых стульях, ни о блюде с синей каймой, осколки которого он, зыркнув по сторонам, высыпал в мусорный ящик. Вообще не углублялись в прошлое и отношений не выясняли. «Как там капитан Ляль?» — вот все, что мог он позволить себе, и она со смешком отвечала, что растолстел, боров, — на блинах-то супружницы-торговки, ходит в мятых штанах, а форма как висела в шкафу, так и висит.

Ее-то первым делом и продемонстрировала, когда сын, возвращаясь из дома Свифта, заскочил, как и обещал, на пару деньков. Блеснули золотом пуговицы, нашивки блеснули и погоны... «Вот! И чего не забирает, паразит?»

К-ов высказал предположение, что капитан Ляль, видимо, надеется вернуться. «Как же! — хрипло засмеялась мать. — Ждут его здесь!»

Стол, не такой уж большой, но занимающий тем не менее добрую половину комнаты, был накрыт по-праздничному и салфеточками своими, своей явно излишней посудой как бы имитировал ресторанный столик, в то время как стены, сплошь увешанные репродукциями, подделывались под музей. У единственного окна торжественно стояли два мягких, с гнутыми спинками стула, но, когда неосторожный гость вознамерился было сесть, мать испуганно вскинула руки. «Нет-нет! Развалится...» — и подвинула неказистую — но надежную! — табуретку.

Под ногами путались коты, она длинно ругалась на них, выгоняла из комнаты и плотно прикрывала дверь, грубо и неровно выкрашенную в лимонный цвет, зато с медной, старинной — как та, в техникуме, — ручкой, однако коты непостижимым образом возникали вновь... К-ову мерещилось, что он так и не уезжал никуда из дома Свифта, вот разве что каменной лягушки нет во дворе да не грохочут трубы водяного отопления. (Отопление печным было.)

Если первая комнатенка копировала не то ресторан, не то музей, то вторая, совсем крохотная и к тому же без окна, напоминала больничный изолятор. Впритык стояли три узких койки: до моря было рукой подать, и у матери с ранней весны до глубокой осени, а иногда и зимой жили курортники.

Сейчас их не было. «Я там лягу»,— сказал он, но она и слушать не желала. Здесь постелила, в своей комнате, на своей тахте; все постелила свежее, пахнущее крахмалом и прачечной, и он, закрыв глаза, опять почувствовал себя в доме Свифта. А тут еще кот взмяукнул и шепотом чертыхнулась мать — на хвост, видать, наступила. Допоздна возилась в кухоньке у плиты, посудой гремела и двигала заслонками, он же лежал, вытянувшись, у горячей стены, не прижимаясь к ней по давней, детской, зачем-то удерживаемой телом привычке, хотя вовсе не беленой была стена, как когда-то у бабушки, а по-современному обклеенной обоями. Вслушивался напряженно — не упадет ли уголек на приколоченный к полу лист жести, но уголек не падал, и не шипела, проливаясь, вода, и не светилась щель в двери... Эта неполнота сходства, эта как бы ущербность настоящего, которое хотело, но не могло, не умело уподобиться прошлому, придавали дому некую призрачность. Призрачна, нереальна была и хозяйка его, что суетливо и тревожно изображала мать, в гости к которой пожаловал в кои-то веки единственный сын...

Медленно откинул он одеяло, медленно ноги спустил, и пальцы, уже зябко поджавшиеся от близкого соприкосновения с холодным крашеным полом, не пола коснулись, а чего-то мохнатого, мягкого, очень домашнего. Он встал, пытаясь сориентироваться в темноте. Все было чужим и незнакомым, но это чужое и незнакомое старалось угодить ему, заботилось о нем, подсовывало коврики... А он, неблагодарный, ничего не узнавал тут. Вот даже где дверь, не мог определить (мать плотно прикрыла ее, чтобы свет не беспокоил сыночка) и двинулся наугад, простерев, как слепой, руки.

Поблуждав в темноте, нашарил что-то холодное, гнутое; пальцы удивленно побежали вверх, вниз, снова вверх. Ручка! Медная, старинной работы ручка... Нажал, она поддалась, и дверь тоже поддалась — без скрипа, как почему-то ожидал он.

Мать стояла у рукомойника, толстая, в шелковой, с короткими штанишками, пижаме, что-то с лицом своим делала, а когда обернулась, он увидел — что. Маску накладывала. То ли сметанную, то ли из простокваши, то ли крем какой... Воспитанный человек, он не выказал удивления, но мать смутилась-таки и сделала движение, словно хотела прикрыть лицо, однако тут же взяла себя в руки. «Женщина, сын мой, должна следить за собой. А твоя мама,— прибавила она,— пока еще женщина». «Я не сомневаюсь в этом»,— галантно ответил он. Так и беседовали светски — не мать и сын, а молодящаяся дама в пижамке с бантиками и полуголый джентльмен, выползший невесть зачем из теплой своей постели. «Ты ловелас у меня, я знаю,— сказала она и погрозила игриво белым, в сметане, пальцем.— Весь в маму свою».

Он кашлянул и не стал отпираться. Не стал объяснять, что на первой же своей женщине готов был жениться... Ей, разумеется, не говорил этого, но она догадывалась. Смеясь, ласково ударяла пальчиком по строгим его губам, шептала, сдвинув брови: «Ну что ты, миленький! Разве можно быть таким серьезным?» Просила не встречать ее после работы, зачем, она и сама дойдет, он согласно кивал — сама так сама,— а на другой день вновь оказывался на автостанции. Прогуливался, снисходительно на пассажиров глазел, когда же стрелки приближались к восьми, занимал наблюдательный пост у кадки с пальмой.

Отсюда прекрасно обозревалось все. Он видел, как мужчины с подносами заигрывали с ней. Не просто говорили, что им — кофе ли, сок, а именно заигрывали. Быть может, спрашивали даже, не занята ли она нынче вечером, и она, орудуя черпаком, с улыбкой отвечала: занята.

Но однажды он не застал ее. Полчаса оставалось до закрытия, а ее уже не было — другая отпускала третьи блюда.

К-ов спокойно ждал. Никуда, знал, она не денется, просто отлучилась ненадолго и сейчас вернется, но прошло пять минут, десять, пятнадцать, уже уборщица перевернула стулья у крайних столов и махала шваброй, а она так и не появилась.

Ровно в восемь приблизился он к опустевшей раздаточной стойке. Где, спросил, Ольга... Кажется, он слегка хрипел, но то была не искусственная Стасикина хрипотца, нет, просто голос сел вдруг от тревоги и нехорошего предчувствия.

Ему весело ответили, что Ольги нет, домой ушла. Домой? Он медленно вышел, но через минуту уже не шел, уже бежал и лишь перед самым двором замедлил шаг.

Оба окна Варфоломеевской Ночи светились, но на второй этаж не больно-то заглянешь, так что не оставалось ничего иного, как подняться и постучать. Неизвестно, решился бы К-ов на этакую дерзость, кабы не полузабытая — столько лет прошло! — расправа над пожирательницей голубей.

Насколько беллетрист смыслил в психологии, воспоминание это должно было б удержать вершителя правосудия от добрососедского визита к хозяйке убиенной им кошечки, его же оно странным образом подстегнуло. Бесшумно и быстро, с хищной какой-то легкостью (уж не от казненного ли зверя унаследовал?) взлетел по лестнице, пересек полутемный коридор и не постучал, а как бы царапнул в дверь. Глаза его светились. (Опять-таки по-кошачьи.)

Открыла Варфоломеевская Ночь. Она жевала что-то и, когда он твердо произнес: «Ольгу, пожалуйста»,— ответила не сразу. Проглотила, губы облизала (все это время не спуская с него глаз) и лишь затем молвила: «Ольги нет».

Хабалкин сын, такой вдруг настойчивый, осведомился, скоро ли будет она. «Не знаю, лапочка. Она мне не докладывает. Что-нибудь передать?»

Он сказал, что передавать ничего не надо, поблагодарил деловито и ушел, но не домой ушел, а на улицу — с твердой, молодой, агрессивной решимостью дождаться обманщицу, во сколько бы ни соизволила она явиться.

Раз он уже караулил ее на этом самом месте, у ствола накренившейся акации, только тогда ночь была, блестели рельсы, и — ни людей, ни машин, а сейчас и люди ходили, и машины ездили, и со звоном раскатывали полупустые трамваи. Потом — час ли прошел, два — все затихло. Тот самый вид приняла улица: вот фонарь (он и тогда горел), вот рельсы, вот щит с театральными афишами — все то же самое, но он-то теперь стал чуточку другим. К-ов хорошо помнил, как сжалось вдруг сердце. Это было отчаяние, но не только отчаяние влюбленного, который понял, что его предпочли другому, а еще и отчаяние песчинки, неудержимо, ровно и равнодушно сносимой временем. Во всяком случае, мысль о смерти блеснула тогда (и этот миг он тоже запомнил), причем какая-то очень ясная мысль и очень простая, обжигающе новая в этой своей ясности и простоте (будто прежде не знал, что умрет!), и она именно блеснула: в ярком свете метнулись наискосок, как исчезающие тени, и ревность его, и досада, и недобрые, хлесткие слова, что зрели мало-помалу в отвергнутой душе... Он не обрадовался, что все это сгинуло, он испугался, зажмурился (пусть даже и неподвижными оставались глаза), и босоногая женщина с факелом в руке, усмехнувшись, неслышно прошествовала в отдалении мимо.

На водительские права готовились сдавать выпускники техникума. То было серьезное испытание, и за два дня до него Шалопай и другие инструкторы устроили своего рода генеральную репетицию. Вбили колышки, кирпичики положили и тем обозначили трассу, по которой надо было проехать на учебном автомобиле. Без инструктора... Впервые — без инструктора.

Конечно, все немного нервничали, но держали себя в руках. Неспешно, как заправские шоферы, садились в машину, неспешно трогались по знаку стоящего в отдалении Шалопая. Главное было — не посбивать колышки, не свалить стоящих на попа кирпичей.

Людочка Попова села за руль одной из первых. С улыбкой очки надела, которых, ей-богу, стеснялась напрасно,— очки шли ей. (Людочке все шло.) Мягко переключила скорость, и грузовик, такой огромный по сравнению с ней, двинулся, как послушная игрушка. Людочка улыбалась. Словно не за баранкой была она, а на сцене... Без единой ошибочки пройдя всю трассу, остановилась на том самом месте, откуда начала. Сняв очки, грациозно выпрыгнула из кабины, поклонилась. Кто-то зааплодировал.

А к машине уже решительно направлялся ее аккомпаниатор. (Наполовину бывший: почти всю программу пела она теперь в сопровождении квартета.) Уверенно сел, громко захлопнул дверцу и, со скрежетом воткнув скорость, не стронул, а буквально сорвал с места взревевший грузовик. Лихач! Форменный лихач! С ходу сбил два или три колышка, опрокинул кирпичи и прямиком двинулся на побледневшего Шалопая, который едва отскочить успел. Размахивая руками, к машине бросился, но та уже мчалась дальше, игнорируя указатели, сминая их и, вдобавок ко всему, остервенело сигналя. Бедный инструктор! Кому — смех и забава, а он, вопя: «Куда? Шалопай!» — бежал что есть мочи наперерез обезумевшему автомобилю. Вскочив на подножку, в кабину втиснулся, и стреноженная машина встала. Ах, как, должно быть, жалел в эту минуту о своем педагогическом статусе! Кабы не он, худо пришлось бы влюбленному Лушеньку. А так — ничего, отделался легким испугом: Шалопай просто-напросто вытолкнул его из машины.

Все корчились от смеха... Картина эта и спустя много лет стояла перед глазами К-ова: пустырь, наскоро превращенный в автодром, замерший грузовик, и от него под гомерический хохот, в котором счастливо звенит серебристый голосок, движется одинокая фигурка. Сперва Владимир Семенович еще хорохорился, еще беспечно размахивал рукой (другую по-пиджаченковски в карман сунув), но вдруг победоносный шаг его стал замедляться. Приоткрыв рот, смотрел на Людочку Попову.

Заливистей всех смеялась она. Веселей всех. Ходуном ходило ее налитое тело, а из глаз слезы текли, слезы радости и свободы...

Припомнилось ли ему, что однажды уже было так? Что все вокруг хохотали над ним, плюхнувшимся в речку, особенно же усердствовал будущий биограф его, тогда просто сосед, настолько стесняющийся, однако, своего соседства, что, возвращаясь домой, держался от мокрого Лушина на всякий случай подальше?

Тот не замечал его. Так бы и прошел мимо их двора, не попадись Тортилова дочь навстречу. Остановила, расспрашивать стала (К-ов осторожно обогнул их), к себе повела...

Под окном, в котором недвижимо желтело лицо старухи, прогуливалась с котом на голубой ленте ее хроменькая внучка. Ахнула, увидев мальчика в прилипших к телу штанах, выпустила ленту, поспешила с тетей в дом, и здесь хлопотали вдвоем, а старуха хоть бы шелохнулась... Ничего этого К-ов не видел уже, но легко довообразил, осознав впоследствии, сколь значительную роль сыграл этот случай (или мог сыграть) в жизни его героя.

О маленькой хромоножке беллетрист не вспоминал, ни к чему было, но, оказавшись в качестве именно беллетриста, автора, правда, одной-единственной пока что книжки, в гостях у Тортиловой дочери, которая на книгу эту отозвалась столь замечательным посланием, спросил, дабы прервать затянувшуюся паузу, как поживает ее племянница. Та славная девчушка... Забыл, как звать ее... Кота еще водила на голубой ленте. «Ирина, — сказала Тортилова дочь. — Спасибо, у нее все хорошо».

Окно, у которого часами просиживала когда-то ее мать, было задернуто белой дешевенькой шторкой, в комнате, все так же заваленной книгами, стоял полумрак и густо пахло кофе.

«А Лушин, — произнес гость. — Володя Лушин, помните? Он еще бывал у вас».

Хозяйка слабо улыбнулась. «Они и сейчас бывают».

Они? Кто они? Лушин, насколько помнил К-ов, всегда сам приходил, без отца и уж тем более без мачехи.

«Они ведь поженились, — молвила старая дева. — Ира и Володя. Вы не знали?»

На права он все-таки сдал. Позже остальных, но сдал и, слышал К-ов, не допустил при этом ни единой оплошности. Его даже похвалили — за аккуратность и редкое для молодого шофера спокойствие. Лушин невозмутимо выслушал комплимент, спросил унылым своим голосом, можно ли идти, и неторопливо вылез из кабины.

Шофером работать он не собирался. Ни шофером, ни механиком. Попросил, чтобы в эксплуатацию распределили, кем — неважно, пусть даже рядовым диспетчером. Мало того. За два месяца до защиты отказался от прежней темы дипломного проекта и взял новую: что-то по организации городских автобусных перевозок.

На сцене он больше не появлялся. Даже на выпускном вечере не выступал, хотя сам Пиджачок уговаривал. Но Людочка выступала — в сопровождении квартета и успех имела ошеломляющий. Как и Лушин, пошла она было в эксплуатацию, но и месяца не выдержала — после таких-то триумфов! — сбежала в кинотеатр, где пела перед началом сеанса. Владимир же Семенович почти год трудился на конечной остановке самого протяженного и самого напряженного в городе автобусного маршрута.

Диспетчерская представляла из себя хлипкое деревянное сооружение, что-то вроде табачного киоска, и с таким же, как в киоске, стеклянным окошечком. В него-то шоферы и просовывали путевку. Лушин, в сатиновых нарукавниках, молча брал ее, разворачивал, ставил, сверившись с расписанием, время прибытия и время отправления, расписывался и возвращал, не проронив ни звука.

Машин на линии хронически не хватало, особенно по вечерам, и неистовствующие пассажиры готовы были растерзать диспетчера. Будущий литератор, а тогда слесарь (после техникума К-ов некоторое время работал слесарем), собственными глазами видел однажды, как двое подвыпивших молодчиков едва не опрокинули жалкую будочку Владимира Семеновича.

То был канун Нового года, до полуночи совсем ничего оставалось, часов пять или шесть. Накрапывал дождь — обычная южная зима, которую К-ов терпеть не мог, пока жил в своем городе, зато потом очень любил описывать. Грузовой парк, где работал он, располагался в трех кварталах от лушинского командного пункта, вторая остановка, но здесь уже не втиснуться было, редкие автобусы, даже не притормозив, проходили с натужным урчанием мимо, и он, делать нечего, поплелся на конечную. Уж на конечной-то, надеялся, как-нибудь втиснется.

Зря надеялся. Еще издали увидел в блеклом свете единственного фонаря серую неподвижную толпу, угрюмо молчащую.

Это (что молчат) лишь издали казалось. Чем ближе подходил он, тем явственней доносился тяжелый гул. Внезапно его прорезал плач ребенка, совсем маленького, грудного, быть может, и тоненький беспомощный плач этот прозвучал как сигнал к атаке. Толпа всколыхнулась. Окружив будочку, барабанили со всех сторон, представитель же власти невозмутимо писал что-то в своих сатиновых нарукавниках — вислоносый, с полуприкрытыми, как у птицы, печальными глазами... Вот тут-то двое весельчаков и вознамерились опрокинуть диспетчерский киоск. Схватились с двух сторон, поднатужились, и киоск дрогнул, завибрировали стекла, закачалась на шнуре голая лампочка. Другой бы, наверное, перетрухнул и выскочил вон, а Лушин даже глаз не поднял. Лишь чернильницу придержал левой рукой, а правая писать продолжала...

Спустя четверть века сцена эта, напрочь, казалось бы, выветрившаяся из памяти, ожила вдруг со всеми подробностями: и лампочка на длинном шнуре, и поползшая чернильница, и крапинки дождя на стекле, что было завешено изнутри пожелтевшей газетой, — ожила, едва понял беллетрист К-ов, что будет — обязательно будет! — писать о бывшем соученике и соседе. «Я скучный человек», — вот все, что сказал тогда хозяин уникальной коллекции, — три простеньких слова, но они потрясли романиста. Добравшись до гостиницы, долгожданной койки своей, закрыл было глаза, но вскоре откинул одеяло, свет включил и стал, спеша и жадничая, записывать.

О, как любил К-ов эти минуты, этот первый миг будущей вещи! Он сравнивал его с мигом зачатия, когда все — блаженство и восторг, и ты, ошалев, не думаешь о том, сколько еще труда потребуется, сколько воли и терпения, чтобы дитя твое появилось, выношенное, на свет.

Час пробивал, и оно появлялось. Нечто бледненькое, нервное, внутренне несвободное. Но что иное могло произойти от такого родителя? К-ов ненавидел свои книги. Он знал, что лучше не перечитывать их, но иногда приходилось, и тогда он беспощадно черкал текст, выбрасывая целые абзацы, а то и главы. Вещь сжималась, съеживалась, как съеживается

пугливо золотушный ребенок под тяжелой, немилосердной рукой деспота-отца.

Одно время он гордился, что так требователен, показывал даже, бахвалясь, испещренные поправками книжные страницы, но потом понял, что глухая неприязнь к своим опусам — это еще и нелюбовь к себе, неприятие себя и, как следствие, неприятие всего, что от него, хабалкиного сына, исходит. Что является как бы его продолжением.

Его злило, когда знакомые, желая польстить ему, говорили, что дочери на него похожи. Они, конечно, имели в виду внешность, и это — ладно, с этим он еще готов был смириться, но вот характеры! И не собранны ведь, как он... И вспыльчивы... И немузыкальны... Однако за всем этим смятенный инженер человеческих душ угадывал унаследованную от их матери доброту: плохая, отравленная кровь смешалась с хорошей кровью. Одиночество не грозило его детям, и за это не умеющий любить К-ов был несказанно благодарен жене. Даже с Москвой смирился, ее как-никак городом, хотя по-прежнему чувствовал себя в нем неуютно. Его не покидало ощущение, что он временно здесь, что он как бы на работе, на службе, которая рано или поздно закончится, и он вернется домой.

В отличие от столицы, высокомерно отторгающей его, родные места не только не брезговали им, но всякий раз весело открывали ему свои объятия. Приветствовали хабалкиного сына, которому, помнили они, ничего не стоило спереть книгу в библиотеке или переспать с женщиной на мешках с пшеном... Да и сама х а б а л к а утверждала (грозя белым, в сметане, пальцем), что он, ловелас, весь в маму свою. И пусть слово «мама» с трудом соединялось в его сознании со старухой в кокетливой пижамке, она все равно не была чужой ему. Он узнавал в ней себя, узнавал Стасика, узнавал бабушку, плетущую небылицы про доброго, благородного деда, и даже деда узнавал, пьяного скандалиста, угодившего в двухгодовалого сына тяжелой металлической пепельницей... Старуха в пижаме не была матерью, она изображала мать, имитировала, как обклеенные репродукциями стены имитировали музей, а колченогий стол — торжественный и холодный ресторанный столик, и это тоже было его, его, он узнавал собственное виватство...

На другой день они отправились на кладбище. Был конец ноября, самый конец, последние числа, а день выдался весенний, яркий, праздничный, море сияло, и у причала покачивался белый прогулочный теплоход, с которого несся голос певицы. Мать то и дело останавливалась со знакомыми, жизнерадостно сообщала, что сын вот приехал и они к м а м е идут, не знаете, спрашивала, есть ли цветы на рынке. Д е м о н с т р и р о в а л а его, как накануне демонстрировала морскую офицерскую форму, залог вечной любви капитана Ляля. «Зайдем к нему. Тут рядом».

Им не по пути, но К-ов не протестует, он терпим, как редко бывает терпим в Москве, и этой самому ему непривычной терпимостью (будто в новый костюм облачился) как бы отделяет себя от узнавшего его — ты наш, наш! — расступившегося перед ним южного суетливого мирка.

В сезон у ателье проката всегда люди, а сейчас — ни души, даже хозяина нет, затерялся среди холодильников и раскладушек. «Эй, капитан! — окликает мать. — Дрыхнешь, что ли?»

Но нет, Ляль не спит. Неслышно появляется сбоку — розовенький, с розовым носом пухлый старичок, ручками всплескивает, лезет целоваться. «А я как раз книжку твою читаю. Здорово! Просто здорово!» «Врешь ты все, капитан, — говорит мама. — Ты и читать, небось, разучился».

Ляль возмущенно шарит вокруг, но книга, как назло, запропастилась куда-то, зато К-ов, обведя взглядом прокатную утварь, нечаянно другую обнаруживает. С автографом! Высокочтимому... На память... От автора... Изумленный беллетрист глазам своим не верит, ибо автор почил еще до войны, книга же вышла совсем недавно, хотя, судя по замусоленному виду, успела уже побывать во многих руках. Видимо, ее предъявляли тут как свидетельство коротких и даже родственных отношений с тружениками пера, что было в известной степени правдой. Когда-то К-ов, попивая с капитаном дешевый портвейн, действительно надписал ему сборничек рассказов, но столько лет прошло, книжка рассыпалась или утонула, а других сочинений К-ова под рукой не было. Не беда! Выбрав в магазине томик повесистей, находчивый мореплаватель собственноручно сотворил дарственную надпись.

Гость неслышно усмехнулся. Мать быстро, хищно как-то повернулась. Удержавшись от соблазна веселого разоблачения, он незаметно сунул книгу между телевизором и детскими весами, в продолговатой чаше которых клубилась свежая яблочная кожура. Все это тоже было его, его — и беззубый, но бравый капитан Ляль, с утра ублажающий себя яблочком, и автограф, сотворенный писателем через пятьдесят лет после смерти, и стоящие в углу лыжи, несколько пар, совершенно новехонькие, поскольку если снег здесь и выпадает когда, то не лежит больше суток... Все это было его, К-ова, — весь этот невероятный, фантастический, призрачный мир, который изо всех сил тщился казаться миром подлинным.

Хабалкин сын ощущал себя его частицей. Но частицей отколовшейся, отлетевшей, однако так и не причалившей никуда за более чем четверть века...

Автостанция, с которой он уезжал в аэропорт с небольшим чемоданом, с зашитым в наволочку полушубком и с извещением, что зачислен в институт, располагалась тогда в центре города, у моря, недалеко от того места, где впоследствии соорудили ателье проката. (Капитан Ляль еще не объявился на мамином горизонте.) Провожала его бабушка. Она стояла внизу, за толстым, не проницаемым для голоса стеклом, а он, уже пассажир, глядел на нее с бессмысленной улыбкой и корчил рожи. Это он так приободрял ее. Да, мол, уезжаю, да, в Москву, да, надолго (на пять лет, казалось ему тогда), но все, видишь, тот же: кривляюсь, как ребенок, и показываю язык.

Бабушка, косясь на соседей его, тоже пассажиров, грозила пальцем. Смеялась, но он видел, что еще чуть-чуть — и она заплачет.

Наконец тронулись. Старая женщина отступила на шаг, подбородок ее задрожал, и она, махая, быстро-быстро касалась глаз то одной, то другой рукой...

И так потом было всегда. Всегда плакала, прощаясь, — кроме одного-единственного раза, последнего, когда его после бессонной ночи, которую он провел в больнице у нее, сменила утром тетка. (Благополучная дочь.)

Внук не спешил уйти. С подчеркнутой будничностью обсуждал какие-то пустяки, бабушка слушала — смотрела и слушала, и он, уже от двери, браво помахал ей. До вечера, дескать!

Рука ее поднялась. Она поднялась удивительно быстро и удивительно легко, встала над одеялом, как стебелек, и пальцы задвигались вверх-вниз — пока, мол! Молодцеватое «пока» это она от него переняла — так забавно, так трогательно звучало оно в восьмидесятилетних устах. Пока... Но губы не разомкнулись, строгим оставалось безулыбчивое с ввалившимся ртом лицо, а глаза — сухими.

Ни слезинки. Сухими...

Он вышел, и ничто не укололо его, никакое предчувствие. (А вот, уезжая, всегда ловил себя на быстрой, юркой, как ящерица, мысли: увидимся ли?) Даже надежда шевельнулась: вон ведь как легко подняла руку! В лицо ветер ударил, влажный и сильный, он дул уже третьи сутки подряд, море штормило, и набережная — он не домой пошел, а на набережную — была пуста. Светило солнце. А через три часа, в полдень, повалил мокрый, липкий, густой снег — это в марте-то, когда уже вовсю цвел миндаль! То был миг, когда умерла она, но он еще не знал об этом и прилежно убирался в квартире. Мыл посуду (по-бабушкиному: сперва в горячей, потом в холодной воде), протирал пыль, подметал полы влажным веником — все, как хозяйка, и это неукоснительное следование порядку, ею заведенному, как бы удерживало ее здесь, среди живых, на самом-самом краешке бездны.

В обед она забирала обычно почту. Ящики во дворе висели под специальным навесом, и она не ленилась ходить к ним, проверяя — по два, по три раза на день. Радовалась: газетки принесли, принесли «Работницу», а уж письмо и вовсе становилось для нее праздником.

В основном это были его письма. Прочитав, убирала в шкаф, и они хранились здесь годами, только вряд ли кто перечитывал их, вот разве

что он сам, в ее последнюю ночь на земле, под треск свечечек в изголовье гроба и похрапыванье Стасикиной жены...

В тот день, когда умерла она, тоже пришло письмо. К-ов вынул его из ящика, глянул на обратный адрес, что состоял по большей части из цифр, лилово расплывшихся под снежной кляксой, и сообразил, что это письмо от Стасика.

Пять месяцев оставалось ему до освобождения. В августе, писал он, свидимся, я (писал он) все передумал тут и все осознал и очень, очень виноват перед тобой, мамочка. Никого, кроме тебя, нет у меня на белом свете... Письмо было сентиментальным и пышным, литературным (он писал, что ничего-то не надо ему теперь, только бы дома умереть, в чистой рубахе), и эта его литературность, эта обреченность Стасика на вечное актерство, эта его неспособность даже в страдании быть самим собой сделали его вдруг каким-то особенно близким и понятным К-ову. Он узнал в нем родного человека — впервые за долгие годы — и впервые по-настоящему, живо, до спазма в горле, пожалел его.

Но она тоже была литературна, эта жалость, — в отличие от жалости Стасикиной жены Любы, которая хоть и сошлась с другим, пока прежний занимался эпистолярным творчеством, но на дверь не показала вернувшемуся на волю. Накормила, напоила, чистое белье дала и чистую рубашку (не для смерти, как мечтал он, романтик хрипатый, — для жизни) и поселила во времянке у себя. «Только, — предупредила, — не спали. А то ведь куришь в постели, зараза!» Так и жили втроем, на европейский (или какой там еще!) манер; один — прихрамывающий, другой — безрукий (сослуживец ее; там же, на мясокомбинате, и отхватило руку), и за обоими ухаживала, обоих обстирывала, за что и тот и другой нет-нет да поколачивали ее. Она сама сказала об этом, когда Стасик, новоявленный дед, весь в шрамах и татуировках на пергаментной коже, повел внукав уборную. Сказала спокойно и без обиды, к слову просто — гуманист К-ов решил даже, что ослышался.

Люба засмеялась беззубым своим ртом. «Ага, — подтвердила, — дубасят. Но мне-то что, я живучая. Только бы не друг с дружкой! Друг с дружкой если — смертоубийство будет». Вздохнула легко и чуть смущенно (расхвасталась!), очень довольная, что горемычные старички ее пока что между собой ладят. «А бабушку поминаю, — продолжала она вроде бы без перехода, но переход, чувствовал К-ов, был, была некая связь между муженьками ее и той мартовской ночью, что коротали они вдвоем у бабушкиного гроба. — Как в церковь захожу, так и ставлю за упокой. И бабушке... И маме своей, царство ей небесное... И папаше, конечно. И братику... Хотя братик жив, может, не знаю. На войне пропал, без вести. Я ему две ставлю — и здравие, и упокой... И вот деду его, — кивнула на мальчика, которого привел со двора заботливый Стасик. — Не этому (теперь на Стасика кивнула), этот — живой, что ему сделается! (Стасик ощерялся — скелет скелетом.) Тому... На тротуаре помер, черт кривой. От денатурата».

Долго перечисляла, кому еще ставит свечки, — К-ову имена эти ничего не говорили, а для нее каждое будто светилось вдали, и свет этот, преодолевая пространство, тихо озарял одутловатое серое лицо, как бы стыдящееся нечаянного хвастовства и избытка радости.

В годовщину бабушкиной смерти он тоже отправился в церковь — окраинную московскую церковь, совсем маленькую, с тесным двориком, в котором лежало несколько могильных плит. Через дорогу располагалась психиатрическая больница. Мирно прогуливались пациенты, кто в пальто, кто в шубенках, накинутых прямо на халаты.

В соседстве храма и психушки беллетристу с его изнурительной страстью к обобщениям чудился некий скрытый смысл, и это отвлекало, мешало на главном сосредоточиться: на бабушке... После войны, он уже в школу ходил, во второй или третий класс, она работала одно время в таком же вот богоугодном заведении, на топливном, кажется, складе, и психи, крепкие, здоровые на вид дядьки, пилили на козлах дрова.

С отрешенным видом вошел он в церковь, купил три свечи — бабушке, Валентине Потаповне и Дмитрию Филипповичу, а что дальше делать, понятия не имел, стоял истуканом среди шепотков и шорохов, сквозь которые знакомо проступило вдруг слабое потрескивание.

Он встрепенулся. Под такое же вот потрескивание беседовали они с Любой в ту праздничную ночь у бабушкиного гроба — беседовали и даже смеялись. Тогда он не стеснялся своего приподнятого чувства: Стасикина жена, знающая толк во всем этом, как бы разрешала его, теперь же ее не было рядом, и он, обязанный скорбеть, — ради этого и явился сюда! — испугался внезапной душевной легкости. Он испугался, хотя это была не та легкость, не то торжество самоощущения, не тот праздник жуткой и веселой свободы, что настигли его, несмышленыша, во время похорон лушинской матери, — другое. И этого другого он испугался.

Служба еще не началась, там и сям устраивались, крестясь и причитая, старушки на раскладных брезентовых стульчиках. Кто в потертых матерчатых сумочках приносил их, кто в современных полиэтиленовых, с эмблемами. На одной красовался даже Михаил Боярский. Полиэтилен шуршал, старушки со вздохом приветствовали друг дружку, одна говорила, что в булочной халву дают... К-ов фиксировал все это почти машинально и злился, что не может сосредоточиться, за пустяки цепляется как всегда. За пустяки... Вот и писателем он слыл наблюдательным, но правда, что вставала со страниц его книг, была правдой мелочей, их дотошным и нескончаемым реестром, а главного — самого главного! — он, как ни напрягался, ухватить не мог.

Одна оставалась надежда — на лушинский роман. В Лушине, в его ненароком оброненной фразе «Я скучный человек» увиделась беллетристу (не сразу!) та самая истина, к которой он столько лет безуспешно продирался.

Гостиница спала, давно затих город за окном, на тумбочке лежали кассеты с пленкой, на которой отныне жил этот город, а К-ов в восторженном предвкушении сокровенной книги, вот сейчас, сейчас возникающей из ничего, жадно исписывал страницу за страницей. Порой это были отдельные слова: кепочка (белая, пометил он), авоськи (быть может, мелькнуло, он и сейчас их вяжет?), Людочка Попова, Пиджачок, ну и, конечно, автодром (это слово он подчеркнул дважды), иногда же набрасывал целые сцены. Например, переправу через речку, когда будущий герой плюхнулся в воду, или новогодний шабаш вокруг диспетчерской, едва не опрокинутой разъяренными пассажирами.

Впоследствии эпизод этот вырос до символа. Дождь, фонарь, толпа людей, окружившая хлипкое деревянное сооруженьице, и вислоносый клерк, который невозмутимо пишет что-то в своих сатиновых нарукавниках. (Хотя, кажется, тогда нарукавников не было.) И вот сооруженьице вздрагивает, слегка приподымается (чего, разумеется, тоже не было; от земли не оторвали), качается лампа на голом шнуре, а сверху сползает с завибрировавшего стекла желтая газета. Прямо на голову клерка... Тот аккуратно складывает ее и — за ручку опять.

Наконец подкатывает, разбрызгивая грязь, автобус. Все бросаются к нему, в двери стучат, но водитель не торопится открывать. Выскочив из кабины, идет с путевкой к диспетчеру. «Ну чего, чего барабаните? — кричит. — Работу закончил, в гараж еду».

Народ свирепеет. Подвыпившие молодчики закатывают рукава (позже К-ов вычеркнет это: зима ведь, а на пальто рукава не больно-то закатаешь), Лушин же тем временем пишет что-то в путевке, отдает, шофер, забеспокоившись, бросает взгляд и цепенеет, не веря глазам. «Ты чего поставил, гад?» «Сделаете еще рейс», — отвечает молодой диспетчер ровным, бесцветным, унылым голосом.

У аса перехватывает дыхание. Что для него этот мальчишка? — ноль, пустое место, и никакие просьбы, никакие приказы не подействовали б, плюнул бы и укатил, но молокосос обхитрил его. Он ни о чем не просил, ничего не приказывал, а просто взял да вписал, негодяй, еще один рейс, то есть оформил документально, и тут уж за ослушание могли врезать. Бумага есть бумага...

К-ов не удивился дерзости бывшего сокурсника. За очередное чудачество принял — из того же примерно ряда, что вязание авосек или коллекционирование открыток с видами старого города.

Вскоре сюда прибавилась еще одна выходка, которую на первых порах окрестили «харакири». Ни слова не говоря никому и ни с кем не советуясь, Лушин сочинил и отправил в трест бумагу, в которой предлагал сократить всех линейных диспетчеров — в том числе, стало быть, и самого себя. Пусть водители сами отмечают время прибытия и время отправления — на так называемых табельных часах. «Вот сволочь, а!» — качали головами диспетчеры — женщины в основном, отсидевшие на своих местах по десятку лет. Теперь их переводили в кондукторы. А этот зануда (тогда-то и схлопотал он сие прозвище) уже исподволь и под кондукторов подкапывался...

К тому времени его взяли в трест, в отдел эксплуатации, который он и возглавил впоследствии, еще не обзаведясь даже институтским дипломом. Здесь он, конечно, был на месте. Именно к нему обращались автохозяйства в трудных случаях, хотя, догадывался К-ов, без особого энтузиазма. Слишком уж въедлив был. Слишком дотошен... Начальство ценило его и даже, обмолвилась Тортилова дочь, предложило повышение, чуть ли не замом управляющего, но он отказался. «У меня, — заявил, — нет административной жилки». (К-ов пометил, что сцену эту надо развернуть подробнее.)

Другую, не менее важную, подарила лушинская жена, выросшая хроменькая девочка, что некогда выгуливала на голубой ленте Тортилова кота. Отменным яблочным пирогом угостила бывшего земляка, который хоть и увлекся открытками, но пирог оценил и на комплимент относительно кулинарных талантов не поскупился. На что услышал, что у Володи-де пироги получаются лучше. «Лучше?» — изумился гость.

Тут-то и поведала живая и разговорчивая хозяйка, как ее торжественно встречал дома муж после недельного — в командировке была — отсутствия. Все выстирал, все убрал и такую кулебяку испек... С грибами!

Лушин помалкивал, будто вовсе не о нем шла речь, жевал себе, а беллетристу отчетливо увиделось — и в тот же вечер при чахлом гостиничном свете он стремительно записал эту сцену, — как, повязав фартук, творит Владимир Семенович праздничный обед. С утра пораньше сбегал на рынок, купил цветов и фруктов, все самое лучшее, загодя сервировал стол... Не очень хорошо лежали груши, хвостиком вперед — он поправил их, и розы тоже поправил, графин же с гранатовым соком чуть отодвинул, чтобы не загораживал вазу с конфетами. Графин играл на свету и переливался, солнечные зайчики вспыхивали там и здесь...

Вот-вот, солнечные зайчики, этого уже К-ов не выдумал, они, отлично помнил он, вспыхивали и при нем, хотя вечер был, солнце давно зашло и сидели при электрическом свете. Чинную беседу о старом городе прерывал то смех жены, то шумная возня сына. Пятилетний разбойник стащил что-то у сестры, взрослой уже девицы, бросился с визгом прочь. Она взмолилась: «Скажи ему, папа!»

Не мама — папа... Он, значит, и был здесь главой семьи, но никого не подавлял и никого не неволил. А вот К-ов свой гнет на близких ощущал постоянно. Или даже не свой, ибо он тоже чувствовал себя человеком подневольным, а неблагодарного, злого, капризного божка, именуемого работой. Не просто работой, не работой вообще, а его работой. Папиной работой, как уважительно называли ее домашние, при том не шибко интересуясь ею. Пишет и пишет что-то...

В войне, что вел К-ов с собою, они неизменно были на его стороне. Для них он служил олицетворением честности и доброты (не говоря уже о талантливости), и это тоже сердило его, как сердило их беспомощное, трогательное, неумелое желание помочь ему. Не надо! Он сам... Да, его беспокоили закрытые двери, но сколько раз подавлял глухое, недоброе (он понимал это) раздражение, когда щель, которую он оставлял, медленно расширялась и кто-то — жена ли, дочь — на цыпочках входили в комнату...

А однажды вошли все трое, одна за одной, и так виновато, так тревожно на него смотрели. Младшая, позади, вытягивала шею... Он молча ждал. «У бабушки инфаркт», — выговорила жена...

«На всю жизнь, — писал романист в первой, законченной вчерне главе, — на всю жизнь запомнил Володя Лушин, как приоткрылась во время урока дверь и кто-то невидимый поманил учительницу Веру Михайловну. Она отошла и о чем-то пошепталась там, а, возвращаясь, скользнула по нему взглядом. Она всегда относилась к нему хорошо, раз даже заступилась, когда сорвали с головы и стали подкидывать, гогоча, белую его кепочку, но с тех пор, как умерла мама, он Веру Михайловну возненавидел...»

К-ов радовался, написав это, — какой точный психологический штрих — но потом засомневался: а точный ли? Герой отказывался ненавидеть учительницу, как позже отказывался, насильно приведенный автором на пустырь, вонзать в яблоко крепкие зубы...

Роман не вытанцовывался. Это, догадывался сочинитель, должна была быть ясная и тихая книга, очень простая, очень естественная, но в К-ове словно сидел некий страх простоты. Уж не от матушки ли унаследовал? Ведь даже на кладбище, куда они добрались наконец, навестив по пути капитана Ляля в его «Прокате», заглянув на рынок за цветами, в парикмахерскую, еще куда-то, — даже на могиле матери рассуждала с торжественной печалью о бренности всего живого.

К-ов не слушал ее. На фотографию смотрел (не узнавая бабушки: он запомнил ее другой), на стандартный серый памятник с усеченной верхушкой, на тополек, о котором мать толковала еще в доме Свифта. Такая разговорчивая стала на старости лет! Все, что видела вокруг, все, что слышала и что чувствовала, упаковывала в шуршащую оболочку слов.

И тут, стало быть, сын в нее пошел. Каждому ощущению своему, даже самому мимолетному, каждому чувству своему ставил, профессиональный литератор, хитрые силки. То была опасная игра. Именно слово, знал он, породило иронию, этот суррогат любви, медленно отравляющий человека. К-ов понял это, когда был в доме Свифта, и тогда же записал в дневнике под вой котов и плотоядное хихикание семидесятилетних чревоугодниц, что старости — подлинной старости! — удостаивается тот, кто любит. Не тот, кто смеется, а тот, кто любит...

После кладбища мать в кафе повела, к приятельнице-поварихе, и та угостила чебуреками. Потом по набережной прошлись, потом пили чай с любимым его черешневым вареньем, и она все говорила, говорила, К-ов же смотрел на нее и видел как бы в рамочке.

В рамочке...

«Ты что?» — спросила вдруг она, и он, очнувшись, забормотал что-то, засмеялся, съел с преувеличенным аппетитом две или три ложки варенья. Будто местами поменялись ненадолго мать и сын: он нес бог весть что, а она, не слушая, печально и проницательно смотрела на него старыми глазами. «Над чем ты, — спросила, — работаешь сейчас?»

К-ов терпеть не мог подобных вопросов, это все равно, считал он, что любопытствовать, с кем спишь ты, но подавил раздражение. «Да так... Делаю кое-что».

В чемодане лежала папка с лушинским романом, несколько подразбухшая, пока в доме Свифта жил, но дальше первой главы не продвинулся...

В самолете, уже подлетая к Москве, он поймет, что не готов к этой вещи. Для того, поймет он, чтобы написать ее, надо прекратить тяжбу с самим собой. Надо принять себя. Свое бессудебье принять — принять как судьбу, если уж на то пошло, но только как, спрашивается, мог он принять себя, такого? Как? То был заколдованный круг, он давно уже метался в нем, очень давно, всю жизнь, по сути дела, и лишь когда вошли, одна за одной, жена и дочери (младшая шею вытягивала) и он услышал: «У бабушки инфаркт» — и уже на следующий день был у нее в больнице, и старые, дрожащие, с исколотыми венами руки надели на него крестик, и ночь за ночью он сидел, никому не доверяя, у ее крова-

ти, и однажды утром она без улыбки и без слез помахала ему слабой, как стебелек, рукой, и в полдень повалил мокрый снег — это в марте-то месяце! — и он, читая письмо Стасика, услышал, как кто-то без стука открыл дверь (без стука!), и увидел, подняв голову, торжественного, как на параде — хоть и без формы — Ляля, и все понял, и встал, не дочитав письма, и втиснулся с Лялем в кабину молоковоза (откуда молоковоз взялся? К-ов так и не узнал этого), и вошел деревянными ногами в палату, и увидел белую ширму, которой утром не было, и стал торопливо целовать еще теплое лицо — торопливо, потому что чувствовал, как уходит это последнее тепло, и вернулся вечером в бабушкину квартирку, такую вдруг пустую и голую, хотя все оставалось пока что на своих местах: и старый, довоенный еще гардероб, и «Неизвестная» Крамского, и вылинявший халат на спинке кровати, и недовязанный, из цветных лоскутков, коврик — лишь тогда круг разомкнулся. Чуть-чуть, но разомкнулся. Блеснул свет — длинная узкая щель, словно бабушка, как когда-то в детстве, приоткрыла дверь. Почувствовала: только ее смерть может спасти его и, не колеблясь, сделала то последнее, что могла еще для него сделать...

Не было мочи оставаться одному, я вышел вон и долго бродил по хорошо знакомым и в то же время новым каким-то улицам. Зажглись фонари. Два мальчугана, преградив путь, спросили громко, который час. Слишком громко... Все правильно: когда-то он тоже повышал голос, разговаривая со стариками. То ли не поймут — боялся, то ли не услышат.

●

Инна КАШЕЖЕВА

Старинное дело

Отцу

I

Если честно между нами,
я тебе признаюсь вновь:
под твоими орденами
рдел не бархат — моя кровь.
Это сердце раздробилось,
цвет пульсирующе-ал,
чтобы мягко уместилось
все, что вправлено в металл.
Мужественней нет оправы,
равных нет тебе, отец.
Ордена Звезды и Славы
и Победы наконец!
Знамени и «За отвагу»:
ордену медаль равна.
Сердцем я уже не лягу
под иные ордена.
Где оно бы ни витало,
не устало, видит бог,
чтить бессмертного металла
недоступный холодок.
Просто ты их в час последний
на земном своем пути
мне, почти тридцатилетней,
дал на сердце пронести.
Сам гораздо был моложе
в адском времени — война.
Час последний встречу тоже...
Сердце-ложе? Только чье же?
Только где же ордена?
Боль болит...
А если смолкла?
Значит, все, как говорят,
мне б нести лишь два осколка
вместо всех твоих наград.
На той алости горючей,
траурной и роковой,
за которой вечной кручей
встал солдатский холмик твой.

II

Мое же вино вылакав,
спросил он, склонясь к лицу:
«Не хватит ли панегириков
собственному отцу?»
«Я буду, как в колокол били,
писать об этом — глотай! —
недаром меня любили
Анохин и Марк Галлай.
«Авиационный ребенок», —
звали они меня,
с моих облаков, с пеленок
я — кровная им родня.
Поскольку один из многих
встал на крыло беды.
Боимся мы слов высоких,
как в детстве ночной темноты,
и ты?»
«Довольно бубнить про это, —
а он, однако, тверез. —
Мы смена, мы эстафета...
Слюнявый апофеоз!
В чистые метишь и мелешь
на жерновах пустых.
А что ты от них имеешь,
от этих героев своих?
Нужды мои, не скрою,
для дома тире семьи.
Смешны мне они игрою
в святые идеи свои».

Нет, нас вино не помирит.
Ударить бы по лицу —
еще один панегирик
собственному отцу.
Как кролику перед удавом
не двинуться: столько глаз!..
А мой бы отец ударил
при всех,
наотмашь,
тотчас.

Читая «толстые» журналы

Ах, как правильно говорят!
Не горят они, не горят.
Возвращают шкафы и столы
(так патрон досылают в стволы)
нашу боль (да здравствует стол!) —
опоздавший к сердцам глагол.
На дверях, на устах печать
как приказ: непечатно молчать.
Что же было? Столйк король
завизированных крамол.
Фигу-бубен пряча в карман,
правдоборцем шагал шаман.
Ложка дегтя и — мед не тот,
он — почти что запретный плод.
Сколько в этом «почти» —
прочти! —
ах, медовой почтительности.
Стада рыкающий восторг...
Спародирован древний торг:
те же тридцать монет... За что ж?
Разрешенная правда — ложь.
Предрешенное завтра — суть.
Ты — живая, верткая ртуть,
в это завтра переползешь.
Только фига твоя уже
не в кармане, в твоей душе.
В стол не копишь, не топишь печь,
потому что нечего жечь.
Но бессонен гончарный круг
в центрифуге упрямых рук.
Никогда своего пера
не откладывали мастера,
бочку дегтя готовя впрок:
им смолят, видит бог,
каждый бок
лодки нашего бытия.
Не святые совсем жития.
Этот бит за них, этот клят...
Но зато они не горят!

...Книгу новую напишу
и сама у себя спрошу:
«Что душа твоя говорит:
уцелеет или сгорит?»

* * *

Чиновник десятого класса,
к тому же еще отставной,
в сердце, как пепел Клааса,
ты неотступно со мной.
Чиновник десятого класса,
был бы отставлен кем?
Метели белая ряса...
Тригорское... Анна Керн...
И... Но слова замирают,
слишком богат багаж:
твою биографию знают,
как знали вы «Отче наш».
Чиновник десятого класса,
все я в тебе ценю.
И то, как ветрено клялся
женщинам и... царю.
И то, что твоя Наташа
твоим бессмертьем жива
и что поэзия наша —
твоя молодая вдова.
Но и в опале, и в ласке,
адским огнем горя,
шагнул ты на снег январский
с сенатского декабря.
Кайся или не кайся,
ловись ли на сладкий обман,
чиновник десятого класса,
всем нам ты не по чинам.
И умер-то понарошку:
жива любая строка.
Несу я тебе морошку,
опоздав на века.
...Чиновник десятого класса
ясно и горячо
глядит с высоты Парнаса
вдаль, за мое плечо.

* * *

В свою беду другого не возьмешь:
там все углы из боли для тебя лишь.
Под самый острый справедливый нож
чужого сердца не подставишь.

Вы помните: «За что теперь одни?!» —
мы матерей умерших вопрошали,
зачеркивая дни, когда они
собою ожиданье воплощали.

Ну, что с того, что слезы льешь и льешь, —
им до лица родного не допадать...
В свою беду другого не возьмешь,
Твои поводыри —
вина и память.

* * *

Память — детская температура,
память — мамины пальцы на лбу...
Штурм, победа! Восторг! Диктатура,
измоловшая плоть и судьбу.
Память наледь забвенья продышит,
свяжет вновь обагренную нить.
Память в будущем столько напишет —
все, о чем мы успели забыть.
Поименно, гортанно, портретно
все предъявит на собственный суд.
Память — горький сосуд,
но полезно
пригубить, коль его поднесут.
О, молчи, моя малая память,
где заело, иглой не кружись!..
Память — это в бессмертие падать,
память —
в боли отлитая жизнь.

* * *

Когда все с надрывом, когда все на крике
и зреет нарывом ненужный разрыв,
о, помогите, великие книги,
себя на счастливой странице раскрыв!
И снова — все счастье,
и снова — все тайна,
и, в одночасье сомненья топя,
не веря, что каждая встреча летальна,
я вновь неустанно смотрю на тебя.

И все необъятно, и все мимолетно,
над садом надсадно ликует певец...
— Ах, как ты захочешь!
— Ну... как вам угодно.
Похоже ли это и впрямь на конец?
Губили друг друга,
друг другом спасались,
и мука и скука — все было не раз.

Великие книги затем и писались,
чтоб вдруг оживать в нас...
в трагический час.

●

Анатолий АНАНЬЕВ

Скрижали и колокола

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

После лыковских событий и встреч я до глубокой осени не мог сесть за письменный стол; и не оттого, что не писалось, как это случается с нашим братом, когда вдруг нападает усталость — то ли от работы, то ли от общения с друзьями, с семьей, то ли от самой жизни, в которой не находишь уже ни просветов, ни перспектив ни для себя, ни для общества; я чувствовал, что что-то будто нарушилось, надломилось, и даже не во мне, нет, а во всей той действительности, которую, казалось, я теперь понимал еще меньше, чем прежде, если не сказать, что вообще перестал понимать, что происходило вокруг, куда двигалось и почему поощрялось то, что наносило лишь урон и не должно было поощряться, и притеснялось и зажималось то, что было достойно и государственной, и всяческой поддержки и могло бы (во всех отношениях) принести пользу. Выдвигавшееся Иваном Егорычем положение, что будто бы все беды происходят от неправильного отношения к вопросам земли и землепользования, то есть от того, найдем ли мы способ (и силы в себе) отдать землю истинному ее владельцу — крестьянину, который кормился бы с нее сам и кормил общество, — это казавшееся всеохватным положение (да уже в силу того, что о нем нельзя было говорить вслух), сколько я ни прикладывал к известным явлениям жизни, не только не помогало найти хоть какое-либо исчерпывающее объяснение, но, напротив, только усложняло и запутывало все. Жизнь текла по каким-то иным каналам, разделяя (будто в противоположность официальным призывам и догмам), расслаивая и расставляя людей на той своей иерархической лестнице, которая, как тень забытого прошлого, зловеще теперь расползалась над обществом; и как и случается всегда в подобные моменты истории — на ослабленном теле общества сейчас же то тут, то там начали вздуваться аллергические пузыри, то есть возникать те разного толка сомнительные и несомнительные организации, сообщества и группы, деятельность которых (уже по самой скрытности своей) вносила лишь еще большее беспокойство и сумятицу в умонастроения людей.

В то время как из сообщений и сводок мы узнавали, что почти во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства плановые задания выполнялись и перевыполнялись (казалось даже, что ни одна из центральных газет не могла выйти в свет без очередного отеческого послания Генерального секретаря такому-то или такому-то коллективу); в то время как в Большом Кремлевском Дворце высшие чины власти проводили награждение за награждением, одаривая Золотыми Звездами тех (единичных, конечно же, по стране), кто, видимо, и в самом деле достигал в своих рвениях определенных результатов, — общее оскудение, как оно начало двигаться по наклонной вниз, двигалось теперь с еще большим как будто ускорением, переполненные пассажирские поезда и пригородные электрич-

---

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 1 с. г.

ки каждый день вываливали на столичные вокзалы толпы приезжего люда, и люд этот, растекаясь по универсамам, магазинам и ларькам, выгребал из них все, что можно было выгрести и увезти, оттесняя москвичей и оставляя их подчас без самых элементарных продуктов питания. В народе начало возникать недовольство, люди принимались роптать, и чтобы хоть как-то обеспечить москвичей продовольствием, то есть удовлетворить насущные потребности их жизни, была введена (поданная, разумеется, как благо) так называемая система предварительных заказов; сотрудники учреждений и предприятий закреплялись за отдельными магазинами и по спискам раз в неделю получали пакеты с кульком риса, пшена или гречки в нем, пачкой югославских макарон, батоном или полубатоном «салями», ломтем замороженной говядины или баранины с непременным приложением «сгущенки» и лосося в собственном соку; прикреплены были подобным образом и деятели искусств, и писатели, которые, по меткому выражению одного из сатириков, теперь чаще встречались не в ЦДРИ, не в Доме литераторов (или на форумах и совещаниях, как бывало), а у прилавков этих распределителей то на Смоленской площади, то у известного всем Елисеевского, куда по вторникам или четвергам, как находила удобным для себя администрация, приезжали за своими пакетами. Приезжали к определенному часу и, выстроившись в очередь за талоном и у кассы, обсуждали литературные и всякие иные новости, шутили над своим положением и над состоянием дел вообще и, получив наконец ожидаемый сверток, разъезжались, чтобы вновь, и теперь уже с сознанием какого-то выполненного (перед семьей и ближними) долга, засесть за рабочий стол. Что могло выйти из-под их пера, когда известно, что чаще всего убогая жизнь рождает убогие мысли? Да, видимо, только то, что и выходило, оседая затем мертвым грузом на полках библиотек. Я тоже ездил: и на Смоленскую площадь, и к Елисеевскому, мирясь с этими временными, как говорили тогда, трудностями и полагая и веря, что там, наверху, конечно же, предпринимают или уже предприняты какие-то те срочные меры, которые изменят все; но шли дни, недели, месяцы, а мы лишь узнавали о новых и новых награждениях и с грустью замечали, как съеживались и тощали даже эти выдававшиеся (по спискам) пакеты и грубее и сытнее становились продавцы, обслуживавшие нас.

Да, так было, и мне кажется, что сколько я буду жить, столько и буду помнить это унизительное, затылок в затылок, стояние у кассы, эту очередь, в которой известные критики, поэты, прозаики, многие с мировым именем, простаивали часами, растрачивая на батон «салями» или импортную курицу свое драгоценное время (как, впрочем, растрачивал его и народ, простаивая во всевозможных очередях, вместо того чтобы думать о нравственности и обустраивать жизнь); этот тёмный, тесный и замусоренный проезд, куда мы выходили с пакетами, стеснительно опуская лица — то ли от самого этого унижения, в какое поставила нас жизнь, то ли от смущения и неловкости перед теми, кто с тротуаров смотрел на наши пакеты, не получая, видимо, и таких и завидуя нам и осуждая нас. За пайками сюда приходили и лыковские мои знакомцы: Игорь Максимович, Угров, Стригунова и Соев, но здесь они выглядели какими-то будто слинявшими, что сейчас же было заметно по их ссутулившимся спинам и странной будто неразговорчивости; мы кивали друг другу, как некие знакомые (чтобы только соблюсти вежливость), и молча расходились — каждый в своем направлении и со своими несколько теперь иными думами и заботами, не столько, может быть, разделявшими, сколько объединявшими нас. Критики, прозаики, поэты рассаживались в свои блеклые «Жигули», которые, впрочем, тоже были предметом зависти для других, и требовалось еще терпение и время, чтобы из узкого, забитого машинами проезда выбраться на магистраль. Нет, нет, сколько буду жить, никогда, наверное, не смогу забыть этого, что не просто противоестественно нормальной человеческой жизни, но прежде всего — должно быть, как я понимаю, противоестественно нашему строю, в котором все, что делается, делается будто бы для людей и во имя их. Правда, были и такие, кто не стоял в очередях; по каким-то, не всегда понятно каким, заслугам то ли перед отечеством, то ли перед народом, то ли перед литературой они подъезжали к другим распределителям, своим, где все было и качественнее, и в обилии, и по этому распределительскому (для себя!) обилию вос-

принимали жизнь и славили ее. Да, вот так зловеще поднималась и укреплялась в обществе иерархическая лестница, на которой одним, мало что, в сущности, отдававшим обществу, полагалось все, тогда как других, то есть народ, все более ограждали рамками, в которых и предлагалось терпеливо обустраиваться ему. Я думаю, что меня опять и в который уже раз, наверное, попытаются упрекнуть, что сгущаю краски и что в конце концов ничто не разрушилось, все как-то жили и продолжают жить, трудиться, растить и воспитывать детей; да, конечно, ничто не разрушилось, если не считать нравственности, то есть если не считать того невосполнимого ущерба, какой ежедневно и ежечасно наносится именно нравственному (от постоянных тягот) состоянию общества. А ведь нравственное и социальное всегда стоят рядом, их нельзя отделить, не впав при этом в определенную и глубочайшую по своим последствиям ошибку, да и куда деть сами те очереди, в которых мы стояли, и ту боль, которая и теперь, и, наверное, до самой седой старости будет отдаваться в душе тяжелым эхом.

Вся эта обстановка жизни, как и дóлжно было, видимо, опять подняла меня в дорогу. Ведь мы от века привыкли искать ключ не там, где он есть, и мне в очередной раз начало казаться, что не в Москве, не в столице, где разрабатывались и разрабатываются все начала нашей жизни, лежат ответы на насущные (тупиковые) вопросы времени и что дело не в уточнениях и поправках к понятиям «народ» и «народная жизнь», то есть не в теоретических разработках Ивана Егорыча (я думал о нем теперь даже чаще, чем прежде, но уже без горячности и благоговения), а дело в самом народе, в его прилежании или безразличии, которое более чем когда-либо начало проявляться в нем теперь, и ранним осенним утром, покинув Москву, я вновь отправился на поиски истины.

II

Что такое «изучать жизнь», и кто осмелится с определенностью сказать, где и каким образом надо изучать ее? Большинство сходятся на том, что изучать ее следует в глубинке, среди народа, живя с ним и деля его заботы и тяготы. Может быть, может быть; да и потому уже, что такая точка зрения всегда была и остается официальной, я тоже не раз впадал в подобную крайность и говорил себе: «В глубинку, к корням, к основам», но всякий раз, когда оказывался в глубинке, то есть среди народа, меня охватывало чувство односторонности, как если бы рыбий хвост выдавался за целую рыбу. В народе ясней видны только результаты тех мер, какие разрабатываются и проводятся сверху, и лишь целостное восприятие всего, то есть постижение взаимодействий всех слоев общества (от головы до хвоста), может дать более или менее приближенную к действительности картину социального устройства жизни. Ведь смысл не в том, что всюду, куда ни повернись, растет трава, а в том, кто владеет пашней, кто сеет, выращивает и убирает; смысл в той воле, какую проявляет отбирающий и дающий, и в тех посредниках, через кого это делается и кои предпочитают жить именно в столицах, но никак не в глубинке и на местах. Мне и прежде нет-нет да и приходили подобные мысли в голову, но общее насаждавшееся мнение тогда было таково (что в глубинке и только в глубинке!), что всякое иное, если кто позволял себе высказать его, либо не воспринималось вообще и объявлялось несерьезным, либо осуждалось и подвергалось высмеиванию: дескать, где же еще можно искать основы жизни, как не в народе, — либо на подобного смельчака навешивался ярлык западника, космополита, наконец, просто *интеллигента* (в том презрительно-ироническом значении, в каком слово это мы иногда так любим употребить), и судьба рукописей такого писателя была предрешена. Игнорировать глубинку никто не смел, в призрачных умах наших она представала чуть ли не местом преклонения, во всяком случае, на словах, да и в большинстве своем на словах, как это видится мне теперь, и все же — нужно было вновь проехать по нашим российским глубинкам, чтобы прийти к этому ясному и твердому выводу, что мир неделим и что только исследование всех его взаимодействий и связей может дать более или менее полную панораму жизни.

Я побывал в ту осень на Алтае, в Сибири, на Южном Урале, проехал по селам Нечерноземья, то есть по тому нашему великому бездорожью,

которое давно уже стало предметом горьких усмешек и чуть ли не символом России (мне рассказывали, что уже в наше время того, кто пытался построить дороги, обвинили чуть ли не в измене Родине, потому что хорошие дороги, дескать, позволят потенциальному противнику быстро продвинуться в глубину нашей территории и захватить страну; бред, конечно, бред, но ведь было; да и разве лишь это было?!), и везде, где я только ни останавливался, меня поражала одна и та же картина: в райцентрах проходили разносы и совещания, в деревнях — скученно пили по избам и вокруг сельмагов, а на токах и бригадных станах сновали в одиночку и группами те общественные контролеры, те уполномоченные всех мастей и рангов, которым и невдомек было, что и они представляли из себя рабочую силу и могли с действительной пользой приложить ее. Конечно, не везде и не все было так, и я говорю лишь о впечатлении, какое вынес из этой своей всеохватной как будто бы (да и можно ли охватить все?) поездки; мне казалось, что битва за урожай, как сообщалось в газетах, которая велась на полях страны, была вовсе не битвой, а той видимой суетой, какой так наловчились теперь прикрывать всякое равнодушие, и что вместо этой *битвы*, если бы люди были заинтересованы в деле (ведь известно, что общее — это ничье и что вид станционного элеватора вовсе не вызывает чувство семейного достатка и благополучия), — на тех же полях происходила бы та без лишних движений продуманная и размеренная крестьянская работа, какой она испокон была на земле и приносила удовлетворение и радость. Прежде каждый деревенский человек знал, что ему надо убрать вовремя хлеб и заготовить корм для скота на снежную и морозную зиму; теперь же (будто он никогда и не вел хозяйства и не представлял, как вести его) он брал обязательство, что выполнит все работы в срок, и у него невольно, как против насилия и бессмыслицы, возникал протест, и он спустя рукава принимался за то, что заставляли делать его. Еще раз хочу оговориться, что *это*, о чем пишу, есть только общее и, может быть, даже излишне преувеличенное впечатление, потому что, если бы с парадной стороны посмотреть на все, появилось бы, наверное, другое мнение; но я смотрел не с парадной, а так, как заставляла жизнь, то есть с точки зрения тех московских очередей, в которых стоял я и стояли все люди, и что было унизительным, если не сказать больше, и требовало решительных мер и действий. Народ ли был виноват в том положении, в каком пребывал теперь, или существовали какие-то иные и важные причины, к которым надо было привлечь общественное внимание, чтобы устранить или исправить их, — это-то и бросало меня в дорогу и заставляло пристально и с пристрастием, да, именно с пристрастием, всматриваться в происходившее. Я заезжал и в знакомые, и незнакомые деревни, и из всех разговоров — с председателями, бригадирами, колхозниками, — пересказать которые, конечно же, все нельзя, вынес одно и, может быть, самое главное беспокойство, что что-то нехорошее, тяжелое будто назревало в народе, какое-то словно бедствие, каких немало уже за многовековую нашу историю (и от стихий, и от нашествий, и от личностей) прокатывалось по Руси.

Особенно запомнился мне разговор с бывшим школьным учителем Петром Алексеевичем Кудрявцевым, возглавлявшим один из колхозов на Южном Урале. Может быть, с точки зрения канонов жанра фигура эта покажется лишней или вовсе не нужной в предлагаемом повествовании, так как ничего, в сущности, не прибавляет к сюжету и не изменяет в нем; но ведь книга, как и жизнь, не может ограничиваться только столкновением персонажей, действующих в ней; персонажи могут и не сталкиваться, но сталкиваются мысли, идеи, образуя тот незримый (второй будто) план жизни, который уже сам по себе, как захватывающий сюжет, полный драматических падений и взлетов, требует и своих условностей, и правил. В данном случае, то есть в случае с Кудрявцевым, как раз и важен для меня не персонаж, а мысль, высказанная им и проливающая свет на многое, и потому заранее прошу не сетовать на сухость и строгость изложения. Дело не в том, во что был одет Кудрявцев, какие портреты и призывы висели в его кабинете и как было у него в доме, куда он пригласил меня, и что мы пили и ели за гостеприимно накрытым столом; и не в том, каков был общий вид деревни, вид колхозного двора или фермы, на которую без нужды, а так, потому лишь, что председателю надо было

отдать какие-то распоряжения, мы зашли; все выглядело столь типичным (по нашим нынешним деревенским меркам) и столь привычно было для глаз, что и без описания каждый с легкостью все может вполне вообразить себе, а непривычным и даже, может быть, чужеродным (по интеллекту и восприятию мира) казался лишь сам Кудрявцев со своим худым и оттого моложаво смотревшимся лицом, со своей моложавою походкой и ранними, но широко обозначившимися залысинами, которые почему-то, может быть, от яркого электрического света, падавшего на них, как раз и запомнились мне.

Мы просидели с ним до полуночи, по-деревенски, за столом, с обилием закусок и питья на нем (я давно заметил, что чем скуднее на столе у народа, тем щедрее и обильнее на столе у начальства, и Кудрявцев в данном случае, может быть, он и не хотел этого, не был исключением), и разговор наш, мне и теперь кажется, не был разговором только двух людей, но — двух сошедшихся для выяснения отношений сторон, за одной из которых стояла будто бы Москва и вообще интеллигенция, взявшая на себя руководство жизнью и повинная за нынешнее состояние ее, а за другой — тьма деревень, точно таких же, как и эта, в которой сидели мы, почти обезлюдевших, приземленных и серых, уходивших теперь, в ночи, под студеный осенний ветер, дождь и снег. Как к человеку, Кудрявцев был настроен ко мне вполне гостеприимно, то есть в согласии с исконной русской традицией принять и обогреть путника, но как к москвичу и интеллигенту проявлял ту агрессивность, словно я был ни больше, ни меньше, если не главным, то по крайней мере одним из главных разорителей деревенской жизни (ведь известно, как провинциальные люди смотрят на всякого столичного человека), и несмотря на все мое желание восстановить истину, вернее, сказать ему, что я не против деревни, а за деревню и, значит, заодно с ним, и несмотря даже на то, что при каждом удобном случае пространно и убедительно объяснял ему это, — в глазах его оставался все тем же виновником, которому он не мог не высказать своих накопившихся обид и не спросить за них.

III

Он начал с утверждения того, что обезлюдение деревень — это явление не временное, как пытаются представить его, и что ходом истории народ поставлен в такие условия жизни, что он, в сущности, уже не может выжить как народ.

— Или вы ослепли там, у себя? — бросил он этот вопрос, который (после подобного вступления) только и можно было ожидать от него. — Но все-таки не до такой, наверное, степени, чтобы не видеть, что происходит. Народ устал. Устал от постоянной нужды, неурядиц, понуканий и притеснений, он уже не способен во что-либо поверить и, если хотите, омертвел душой, да, да, очерствел и омертвел и бежит с земли, которую испокон считал своей и от которой оказался отторженным теперь. Вам, видимо, странно слышать подобное из уст деревенского человека, но послушайте, послушайте, мы ведь здесь тоже кое-что почитываем, и хотя, может быть, по-своему, но стараемся вникнуть в происходящие процессы и оценить их. Я не философ, не теоретик, но... по Марксу ли живем или всего лишь по Достоевскому?

— Маркс и Достоевский? — Я удивленно пожал плечами, так необычно показалось мне сочетание этих двух имен.

— По Марксу: бытие определяет сознание.

— Общественное бытие, общественное сознание.

— Положим, но в чем тут разница? Любое общество состоит из людей, а значит, из суммы сознаний, привносимых ими. По крайней мере так должно быть, если люди не разделены на элиту и скот, зависящий от сознания элиты, то есть воли ее, но вернемся к делу. По Марксу: бытие определяет сознание, и тут ясно, что первично, что вторично и что от чего зависит. А по Достоевскому? Да он не то чтобы ставит под какое-либо сомнение социальную потребность человека, но исключает ее как таковую, как элемент жизни и призывает — красиво и благородно! — к одновременному и поголовному (чем не утопия, а?) самоочищению, к так называемому «оздоровлению корней». Нет, вы уж не перебивайте, — сказал он, вытирая вспотевшие залысины и шею и давая себе этим время, чтобы обдумать следующий ход.

Он несколько раз оглянулся на книжный шкаф, в котором (было видно по корешкам) стояли тома Достоевского, Толстого, Пушкина, да и вообще я заметил, небольшая его библиотека была подобрана с таким вкусом, вернее, таким расчетом (тут-то, видимо, и сказался в нем учитель), что она вполне давала представление о движении общественной мысли (по лучшим и наивысшим вехам ее) второй половины девятнадцатого и начала двадцатого века; иначе говоря, под рукой у Кудрявцева всегда имелся тот минимум сконцентрированных (в словах и фразах) знаний, какой, мне кажется, необходим сегодня каждому хоть чуть-чуть образованному человеку, и было видно, что минимум этот для бывшего сельского учителя являлся не украшением, не мертвым на полках грузом, а постоянно (и не без пользы) находился в употреблении, помогая соизмерять и осмысливать жизнь. Несколько раз, мне казалось, председатель порывался взять с полки том и процитировать Достоевского, но, может быть, потому, что цитируемый автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» не во всем совпал бы (по мировоззрению) с предлагавшейся трактовкой, так и не притронулся к книгам и говорил и даже приводил цитаты по памяти, поражая начитанностью и глубиной знаний. Я тоже оборачивался на книжный шкаф, но с совершенно иным чувством и иной потребностью. Обращение к автору «Записок из мертвого дома» и «Дневника писателя» живо напомнило мне другой подобный (и неприятный) разговор — с Игорем Максимовичем, который, ссылаясь на это всем нам дорогое имя, высказал, в сущности, свои, теперь-то уж точно знаю, именно свои пророчества о некоем всеобщем будто бы «освинячивании» и «великом» предназначении русского народа и России. Мне хотелось защитить Достоевского и возразить Кудрявцеву (как тогда, в лесу, Игорю Максимовичу), но так как было еще только начало разговора и не совсем ясно было, против чего возражать, я и посматривал на книжный шкаф и тома в нем, как на нечто резервное, что в нужный момент и с успехом может быть пущено в дело.

— Прежде всего, как я думаю, нам следует разобраться в нашем общественном сознании и уяснить, что же мы все-таки действительно принимаем и что отвергаем, — снова начал он, четко, как перед аудиторией, выговаривая слова и тем выражая свою убежденность; он как бы давал понять, что спорить с ним не то чтобы не нужно, но бессмысленно (по объему и книжных, и жизненных знаний), и на любое недоумение он мог положить свой неопровержимый довод. — Мы то и дело заслоняемся от реальности то одной, то другой занавесью, бросаемся из крайности в крайность, полагая, что движемся вперед, тогда как на самом деле лишь отдаляемся от намеченных целей.

— Так в чем же «по Достоевскому»? — перебил я его.

— К этому и веду. Но сначала давайте выясним другое. Если Достоевский в свое время призывал к «оздоровлению корней», то есть восстановлению нравственности у народа, то надо полагать, корни эти были больны. Или по крайней мере нравственность была в таком состоянии (ведь любой народ в конце концов можно довести до свинства), что всем и поголовно надо было самоочищаться. Прав я или не прав?

— Ну, допустим.

— Тут нечего допускать, мы имеем дело со свидетельством великого, как называем его, психолога и реалиста. Тогда скажите, отчего же мы теперь, именно теперь, на почти семидесятом году Советской власти принялись так рьяно расхваливать т у, да-да, т у, требовавшую «оздоровления» нравственность и отчаянно призывать вернуться к ней? Что это, ошибка, заблуждение? Или новый (на старом истертом бланке) рецепт для оздоровления общества?

— Речь идет, видимо, об изначальной нравственности.

— А кто может с определенностью сказать, что такое «изначальная» и какой она была, не выдав при этом желаемое за действительное, но я не хочу, чтобы мы отвлекались от темы. В «Дневнике писателя» Достоевский прямо призывал позабыть «о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, о дефиците, о рубле»... (как современно это звучит, заметьте) и заглянуть в «некую глубь, в которую по правде доселе никогда и не заглядывали»... А «глубь» — это и есть наша душа, которая

как раз и должна (неким не совсем понятным, однако, способом, способом внушения и призывов, надо полагать, как делаем мы) очиститься от пороков и скверны. Обращаться к вопросам политическим или экономическим и пытаться что-либо изменить в них — это, по Достоевскому, ставить телегу впереди лошади. Измениться должны прежде исполнители, люди, и тогда (цитирую на память) «можно будет опять въехать в текущее или, лучше сказать, уже новое текущее, потому что в этот антракт, надо думать, что прежнее (т. е. современное, теперешнее наше текущее) изменится все радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем». Но разве не он, давайте будем реалистами, разве не он этим своим «антрактом» для самоочищения выставлял телегу впереди лошади? Нет, не за «Бесов» отвергали его революционеры, не за критику так называемого нечаевского социализма; нечаевщина отвергалась всеми, как нечто уродливое и преступное, что в той или иной форме всегда сопутствует жизни, как сопутствует и теперь, и даже, может быть, хо-хо в каких масштабах! И не за «Бесов» так ласков с ним был обер-прокурор святейшего синода Победоносцев и принимало его у себя и чтило царствующее семейство, а за выдвигавшуюся им утопическую идею создания государства-церкви, в котором бы все, от царя до крестьянина, чувствуете, от царя до крестьянина, когда в социальном и политическом плане ничего не должно измениться, — все, самоочистившись и самооздоровившись, жили бы только по законам справедливости, равенства и братства.

— Вы хотите сказать, что Горький был прав, закрыв для нас Достоевского?

— Нет, я не хочу этого сказать. Тогда пришлось бы закрывать и Толстого, ведь он тоже призывал к самосовершенствованию и непротивлению злу насилием.

— Вот именно.

— Новейшие наши исследователи даже находят, что Достоевского следует считать предтечей революции. Возможно, они и правы. Как всякий великий творец, Достоевский не был однозначен, но я о другом. За что-то же он получал благосклонность властей? За что? Да за выдвигавшуюся им идею, то есть за то именно, что ставил телегу, то есть нравственность, впереди лошади, то есть социального, и тем оставлял неизменным существовавший порядок вещей. Казалось бы, очевидно, что идея его — идея тупика, телега впереди лошади никогда не сдвинется с места; голодный прежде будет думать о еде, а не о нравственности, но разве мы не говорим теперь (не ссылаясь, разумеется, на Достоевского), что все негативное происходит у нас от народа, что он потерял нравственность и пр., и пр., в которой надо восстановиться ему, и разве те, кто взывает народ к нравственности, к некоему новому или новейшему (и всеобщему!) «оздоровлению корней», отвергая социальное или не замечая его, — разве эти писатели и деятели не в чести у нас? Разве не им выдается от всех государственных щедрот и не они одарены наградами, чинами, постами и званиями?

IV

Есть люди, которые, начав говорить, не могут остановиться, пока не выскажут все до конца, что знают и думают о предмете разговора. Кудрявцев же, как мне казалось, не только не мог остановиться, но и не помнил даже как будто в эти минуты, что любое общение предполагает не только умение хорошо говорить, но и умение слушать; у меня до сих пор осталось впечатление, что он не просто хотел выговориться, но спешил, спешил, стараясь успеть выложить все, что вынашивалось в его душе и так ли, иначе ли должно было вырваться наружу, и если время от времени что-то и отвлекало его, то лишь беспокойство о том, чтобы слушатель, то есть я, вдруг не улетучился бы куда-либо, не исчез или не оборвал его на середине высказываемой мысли. И хотя, может быть, не все в изложении этого председателя из глубинки было логичным и достоверным, но говорил он с такой завораживающей искренностью, что не поверить ему было нельзя. Да и с точки зрения достоверности, как посмотреть, возможно, даже достовернее, чем в известных многотомных и пухлых исследованиях. Во всяком случае, так все видится мне и теперь, потому

что гениальное всегда просто, а если и могут возникнуть какие-либо сомнения, то лишь по поводу самого этого разговора, реален ли был таковой в тот не столь уж отдаленный от нас застойный период, когда все только восхвалялось, и тем громче, чем скуднее становилась жизнь, да и вообще возможен ли был такой Кудрявцев, не выдуман ли он автором и не смещены ли здесь понятия и время? Нет, нет и нет; и почему мы полагаем, что если на общем фоне жизни способны возникать (и возникали, и действовали!) явления негативные, то даже сама мысль о чем-либо достойном и светлом, что может прорезаться и подать голос, — сама мысль об этом уже считается неверной, неким будто вымыслом или ложью? Мир никогда не был однороден, и в нем всегда находилось место достойному и светлому, к чему тянутся люди; другое дело, насколько удается прорасти, пробиться этому светлому и с чем бывает сопряжено прорастание, то тут, надо сказать, незадачливого председателя из глубинки не минула участь большинства тех, кто хоть как-то пытался в то застойное время проявить инициативу и изменить к лучшему жизнь.

Еще во время разговора, когда слушал Кудрявцева, я с удивлением подумал, как удавалось ему с его взглядами и мыслями уживаться с районным и иным руководством и, возглавляя колхоз, делать то дело, в результативность которого он не верил? Но удавалось, как я узнал позднее, недолго. Его обвинили в самовольстве и бонапартизме, то есть в желании выставить свое Я в ущерб будто бы общему делу, как обвиняли тогда многих (и что, разумеется, казалось справедливым), исключили из партии, сместили с председательского поста, пытались даже возбудить уголовное дело за некие незаконные будто бы выплаты колхозникам, и хотя состава преступления в конце концов не обнаружилось, гонения и унижения так трудно переживались им, что он перенес два обширнейших инфаркта, и когда (после этих инфарктов) я встретил его, передо мной стоял совершенно сникший, раздавленный жизнью человек, на которого было больно смотреть. Он ничего уже не хотел, ни за что не боролся; единственное, что произнес своим упавшим голосом: «Одни бегут из деревни, другие из государства, а суть одна, один корень», — показалось мне лишь отголоском некогда бушевавших страстей. Но и после этой фразы сейчас же так заволновался, что вынужден был положить под язык таблетку нитроглицерина и больше уже не желал ни о чем говорить. Вот так судьба распорядилась этим человеком, который мог и наверняка бы принес пользу обществу, и как тут не вспомнить ошаблоненную будто и (в силу этого) потерявшую значение поговорку, что жизнь прожить — не поле перейти и что, кроме стихии наводнений, засух и бурь, в разные времена и с разною силой могут налетать и свирепствовать смерчи несправедливости, насилий и унижений.

Но давайте вернемся к дням, когда Кудрявцев был еще полон энергии, сил и, не давая мне, в сущности, что-либо вставить в свой монолог, говорил и говорил: не столько уже о Достоевском, о его идее самоочищения народа и всеобщем понятии нравственности, сколько о бессмысленности (для народа же!) и вредности этой идеи, не случайно (и с благословения верхов, именно верхов) получившей столь сильное теперь распространение во всем нашем новейшем цивилизованном мире.

— Человек должен очищаться через страдания, если хотите, через каторгу, как в полемике и не раз, видимо, заявлял автор «Бесов». Может быть, «Самому Высшему нужно было меня привести в каторгу, чтобы я там что-нибудь узнал, т. е. узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием...». Материальное развитие здесь явно противопоставлено началу духовному. Но разве мы, мы с вами, наш народ не прошел через страдания, через разруху, голод, войну, всякого рода «соловки» и «магаданы», и можно ли представить большее испытание, чем выпало нам, но стали ли мы от этого чище, нравственно здоровее? Я повторяю, нравственно здоровее? Да нет, напротив, мы громогласно заявляем, что народ потерял нравственность, развратился, и это не слова, нет, нет, отнюдь не слова, а отсюда и вывод, что прекрасная сама по себе идея самоочищения, не подкрепленная политически и социально, может привести только к еще большему «освинячиванию» (извините, из его же терминологии), к скотству и самоуничтожению, и тут я могу только присоединиться к самому Достоевскому, так

как и у него бывали минуты просветления, когда он действительно с народных позиций смотрел на жизнь.

— Да уж с каких там народных! — возразил я. — Вы так обрисовали, выровнили и высветили его...

— А вы как хотели? Только так, только в очищенном и высветленном виде истина может быть доступна народу. Ни царь, ни власти вообще никогда и ничего не предпринимали, что обернулось бы во вред им. Прах Достоевского покоится в Александро-Невской лавре с благословения Победоносцева, а это разве ни о чем не говорит вам? Пока революция выдвигала задачу социальных и политических перемен, Достоевский замалчивался и отвергался, но как только у «вождя» и «учителя» возникла потребность в укреплении единоличной и безграничной власти, Достоевский со столь ласкавшей, видимо, слух «вождю» идеей очищения народа через каторгу был вновь призван «на службу» и восстановлен в правах. Иногда у меня возникает даже такая крамольная мысль, что не на террор ли снизу (хотя народ и народовольцы далеко не одно и то же) спустя полвека, а точнее, на переломе двадцатых и тридцатых годов, было отвечено народу террором сверху? И каким, каким!!! — воскликнул Кудрявцев, как если бы то, о чем говорил, было исторически исследовано и доказано, а не являлось его предположением, или домыслом, или даже просто фразой, в горячности (и неуправляемо) вырвавшейся из него.

— А не кажется ли вам, — сказал я, воспользовавшись паузой, — что вы зашли настолько далеко, что и те некоторые реалистические мысли, в какие еще можно было поверить, напоминают брюзжание недовольного человека?

— Ну вот и вы, вы тоже... Да оно, конечно, что вам, москвичам, до народа! Вы только — призывать, призывать, а станьте-ка тут попробуйте. Станьте-ка, станьте! — с отчаянностью даже будто начал наседать он.

— Но я не власть, — сказал я наконец.

— А кто же власть? — как если бы и в самом деле не знал, кто власть, спросил он.

Так же, как и Кудрявцев ко мне, я испытывал к нему откровенно двойственное чувство. С одной стороны, он казался мне союзником, человеком, заботящимся об общенародном благе (и близким по взглядам и упорству Ивану Егорычу), а с другой — было в нем что-то враждебное, относившееся, как я уже говорил, скорее не ко мне, а к интеллигенции вообще, представителем которой, как видно (в его глазах), был я и на которую он возлагал и ответственность, и обиду за положение в деревне; и так как согласиться с ним в этом я не мог (да и на идеи Достоевского смотрел несколько иначе, во всяком случае, тогда), — враждебное во мне постепенно начало брать верх, я перестал спорить, отошел к окну и принялся смотреть в осеннюю темноту ночи, невольно перенося неуютность и зябкость погоды (и все то огромное и слякотное бездорожье, по которому удалось добраться сюда) в область душевных переживаний и дум, где были свои глубинки, свои проспекты, свои осенние и весенние времена, ведро, дождливо, радостно, и безысходно, и мрачно, как теперь у столь гостеприимно принявшего меня председателя. Может быть, именно тогда впервые я так ясно почувствовал, насколько разобщены между собой русские люди, что каждую минуту готовы в чем угодно обвинить друг друга, что всегда полны подозрительности, непонимания и глухоты, словно и разговаривают-то не на одном и том же, родном языке.

Темные стекла окна слезились от дождя, и я бездумно как будто смотрел, как слезинки эти, укрупняясь, словно по щекам, скатывались по стеклу вниз и растворялись на железном отливе.

— Но что же вы все-таки хотите? — спросил я, обернувшись.

— Жизни. Обычной, нормальной, свободной и естественной жизни.

— Но ведь «жизнь» — понятие растяжимое.

— Почему же «растяжимое»? Это вы, мыслители, сделали его растяжимым, а для простого люда оно всегда было и остается однозначным и ясным. И начинается оно с чувства основательности, с дома, семьи, с возможности проявить себя.

— И что же для этого нужно?

— Земля, и чтобы человек корнями врастал в нее, а не мотался по ней, как перекати-поле, этаким безродным потребителем-бобылем. Такому человеку на все наплевать, он способен только сгребать сливки и, испохабив и нагадив в одном месте, мчаться в другое. Да и у государства должна быть основательность, а если населяют его подобные потребители-бобыли, оно рано или поздно развалится и перестанет существовать. Отдайте землю! — вдруг и решительно заявил он. — Отдайте в те крестьянские руки, которые испокон трудились на ней, и вы увидите, как восторжествует нравственность (и без страданий и каторг, через которые так красиво призывают пройти нас). Отдайте, ну чего вы боитесь? — повторил он, обращаясь ко мне, словно от моего согласия или несогласия зависело решение этого векового вопроса.

V

Захотим ли мы или не захотим признать, но существует народное и столичное восприятие жизни. Мысль эта точно так же явилась мне после разговора с Кудрявцевым и всю дорогу затем, пока я возвращался из глубинки по осенним разбитым проселкам, останавливаясь в райцентрах и деревнях у знакомых и незнакомых людей, неотступно преследовала меня, как нечто неотвязное, что, раз прицепившись, годами иногда не отстает от людей. Словно в противовес тому, что открывалось вокруг и на что я невольно, не желая того, нет-нет, да и посматривал теперь глазами Кудрявцева (так сконцентрированно-впечатляюще деревенская жизнь была подана им), в памяти вставала совсем иная картина, картина торжеств, проходивших в честь шестидесятилетия Советской власти в Кремлевском Дворце съездов. От Боровицких ворот, огибая собор и колокольню, подкатывали к подъезду дворца то «Волги», то «Чайки» с министрами и разными иными чиновными лицами, сумевшими безупречной будто бы своей службой достичь положения и званий, то «форды», «мерседесы», подвозившие послов и советников посланников. Они выходили из машин и вместе с дамами в дорогих манто, накидках и шубках направлялись сквозь сетку падавшего снега к входным дверям. Те, кто подходил от Троицких ворот (тоже уважаемые и знатные, но все же не дотянувшие до нужных высот), услужливо расступались перед министрами, положение и приоритет которых казались настолько неоспоримыми и незыблемыми, что само слово «равенство», если бы кто осмелился произнести его здесь, прозвучало бы как нечто разрушительное, взятое из чужого и непозволительного лексикона. Именно здесь, у порога дворца, начинался мир совсем иных, чем для простого люда, правил и отношений; тут придавалось значение всему: одежде, улыбке, взгляду, сказанному и не сказанному слову, кивку или рукопожатию, и от того, кто как умел войти в этот мир и держаться в нем, складывались и разрушались карьеры и судьбы. Тут заводились знакомства, возникали интриги, согласовывались «за» или «против» чего-то или кого-то, кто правдолюбием и активностью мешал жить; тут скользили между столами современные «князи василии» (наподобие Угрова или Игоря Максимовича), всегда имевшие в ходу, как писал о таких еще Толстой, десятки дел, одни из которых только задумывались, другие завершались, третьи находились в таком состоянии, когда надо было непременно с кем-то из влиятельных переговорить о них; здесь, в сущности, ни на минуту не прерывалась та а п п а р а т н а я деятельность, без которой, наверное, был бы немыслим современный мир, и дело, конечно же, не в том, что по ходу жизни и для упорядочения ее повсюду вынуждены создаваться и действовать институты управления и власти, а в том, что, создавшись, они тут же забывают, для чего создались, и, обратив упорядочение жизни для всех в упорядочение для себя, кладут барьер между собой и народом. Среди людей простых, отягченных заботами, действительность всегда предстает такой, какая она есть на самом деле, тогда как из Кремлевского Дворца съездов, где все ослеплено блеском иаград, нарядов и лиц, та же действительность видится и воспринимается по-другому, как нечто могущественное, несокрушимое, в едином порыве устремленное к вершинам человеческого счастья. Чувство это охватывало и меня, и я бы солгал, сказав, что и тогда, во дворце, был столь же прозорлив, как теперь. Нет, ложь, замешанная на патриотизме, — это страшная ложь; она так иногда способна проникнуть в души, что может не только ослепить человека, но ослеплять народы, и на десятилетия, на жизнь, и требуются затем усилия поколений,

чтобы избавиться от нее. Мне казалось, что под сводами дворца собралось в тот день не просто достойное и лучшее, что можно было еще найти в нашей жизни, но будто сама эта наша жизнь, полная изобилия, энтузиазма и радостей, сошлась здесь показать себя, и когда над столами и яствами, над толпой притихших участников загремела речь Генерального (с еле заметным тогда и развившимся к старости характерным причмокиванием), она не только никому не показалась преувеличением и фальшью, но, соединившись с обилием яств, то есть с видом ветчин, колбас, молочных поросят в сливах и метровых осетров, лежавших на блюдах, была воспринята как откровение, под аплодисменты, и потонувший затем в музыке, переливах света и разговорах зал уже и в самом деле представлялся частицей жизни, какой жили мы все, жил народ, а если у кого и были (до яств и речей) какие-либо сомнения — да так ли все на самом деле? — они могли вызвать теперь лишь смущение и краску неловкости на лице.

Обо всем этом и думал я, возвращаясь (после разговора с Кудрявцевым и вида умирающих деревень) в Москву, и чувство неловкости, какое охватывало меня, происходило теперь не от того, что когда-то не с *теми* будто бы мыслями явился в Кремлевский Дворец съездов, но от *ослепления*, которому так непростительно, словно мальчишка, поддался на торжествах. «Как могло это случиться, и насколько же сильна и действенна общая атмосфера жизни?» — вопрошал я, хотя и осторожно, но все же разрешая себе (в этих вопросах своих) выйти за рамки дозволенного. До перестройки и гласности было тогда еще далеко, и трудно было даже предположить, чтобы что-либо вообще могло измениться в нашей действительности; все и вся (несмотря на слухи о болезни Брежнева) еще прочно удерживалось на местах, и эта очевидная, будто и ложная, как потом оказалось, незыблемость, как глыба, давила на сознание, сковывая мысль, и если я что-то и мог (что казалось крамольным даже в размышлениях) позволить себе, то лишь в том плане, что общественное оставить общественным и незыблемым, а личное и субъективное выделить именно как личное и субъективное, не обязывающее ни к чему. В сущности, я подстилал солому, чтобы мягче упасть, тогда как чего, собственно, было опасаться? Что уличат в инакомыслии? Да кто мог узнать о моих мыслях, ведь я не обнародовал их, они были во мне, были именно моими, не больше; но страх поколений, видимо, иначе не объяснишь, то есть вечная боязнь сказать лишнее, некоей будто традицией так безраздельно тогда властвовал в нас, что даже теперь, когда, казалось, уже некого и нечего бояться, я вдруг начинаю замечать, что что-то сдерживающее продолжает будто нависать надо мной, принуждая ловчить и дозировать истину. Но тогда разделительная черта была ясной и четкой, и та целостная картина торжества, как она запомнилась мне, вновь и вновь вставала перед глазами, и я видел то банкетный зал с президиумом и сценой, на которую выходили певцы, декламаторы, танцоры; они были — сами по себе, зал — сам по себе, живший в эти минуты, может быть, самой интенсивной своей *аппаратной* жизнью; то все вдруг перемещалось к началу приема, когда именитые и не столь именитые еще только съезжались, накапливаясь в фойе и переходах, и эта панорама ожидания и преддверия казалась мне наполненной будто особым смыслом. Гости не перемешивались, нет, а старались держаться по принадлежности, стайками, как во всяком, видимо, сословном обществе: отдельно космонавты, отдельно военные, министры, духовенство, аграрники с иконостасами из орденов и медалей, словно выращенное и убранное ими и в самом деле некуда было деть, партийные вожаки, хозяйственники, ученые и представители той творческой интеллигенции — литераторы, художники, актеры, музыканты и т. д., и т. п., — без которых невозможно представить, чтобы прошло какое-либо торжество или событие. Они либо стояли, либо прохаживались по кругу, роясь и разделяясь — не по талантам, а по интересам направлений и групп; они славили жизнь, и жизнь платила им этими почестями, словно уже записывала в бессмертие, и не тогда, нет, не в зале, когда я был среди них, а теперь, когда все лишь повторялось перед глазами, я спрашиваю себя: погрешимы ли вообще в чем-либо эти люди, способны ли приложить к себе то, к чему призывают арод, то есть к очищению через страдания и каторги, или им не в чем и не перед кем очищаться? В конце концов говоря об «оздоровлении корней», Достоевский призывал к очищению всех от кре-

стьянина до царя, общество в целом, и если уж выставлять теперь этот завораживающий обман впереди социального, то и начинать надо с самих себя, с соскребания именно с *себя* той лжи, какой сумели так основательно облепиться, особенно за последние десятилетия, что уже и не можем ничего разглядеть за ней. Я задавал себе этот тяжелый и страшный вопрос, и не то чтобы не видел или не находил на него ответа; ответ был, но как раз оттого, что был, и был однозначно очевиден и прост — очищаться должны другие! — становилось еще более не по себе, как перед пропастью, которую, заведомо знаешь, что преодолеть нельзя, а надо, ибо только за нею и может открыться истина.

Я не знаю, кому и как покажутся эти мои размышления; может быть, у кого-то найдутся более серьезные и глубокие мысли, но (по какой-то, видимо, злой иронии) я вновь тогда оказался перед выбором: где и в чем искать правду, в глубинах ли народной жизни, как это предлагалось нам всегда, во все времена, словно только в народе и есть истина, от понимания которой зависит все, или и в тех кругах, точнее, в столичных, где вырабатываются (путем сплетения главным образом личных интересов) условия и условности бытия? Жизнь народа, она, в сущности, однозначна и проста, и нужны здесь не исследования, а добрая воля, чтобы понять и принять ее; но как раз доброй воли-то и не хватает у тех, кому следовало бы разобраться в ней, признать и приобщиться к ее традициям и законам, и они наворачивают горы всевозможных так называемых философских преград, чтобы простое и доступное (в естестве человека) превращать в сложное и недоступное и затем кормиться путем распутывания самими же завязанных узлов; в таком вот упрощенном виде и открывалась передо мной вся наша историческая схема бытия, и в то время как одни узлы (для видимости движения) как будто развязывались, давая послабление народам, на другом конце и теми же заинтересованными силами стягивались новые и более основательные и прочные, чтобы никогда не могла прерваться так очевидная (в развитии человечества) цепь облегчений и сложностей, облегчений и сложностей, то есть то состояние общества, когда оставался бы незыблемым раздел на бесправных и власть имущих и не сводилось бы на нет то праздноголосое племя, которое, угодничая то в одну, то в другую сторону, в зависимости от обстоятельств, так наловчилось за счет этого своего угодничества кормиться и процветать. Да, я вновь был перед выбором и вновь (и в который уже раз) склонялся к тому, что искать истину надо не в глубинке, вернее, не столько в народе, жизнь которого проста и ясна, сколько среди тех и там, где затягиваются узлы, превращая простое в сложное, чтобы раскрыть наконец этот механизм *превращения* и освободить от него людей. «В Москву, в Москву, ко всем этим игорям максимовичам, утровым, стригуновым, соевым», — говорил я, выбирая (по тогдашним представлениям своим) направление поиска, как ни противна была сама мысль о встрече с ними.

VI

Событие, которое дома встретило меня, показалось мне неожиданным и странным, во всяком случае, по тем общественным меркам, по которым тогда измерялось все. Жена с ужасом объявила, что двоюродная сестра ее Вера, женщина вспыльчивая и болезненная (после своих шести законных и незаконных замужеств), втянулась в какую-то то ли группу, то ли «школу» общественного здоровья, из которой ее надо было немедленно вызволять, так как она не только физически, но и умственно могла «окончательно свихнуться там». Одновременно с этим Иван Егорыч, приславший письмо, сообщал, что бывшая жена его, Лия, приобщилась к какой-то «школе» эволюционно-социальной йоги, куда намеревалась втянуть и дочерей, и просил написать, не знаю ли я что-либо об этой полуофициальной, как добавлял он, организации. Он беспокоился за дочерей, но что я мог ответить ему? Подобные организации тогда в изобилии, словно грибы, возникали и угасали на фоне нашего общего экономического и духовного застоя, о них говорили с таинственностью, как о чем-то мистическом, но так как то, что не укладывалось в русло народной жизни, представлялось мне несерьезным, то и к этим организациям я относился вроде бы как к забавам, какие нет-нет да и позволяют себе (от пресыщенности

и безделья) взрослые люди. Но как же близки мы бываем иногда к истинам, которые ищем, и как беспечно пропускаем сквозь пальцы то, что может оказаться ключом или зацепкой к пониманию происходящего! Ведь мне тогда и в голову не пришло подумать, что между сообщением жены и письмом Ивана Егорыча могла существовать связь и что от этой именно связи, как от конечного звена цепи, начнет разматываться весь тот клубок социально-нравственных сплетений, подходы к которому так долго не удавалось найти мне. Правда, слово «школа», упоминавшееся и в письме, и в рассказе жены, несколько насторожило меня, но — мало ли каких не бывает совпадений! — я как-то не придал этому значения и, отправившись к родственнице, был убежден, что то, что предстояло уладить с ней, ни малейшего отношения не имело к тому, о чем просил выяснить и написать Иван Егорыч.

Не знаю, замечали ли вы, но в жизни часто происходит так, что о родных и близких мы знаем куда меньше, чем о сослуживцах или просто знакомых; и хотя никакой закономерности, разумеется, тут вывести нельзя, но, мне кажется, явление это само по себе (в наших новейших условиях) знаменательное и имеет свои обоснования и корни. Месяцами иногда я не видел Веры и узнавал о ее делах лишь из сообщений жены, которая, впрочем, тоже лишь передавала мне свои телефонные разговоры с сестрой. Но телефонные разговоры в конце концов есть только *телефонные*, и могут ли они, да еще в пересказе, дать то представление о собеседнике, какое остается непосредственно от общения, когда видишь не только лицо и глаза говорящего, но и окружающие его убогость или достаток? Я знал, что Вера жила скромно, как живет большинство подобных ей одиноких женщин, о которых принято говорить, что у них не сложилась судьба, как будто сочетанием «не сложилась» и в самом деле можно что-то объяснить в их жизни; но так же, как яму, застланную мешковиной, затруднительно обнаружить только издали, — социальное явление, прикрытое фразой, может оставаться не замеченным лишь до поры, пока люди (по своей ли воле, по принуждению ли) будут держаться на расстоянии от него, но как только, приблизившись и отказавшись от предвзятостей, попытаются заинтересованно посмотреть на него, реальность может ошеломить их. Ведь женщины этого ряда не просто одиноки, что само по себе уже противоестественно человеческому существу и сопряжено со страданиями; обделенные семьей и материнством, они так и уходят из жизни, не познав главного, для чего рождается человек и что как раз, может быть, и составляет высший смысл бытия. Мне могут возразить, что разве в семье и детях главное, а не в служении обществу, его идеалам и целям? Возможно, но тогда позволительно узнать, что же это за общество и что за цели и идеалы у него, если они не дают, а отнимают, пусть даже во имя будущих поколений, да и возможны ли вообще сами те *будущие* поколения без обустроенного настоящего, из которого они должны вырастать? Если когда я и думал о своей (по линии жены) родственнице, то лишь как о простушке, не сумевшей соблюсти себя, и что беды ее — от ее же характера, распущенности и безволия (как, впрочем, и предлагается думать о подобных женщинах). Но так ли уж от распущенности и безволия, спрашиваю себя теперь, и не заслоняемся ли мы тут от явления, к которому не хотим или боимся подойти? Семья, в которой (по всем нашим прошлым традициям) обычно закладывалась да и должна закладываться теперь духовная основа человека, не то чтобы не дала, но, в сущности, не могла ничего дать Вере — уже в силу того, что семьи как таковой у нее и не было. Отца, погибшего на войне, она не помнила, а для отчимов, которые — сначала один, потом другой — поочередно пытались прижиться в доме, была лишь обузой, усложнявшей им жизнь, и вместо родительской ласки, тепла и основательности, что явилось бы примером и, как эстафета, передалось ей, она натыкалась лишь на безразличие, отчужденность и холодность и, смирившись в конце концов, как с нормой, с этим обкраденным состоянием жизни, только и могла, что в ухудшенном варианте повторить ее. Ведь мы лишь страшимся сказать, что разрушение семьи есть разрушение общества, а забвение традиций есть возврат к дикости; от тех крестьянских и городских, то есть интеллигентских семей, в которых сохранялся и передавался, словно по наследству, наш национальный русский уклад жизни, мне кажется, остались теперь (за редким, может быть, исключением) лишь вос-

поминания, и сколько бы мы тут ни ссылались на объективные или какие-либо еще причины, которых всегда при умной голове достаточно под рукой, но разрушение есть разрушение, и чему же удивляться, если приходится пожинать теперь столь щедрые плоды безнравственности? Неподготовленность молодых людей к супружеству, к жизни вообще, поощрение ранней самостоятельности, когда по незнанию и неопытности человек более всего способен натворить глупостей, — если бы только в этом заключалось все; как и тысячи сверстников и сверстниц, готовившихся после школ и вузов вступить в жизнь и постигавших ее не по реальности, как все происходило в ней, а по тем идиллическим стандартам, по которым считалось, что нет и не может быть благороднее и справедливее общества, чем наше, — Вера, в сущности, оказалась обманутой перед той действительностью, в какую пришлось окунуться ей, и обман этот только еще сильнее разочаровал и запутал ее. То, чему она училась и готовилась посвятить жизнь, — ей хотелось стать инженером-химиком, — то есть те знания, которые так старательно пыталась усвоить, и та вера в справедливость, что усилия будут оценены, приняты и принесут удовлетворение (своей именно общественной значимостью), — она вдруг увидела, оказались ненужными, даже обременительными, потому что успех и блага распределялись не по способностям и люди ценились не по знаниям и не за деятельность; здесь действовали совсем иные законы, которых она не знала и не понимала, и так как против этих *иных* законов никто не восставал, а всех как будто устраивало все, то и ей ничего не оставалось, как присоединиться ко всем в том НИИ, в который она попала по распределению, и, ничего, в сущности, не производя, получать свой минимум к существованию.

Она вышла замуж, когда ей перевалило за двадцать пять и со всей своей неподготовленностью к супружеской жизни, в которой, кроме счастья любви, обычно поджидает молодых многое и многое, с чем им надо мириться и к чему привыкать, и той надломленностью, какую обрела, вступив после школьных и студенческих грез в действительность (и где есть оправдания всему, в том числе и разврату, и легкомыслию, и вседозволенности), она не только не могла ужиться *характером*, как она говорила, со своим первым супругом, но они уже через месяц, как враги, за версту обходили друг друга, бледнея и негодуя, собственно, лишь на то, что обманулись будто бы в лучших своих намерениях и чувствах. Разумеется, мне трудно да почти и невозможно говорить о подробностях, какими сопровождался скандал и развод в их только-только начавшей тогда формироваться семье, но ведь ничего внешнего не бывает без глубинных причин, порождающих его, то есть без тех не вполне осознанных еще нами процессов и перемен, усиленно происходящих теперь в обществе и в корне меняющих (в лучшую ли, худшую ли, к сожалению, нам уже не дано будет узнать) психологию и быт русского человека. Но я не убежден, что все, что складывалось веками, можно отнести лишь к плохому и за какие-нибудь пять или шесть десятков лет переломить все к лучшему; история показывает, что жизнь обычно возвращается на круги своя, и не возвращаются к жизни лишь нации и народы, не сумевшие отстоять своей самобытности. «Да полно, — могут сказать. — Судьба какой-то там родственницы и судьбы народов...» Да кто же тогда мы, каждый из нас, как не частица общей судьбы, и не в нас ли и не через наши ли страдания переламываются страдания человечества? И не в том ли глубочайшая наша ошибка, что мы не прислушиваемся к себе и не прикладываем или боимся приложить свой миллионный (и неосознанный!) багаж знаний к состоянию жизни, чтобы отделить в ней правду от лжи? Общая неустроенность людей, их молчаливое, похожее на покорность неприятие жизни, то есть неприятие той граничащей со вседозволенностью (для определенных личностей) и полнейшим, если не сказать сильнее (и это уже для большинства) бесправием, необходимым будто бы народу для его же блага, — все это вбиралось, впитывалось и вырастало в тот нетерпимый характер, от какого мучилась не только Вера, но мучились многие, не находя сил и решимости примкнуть либо уж полностью к вседозволенности, либо к смирению, и, мечась между двумя этими началами и проваливаясь, как между стульями, в пустоту (или в невесомость, как хотите), не могли уже понять, живут ли на самом деле или только кажется, что живут.

Второе замужество Веры оказалось еще более неудачным, чем пер-

вое, хотя и вышла она как будто, как говорила, за человека доброго, умного и порядочного. Она толком не знала, чего хотела получить от этого замужества, но то, что хотела получить, не получила, и это настолько обескуражило и раздражило ее, что уже и минуты, как ей казалось, не могла оставаться с неприятным ей человеком. На нее словно что-то вдруг находило, и она то мрачнела и замыкалась, так что по неделям нельзя было услышать от нее слова, то ни с чего будто начинала плакать, и утешения и ласки вызывали в ней лишь большую истеричность; как при физической болезни, она переживала тот кризис (душевный), после которого должно было наступить обновление; и как ни покажется это невероятным или странным, но чем чаще она теперь меняла мужей, уже не справляя свадеб и не регистрируясь в браке, то есть чем больше привыкала к этой неестественной (с точки зрения достоинства и морали), но не осуждавшейся теперь никем жизни, тем спокойнее вроде бы становилось у нее на душе, как если бы она еще не вполне, но почти уже достигла цели. Она так привыкла, работая, не работать; так пристрастилась к разговорам о вещах и к бесконечным поискам их, поискам даже самых элементарных колготок, что уже, наверное, и не могла представить себе какой-либо иной жизни, чем та, какую жила, и если я за что-то и недолюбливал ее, то лишь за этот мир интересов, в котором все было настолько элементарно простым, бессмысленным и пошлым, что, казалось, и незачем и не для чего было вникать в него. «Это иллюзия, что ее можно убедить в чем-то,— думал я, искренне полагая, что только растрачиваю время, идя к ней.— Если горбат, то и могила вряд ли исправит».

VII

В небольшой двухкомнатной квартире, доставшейся ей от матери, было в этот вечер до странного многолюдно. Я понял это сейчас же, как только вошел,— по оживленному шуму голосов, доносившемуся из глубины комнаты в прихожую; да и в прихожей все было завешано мужскими и дамскими пальто и шубами, а вдоль стены рядком стояла та зимняя обувь, в которой (по просьбе ли хозяйки или из уважения к ней) многие не решились, видимо, войти в застланную ковром гостиную.

— У тебя, я вижу, событие?— окинув взглядом весь этот набор одежды, шапок и обуви и невольно (и заранее уже) испытывая неловкость от обилия незнакомых людей, спросил я у Веры. Отправляясь к ней, я рассчитывал на уединенный с ней разговор, которым и намеревался закончить дело, но теперь было очевидно, что не только уединенного, но никакого вообще разговора с Верой (при столь шумном скоплении) состояться не может, и мне жаль было усилий и времени, затраченных на глупейшую и лишь по настоянию жены поездку сюда.— Так что за событие, что за праздник?— повторил я, подумав, что не лучше ли теперь же, сославшись, что могу только помешать всем, проститься и уйти.

— А что тебя волнует? Я и сама не знала, так получилось. Да это все прекрасные люди,— после мгновенного и неуловимого будто смущения, как тень, скользнувшего на ее худом и бледном (скорее от цвета обоев) лице, проговорила она и, стянув с меня шапку и шарф, принялась помогать расстегивать дубленку, более чем говоря этим, что и слышать не захочет, чтобы отпустить меня.

Она подала знакомые, со стоптанными задниками, тапочки и, подождав, пока я переобуюсь, направилась впереди меня в гостиную по обвешанному гравюрами и масками коридору.

Я уже говорил, что жила Вера скромно, может быть, даже более чем скромно, на свою «научную», как она выражалась, зарплату, и гравюры и маски, со стен смотревшие на меня (как они смотрели всякий раз, но с той лишь разницей, что что-то непременно прибавлялось к ним), представляли собой лишь те дешевые и бессмысленные подношения, какими по случаю и без случая так принято теперь у нас одаривать друзей. За Верой же, кроме всех прочих ее «достоинств», я знал, прочно держалась слава любительницы и собирательницы африканских масок, вот и сносились ей эти из красной и черной древесины заморские шедевры— чем страшнее, тем будто бы лучше, как полагали, наверное, те, кто, как экзо-

тику, вез подобное добро в Москву; но у нее они действительно смотрелись, словно коллекция, и представлялись даже будто богатством, обладательницей которого она была. Но мне казалось да и кажется теперь, что нет большей безвкусицы, чем подобное, не в русских традициях, украшательство наших жилищ, и от этой ли безвкусицы или от самих масок с их омертвелыми оскалами во мне начал подниматься какой-то будто общий протест против неистребимой человеческой глупости, слишком уж во всем сегодня сопровождающей нас. «Вот тут вся она, да, да, в этом»,— как нечто заученное, произнес я про себя, шагнув за Верой и стараясь смотреть только вперед, на ее спину и дальше, что вырисовывалось в конце коридора и тоже было в подробностях знакомо мне. Коридор упирался в кухонную дверь, которая была распахнута, на кухне горел свет и стояли какие-то люди, вышедшие туда то ли покурить, то ли помочь Вере приготовить к столу Они, казалось, были так поглощены своим, что никто из них даже не подумал оглянуться на нас, и как я ни пытался разглядеть среди них, кто был бы знаком мне, узнать никого не мог и только лишь с большей неприязнью подумал о Вере, что «вожжается вечно с кем-то, не приведи бог, с кем».

— Как съездилось, удачно?— обернувшись, спросила она (явно из приличия, лишь бы спросить что-то).

— Да как тебе сказать...

— Ах, у тебя все сперва не так, а потом... так!— И я увидел на ее сухощавом лице ту, с хитрецой, улыбку, будто она всегда знала, в чем уличить меня.— Я сейчас познакомлю тебя со всеми,— затем как-то таинственно, почти шепотом, произнесла она то ли из желания поднять у меня интерес к ее гостям и возвысить себя на фоне этого интереса, то ли из опасения, чтобы я не осудил ее за ее друзей прежде, чем узнаю их.— Прекрасные, прекрасные люди,— уже совсем заговорщицки добавила Вера, во все глаза, как сказали бы в народе, глядя на меня.

(Художник, пишущий с натуры, всегда имеет возможность выбрать из окружающего его мира то, что по расположению, краскам и выразительности в данный момент подходит ему, то есть соответствует настроению и возможностям; еще более в выгодном положении оказывается фантаст, который волен разрешить себе все, что захочет и что не противоречит его представлениям о порядочности и красоте; мне же, в чем и признаюсь, заключая это отступление в скобки, чтобы не любящий длиннот мог без видимого, по крайней мере для себя, ущерба опустить его,— мне, взявшемуся изложить лишь то, что было, не только невозможно хоть что-либо изменить в описываемом предмете, но невозможно даже подумать, чтобы отступить от правды, какой бы невыразительной ни являлась она для изображения и как бы ни заскучивала текст. Вера, какой я смолоду знал ее, ведь образ складывается не из одной встречи и не по одному взгляду, была женщиной привлекательной— от той энергии жизни, которая постоянно словно бы исходила от нее и делала ее необыкновенно живой, жизнерадостной и открытой. Одевалась она тогда ярко, носила короткую, под мальчика, стрижку, в ушах всегда светились хотя и дешевые, но броские сережки, а мини-юбки, бывшие в моде,— из кожзаменителей, с металлическими поясами, пряжками и застежками,— выше колен оголявшие ей молодые, красивые, стройные ноги, и батники, строгостью линий лишь подчеркивавшие ее, казалось, всегдашнюю и неиссякаемую женственность, словно бы для того только и шились, чтобы она могла во всей прелести показать себя. Пик этой ее бурной жизни приходился как раз на годы, когда она только и делала, что меняла мужей, сходясь и расходясь с ними; ей, наверное, как и всем нам в свое время, казалось, что молодость вечна и что тот запас жизни, какой носим в себе, не может иссякнуть, и с этим-то именно выражением бездумной расточительности сил, придающим (всегда и ложно) привлекательность женщинам, я только и представлял Веру. Но она давно уже была не такой и носила вещи невзрачные, невыразительные, серые. Отчего это? От возраста ли и усталости души, хотя по годам была еще женщиной довольно молодой и красивой, от безразличия ли, вытекавшего из общего безразличия народа к своему бытию, чему, впрочем, есть свои и глубокие объяснения, или просто от того, что одна мода, выражав-

шая о д н и настроения, знаменовавшие начало брежневского правления, когда в ожидании перемен и упорядочения мы способны были еще удивляться и верить в нечто будто приоткрывшееся нам, заменилась другой, выражавшей уже совсем иное состояние общества, то есть коррупцию и безвременье, чем, собственно, и завершился столь «славно» начавшийся брежневский век. Безвременье власти, в сущности, обернулось безвременьем моды: и «мини», и «макси», что на ком, и джинсы, и чуть ли не гамаши, лишь бы — обтягивало, и лишь бы — как все и куда все, хотя и неизвестно, куда же все. Ведь говорят, что, чтобы понять, как живет народ, достаточно взглянуть на уличную толпу, во что она одета. Я добавил бы: и на сами улицы, на города, особенно провинциальные, которые мы только для того будто и сохраняем с «времен очаковских и покоренья Крыма», чтобы иметь фон для съемок исторических фильмов. То, в чем была Вера, — она была в джинсах и сером мужском свитере, и в чем были гости — тоже в чем-то неприглядном и сером, было настолько невыразительным, что, в сущности, не на чем было остановить глаз; но, как я заметил уже, у меня нет иного выбора, чем описать эту невыразительность, столь характерную не только для тогдашней, но, как мне кажется, и для теперешней нашей жизни).

VIII

Представив меня гостям, Вера со своей стриженной под мальчика сухонькой головкой, будто вложенной в стоячий воротник свитера, вышла на кухню, где у нее, как видно, были дела, и я, предоставленный, как говорят в таких случаях, сам себе, так как все опять занялись — каждый своим разговором, невольно принялся изучать этих моих новых знакомцев. В комнате их было человек семь или восемь (да четверо на кухне, как потом выяснилось), и едва я взглянул на них, как сейчас же понял, что все они были того же уровня достатка и положения, на каком была Вера и были многие, если не сказать больше, что вся или почти вся наша мыслящая интеллигенция, и в этой не всегда и не во всем сознаваемой нами бедности, как я уже говорил, способной зачастую порождать лишь убогие и бедные мысли, я вдруг странно почувствовал, было что-то объединяющее (или завершающее) с той деревенской картиной жизни, какая после поездки еще развернуто стояла передо мной. Мы говорим: жизнь целостна. Но я впервые (если чуть забежать вперед) в этот вечер у Веры по-настоящему осознал, на чем цементировалась эта целостность, — на бедности, которую мы всегда так старательно стремимся прикрыть, но которая вместе с тем проступает и выказывает себя. Несколько подвесных книжных полок, комод с фотокарточками в рамках на нем, стол, стулья, диван, застланный довольно выношенным уже пледом, пара продавленных кресел с потертыми подлокотниками — вот, собственно, и все, что составляло убранство гостиной и было не то чтобы знакомо, но привычно мне, как привычен бывает на человеке костюм или еще что-либо, с чем соединяются наши представления о нем. С Верой, как я уже говорил, обычно связывалось у меня ее неумение обустроиться в жизни, и потому бедность ее представлялась чем-то будто естественным, что не могло и не вызывало сомнений; но оттого ли, что у нее теперь было много гостей, похожих на нее, которые и усиливали впечатление, или — что у меня (после российских глубинок) было с чем сравнить ее жизнь, а желание к обобщению, то есть к высвечению истины, еще не задавлено житейщиной, — убранство гостиной и люди в ней произвели столь неожиданное впечатление, что я готов был уже по-иному посмотреть и на самою Веру и посочувствовать ей. «Куда и зачем ездить, когда здесь, рядом, среди своих — та же глубина жизни? — подумал я, с изумлением открыв для себя эту столь простую (для восприятия) истину, к которой, впрочем, чтобы понять ее, пришлось одолеть столько запутанных и сложных дорог. — И Вера, и все мы, и я, все, все — лишь произвольное от общего, лишь часть из чего составляется целое, и не от Вселенной к атому, а от атома ко Вселенной — вот путь познания мира!»

Но в то время как эти отвлеченные мысли продолжали еще занимать меня и я присматривался то к одним, то к другим гостям Веры, особенно к седовласому мужчине, покачивавшемуся на стуле, и двум дамам и девушке, с румянцем стеснения стоявшей возле них (и девушка, и обе довольно еще молодые, вернее, молодящиеся, женщины были в джинсах и удлиненных то ли свитерах, то ли шерстяных кофтах, закрывавших им бедра), в комнате начались какие-то странные, как мне показалось, приготовления. Двое пришедших из кухни потеснили людей и мебель к стенам, поставили на расчищенном месте, перед ковром, кресло, и, осмотревшись и убедившись, что сделали все, удалились на кухню так же молча, как и вошли. Разговоры в гостиной сейчас же оборвались, и все обернулись на дверь, как перед выносом гроба с покойным или выходом кумира на сцену, когда происходящее вдруг для всех обретает один смысл. Не знаю, действительно ли могут безгласно, на расстоянии, передаваться чувства, или тут действуют какие-то иные и не изученные еще силы, но так ли, иначе ли, хотя я даже отдаленно не представлял, для чего все эти Верины гости собрались у нее и чем определялся их столь повышенный интерес к должному появиться и занять кресло лицу, — общая атмосфера ожидания и напряжения так живо (и сильно) захватила меня, что и я, забыв о своем, с тем же будто волнением, что и все, принялся смотреть на дверь. Да, так было, и я не могу не сказать об этом чувстве п р и ч а с т н о с т и, может быть, наивысшем человеческом инстинкте, делающем людей народом, но и заставляющем иногда (за общие грехи) страдать отдельную невинную личность; мне было не то чтобы любопытно увидеть, что произойдет здесь, но в любопытство это, в общем-то понятное и естественное, было словно вплетено нечто с о ц и а л ь н о е, что должно было затронуть и мои интересы жизни.

Из кухни тоже пока не доносилось ни звука, будто и там выжидали чего-то. Но затем раздались шаги, и в дверях появился стройный моложавый мужчина лет сорока — сорока пяти, в модном, с разрезами по бокам, пиджаке, светлой рубашке и галстуке, завязанном аккуратным тонким узлом. В обрамлении толпившихся за ним людей (и Веры, стриженая головка которой виднелась за его плечом), он выглядел не то чтобы ухоженным, но холеным, как выглядят обычно люди, обладающие богатством и властью, хотя, в сущности, как я теперь вижу его, ничего особенного, приметного вроде и не было в нем. Почти безбровое лицо его, близкое (по своему типу) к простонародному, крестьянскому, может быть, и вовсе не произвело бы впечатления, если бы не условия жизни, всегда накладывающие свой отпечаток на нас. И дело не в том, что оно было чисто выбрито; но оно казалось так тщательно промытым (словно пальцы у хирурга перед операцией), что даже издали отдавало какой-то необыкновенной будто свежестью, а довольно приметные (с розовыми и тоже промытыми мочками) уши и прическа, гладкая и с пробором, явно говорившим о педантичности, лишь усиливали это общее впечатление достатка, довольства и свежести. Серые, с чуть заметной голубизной глаза его выражали какое-то глубокое то ли спокойствие, то ли безразличие ко всему, хотя это и было обманчиво, даже ложно и выдавало лишь артистизм, с каким он умел сыграть свою роль. Ни земные блага, ни страдания давно уже как будто не интересовали его, он был выше этих сиюминутных человеческих сует и если и снисходил теперь к собравшимся здесь, то только как мессия, чтобы помочь и им освободиться от бренных пут жизни и, воспрянув духом для великих и добрых дел, познать наконец истинный смысл и вечность человеческого бытия. Я не могу теперь с точностью сказать, почему меня охватили именно эти мысли, связанные с оккультизмом, мистикой или религией, если точнее, как они охватывают нас при виде иконостаса, свечей и священника в епитрахили и ризе, отправляющего службу; но так было, словно вошел мессия вершить суд, и все как будто еще более притихли, готовые принять все от этого появившегося в дверях человека.

Не глядя ни на кого, но видя, по-моему, всех и все, он прошел к креслу и сел в него; и, уже сидя в нем, вдруг торопливо приподнял руки над подлокотниками, боясь, что может замараться о них, но почти тут же, подавив брезгливость, занял то деловое (по роли своей) положение, какое заведомо уже было определено ему. Все продолжали смотреть на него, ожидая каких-то слов или команды; смотрел на него и я — с непониманием, недоумением и протестом, начавшим уже, и ни с чего будто, подниматься во мне; мне не понравилась его брезгливость, и, как и бывает в таких случаях, все сейчас же сосредоточилось на этой именно брезгливо-

сти, я почувствовал себя оскорбленным за Веру, за ее бедность: «Да, так вот и живем, и нечего тут морщиться и воротить нос», — и принялся искать ее глазами, чтобы сказать об этом. Но Веры в гостиной не было. Она стояла за дверью, в коридоре, прислонившись к косяку, и стриженая головка ее, казалось, по самые уши была теперь втянута в широкий воротник свитера. Сжавшись, как в испуге, она сцепленными в кулак руками заслонила грудь, лицо ее, худое и бледное, выглядело еще болезненнее, да и вся она представлялась какой-то запуганной и жалкой. Мне показалось (да так оно и подтвердилось потом), что происходившее в ее квартире происходило помимо ее воли; она, как хозяйка, была отстранена, у нее ни о чем не спрашивали, с ней не считались, и, видимо, не ожидавшая подобного поворота, она была так ошеломлена и подавлена, что боялась не то чтобы встретиться взглядом со мной, но со всеми, кто находился в гостиной и мог не лучшим образом подумать о ней. «Да что же это в конце концов, что тут происходит?» — собрав все свое возмущение в этот вполне естественный, как и теперь полагаю, вопрос, мысленно проговорил я, и в то время как хотел уже двинуться к Вере, чтобы поговорить с ней, в комнате произошло событие, которое (неожиданностью и странностью своей) опять привлекло мое внимание.

Без какого-либо знака, сигнала или команды (или я просто не заметил, занятый поисками Веры) седовласый мужчина, которого звали Федором Васильевичем Четверяковым, как я узнал позже, вдруг поднялся со своего места, подошел к креслу и опустился на колени перед человеком, сидевшим в нем. Мне не было видно лица Четверякова. Я смотрел на него со спины и видел лишь склоненную голову, плечи, сморщившийся возле подмышек пиджак и ноги в грязных носках, высунутые из-под пиджака. Вид их так поразил меня, что на мгновенье показалось, будто я уловил даже запах, исходивший от них, и запах этот — запах неряшливости и пота, — и коленопреклонение, то есть проявление рабства, столь невытравимо живущего в нас (века, века, однако, стоят за этим унизительнейшим явлением жизни), разумеется, не могли вызвать ничего иного, кроме как отвращения. Четверяков был неприятен мне так же, как и «мессия» в кресле, с отреченностью будто, будто невидяще, как должно было представляться со стороны, смотревший на него. Но впечатление всегда есть только впечатление, и, может быть, о нем не стоило и писать, тем более если оно ложно; история Четверякова, этого растерявшегося перед жизнью экономиста и философа, стеной неприятия и умолчания доведенного до крайнего тупика, — история эта, приоткрывшись мне потом, как мандат оправдания, еще заставит по-иному взглянуть на него, но в эти секунды, когда я с удивлением и омерзением, да, да, омерзением, смотрел на Федора Васильевича, мне ясно было только одно, что в гостиной у Веры разворачивалось какое-то совершенно немыслимое для нынешних времен действо.

Четверяков молчал. Молчал и «мессия». Молчали все, взвинчивая напряженность, и в установившейся тишине было слышно, как работал на кухне холодильник и кто-то, выходя, громко хлопнул дверью в подъезде.

— Покайся, покайся, — один, второй, третий раздались голоса вокруг Четверякова.

Ему, как студенту, запутавшемуся в вопросах экзаменатора, подсказывали, что делать, но он, словно потеряв слух, продолжал лишь устремленно смотреть перед собой в пол, как смотрят отупелые или тугодумы, не успевающие и за сутки уяснить истину. Ему, как видно, не хватало решимости выдавить из себя то, что хотели услышать от него (и что принесло бы всем облегчение), и затруднение его вызывало лишь новое и новое желание помочь ему.

— Покайся, ну, ну! — почти уже требовали от него.

— Разве недостаточно нам страданий за уже содеянное человечеством за века? — вдруг прозвучало из кресла. У «мессии» тоже, как видно, терпение было человеческим, то есть коротким, и он не хотел ждать. — Зачем к общему прибавлять еще и свое? Зачем удваивать то, что и так не под силу уже нести?

— Я не знаю, какое-то затмение, не знаю, не знаю, — наконец торопливо зашептал Четверяков.

— Ом, ом, ом! — подсказывали ему.

Но он только ниже клонил голову, так что мне уже не было видно ее.

IX

У всего есть истоки, есть предыстория, и мне не хотелось бы теперь оставлять читателя в неведении, в каком я сам оказался в тот вечер у Веры. Мне тогда и в голову не пришло, что человек, сидевший в кресле посреди комнаты, был не кто иной, как зять Анастасии Федоровны Юлий Кириллович Цыганков, а среди дам, находившихся в гостиной, — бывшая жена Ивана Егорыча Лия с дочерью Анной (пойдет речь и об остальных, но чуть ниже, особенно о бонапартистски напыщенном литераторе Бобровникове, который, впрочем, за весь вечер едва ли вымолвил слово). Да, так вот, передо мной был именно Юлий Кириллович, сумевший к этому времени во всех своих деяниях преуспеть настолько, что, не создав, в сущности, ничего, был подаваем всюду и как известный и преуспевающий архитектор, и как человек с определенными связями и возможностями. Каким образом удалось ему добиться такого положения в обществе, в котором, как мы полагаем, все должно оцениваться лишь по труду и справедливости, нелегко вообразить себе. Для кого-то, впрочем, уже тогда все было ясно и не требовало пояснений, но для большинства людей, то есть для людей простых, для которых вера в справедливость и труд есть высший источник и стимул жизни, все и теперь еще остается загадочным, потому что, оказавшись (так ли, иначе ли) одураченными, они не в силах даже просто поверить в возможность подобного дела. Ведь существует, так сказать, изначальная доброта, в которую (уже по своему естеству) человек не может не верить; в конце концов мы же не звери и нельзя же всерьез предположить, чтобы инстинкта власти и подавления в обществе было больше, чем инстинкта порядочности и доброты, да и не зло, как мы знаем, а добро правит миром, так нас учили, и я и теперь не могу представить себе иной, чем э т а, формулы жизни. Но Юлий Кириллович, Юлий Кириллович!.. Что это, исключение? Но каково тогда правило, и почему человечество за тысячелетия самосовершенствования (как нам подают нашу историю) оказалось столь же в нравственном отношении отдалено от совершенства, как и в начале пути?

Конечно, сейчас, по прошествии лет да и после известных в стране перемен, связанных с провозглашением политики демократизации и гласности, уже не нужно, мне кажется, ни смелости, ни усилий, чтобы добраться до истины; объяснение напрашивается само собой, и главным в этом объяснении является тогдашнее состояние всей нашей общественной жизни. Обман, приписки, взяточничество, продажа должностей, в том числе выборных, даже генеральских званий, как это откроется затем в системе охраны общественного порядка, накопление миллионов в руках различных хватких дельцов, дачи-дворцы за государственный счет, тайники с драгоценностями, банкеты, приемы, попойки и прочее, прочее, потворствуемое мздоимцами и временщиками всех мастей, о коих даже подумать, чтобы они могли появиться в наших условиях, было нельзя, — все это, объединенное в один разлагающий государство механизм (да что там гоголевский губернатор, любой райисполкомовский работник, разбуди его среди ночи и спроси, чем занимается Россия, не моргнув глазом ответит: пьет и ворует!), хотя и не было в деталях известно Юлию Кирилловичу, но общей направленностью своей не могло, я думаю, не влиять на него. «В поток, в поток, в общий поток жизни, где каждый только и делает, что ловчит и работает локтями!» И подмосковный «самотлор», то есть тот источник дохода, к которому Юлий Кириллович (и не без подсказки «друзей») успел достаточно уже приобщиться, и лыковский добавок к нему, то есть та мелочевка, которую он получал из рук тещи, уже не удовлетворяли его. Столичная жизнь, как известно, если по-настоящему блистать, требует и столичных расходов (или, как сказали бы в народе: аппетит приходит во время еды), и Цыганков невольно, по пробудившемуся в нем инстинкту: себе, себе, для себя! — принялся за поиски новых пластов, с которых можно было бы качать не только деньги, но и власть и славу. Да ведь и недаром говорят: кто ищет, тот всегда найдет; жизнь, к сожалению, столь же

изобилует примерами «доблести» низменной, как и делами возвышенными, и если в то время не было еще под рукой отечественного, так сказать, масштабного образца (ни «ростовское», ни «рашидовское», ни другие подобные им авантюры еще не были раскрыты), то не посмотреть ли на Запад, куда так низкопоклонно во все времена любили оглянуться у нас на Руси да и не взять ли за образчик феномен Муна или Рона Хуббарда? Ведь они, собственно, ни с чего, с нуля, стали миллионерами! Подобная перспектива — стать миллионерами — привлекала тогда не только Юлия Кирилловича, и, к слову сказать, многим и многим, как стало известно теперь, удалось (за счет народа или государства, что, в сущности, одно и то же) достичь цели; бралось и присваивалось все, что плохо лежит, и — что там несуны, когда обирались целые отрасли. Но, отдаленный от экономических дел, от торговли, Цыганков искал возможность развернуться на духовной ниве, и именно Мун и Хуббард тут более всего привлекали его. Начитавшись литературы (той, что и теперь в немалых количествах кем-то услужливо поставляется в Москву и к которой через друзей из определенного круга Цыганков имел доступ) и уяснив для себя суть учений Муна и Хуббарда; и сказав себе, что если рыба в разных реках способна клевать на одного и того же червя, то ведь и человек, как существо однородное, может пойти на одну и ту же приманку, — начал самым серьезным образом обдумывать свое будущее предприятие. Он понимал, что прежде всего нужно найти почву, куда бросить семена, и почва такая, он видел и знал (по своему опыту), давно уже и великолепно подготовлена ходом текущей жизни. Разве не он в молодости горел желанием принести пользу обществу и не натолкнулся затем на безразличие, как на стену, перед которой сникают всякая инициатива и мысль, разве, сказать вернее, не его окатила действительность тем холодным душем, каким окатывает всякого, кто неподготовленным и без поддержки входит в нее? «Ну хорошо, я нашел выход, меня не остановил тупик, — думал Юлий Кириллович. — Но разве много таких, как я? А остальные? Их сотни тысяч, миллионы, и я укажу им путь из их тупика. Да, да, я укажу им путь, освобожу их от их душевных мучений...» И ему оставалось только решить, на каком примере остановиться, на примере Муна или Хуббарда.

Разумеется, у меня нет возможности с точностью передать ход рассуждений Юлия Кирилловича, тем более что все сложилось у него, как говорится, не за один присест; тут были и свои бессонные ночи, и терзающие душу сомнения, и проверки, и перепроверки в беседах с людьми, коим он мог довериться, и новые и новые обращения к первоисточникам, с которыми, впрочем, пришлось основательно по ходу дела ознакомиться и мне. На чем основывалось учение Муна (или «Церковь Муна», как принято называть ее теперь)? На необходимости спасения людей перед вторым пришествием Христа, и что будто бы сам Христос, явившись однажды в пасхальное утро к молящемуся Муну, возложил на него эту божественную миссию. Конечно, поверить в подобное Цыганков не мог, но его поразила легенда, столь красиво придуманная самим же Муном и позволившая ему, некогда безвестному и полуграмотному, как утверждают источники, корейскому юноше Сан Мунгу, успевшему к тому времени постричься в монахи, так взлететь над людьми и руководить ими. Невысокие корейские сопки, поросшие лесом, монастырь с экзотическими строениями, келья, молящийся юноша и Христос, благословляющий этого юношу на святой, во имя спасения людей, подвиг, — разве не впечатляет, не работает, не действует? Не на всех, но действует, потому что загадочное и сказочное, связанное с оккультизмом, всегда действует на людей. Но как человек практичный Юлий Кириллович не мог положиться только на экзотичность и сказочность; сила воздействия виделась ему в другом, в страхе перед «вторым пришествием» и «судом», который будет, конечно же, беспощадным и перед которым, чтобы спастись, люди должны очиститься от грехов и пороков. «А кто в наше время безгрешен? — задавал себе вопрос Юлий Кириллович. — Хоть у нас, хоть за рубежом?» В мире нет безгрешных людей, как не было их и во все минувшие тысячелетия, и разница лишь в степени вины и причастности к грязным и кровавым делам; и чем больше повинен, чем больше причастен, тем сильнее желание (и возможность!) очиститься. Действительность подавала ему пример, и в тихие ночные часы он вдруг иногда принимался подсчитывать возмож-

ные барыши. По имевшейся у него статистике, только в Соединенных Штатах насчитывалось более сорока тысяч приверженцев «Церкви Муна» да свыше трех миллионов в других странах. «Если с каждого даже просто по рублю в год?.. А если в месяц?..» Но как ни заманчивы были подобные подсчеты и как ни казалось Юлию Кирилловичу, что стоит ему только чуть шевельнуться (в определенном, разумеется, направлении), как богатство и слава потекут к нему, — повторить легенду Муна в нашей действительности, он видел, было нельзя; разве что придумать что-либо по аналогии, но, во-первых, что, а во-вторых, будет ли это что-либо столь же действенным, как «учение» Муна?

«Но тогда, может быть, Хуббард?» — прикидывал Юлий Кириллович. «Церковь наукологии», созданная бывшим морским офицером Лафайетом Роном Хуббардом, основывалась, в сущности, на том же невежестве и страхе людей перед действительностью, подавляющей их. Хуббард полагал, что беды происходят не от социальной несправедливости, не от насилий и притеснений власть имущих над бедными, коих большинство и кои составляют народ, а от духовного здоровья каждой отдельно взятой личности. За минувшие века, особенно последние два-три столетия, сознание людей будто бы (от их же бурной деятельности) настолько замутилось, что все мы, по его уверениям, пребываем в «неясности» и, мучаясь этой своей «неясностью», творим зло себе и другим. Конечно, процессы, происходившие, да и теперь происходящие в обществе, много сложнее и требуют (для уяснения их) совсем иных подходов и трактовок, но и в упрощенности Хуббарда нельзя сказать, чтобы не было реалистичности, действовавшей на людей; объединив свои соображения в объемной книге и представив их как современную «науку» о духовном здоровье, «науку» о сознании, или «наукологию», он предложил и метод «лечения», то есть превращения людей из «доясных» в «ясные». Метод этот, что особенно поражало Юлия Кирилловича, заключался в том, что с пациентом можно было проделывать самые разные бессмыслицы, то есть заставлять его часами сидеть с закрытыми глазами на одном месте или пересаживаться (через определенные промежутки времени) со стула на стул, в кресло, на диван и т. д., и т. п., или, не моргая, смотреть в одну точку, или — что-либо коллективное, вплоть до изнурительного труда на нужном тебе объекте; действенность же подобного «лечения» гарантировалась лишь точным исполнением предписаний и суммой, вносимой клиентом. За курс «прояснения» бралось около четырех тысяч долларов, а за степень «ясности» — до пятнадцати тысяч и больше. Как и предвидел Хуббард, желающих обрести «ясность», то есть освободиться от душевных затруднений, оказалось (в разных странах) столько, что общий доход от применения «наукологии» вскоре уже начал составлять от семидесяти до ста миллионов долларов в год.

«Вот наживка, вот червь, на который и у нас должен пойти клев, — сказал себе Юлий Кириллович. — Да кто же из нас не испытывает духовных затруднений и кто не захочет обрести ясности?»

X

Политики, чтобы скрыть обман, стараются придать ему научный характер. Обман Хуббарда тоже требовал так называемого «научного» подкрепления, и одним из таких подкреплений явился созданный им некий аппарат, с помощью которого можно было с предельной будто бы точностью определять степень «неясности» (или «ясности») пациента. Названный «электрометром Хуббарда», он по своей конструкции был столь же прост, как и само «учение наукологии». В одном из источников Юлий Кириллович прочитал о нем следующее: «...две пустые консервные банки, соединенные гальванометром. Неофит должен держать руки на банках и, смотря в упор на аудитора, отвечать на вопросы. Если «доясному» удается вспомнить, что в то самое время, когда он был в утробе матери, отец избивал его беременную мать («Стоп, стоп, кто-то, кажется, уже делился у нас подобными воспоминаниями, да, да, с кем-то из наших... было такое», — подумал или, вернее, мог бы, знакомясь с источником, подумать Юлий Кириллович), новичок находится на пути к «ясности». Некоторым удавалось даже припомнить кое-что о себе, когда они находились еще в зародышевом состоянии...» И еще, еще в подобном роде, лежащем

за пределами здравого смысла, и я, наверное, тоже не поверил бы в самую возможность хуббардщины, если бы не действительность, подтверждающая ее. Ведь не все мы одинаково крепки духом. Но даже сильного духом можно довести до состояния, когда он начнет совершать то, что несовместимо с разумом. Но и Хуббард, и, разумеется, Юлий Кириллович, решивший по примеру этого бывшего морского офицера основать свою подобную «школу», рассчитывали не на крайние проявления; жизнь такова, что каждый в ней по-своему чувствует себя зажатым в тисках и возможность освободиться, даже самая иллюзорная, так действует на воображение и настолько взвинчивает страсти, что человек в такие минуты бывает готов на все. То, что из одних тисков он попадает затем в другие, приготовленные ему, это вопрос иной; да и для чего было Юлию Кирилловичу задумываться над тем, что он готовил для будущих своих клиентов; его занимал успех, должный принести блага и славу, а если и озадачивало что, то лишь невозможность с хуббардским размахом развернуться в нашей действительности. Заполучив миллионы, глава «наукологии», в сущности, уже не занимался своим «учением», это делали сподвижники, кормившиеся от пирога сего, и делали с такой ревностью, что «церковь», созданная Хуббардом, была уже не «церковью», а гигантской паутиной для ловли человеческих душ. Сам же Хуббард, степень «ясности» которого не подвергалась сомнению, лишь наслаждался жизнью, объезжая (в обществе дам, увеселявших его) свои многочисленные имения и замки, приобретенные в Европе и других частях света, или отдыхал на яхте вблизи экзотических тихоокеанских островов; подобная перспектива — одной лишь изворотливостью ума достичь высот бога или наместника бога — не то чтобы прельщала, но захватывала воображение Юлия Кирилловича, и если тихоокеанская экзотика, он понимал, была для него делом несбыточным, то ведь и наша земля не без красот и в ней, если как следует развернуться, можно заполучить сказочный уголок.

Может быть, не столь уж и прямолинейно рассуждал Юлий Кириллович, а были у него свои обоснования и тонкости (ведь оправдывались же в истории и жестокости, и режимы); но если судить по воплощению, то, мне кажется, мысли его не могли быть иными; самообман обычно более присущ людям доверчивым и добрым, чем целенаправленным и устремленным, а если и были затруднения, то заключались они отнюдь не в нравственных сомнениях; то, что позволялось в верхах (по отношению к народу), было куда откровенней и циничней, чем это, что хотел позволить себе он, и смущала и останавливала его лишь техническая сторона дела. Хуббард, прежде чем обнародовать «наукологию», успел (к 1950 году) написать и издать что-то около семидесяти шести научно-фантастических романов, которые, правда, имели точно такое же, видимо, отношение к науке, как и само «учение», тогда как у Юлия Кирилловича не только не было ни одного написанного или опубликованного романа, но не было даже очерка или статьи, по которым можно было бы судить о его дарования. Ему нужен был партнер или, вернее, партнеры, чтобы масштабно, с размахом развернуть дело, и поиски, так как людей, охочих до авантюр (но я бы сказал, до деятельности, в которой хоть как-то можно проявить себя), было предостаточно, — поиски вывели его иа Петра Венедиктовича Бобровникова, а через него и на всю радеющую будто бы за народ группу игорей максимовичей, соевых, угровых, стригуновых и иже с ними, коих и всегда-то (сказать проще, примыкающих к чему-то или к кому-то) несть числа. Бобровников, а о нем надо сказать несколько особо, потому что, как я удостоверился позднее, именно он, а не Юлий Кириллович, сумел стать во главе всего дела и, оставаясь в тени, в сущности, направлять и двигать его, — Бобровников был (да что там был, он есть) личностью примечательной, вполне вобравшей в себя все приметы времени и научившейся так изворачиваться, что всякий свой поступок непременно обращал в доблесть и, как говорили о нем, негромко, но верно набирал очки. Как и в официальной нашей истории, в биографии его было столько белых пятен, что если бы сложить их, то никакого человека и вовсе бы не было а явилось бы уму (и взору) нечто неопределенное и ускользающее, как клочья пара или тумана, растворяющиеся в пространстве. О нем знали только, что из Сибири, и говорил он об этом так, словно весь огромный континент тайги и тундры был не больше не меньше как его родной деревней или городом. Он причислял себя к племени «серых зипунов», в то время как холеное лицо его и руки выдавали в нем совсем иные родовые черты; маленькие круглые глаза его с зеленовато-кошачьим оттенком, смотревшие на мир будто с простодушием и удивлением, на самом деле были лишь ширмой, за которой таились сгустки зависти и властолюбия. В свое время он сумел увильнуть от фронта и всю войну проплавал инкассатором по Енисею. Кому и для чего он доставлял набитые купонами инкассаторские мешки (может быть, лагерному начальству, что вполне реалистично), не только было неясным, но подавалось им как некое государственной важности дело, а само плаванье на барже как героизм, равный лишь самым тяжелым фронтовым будням. И вот ведь странно: ему не то чтобы верили, но воспринимали его именно так, как он хотел, чтобы его воспринимали, как если бы и в самом деле он выполнял тогда какое-то сверхсекретное и сверхважное задание. Человек в общем-то незаурядный, он перебрал затем множество профессий в поисках той, которая могла бы удовлетворить его; жизнь его подобно тропе зателяла по зарослям государственных служб, и он то принимал участие в каких-то грандиозных будто бы, но неосуществившихся или, вернее, неудавшихся проектах, то отдавался науке, в которой, как оказалось, не так-то просто и не всякому удавалось преуспеть, то брался за преподавательскую деятельность и читал поучительные лекции, то за перо, чтобы настрочить очередной роман или повесть о тех самых людях (преувеличенно зло и карикатурно изобразив их), с которыми сталкивала его судьба и к которым (за их удачливость) он испытывал тайную и мучительную зависть. Этот-то литератор с бонапартистским жезлом под мышкой как раз и оказался тем нужным для Юлия Кирилловича партнером — и как фантаст, и как программист, и вообще как человек с именем, — без которого не то чтобы невозможно, но нельзя было даже подумать, чтобы начать дело.

При первом же разговоре, выслушав Юлия Кирилловича, Бобровников со своей неизменной скептической улыбкой (и с присловьем: «Понимаете ли, понимаете ли!») заявил, что никогда и ничего нельзя начинать на голом месте, то есть с нуля, если серьезно рассчитывать на успех, а следует «садиться» на какую-нибудь уже укоренившуюся ветку и отпочковываться от нее; и хотя слова эти (на первый взгляд) показались туманными, потому что все, что развивалось в обществе, развивалось лишь с ведома определенных инстанций и носило официальный характер, но план действий, уже через несколько дней выложенный перед Юлием Кирилловичем на стол, вдруг открыл самые неожиданные горизонты. Будущий коллега обратил внимание Юлия Кирилловича на явление, которое охватило тогда почти всю страну: увлечение йоговской гимнастикой (особенно в городах и особенно среди интеллигенции). О целительных свойствах подобной гимнастики начали распространяться слухи, будто она приносит не только физическое, но и душевное исцеление, и так как общество, как мы знаем теперь, было больно, и прежде всего душевным застоем и неудовлетворенностью, то и немудрено, что люди так кинулись на этот обман в надежде получить хоть что-то от жизни. Многие верили так искренне, что требовали создания оздоровительных йоговских клубов, кои и были созданы и действовали в разных уголках Москвы. «Вот ветка, на которой надо обосноваться и от которой отпочковывать дело», — заявил Бобровников, глядя на Юлия Кирилловича, удивленного столь неожиданным и простым решением вопроса. Да и сам Бобровников был не менее взволнован открывавшейся перспективой и в порыве откровенности, что не всегда позволял себе, столь красочно нарисовал картину будущих возможных успехов, что хоть сейчас, как со старта, срывайся и мчись к финишу. Однако для того, чтобы начать дело, главе предприятия нужно было хотя бы элементарно ознакомиться с приемами йоговской гимнастики, и благодаря опять же стараниям Бобровникова появились у Юлия Кирилловича и нужные учителя, и нужная литература. Из множества философских индуистских воззрений, тоже и ни с чего будто начавших получать у нас притяжение, выбраны были учения Рамакришны и Вивекандры. Оба эти философа (в свое время) видели спасение Индии в обращении к духовно-религиозному опыту человечества. Все религии, как считал Рамакришна, по сути своей представляют лишь «различные пути к одному и тому же богу», и потому, говорил он, дело не в обрядах; обряды могут отличаться друг от

друга, а дело в беспрекословном исполнении их, и лишь тогда только человек сможет достичь божественного начала. Еще дальше пошел ученик Рамакришны Свами Вивекандра, он выдвинул идеалом личности духовную отрешенность и полагал, что человечество непременно должно пройти несколько стадий общественного прогресса, когда сначала будут возвышаться одни сословия, затем другие, третьи, пока наконец не произойдет их примирение, и нет слов, как важна была подобная философия для тогдашних правящих кругов Индии. Она, во-первых, объясняла неравенство и, во-вторых, давала надежду, что и обеспечивало ей если не полный, то, во всяком случае, довольно полный в народе успех. У нас тоже, если обернуться к прошлому, было провозглашено немало всяких обнадеживающих официальных посулов, но, обманувшись на них, люди уже не могли верить в них и готовы были безразборно принять другие, какими бы ложными или даже вредными они ни оказались. На это-то и рассчитывали Бобровников и Юлий Кириллович и потому так бесцеремонно брались за дело.

XI

Пока Юлий Кириллович, словно актер, готовящийся к премьере, выбирал приемы и репетировал роль (в буквальном смысле и даже перед зеркалом, запираясь в своем домашнем кабинете на Котельнической набережной), пока «изучал», нахватываясь верхов, Рамакришну и Вивекандру, которым собирался подражать, но со своими, разумеется, поправками и доворотами на некий национальный, как он говорил, характер и на время, то есть пока отрабатывал весь несложный, в сущности, механизм завлечения и обмана, с которым предстояло ему выйти на публику,— Бобровников, внешне поставивший себя будто бы вне игры, усиленно начал готовить этому мероприятию рекламное, говоря языком современного делового мира, обеспечение.

Теперь затруднительно даже предположить, с каких времен повелось, но для москвичей как людей столичных, жаждущих новизны, нет ничего привычней, чем вдруг, да, именно вдруг, открыть для себя гения и хороводиться и лебезить перед ним. Особенно если «гений» заморский или хоть как-то, хоть через поколения связан с чужими народами и землями. Но в последние десятилетия страсть эта начала распространяться и на отечественные имена, что, несомненно, надо считать прогрессом, и потому у Бобровникова, в сущности, не было затруднений представить обществу свое открытие. То, что Цыганков считался талантливым архитектором, не успев еще создать ничего, и был человеком со связями, то есть полезным и нужным,— это оставалось само собой; но то, что он обладал некими сверхъестественными (оккультными) силами и был посвящен через восточные, главным образом индуистские, мудрствования в тайны излечения физических и душевных недугов,— это было новым и так живо привлекло внимание, что о нем заговорили именно как о «гении» и готовы были толпами ринуться к нему. А ведь мы знаем, что любое преувеличение, появившись на свет, никогда не остается в одиночестве; сейчас же находятся люди, желающие показать свою осведомленность, и вокруг имени Юлия Кирилловича (и бесспочвенно, конечно же) начали создаваться легенды, будто бы с помощью только рук, то есть биотоков, исходивших от них, и гипноза, которым, не обладая, оказывается, все-таки обладал, он буквально поставил на ноги таких-то и таких-то (фамилии произносились полушепотом) влиятельных лиц, входящих чуть ли не в состав правительства, и главным тут было не то, что в ы л е ч и л, а то, что за подобной услугой следуют обычно признание и покровительство. Известность Цыганкова-мага росла, словно на дрожжах, наворачиваясь и отягощаясь, как ком, и молодцеватый, здоровый вид его, моложавость и одежда спортивного покроя, какой он тогда еще отдавал предпочтение и которая как раз и молодила его, только лишь сильнее подогревали любопытство к нему.

Первый так называемый оздоровительный сеанс, на который были приглашены только избранные, из определенного круга, как если бы и в самом деле ожидалось приобщение к вечности, Цыганков провел у себя на квартире. Вместе с Игорем Максимовичем, которого Бобровников буквально приволок с собой, пришли к новоявленному магу и Угров, и Соев,

и Стригунова, и даже жаждущий славы молодой художник Скорков, получивший-таки после лыковской выставки желанную для себя известность. Он держался так, словно был уже на вершине мастерства, чем и вызывал недовольство и у Игоря Максимовича, и у Соева, и у Стригуновой с Угровым, которые и перешептывались, глядя на него. Юлий Кириллович же, предоставив гостям свободу, удалился к себе в кабинет для какого-то одному ему будто бы известного ритуала и, лишь когда среди ожидавших начало возрастать нетерпение,— вдруг, словно из-за стены, появился из-за дверной портьеры в новеньком, блестевшем на нем тренировочном костюме и с веселой и беззаботной как будто улыбкой на моложавом, холеном лице. «Мы сегодня проделаем только одно упражнение»,— сказал он и, показав, в чем заключалось это упражнение — в позе лотоса, в какой, не шевелясь и не разговаривая, нужно продержаться не менее двадцати или тридцати минут (и это только для начала), тут же приступил к делу. Разумеется, мне трудно изобразить в подробностях, как и что было, потому что все происходило без меня и я знаю о событии лишь из рассказов, да и то куцых, потому что кому же хочется представать перед людьми в смешном, если не сказать больше, виде; а в том, что это было не только смешным, но и грустным и страшным (как в известной истории с королем), я ни на мгновение не сомневаюсь. Если бы все эти игори максимовичи, соевы, угровы и стригуновы не выставлялись (печатно и устно) творцами искусства и радетелями за народ, не объявляли себя единственными носителями и хранителями народных традиций и нравственности, заботясь, в сущности, лишь о своем благе, и разными способами, зло и жестоко, не расправлялись (как с Иваном Егорычем) с людьми, пытающимися хоть что-то основательное внести в реальности жизни, чтобы изменить их, наконец, если бы не сама наша действительность, изобиловавшая проблемами, в коих, пожалуй, только интеллигенции и под силу разобраться,— вряд ли о цыганковской затее стоило заводить разговор; но люди эти были, и, как всегда, были на виду со своей выдаваемой за правду полуправдой, своими объединениями, видимостью борьбы и влиянием на общественное сознание; они своей (для непосвященных) остротой так подыгрывали господствовавшим тогда застойным силам, что, казалось, даже неловко было (со стороны тех самых застойных сил) не поощрять премиями за подобное усердие и не награждать их; да, да, они, эти игори максимовичи, соевы, угровы и стригуновы (да простит мне читатель повторение), выставляли как самопожертвование э т у свою деятельность, тогда как истинные намерения и лицо их заключались в иных желаниях и страстях. Давайте чуть оторвемся от чтения (как было со мной, когда писались эти строки) и на мгновение представим, как посреди комнаты на полу, на диване люди почтенные, наподобие Игоря Максимовича с его словно вколоченной для крепости в туловище головой и укороченными руками или рафинированной и хрупкой Стригуновой, познавшей постели и сеновалы, в том числе и зарубежные, с ее перстнями, серьгами и модным нарядом, сковавшим ее,— как эти люди, застыв в позе цветка лотоса, в какую поставил их Цыганков, прилагали усилия, чтобы, не шевелясь, выдержать положенное время, напрягаясь до синевы, и стоящего среди них Юлия Кирилловича в тренировочном костюме, зорко следящего за своими клиентами. Да-а, на что только не готов человек за обещанное (и мнимое) долголетие.

Может быть, для углубленной характеристики персонажей стоило поименно назвать, кто и сколько (за обещанное именно долголетие) смог продержаться в предложенной позе, но, думаю, дело не в этом; старались все, хотя и не всем удалось до конца выдержать испытание, а дело тут в самочувствии, какое, как после всякой работы (или насилия над организмом), ощутили участники оздоровления. По затекшим было конечностям хлынула кровь, снимая напряжение и усталость, и первым, кто заметил э т о и выразил удивление, был Игорь Максимович. «Да-а, Восток есть Восток,— глубокомысленно проговорил он, давая понять, что прежде надо поклониться восточным мудростям, а потом уже Цыганкову, сумевшему овладеть ими.— Мы больше растеряли за века, чем совершили открытий, и... браво, Цыганков, браво!» Он даже похлопал Юлия Кирилловича по плечу и так победоносно взглянул на всех, словно не Цыганков, а сам Игорь Максимович провел сеанс и хотел бы теперь знать, кто и что может иметь против. Против никого не было, все кинулись выражать только вос-

хищение, стараясь как можно полней и ярче представить свое обновленное чувство, и в то время как Юлий Кириллович, не ожидавший такого эффекта и начавший было уже думать (от излияния на него восторгов), что, может быть, он и в самом деле обладает некоей таинственной силой,— главный сценарист и режиссер этого спектакля Петр Венедиктович Бобровников мысленно потирал руки, наблюдая не без ехидства из угла комнаты за происходившим. Он-то знал цену всему, по жилам его как будто разлилось что-то сладостное и удовлетворяющее — так обычно проявлялось в нем сознание обретенной над людьми власти, а тут еще над какими! — но, умевший владеть собой, он не выдал этого ликования; лишь когда выходил, а выходил он хотя и последним, но вместе со всеми, потряс Юлию Кирилловичу руку и словами, а еще более взглядом поздравил его.

Но поздравлять, собственно, и было с чем: колесо было запущено, и запущено настолько удачно, что даже не верилось, что все могло произойти так, как произошло, все остались довольными и, разойдясь, восторженно всю неделю только и говорили об этом событии. Наживка, как и ожидал Юлий Кириллович, сработала, люди, даже почтенные, оказались, в сущности, еще глупее и наивнее, чем о них можно было подумать, и тут не надо быть великим философом, чтобы объяснить подобное явление: чем низменней в человеке страсти, чем сытнее он живет за счет обмана других, тем цепче старается ухватиться за жизнь, чтобы подольше, а лучше до бесконечности продлить свое столь драгоценное существование. «Платят миллионы там, заплатят тысячи и у нас, куда денутся»,— повторив еще, затем еще и еще раз свой оздоровительный сеанс и видя, как все готовы боготворить его, думал Юлий Кириллович. К нему тянулись, его упрашивали, он стал популярен; на него появилась мода, как на одежду или на явление, к которому непременно следует приобщиться, и на вопрос: «Слышали, знаете, были у него?» — нельзя было, не потеряв во мнении, ответить «нет»; многие шли лишь для того, чтобы сказать потом, что «как же, и я был там», то есть чтобы выказать свою приверженность к верховодившей тогда среди интеллигенции группе. Квартира Юлия Кирилловича, как и старая мельница в известном нам Лыкове, стала тем местом, где хотя и негласно, но происходила проверка на «свой» и «не свой», и особенно усердствовали в этом деле все те же Игорь Максимович, Соев, Угров и Стригунова. Но тут стоит заметить одну немаловажную деталь. Хотя Игорь Максимович и Соев продолжали с восторгом отзываться о Цыганкове, но в отличие от Угрова и Стригуновой, ставших завсегдатаями и помощниками Юлия Кирилловича, не появлялись у него. О причинах, разумеется, можно только догадываться; но было бы, наверное, противоестественным для них, если бы они вдруг поступили иначе: ведь они никогда не хотели для себя того, что (в веках) предлагали и предлагают народу, запутывая и одурманивая его.

XII

— Всякий, понимаете ли, механизм, если его не использовать, устаревает,— сидя как-то (после всех означенных событий) за чашкой кофе у Юлия Кирилловича, заметил Бобровников.— Популярность, она тоже, как и механизм, может, понимаете ли, устареть, если ее не пустить в дело.

— Я думаю...

— А вот вам как раз ни о чем пока и не надо думать. На этом первом этапе,— добавил он,— понимаете ли, вам следует только принимать поздравления и улыбаться, а в остальном — положитесь на меня. О'кей, все будет о'кей, я вас уверяю.

Мне трудно, разумеется, поручиться за точность этого разговора, так как я не сидел с ними в то воскресное утро за чашкой кофе и, естественно, не мог обсуждать никаких планов; но что таковые были и что они были разделены на два этапа, это вполне очевидно, стоит лишь чуть внимательней присмотреться к событиям, как они тогда развивались. По замыслу Бобровникова прежде надо было приучить публику к тому, что ничто не дается даром и что за оздоровительные сеансы, на которые учредитель их, конечно же, затрачивает массу своих невосполнимых даже, может быть, жизненных сил, надо платить; и платить не скупясь, как и положено за оказываемое высшее благо; но чтобы все носило деликатный характер, предложено было давать подарками — хрусталем, картинами, лучше старинными и чтобы известных мастеров, или каким-либо иным антиквариатом, любителем, ценителем и собирателем которого был неожиданно (и к немалому своему удивлению) объявлен Юлий Кириллович. Проведено же это было самым испытанным, если хотите, в веках способом: шепнули на ухо одному, что, дескать, неловко как-то с пустыми руками приходить к Юлию Кирилловичу, потом другому, третьему, и затем уже само собой начало передаваться по кругу, как и вообще передаются подобные сообщения, и не обошлось тут даже без своего рода, так сказать, соревнования, кто преподнесет подороже и получше, чтобы и получить, конечно же, побольше той мнимой жизненной энергии, какую во время сеансов Цыганков якобы передавал им. Не прошло и полугода, как его квартира уже ломилась от антиквариата, он был более чем доволен, и, может быть, если бы не Бобровников, жаждавший не столько обогащения, сколько славы и власти и не желавший упустить открывавшуюся возможность хоть как-то, хоть в этом (и хоть частично) встать над людьми, Юлий Кириллович и не стал бы двигаться дальше. Ведь его предприятие только по видимости казалось безобидным (и даже будто узаконенным, как мы увидим дальше), но на самом деле он понимал, пусть и не до конца, какую опасность оно таило в себе. Ему иногда казалось, что он будто втягивается в какое-то мрачное ущелье, и невольно оглядывался назад, на те годы, когда был студентом и когда порывы души — служить Отечеству и людям — были сильны и чисты в нем; то, что он (по окончании института) хотел и мог бы делать, было бы и для себя, и для общества, а то, что вынужден был делать теперь, было только для себя и ничего не прибавляло и не давало на общий стол жизни. Нет, нет, да и находили на Юлия Кирилловича подобные мысли, и в такие минуты, как пастырь, готовый всегда прийти на помощь слабому или ослабевшему, являлся Бобровников со своими многообещающими и пространными рассуждениями (и неизменным своим «понимаете ли»), и все вновь и твердо возвращалось в нужную колею. Юлий Кириллович даже не заметил, как постепенно завершился первый и начал разворачиваться второй и главный этап его деятельности, как стала прибавляться клиентура (за счет сотрудников многочисленных московских НИИ, то есть той части интеллигенции, которая, устав от постоянных неурядиц и нужд, пожалуй, более чем кто-либо еще искала участия и поддержки), как появилась графа о вступительных взносах и взюсах за каждый сеанс, как было найдено Бобровниковым (через связи, чего только не сделаешь через них!) помещение для проведения массовых оздоровительных сеансов и появились название «Школа эволюционно-социальной йоги», а затем устав и положение о руководителе «школы», которому все и безраздельно должно было подчиняться в ней. Роль эта, стабильно приносившая доход, не то чтобы заученно удавалась Юлию Кирилловичу, но незаметно для себя он так вошел в нее и так сжился с ней, что иногда и в самом деле начинал ощущать себя мессией, которому волею судьбы дано распоряжаться судьбами приходивших к нему людей.

Но если не подкладывать в топку дров, пламя угаснет. Истину эту не надо было растолковывать ни Юлию Кирилловичу, ни Бобровникову. В изобретательности своей (в изобретательности обмана или, вернее, для закрепления обмана) они, мне кажется, будь у них поле деятельности несколько иным, скажем, западным или наподобие западного, могли бы превзойти не только многих современных фантастов, но и самого Хуббарда. Когда им отказывали в помещении, они тут же находили другое, часто более удобное и престижное, а чтобы в определенном отупении держать паству, ими был разработан и предложен так называемый «выход в мир», то есть своеобразный экзамен, состоявший из двух частей; в одной, первой, проверялась степень отрешенности и свободы, какой тот или иной клиент сумел достичь в результате оздоровительных сеансов, в другой — степень душевной собранности и силы, позволяющей личности жить и проявлять себя. Созревший для первого экзамена должен был отправляться в Самарканд и там, обрядившись в лохмотья из старых восточных одежд, которые, как и жилье, то есть уголок с тюфяком и подушкой на

земляном полу, должен был (по договоренности, конечно же) предоставить им некий старец Абдулла-ходжа, и в этих лохмотьях, презрев стыд и все иные человеческие чувства, определяющие достоинство, от зари до заката в течение десяти дней, пристроившись либо перед входом в мечеть, либо на рыночной площади, по выбору, сидеть перед расстеленным на земле платком и просить милостыню. Выдержавший подобный экзамен мог считаться свободным, душа его очищалась от наслоений веков, и в этом обновленном (облегченном!) состоянии уже по-иному должна была восприниматься и протекать его жизнь. Читающим эти строки может показаться, что цыганковский обман настолько очевиден, что непонятно, каким образом люди в общем-то образованные, из всевозможных НИИ, могли так безрассудно поддаться ему. Если хотите, я тоже задавал да и теперь задаю себе этот вопрос. Но как ни представляется парадоксальным подобное явление и сколько бы мы ни покачивали головами, смеясь и подвергая сомнению самую возможность описываемого действа, но факты есть факты и реализм жизни куда сложнее нашего представления о нем; мы обычно берем за основу те нормальные условия жизни, обитая в которых человек должен был бы развиваться разумно и гармонично, тогда как ошибка наша заключена в том, что не делаем или почти не делаем поправок на действительность, в которой проявление личности, в сущности, сведено или почти сведено на нет. Ужасаться следует не глупостям или архиглупостям, какие совершают люди, поддаваясь на очевидный будто бы для нас теперь обман, но действительности, которая, доведя многих и многих до крайней точки, подталкивает не только на эти, но и на всякие иные и непотребные — взяточничество, воровство, убийство — дела. Да, ужасаться следует именно *этому*, что можно было бы назвать социально-нравственной средой обитания, в которой вдруг так немощен (со всей своей могучей энергией жизни) оказался человек.

Что касалось второй части так называемого «выхода в мир» или экзамена, дававшего право на этот «выход», то тут все было, по моим понятиям, и проще, и примитивней; испытываемый должен был, придя в Александровский сад и устроившись на скамейке лицом к кремлевской стене (и вперившись неподвижным взглядом в эту стену), пучками своих биотоков поддерживать бодрость и работоспособность Генерального секретаря. Почему был выбран Генеральный? Да потому, что всем было известно, что он стар и дряхл, и было иногда даже страшно смотреть, когда его показывали по телевидению; он чмокал губами, тяжелая челюсть его постоянно отвисала, как у человека, готовящегося отойти в иной мир, и в бесцветных, потухших глазах его уже не теплилось ни одной мысли. Не возбранялось распространять подобное действие и на других кремлевских старцев, столь славно, как считалось, *поработавших* на благо и процветание народа и государства (и так безвременно одряхлевших теперь от тяжести этих дел!); их тоже «школа» брала под опеку, а что относилось к действенности означенных подстенных сидений, то о ней мог знать только глава «школы», то есть Юлий Кириллович, имевший, как он говорил об этом, с кремлевскими обитателями обратную связь. Раз в неделю с двумя выбранными им подручными (они же считались его телохранителями) он приходил в Александровский сад и описанным уже сидением на скамье лицом к кремлевской стене осуществлял свою обратную связь. Верил ли он в эту затеянную им игру? Думаю, нет. Но она нужна была ему и как таинство испытания, и как реклама, говорившая о возможностях «школы», у которой, кроме личных, есть еще будто бы и государственные заботы, и всякий, кто хотел убедиться в этом, мог пожаловать в Александровский сад и воочию увидеть усердие Цыганкова. Идея «сидения» под кремлевской стеной особенно нравилась Стригуновой. Ей вообще хотелось превратить Александровский сад в липовую аллею (со всеми ее лыковскими нравами и страстями), и она даже попробовала было предложить это Юлию Кирилловичу и Бобровникову, но так как предложенное ею не совпадало с их интересами и могло только навредить делу, они лишь ужесточили порядок отбора клиентов для прохождения испытаний на душевную собранность и силу.

Я понимаю, сколь неловко и огорчительно читать изложенное здесь, но что поделать, если жизнь такова, что она держит открытой дверь для

подобных явлений. Дело в том, что и Цыганков, и Бобровников были не одинокими в своей «изобретательности»; по Москве, да и не только по Москве, действовали и процветали десятки подобных оккультных и неоккультных организаций, опутывавших народ и завлекавших в свои сети; известно также, что услугами экстрасенсов пользовались многие члены правительства, хотя и трудно сказать, насколько этим укреплялось или, напротив, расшатывалось их здоровье; по крайней мере по результатам их государственной (и партийной) службы видно было только, что управляемая ими держава с вековыми (и неплохими) традициями сползала все глубже и глубже в трясину застоя и увязала в ней. Так же, как в сырости покрываются плесенью продукты, покрывалась цыганковщиной всех родов, оттенков и красок наша общественная жизнь, и мы даже не замечали, как свыкались и с этой плесенью, и с застоем, принимая за норму то, что в общем-то противоестественно и непотребно человеческому бытию; люди, которые (в иных условиях) могли бы успешно приносить пользу обществу, вынуждены были приносить лишь зло, развращаясь и развращая все или почти все вокруг себя, лишаясь настоящего и отбирая будущее — и у своих детей, и у страны, и у народа — на много поколений вперед.

Но вернемся в квартиру Веры, где я тогда впервые встретился с Цыганковым лицом к лицу и с чего, собственно, и началось распутывание всего этого страшного клубка связей.

XIII

Разумеется, как уже говорилось, я ничего еще не знал тогда ни о «Школе эволюционно-социальной йоги»; к тому времени довольно основательно уже охватившей некоторые слои московской интеллигенции, ни о ее создателях, то есть Юлии Кирилловиче и Бобровникове, один из которых и в самом деле, будто мессия, продолжал величественно восседать в кресле со своим тщательно выбритым холеным лицом и холеными руками, раскинуто лежавшими на подлокотниках, и второй, внешне, может быть, и менее заметный, но не выносивший даже тени рядом с собой у руля, с инкассаторской подозрительностью смотревший на всех; я и теперь, словно живых, вижу их перед собой, как, впрочем, и всю сцену, вернее спектакль, разыгранный этими «облегчителями душ». Но таинство, каким бы оно ни было, всегда только с виду таинство, но стоит лишь очистить его от ритуальных наслоений, как в нем сейчас же обнаруживается самый простой, обыденный, в какой-то степени даже банальный замысел. И Бобровникову, и Юлию Кирилловичу надо было подавить начавшийся было уже ропот среди учеников «школы», и для наказания (публичного и чтобы в назидание всем) был выбран самый трусоватый и доверчивый ученик Федор Васильевич Четвериков. В простоте душевной он чаще других высказывал недоумение, будто всякий раз после оздоровительных сеансов, за которые, впрочем, аккуратно и не скупясь платил и ретивее других следовал предписаниям, не только не испытывал облегчения, но, напротив, чувствовал себя хуже, и временами даже начинало возникать у него пугающее отвращение к жизни. «Да вы не лечите, а только живете за наш счет», — на одно из очередных утешений, что лечение идет именно так, как должно идти, и что без ухудшения не наступит и облегчения, бросил он Юлию Кирилловичу, и за эту-то необдуманную горячность и стоял теперь на коленях — не перед учителем, нет, а перед нечто большим (как было обставлено все), обладавшим будто бы абсолютной властью (и возможностями!) миловать или наказывать людей. «Какая чушь!» — могут сказать мне. Чушь? Не-ет, не чушь: сколько живет человечество, столько и не угасает в нем вера в *создателя*, и никакие научные открытия, даже величайшие, так и не смогли до конца поколебать этой веры. Да и кого из нас не охватывал трепет перед огромностью мира, его гармонией и целесообразностью, и кому не приходила на ум эта изжившая будто бы себя мысль о *создателе*? В какие-то минуты жизни она бывает даже неизбежно нужна, потому что — когда человек, равно как и человечество, если брать главную его категорию, то есть простой люд, бывает уже не в силах объяснить своего положения, оно поворачивает взгляд на высшее существо и смиряется пе-

ред ним. К слову сказать, именно подобной слабостью, естественно и бесконечно живущей в человеке (но еще более — в человечестве), пользовались и пользуются предержатели власти; ведь подменялись (в веках) только названия божества, то есть символы, и подновлялся ритуал вокруг них, тогда как суть оставалась прежней; она, к сожалению, не изменилась и при попытке реалистично истолковать мир, потому что сейчас же нашлись люди, которые само это толкование возвели в ранг высшего существа, и всем (и безраздельно) надо было уже только поклоняться ему. Может, в рассуждениях этих немало дилетантства и в жизни все гораздо сложней и запутанней, в чем всякий раз пытаются убедить нас, но коль скоро подобные мысли приходят в голову, то, наверное, что-то же истинное есть в них; да без них, думаю, вряд ли мог быть понятен Четверяков. Чтобы унизиться так, как унизился он, нужны были, разумеется, ой-ей какие основания, и единственной силой, бросившей его на колени (перед себе подобным), могла быть либо вера, либо, что еще трагичнее, страх перед тем высшим, от кого зависят или могут зависеть судьбы людей. Загнанный в тупик жизнью, он искал спасения, и, как обычно бывает в таких случаях, искал его не там, где оно могло быть, и холеный вид Юлия Кирилловича, его выпиравший, почти кричавший (в одежде) достаток, наконец, манера держаться спокойно и с уверенностью лишь подтверждали Четверякову, что существо высшее есть, и что потому есть избранные, кого оно помечает, и что — унизиться перед ним нельзя, а если все же признать за унижение, то оно, в сущности, ничто в сравнении с возможным, то есть ожидаемым благом.

Но в то время как Четверяков переживал это или нечто подобное этому, что, собственно, и привело его в «школу» и подтолкнуло теперь на столь унизительный, если не сказать больше, поступок, то Юлия Кирилловича (не говоря уже о Бобровникове, тихо сидевшем в затененном углу комнаты) охватывали совсем иные чувства. Видя, что сцена наказания вполне удалась ему, он уже начинал тяготиться ею; ему важно было не только начало, но весь спектакль, который следовало провести в темпе, чтобы создать впечатление, и остававшиеся еще два действия были не менее важны, чем это, что совершено было над Четверяковым в назидание (и для «устрашения»!) другим. Чуть ниже у меня откроется возможность воспроизвести заключительный монолог Юлия Кирилловича, в котором он ясно определил и степень вины этого стоявшего перед ним на коленях экономиста и философа с его грязными, залатанными, вонючими носками, и меру наказания ему, а пока, чтобы не нарушить логики уже начатого повествования, позволю себе продолжить разговор о тех остававшихся еще (в общем сценарии) двух действиях, которые, судя по торопливости, с какою Юлий Кириллович поглядывал на часы, так не терпелось начать ему. Предстояло еще провести прием новых учеников, что требовало своего ритуала, то есть таинственности и строгости, и наметить кандидатуры для поездки в Самарканд (что тоже и по-своему, как увидим, было сопряжено с трудностями и требовало рекламы). Что касалось приема, то новички, среди которых были две подруги Веры, точнее, лаборантки, работавшие вместе с ней в НИИ, литератор Журин, нуждавшийся не столько в «лечении», сколько в групповой поддержке, для которой, чтобы получить ее, он слышал, надо непременно примкнуть к чему-то или кому-то (рекомендателем этого литератора был Бобровников), и младшая дочь Ивана Егорыча Анна, ставшая уже студенткой и приведенная теперь матерью сюда, — новички, по замыслу Юлия Кирилловича, должны были получить урок, чтобы затем сообразовываться с ним, а что касалось кандидатур в Самарканд (на поездку эту претендовала и Лия, хотевшая прихватить с собой и дочь), то тут не все еще было ясно даже самому Юлию Кирилловичу, кроме разве рекламного появления Стригуновой, только что вернувшейся оттуда и распираемой массою самых неожиданных, невероятных (и нужных!) впечатлений. Завершиться же все должно было выступлением Бобровникова, который, воздав хвалу деяниям Юлия Кирилловича, его возможностям и личности, с коей не могут не считаться даже в верхах (тут, разумеется, был явный намек на «подстенные», в Александровском саду, его сидения), должен был призвать всех к финансовой поддержке «школы». Ему предстояло выйти на середину комнаты и, расстелив у ног новенький носовой платок, предусмотрительно принесенный с собой, положить на него пятидесятирублевую зеленую бумажку. Действенность подобного приема была достаточно уже испытана им, и если он и смотрел теперь на кого-либо (из своего затененного укрытия, чуть ли не из-за спины Юлия Кирилловича), то лишь из желания узнать или прикинуть, кто и на сколько готов будет сегодня расщедриться.

Да, вот так было задумано и, возможно, так бы и прошло все, как не раз проходило до этого, если бы вдруг, как и бывает обычно, жизнь не внесла той своей поправки, какую рано ли, поздно ли, но все равно должна была внести в это, в сущности, противоестественное человеческому восприятию нагнетание лжи.

XIV

— Не я вам судья. Не я даю, не я отнимаю, — между тем, ловя на себе взгляды притихших будто в ожидании чуда «учеников», и не оборачиваясь на них, и не видя даже как будто Четверякова, к которому обращался, словно в пространство, начал Юлий Кириллович. Он не то чтобы не хотел, но не умел, как видно, произносить долгих речей и, чтобы создать впечатление основательности, выдерживал столь многозначительные между словами паузы, что минутами даже непонятно было, к чему следовало больше прислушиваться, к словам или паузам. — Мы заблуждаемся, полагая, что вера — это костюм, который можно надеть или снять. Нет, либо она есть в нас, либо ее нет, и человечеству дано проверять это по историческим поступкам людей. Творящие зло творят его в слепоте, полагая, что творят добро, и сегодня нет ничего более великого, чем прозрение, к которому все мы и неуклонно должны прокладывать путь.

То, что он говорил, не было глупостью; он как бы приоткрывал завесу над тайной человеческого бытия, с одной стороны, вполне будто очевидной всем, а с другой — известной только ему в той простоте и ясности, в какой он теперь подавал ее; но главным, что оказывало магическое, или, вернее, завораживающее, действие и что в некотором роде произвело тогда впечатление и на меня, если уж оставаться до конца искренним, был в словах его тот намек на действительность, обличающий будто бы и разоблачающий ее (то есть на институты власти, от которых и происходят все притеснения и прижимы), какой во все времена и при всех правлениях и режимах воспринимается людьми однозначно — как смелость — и получает пусть негласное, пусть про себя, но одобрение. Как и всегда в жизни, вокруг было столько зла и несправедливости, что уже на сами эти произнесенные вслух понятия нельзя было реагировать иначе, чем среагировали слушавшие Юлия Кирилловича, и так как в душе русского человека всегда больше сердоболия и сострадания, чем жестокости, то и слова «...в слепоте» вызывали определенный и нужный отклик. Ими не то чтобы оправдывалось прошлое, а отчасти и настоящее, но объяснялось определенным и поголовно охватившим всех явлением, и эта причастность к общему (когда виноваты все, не виноват никто) и размягчала и расслабляла людей. Я невольно смотрел то на бывшую жену Ивана Егорыча Лию, с которой еще не был знаком и даже отдаленно не мог помыслить, чтобы это была она, то есть чтобы вообще возможно было такое, что я встречу ее у Веры, то на ее дочь Анну, молодое, красивое и растерянное личико которой, как мне казалось да кажется и теперь, было явно чужеродным среди всего этого жаждавшего душевного оздоровления общества, то на мужчин — Журина, Бобровникова, то на подруг Веры — Иннокентьеву и Величко и на самою Веру, словно пристывшую к дверному косяку своей маленькой и втянутой в воротник свитера головкой, и какая-то странно одинаковая будто черта напряженности лежала на всех этих лицах и объединяла их. Я не то чтобы видел, но чувствовал эту их напряженность и понимал ее; понимал, разумеется, не так, как описываю теперь, но с той непосредственностью, когда не задаешься вопросами, а живешь той минутой и теми событиями, которые, разворачиваясь вокруг, захватывают тебя.

Едва Юлий Кириллович со значительностью, с какой начал, успел высказать еще несколько истин, как в коридоре вдруг раздался резкий

звонок, и все оглянулись на Веру, стоявшую в дверях, словно она одна могла знать, кто и почему так бесцеремонно осмелился нарушить (не столько, может быть, драматический, сколько торжественный) ритуал «школы». Вера тоже оглянулась, но уже на входную дверь, и, как только звонок повторился, привычно вспушив ладонью волосы, как делают женщины, уже не замечая этого своего заученного жеста (и под молчаливо проводившими ее взглядами), пошла принять будто бы вдруг, незванно, явившегося гостя.

Гостем же оказалась Антонина Стригунова. Сбросив на руки Веры свою легкую, из ондатры, шубку и покрутившись перед зеркалом (в то время как все, притихнув, должны были ожидать ее), она затем с той бесцеремонностью, с какой будто бы только и престижно было появиться ей, вошла в комнату и, коротко бросив знакомое всем: «Салют!» — двинулась к Юлию Кирилловичу и протянула руку, предоставляя «мессии» возможность поцеловать ее.

— Я, кажется, не вовремя, — сказала она, продолжая держать перед Юлием Кирилловичем руку.

Ей, по новой манере ее, стало уже привычным, что где бы она ни появлялась, все сейчас же бросались целовать ей руку, и она невольно (и благодаря только своей неотразимости, как полагала она) оказывалась в центре внимания, к ней обращались, с ней тут же находились желающие обменяться новостями, то есть очередной какой-либо сплетней, ходившей по Москве, да и вообще все вокруг (и опять же по ее восприятию) будто бы только и созданы были для того, чтобы восхищаться ею. Она не мыслила себя вне этого внимания и не поняла бы и возмутилась, если бы все оказалось иначе. Но Юлий Кириллович не хотел подчиниться ее правилам. Ему представлялось непрестижным при всех целовать ей руку, хотя в душе и готов был сделать это: и чтобы не испытывать искушения, не раз передавал — и через Бобровникова, и через других подручных, — чтобы дама эта не подсовывала ему свои холодные, в перстнях, пальцы. Но то ли до нее не доходила эта его просьба, то ли (по короткости ума) она забывала о том, о чем в общем-то и не было нужды помнить ей, — все при встречах снова и снова повторялось, как повторилось и теперь, и Юлий Кириллович, казалось, даже окаменел, словно монумент, от того внутреннего возмущения, какое поднялось теперь в нем против Стригуновой. Он не смотрел на нее, как не смотрел и на Четверякова, все еще склоненно стоявшего перед ним на коленях, и я ни в этот день, ни позднее уже не видел во взгляде его столь глубокой отрешенности — от мира, от всех сиюминутных желаний и страстей, — какая была теперь и действовала на всех.

— Так я не вовремя? — повторила Стригунова, с удивлением убирая руку и словно за разъяснением или помощью оборачиваясь к Бобровникову. — Ну предложите хотя бы сесть, — уже с ноткой недовольства и раздражения, что не воздали положенного ей, добавила она.

Бобровников уступил ей стул, в то время как кто-то тут же уступил ему свой, а тому еще кто-то, потом еще, пока крайнему не пришлось идти на кухню за табуреткой, и в этом общем замешательстве, в этом перерыве, отвлекшем внимание, я заметил, как понимающе, да, теперь я еще более убежден, что именно понимающе, переглянулись между собой Юлий Кириллович и Бобровников. Целью этого их безгласного разговора, или, вернее, предметом, была, разумеется, Стригунова. Они посмотрели на нее и опять переглянулись, давая понятную лишь им с в о ю оценку то ли ее наряду, то ли поведению, которое, казалось, более всего не понравилось Юлию Кирилловичу, так как разрушало его планы, то ли еще чему-то, тоже связанному с ней, чего я даже отдаленно тогда не мог предположить, но что очевидно и ясно теперь, когда пишу и когда все прежде скрытое и удивлявшее вызывает лишь сожаление и горечь. Ведь она была приглашена для определенной цели. Юлию Кирилловичу и Бобровникову надо было показать, сколь и с ц е л и т е л ь н о й явилась для Стригуновой ее самаркандская поездка (и что может ожидать каждого), и если брать внешнюю сторону, то есть общий цветущий вид этой повидавшей виды дамы (на что, собственно, и рассчитывали устроители), то тут лучшего и нельзя было пожелать. Она явилась не в том стиле, вернее, не в том наряде, в каком в Лыкове запомнилась мне; тогда на ней были бе-

лая, обтягивавшая бедра юбка с высоким, по одному боку, разрезом, укороченно просторный белый пиджак и белая сумочка через плечо, как носят их молодые и молодящиеся модницы; теперь же в одеянии Антонины, как, впрочем, и в манере подать себя, явно чувствовалась та тяга к «ретро», какая (и не случайно, конечно же), как поветрие, уже заметно расползалась по известным утонченностью и изысканностью московским кругам. Разумеется, я не имел бы ничего против подобной ностальгии, если бы, как в деревенском вопросе, речь шла об утраченных началах народной жизни; но в случае со Стригуновой — возврат был не к традиционным русским нарядам, но (и прежде всего) ко всей той ушедшей будто в небытие атмосфере барства, которая представлялась (по известной пресыщенности и в определенных кругах) чуть ли не идеалом интеллигентности или по крайней мере благонравия и порядочности. Все, что было надето теперь на Стригуновой, было, казалось, на три размера больше, чем по недавним еще временам полагалось носить ей. Тяжелая длинная юбка темного цвета множеством складок свободно спадала с ее узкой талии к полу, рукава толстой вязаной кофты, казалось, начинались у самых локтей, да и сапожки были не с высокими голенищами и не на высоких каблуках, в свое время придуманных будто лишь для того, чтобы женщины уродовали на них ноги. Можно было бы еще выделить мягкого коричневого тона шарфик на шее, массивную, с камнями, брошь, перстни, кольца и сережки под старину, как научились теперь у нас мастерить их. Все это (для тех, кто не знал Антонину) делало ее женщиной порядочной, скромной и сумевшей поставить себя; но, сколько я ни присматривался к ней, она и в этом наряде, то есть в показной порядочности, оставалась для меня все той же, с былинками сена в волосах Стригуновой, какой я встретил ее тогда на старой мельнице и составил мнение о ней.

XV

Но для всех других, думаю, личная жизнь Стригуновой вряд ли имела значение, да и о похождениях ее знали, пожалуй, только разве Цыганков да Бобровников, да отчасти, может быть, Журин, вращавшийся среди литераторов; остальные же видели в ней лишь нечто себе подобное, по той же, что и они, нужде вступившее в «школу», и весь интерес к ней если и заключался в чем-то, то только в том (в данную конкретную минуту), что она побывала в Самарканде и выдержала там тот предзавершающий «лечение» экзамен, какой так ли, иначе ли предстояло пройти всем, и по этой именно причине как раз все и смотрели на нее и ожидали, что скажет. Даже Четверяков, подняв голову, тоже весь устремился к Антонине, как к чему-то спасительному, вдруг в темноте и пространстве явившемуся ему. «Как она, что с ней, насколько изменилась и поздоровела душой?» — было во взглядах. Но наибольший интерес вызывали все же не подробности того, что и как происходило там с ней, а результат, который, как считали, если он был, то не мог теперь наглядно не проявиться. Они, в сущности, хотели разглядеть в ней то, что подтвердило бы им их собственные ожидания и надежды, и Антонина в этом плане могла возбудить только нужное удовлетворение и зависть. Она представлялась всем не просто довольной и счастливой в своем скромном, скажем так для порядка, одеянии, но счастье ее, ее устроенность в жизни и непосредственность, с какой и всегда-то, а теперь особенно сумела поставить себя перед Юлием Кирилловичем да и перед всеми, кто был у Веры, наконец, улыбка, с какой, приветствуя, оглядела всех и какая, казалось, так и не сходила затем с ее заметно загоревшего под самаркандским солнцем лица, — все это, в сущности, налетное, бутафорское, вызывало желание подражать ей. Но я и в этом облике ее, повторяю, видел лишь то, что только и мог по прежним своим наблюдениям видеть и находить в ней. «Ложь, ложь, — думал я, как думаю и теперь, вполне убежденный, что не только между моим восприятием и восприятием всех, но и между тем, что видели все в ней, и тем, что на самом деле испытывала Стригунова, лежала черта, и ей не то чтобы было весело, но, напротив, на душе у нее было гадко, как бывает гадко лишь после определенных, унижающих достоинство поступков. Она-то знала, на чем дер-

жался ее достаток, — на перепродаваемых ею письменных столах и секретерах, принадлежавших будто бы некогда знаменитостям, и знала вынужденность того, что делала теперь (включая и омерзительность самой самаркандской процедуры), и этот распиравший ее душевный протест, как он ни подавлялся ею и как ни пыталась она скрыть его за непринужденностью и улыбкой, он, словно тень, нет-нет, да и пробегал по ее вдруг ожесточавшемуся и передергивавшемуся лицу.

Хотя, может, и не с максимальной точностью, но я все же попытаюсь приподнять завесу над ее внутренним миром, чтобы, пусть даже из простого любопытства, понять, насколько в людях, подобных ей, стремление к порядочности и достоинству, а таковое, несомненно, как полагаю, было в ней, как оно есть в любом человеке, — насколько стремление это к благородству может сочетаться с низменными побуждениями и поступками, и попутно еще раз утвердиться в том, что так называемая легкая жизнь в общем-то не всегда и не всем дается легко и сопровождается часто еще большими, чем в обыденной, унижениями и сложностями. Она, конечно, вполне представляла, для чего была приглашена в этот воскресный день к Вере, и уже одно это дает мне право полагать, что с первой же минуты, как только, скинув шубку и войдя в комнату, увидела восседавшего в кресле (и ненавистного ей по ряду причин) Юлия Кирилловича, увидела Бобровникова, Журина и других из «школы», сейчас же набросившихся на нее своими любопытными, жадными взглядами, пережитое в Самарканде не могло не вернуться к ней. По отношению к Юлию Кирилловичу (за что, собственно, и ненавидела его) Антонина, как мне кажется, должна была чувствовать себя в роли холопки, прислуживающей барину-самодуру; помогая ему в его предприятии, она, в сущности, ставила весь свой образ жизни под его контроль и покровительство, то есть контроль и покровительство довольно разветвленной и влиятельной группы, и понимала, что могло угрожать ей, лишись она вдруг этого покровительства. И если, пусть хотя бы с натяжкой, признать, что воспоминание есть средство увидеть себя в окружающем нас мире человеческих страстей и оценить свое положение, то и для Стригуновой вспомнившееся ей было не просто воспоминанием, а попыткой именно увидеть и оценить себя в общей совокупности происходивших — и там, в Самарканде, и здесь, у Веры, — событий.

Плоскокрышый, с глинобитными стенами, земляным полом и маленьким, словно тюремным, оконцем дом, в котором поместил ее Абдулла-ходжа (по известной, разумеется, договоренности с подручными Юлия Кирилловича и за определенную, конечно же, мзду), тогда, в первое мгновение, не то чтобы показался Антонине нежилым, но по темноте, сырости и запаху тлена и плесени, как пахнет обычно в подобных помещениях, произвел впечатление какого-то будто бы могильного склепа, и она едва удержалась, чтобы не возмутиться и не выскочить с гневом во двор. Но во дворе, она знала, стоял прибывший с ней наблюдатель, то есть экзаменатор, должный следить за беспрекословным и четким проведением процедур, и в противном случае она уже не добровольно и с большими строгостями будет водворена на место. «Вы ищете душевного оздоровления? — хотя, может быть, не в таком подборе слов, но нечто близкое по содержанию готова была теперь бросить всем Антонина. — Вам плохо в ваших теплых квартирах с вашим достатком и благополучием и вы хотите приобщиться к чему-то большему? Вы получите это «большее», я дам вам вкусить от «пирога», который представляется вам столь сладостным». За свое, в сущности, унижение она готова была наказать тех, кого теперь видела перед собой, ей и в голову не приходило, что само это желание ее было бесчеловечным, преступным и ничем, кроме как бессмысленной жестокостью, нельзя было объяснить его. Мне казалось, что чаще всего она одаривала ненавистным, как ни пыталась приглушить его, взглядом дочь Ивана Егорыча Анну, которая была молода, привлекательна и у которой было все впереди, было будущее, была жизнь, какую она могла прожить иначе и счастливее, чем удалось Стригуновой.

Но кроме этой общей и только теперь вполне очевидной для меня ненависти ее и желания мстить, мстить и мстить всем за свою пошедшую комом жизнь, в которой была только видимость благополучия, но не было удовлетворения, дающегося семьей и материнством (о чем не может не мечтать любая здоровая женщина), — кроме этой именно общей и неосознаваемой уже, от чего она, ненависти, особенно к тем, кто был молод и мог устроиться в жизни, была у нее еще ненависть конкретная, к обстоятельствам, в какие так ли, иначе ли ставила ее жизнь. Как и для каждого из нас, для нее не было ничего страшнее и унизительнее, чем ощущение бессилия, и если когда-либо и пришлось ей сполна испытать это чувство, то случилось это в Самарканде, где она неожиданно для себя оказалась вдруг под надзором, как мышь, загнанная в клетку, или крольчиха, взятая на непристойный эксперимент. Отправляясь в Самарканд, она рассчитывала более на прогулку, чем на «дело», да и что стоило Юлию Кирилловичу посмотреть на все сквозь пальцы и уважить ей; уже одного того, что побывала там, было бы достаточно для этой собравшейся у Веры публики; но Цыганков поступил с ней иначе, он заставил ее (разумеется, не из одних только амбиций) пройти через все и был так невозмутим сейчас перед ней, так демонстративно отверг протянутую ею руку, что, думаю, нужно обладать ой-ой каким хладнокровием, чтобы держаться затем так, как держалась Антонина. Она испытывала теперь бессилие по отношению к Юлию Кирилловичу и, как бывает обычно с людьми, подобными ей, старалась думать не о предмете ненависти, то есть не о причине, порождавшей все, а о событиях, которые были следствием, но в силу выразительности и красочности могли затмить главное. Она не могла простить ему двух вещей: старой, ношеной и переношенной кем-то женской мусульманской одежды, в какую пришлось облачиться ей, и самого сидения под стеной, у мечети, с расстеленным на земле платком для милостыни; и она более, чем в деталях, вспоминала теперь об этих пережитых ею ужаснейших унижениях. В картинах, встававших перед ней, не было последовательности. То, как Абдулла-ходжа поил ее чаем, положив перед ней нарванную кусками лепешку и несколько ломтиков зеленовато-жесткой зимней дыни (чем она затем и питалась почти все десять дней, если не считать дважды подававшегося ей плова); то, как мучилась без стола, стульев, сидя на полу, вернее, на кошме, насквозь, казалось, пропитанной грязью и пылью, как умывалась над тазиком, нацеживая в ладонь из кувшина холодную, приносившуюся кем-то из хауса воду, как не могла (особенно в первую ночь) не только заснуть, но вообще лежать на плоском, разостланном прямо на полу тюфяке, — не то чтобы отстранялось, как несуществующее, не имевшее будто бы значения, но затмевалось другим, более важным, как раз и заставлявшим ее теперь (минутами) так брезгливо морщиться и подергиваться лицом. В воображении ее вновь и вновь, как живой, появлялся Абдулла-ходжа, как он вошел к ней тогда там, в Самарканде, принеся и положив перед ней ее будущее одеяние, и с тем же брезгливым замиранием, с каким она, подняв двумя пальчиками (в не снятых еще перстнях и с не смытым с ногтей лаком) ветхие и даже будто не постиранные чьи-то женские мусульманские штаны, смотрела на них, — с тем же замиранием и ужасом смотрела на них теперь, как если бы ей опять предстояло облачиться в них. Само прикосновение этого чужого и ношеного к телу вызывало в ней дрожь, и всю силу возникавшего в ней теперь протеста она готова была обрушить на Юлия Кирилловича, на которого все чаще бросала свои незаметные как будто для других, но более чем осознававшиеся ею ненавистные, злобные взгляды.

С тем же, если не большим омерзением повторялась в ней другая запомнившаяся на всю жизнь картина, когда на следующий день, утром, Абдулла-ходжа отвел ее, одетую в тряпье нищенки (и соответственно, разумеется, подгримированную), к стене старой действующей мечети, и она, расстелив кошемку и платок перед собой, заняла то отведенное ей место, на котором, как было сказано ей, годами бессменно восседал сам Абдулла-ходжа, выставляя напоказ для сострадания и жалости свою зиявшую пустотой глазницу. Он потерял глаз в молодости, будучи в басмаческой банде, но — кому сейчас придет в голову вспомнить столь отдаленные времена? Он давно уже только молился и казался святым, чуть ли не пророком (в своем квартале), вещающим истины. Но для Антонины важным было не это; она не могла примириться с тем, что в одеянии нищенки оказалась под стеной мечети, и ощущение, что, несмотря на грим и одежду, все видят и понимают, кто она, и, проходя, насмехаются над ней, —

ощущение это, болезненно сдавливавшее ее, было и теперь так сильно, что она невольно прислонила ладони к груди и шее, будто от сквозняка, тянувшего от окон или пола, и этот жест ее сейчас особенно о многом говорит мне. Те пятаки, гривенники, скомканные рублишки, вынутые из кошельков и брошенные ей к ногам, словно бы вновь обжигали ей руки, и — какое уж тут душевное оздоровление, какое обретение истины, если даже здесь, у Веры, трудно открыто посмотреть в глаза всем. «Вы хотите от «пирога» сего? — чтобы заглушить поднимавшееся чувство стыда и обрести наступательность (что только одно спасало и может спасти в подобной ситуации), продолжала мысленно произносить Стригунова. — Пожалуйста, ради бога, пожалуйста!»

XVI

— Ну хорошо, с вами ясно, — сказал Юлий Кириллович, впервые за все это время прямо взглянув на Четверякова, но с холодностью, привычной уже как будто для всех, какой он только и мог (по его понятиям) поддержать сейчас свое значение. — У вас нет выхода, кроме как начать все сначала. Другого и мне не дано предложить вам. Все, подымайтесь. Подымайтесь, подымайтесь, — повторил он, ловя на себе недоуменный взгляд некогда умного, подававшего надежды, но теперь униженного и сломленного (да сознавал ли он свое унижение, вот вопрос?) экономиста и философа. — Все, все, — заключил Цыганков, движением руки словно бы ткнув в это его непослушание, и, повернувшись к подручным Никите и Григорию, которые, когда учитель их был еще на кухне, устанавливали ему кресло здесь, — молча, взглядом, попросил навести должный порядок.

С полной уверенностью, что все, что бы они ни сделали, будет разрешено и оправдано, то есть с той вековой холопской безжалостностью и неразборчивостью в средствах, когда важно лишь одно — услужить хозяину, пославшему их, — Никита и Григорий, о которых, к сожалению, кроме как назвать их по именам, не могу пока ничего сказать большего (да и нужно ли — холопы! — разве этим не все сказано?), с известными и приобретенными, видимо, в определенных войсках навыками подскочили к Четверякову, подхватили его под руки и, словно мешок овса, отволокли в сторону. Кто-то подал им стул, на который они и поместили свою ношу, и, как после грязной работы или прикосновения к чему-то нечистоплотному, отряхнув руки, отретировались опять за кресло Юлия Кирилловича. Произошло все настолько быстро, что никто не успел даже как следует сообразить, что к чему, как уже начало разворачиваться новое и не менее захватывающее действие (говорю так потому, что оно захватило и меня) и о несчастном и раздавленном Четверякове было тут же забыто.

— Та-ак, приехали, значит? — повернувшись к Стригуновой, произнес Юлий Кириллович, хотя знал, что она более недели как вернулась из Самарканда и успела уже обежать всех, с кем ей хотелось повидаться и поговорить. Он никогда не называл ее ни по фамилии, ни по имени и отчеству, как, впрочем, избегал и обращения «вы» по отношению к ней, и хотя я и теперь не могу сказать, что скрывалось за этим, просто ли боязнь ее как женщины, то есть боязнь возможного соблазна, перед которым, он чувствовал, мог не устоять, или нечто большее, то есть опасение партнерства, какое, позволь он лишь чуть расслабиться себе, сейчас же будет навязано ему, — не знаю, не знаю; но не заметить этой незначительной вроде бы подробности и тем более не сказать о ней было бы теперь все равно что облачиться в рубашку без пуговиц; тут, разумеется, была своя целостность, и я так уверенно говорю об этом потому, что все дальнейшее, что произошло между Юлием Кирилловичем и Стригуновой (и главным образом поведение Бобровникова в связи с этим), лишь подтвердило догадку. — Ну что ж, с приездом. Еще раз: с приездом, — уточнил он, вспомнив, что уже виделся с ней и поздравлял ее. — Успешно? — чтобы не тратить лишних слов и не утруждать себя разъяснением того, что и так было ясно всем, спросил Юлий Кириллович.

— Да разве по мне не заметно это? — ответила Антонина, мило как будто бы (на первый взгляд) улыбаясь, в то время как глаза ее, в упор устремленные на Юлия Кирилловича, выражали совсем иное, что в эту минуту волновало ее. — Может быть, мне встать? — тут же произнесла она, чтобы хоть как-то, хоть этим коротким и понятным лишь ей уколом (в который, впрочем, готова была вложить все свое глубочайшее оскорбление) дать почувствовать ему, что́ на самом деле она думает о поездке и прежде всего о нем, чинно, словно «мессия», восседавшем в кресле перед ней и допрашивавшем ее.

— Душевное самочувствие? — между тем, не заметив как будто этого ее укола, продолжил Юлий Кириллович.

— Отличное!

— Вот видите, — сказал Юлий Кириллович, обращаясь ко всем (и с тем заметным на лице просветлением, какое происходит, конечно же, лишь от удовлетворенности и всегда приятно действует на людей). — Я говорил и могу только повторить, что все, что не от природы, все пагубно, и лишь возвращение к естеству может освободить нас от удушающих человечество видимых и невидимых тягот и наслоений.

— Ах, ах, ах! — Со Стригуновой явно происходило что-то, что было (даже мне показалось это) совершенно несвойственно ей. Она не то чтобы не хотела уступить лидерства, как не раз прежде случалось с ней и что вероятно было предположить, глядя на нее, но, почувствовав за собой (впервые, может быть) ту правду, которая позволяла ей быть бесстрашной, готовилась проявить, еще не зная, в какой форме, это свое бесстрашие.

Юлий Кириллович чуть удивленно и вопросительно посмотрел на нее. Не терпевший вообще чьих-либо возражений, кроме разве Бобровникова, к чьим советам не прислушаться было нельзя, он тем более не мог потерпеть их от Стригуновой, и к привычной холодности на почти безбровом лице его вдруг, как тень (или прояснение, что, может быть, гораздо точнее), обозначились жесткие, предупреждающие черты. Он ничего не сказал, но взгляд его был так выразителен, что сильнее любых, может быть, слов задел Стригунову. Не вполне, видимо, осознавая, что она делает, но понимая, что надо непременно и теперь же предпринять что-то, как бывает с людьми, принужденными к немедленной обороне или нападению (или решившимися исполнить минуту назад высказанную ими угрозу), она вдруг поднялась со стула и, еще более в упор и с нескрываемой ненавистью теперь глядя на Цыганкова, резко и противоестественно будто бы ее элегантному виду и положению бросила ему:

— Это вы-то, вы знаете, как освободить человечество от тягот?

Юлий Кириллович лишь с более ожесточенно-похолодевшим лицом продолжал смотреть на нее.

— Ха-ха! — воскликнула Антонина. — Бедное человечество! Оно и не ведает, что для своего освобождения прежде должно облачиться в тряпье и пойти просить милостыню!

— Не понимаю, — перебил ее Юлий Кириллович.

— Не понимаете? Ах, не понимаете? Вас принуждали когда-нибудь надеть на себя чужие, нестираные кальсоны?

— Не понимаю, — уже с нескрываемым раздражением повторил он.

Он, разумеется, еще не представлял себе размаха того, что должно было произойти, но инстинктивно чувствовал, что назревало что-то нехорошее, скандальное, что нужно было сейчас же, пока не поздно, предотвратить, и своим риторическим «не понимаю» выкраивал время для обдумывания.

— Он не понимает, да, видите ли, он не понимает! — не в силах удержаться, наступательно продолжала Антонина, адресуясь уже ко всем и приглашая в союзники. Только что намеревавшаяся отомстить им, как будто не Юлий Кириллович, не сама она, наконец, не обстоятельства жизни, а они, эти сидевшие у Веры люди, были виноваты в ее унижениях, она словно бы не помнила теперь об этом, и вся ненависть ее была нацелена лишь на Цыганкова, которого хотелось разоблачить, унизить и раздавить ей. Другое дело, по силам ли было ей это, мог ли истеричный взрыв ее что-либо изменить в общем устройстве жизни? Думаю, нет; общество в своем падении уже перевалило тот хребет, на котором можно было еще остановить и удержать процесс, но теперь... все давно уже катилось под уклон, словно горный обвал, сметая и заваливая то, что не удавалось увлечь за собой, и протест Стригуновой (в этом плане) пред-

ставлялся лишь хрупкой осиной на пути этого потока. Но в том состоянии, в каком находилась Антонина, она не могла осознать этого; те нестираные мусульманские штаны, взятые у какой-то неопрятной, видимо, женщины, которые Абдулла-ходжа подал ей и которые она, брезгливо подняв двумя пальчиками, держала перед собой,— штаны те или, вернее, то омерзительное чувство, какое испытала она, облачаясь в них, застилали теперь перед ней все, все, и она готова была, как мне на мгновение показалось тогда, броситься на Юлия Кирилловича и придушить его. Но она не сделала этого, продолжая повторять: «Не понимаете, ах, не понимаете?— лишь угрожающе шагнула к нему и, до срыва повысив голос, выкрикнула:— Хватит, хватит!»— И под самым почти носом его начала размахивать пальцем, грозя ему.

Юлий Кириллович, отстранившись, поспешно оглянулся на «холопов». Но не совсем, видимо, поняв на этот раз его команды, они только встрепенулись и не двинулись с места. Тогда он оглянулся на них второй раз, но Никита и Григорий и после этого лишь с двух сторон приблизились к Антонине и, однако, не решились тронуть ее.

— Уйдите, уберите руки, не смейте!— увидев этих верзил возле себя, сейчас же заголосила Антонина, и, может быть, если бы не крик ее, они не осмелились бы прикоснуться к ней; но именно крик этот и подтолкнул их к действию, они схватили ее, как хватают хулиганов или преступников, и заломили ей за спину руки.

Антонина на мгновение затихла, ошеломленная тем, что позволили сделать с ней, и пока, опомнившись и оглядевшись, снова начала кричать и вырываться, Юлий Кириллович, обернувшись к Бобровникову, успел вполне определенно и так, что слышали все, охарактеризовать ее действия.

— Обострение, как при всякой болезни,— сказал он, скользнув взглядом со Стригуновой на Четверякова и таким образом объединяя их.— Мы поспешили и послали сырой, да-да, сырой и совершенно не подготовленный к испытаниям материал.

Он хотел сказать еще что-то, что, видимо, важно было высказать ему и что, может быть, еще очевиднее обелило бы и выгородило его, но возгласы Стригуновой, шум и возня заставили вновь повернуться к «холопам» и Антонине, которую, стараясь не повредить ей, они пытались утихомирить. Все тоже смотрели на них, не решаясь еще вмешаться, смотрел и я— тем не понимающим ничего взглядом, каким мы обычно смотрим на уличное или иное какое-либо происшествие, не зная, с чего или из-за чего оно возникло и кто и во имя чего буйствует. Ведь я действительно тогда ничего не знал еще ни о самой этой «школе» Юлия Кирилловича, ни о роли Бобровникова в ней, ни, разумеется, о том, для чего Стригунова ездила в Самарканд и что делала там; меня попеременно одолевало то любопытство, то возмущение, и минутами я готов был броситься и остановить все; но вместе с этими бездумными душевными порывами, толкающими нас на благородство (но часто и на непотребные, ненужные дела), возникало невольное и естественное желание осмыслить происходящее, понять и дать оценку ему, и хотя, может быть, мысли мои (в согласии с тогдашней информированностью или, вернее, неинформированностью) могут показаться мелкими и не стоящими внимания, но все же, думаю, нелишне будет привести их здесь. Мне показалось (по окрикам Стригуновой), что я вновь будто присутствую при оспаривании формулы Достоевского, что только через страдания человечество может прийти к очищению. Но, как я вижу теперь, все было проще, гораздо проще и не имело ничего общего с тем, о чем я думал. Спорить с Достоевским— это означало бы касаться проблем народной жизни. Но что было и Цыганкову, и Стригуновой до этих проблем, когда их занимало только то, что затрагивало их, а если и можно что-то предъявить им по государственной, так сказать, мерке, то э т о еще только должно было открыться мне (чуть позднее, но здесь же, у Веры, и в этот день) и, как увидим, оказалось, по крайней мере для меня, неожиданным, непостижимым и страшным.

XVII

Первым, кто бросился на помощь к Стригуновой, была дочь Ивана Егорыча Анна.

Теперь можно долго и скрупулезно объяснять, почему сделала это она, а не я и не кто-то другой из стоявших и сидевших в комнате, кто был постарше и мог бы подать пример; но пример подала она, и всякий раз, когда я теперь вспоминаю об этом, мне не то чтобы становится стыдно за свою нерасторопность или нерешительность, что ближе к истине, но я просто не нахожу себе места, как если бы и в самом деле (и не сам с собой, а прилюдно) был бы уличен в тяжком и непристойном деле. Но сожалей, не сожалей, а так случилось, что против цыганковских «холопов», против этих верзил, выкручивавших Антонине руки, выступила именно Анна. Молодость если и неразумна, как полагают многие, то по крайней мере обладает настолько обостренным чувством справедливости, что мне иногда кажется, что никто не способен так встать за правду, как молодость, не признающая риска и готовая потерять жизнь. Но тут надо посчитаться еще с одним немаловажным обстоятельством. За то короткое время, пока Анна наблюдала за Стригуновой, она, как это часто происходит с подобными ей, успела не только оценить вкус, с каким была одета Стригунова, и манеру, с какой та держалась, но и влюбиться в нее; влюбиться так, как влюбляются в пример для подражания или в идеал, после долгих раздумий и поисков вдруг во всей красоте предстающий перед глазами. Конечно, кому-то может показаться странным и неоправданным это наивное чувство Анны, потому что, дескать, как можно влюбиться в женщину, состоящую сплошь из пороков и умыслов. С точки зрения логики, да еще обывательской, может, и так, но если бы мы все и всегда действовали в согласии с ней; однако мы чаще действуем в согласии с чувствами, а не с логикой, и если говорить о молодости, то есть об Анне, то, на мой взгляд, трудно даже вообразить, чтобы в свои почти юные еще годы она поступила бы как-либо иначе, чем так, как подсказала ей жизнь. Едва Стригунова появилась в комнате, Анна сейчас же выделила ее; выделила, как я уже говорил, и по одежде, и по модной тогда худобе, подчеркивавшей ее стройный и гибкий стан; в сравнении со всеми другими находившимися в комнате женщинами, большинство из которых было в батниках и джинсах, уродовавших их, и даже в сравнении с матерью, которая с тех пор, как занялась «оздоровлением» души, перестала или почти перестала следить за собой, Стригунова выглядела настолько современной, что на нее просто нельзя было не обратить внимания. Но еще сильнее, может быть, подействовало на Анну настроение Стригуновой. Не зная предыстории ее отношений с Юлием Кирилловичем и не пытаясь узнать и понять их, а руководствуясь лишь той враждебностью, возникавшей у нее, как, видимо, и у меня, к восседавшему в кресле «мессии», и симпатией к Стригуновой, которую, как должно было представляться Анне, хотели в чем-то унизить и оскорбить,— она невольно и слепо приняла сторону Стригуновой и кинулась выручать ее.

— Отпустите, как вы смеете, отпустите!— закричала она, стараясь вцепиться своими тонкими пальчиками в мускулистую руку верзилы; и тут-то и произошло то, что заставило всех оцепенеть от неожиданности и испуга.

Но, дорогой мой читатель, еще и еще тысячу раз готов принести извинения за то, что не стану описывать здесь всех дальнейших натуралистических подробностей, и не потому, что невозможно или трудно сделать это, и уж по крайней мере совсем не потому, что, как утверждает критика, натурализм противопоказан художественной прозе; нет, он не противопоказан— там, где уместен и где интерес (волею автора) бывает сосредоточен на нем; у меня же, во-первых, иная цель, а во-вторых, все действительно произошло так мгновенно, что при всем старании, если бы я даже знал, что вскоре придется все это излагать мне, и принялся бы специально наблюдать за всем, то и тогда вряд ли сумел бы уследить за ходом событий; но, повторяю, у меня и в мыслях не было, что передо мной материал для книги, я просто смотрел, воспринимал, думал и реагировал на все, как все, и мне не хотелось бы домысливать те упущенные детали, которые, может быть, и важны были бы для характеристики пер-

сонажей, но, полагаю, едва ли смогли бы изменить общее впечатление. Верзила (видите, я даже не могу сказать, кто это был, Никита или Григорий, так они были похожи друг на друга, как бывают похожи только холопы или охранники), на которого кинулась Анна, хотел лишь слегка, как он говорил потом, оттолкнуть ее от себя, но не рассчитал и толкнул так, что Анна не смогла устоять на ногах и, падая на спину, ударилась головой об угол стула. Она не успела даже вскрикнуть, как уже распластанно лежала на полу, как не успели вскрикнуть ни мать, ни Вера, все еще стоявшая у косяка со втянутой в воротник свитера головкой, и ее подруги по институту; «холопы» отпустили Стригунову, и все в оцепенении смотрели на произошедшее, видя и не веря тому, на что смотрели.

Как и должно было, наверное, быть, это мгновенное оцепенение сильнее всех охватило мать Анны. Я не успел тогда разглядеть ее лицо и потому не могу сказать, насколько оно обескровилось и побледнело или какие-либо иные и более выражающие испуг и страдание черты обозначились на нем; можно, конечно, с помощью известных шаблонов и вполне логично восстановить ее состояние, но, думаю, вряд ли в этом есть хоть какая-либо нужда; так ли, иначе ли, с каким-то, может быть, лишь оттенком, характеризующим ее, Лия испытывала то, что только и могла испытывать мать, приведшая с собой дочь из лучших для нее побуждений и вдруг увидевшая ее теперь в бессознательном, полумертвом почти состоянии распластанной на полу. Вместо возмущения, вернее, вместо того, чтобы с криком и шумом наброситься на верзилу, толкнувшего дочь, и начать обвинять всех и вся, как принято в простонародье (и что обычно только усугубляет, а не исправляет допущенное), Лия с прижатыми к груди руками молча кинулась к дочери и, увидев струйку крови на ее виске, тут же упала бы в полуобморочном состоянии, если бы ее не подхватили под руки подруги Веры, подбежавшие к ней. Они повели ее к креслу, которое тут же и безропотно освободил для нее Юлий Кириллович, и все находившиеся в комнате суетливо сгрудились теперь — кто возле Лии, кто возле Анны. Кто-то просил принести воды, кто-то требовал, чтобы расступились и дали воздух; Анну, пришедшую в себя и открывшую глаза, перенесли в спальню, куда, истерично закричав теперь, кинулась Лия, и лишь очнувшийся, видимо, от своего унижения Четверяков вдруг вспомнил, что надо бы вызвать «скорую помощь».

— Где тут у вас телефон, где телефон? — спрашивал он, хватая за руки тех, кто подвертывался ему.

Я тоже, как и все, был втянут в общую суматоху, помогал переносить Анну, бегал за водой на кухню, искал бинт и вату в шкафу и, естественно, не мог видеть все, чем заняты были в это время Юлий Кириллович, Бобровников и Стригунова. Они, как запомнилось мне, обособившись, продолжали стоять в глубине комнаты, и по озабоченности (на лице Юлия Кирилловича) и какому-то будто торжеству (на лице Бобровникова) можно только предположить, что занимало каждого из них. Юлий Кириллович, как он ни старался быть хладнокровным, не без тревоги смотрел на происходившее; как-никак, а речь шла о травме человека, и он понимал, чем это все могло обернуться. «Вот народец пошел, ты его пальцем, а он и копыта вверх», — с презрением, может быть, даже показным, чтобы заглушить беспокойство, бросил он Бобровникову. Если и было у Цыганкова какое-либо отношение к народу, то лишь как у косца к лугу, с которого можно брать сено. Но Бобровников исповедовал свою концепцию жизни, и то, что не соотносилось или не соединялось с ней, пропускал мимо ушей, как, думаю, пропустил и эту реплику «мессии». Сама же концепция, как некий сейф, набитый интригами, хранилась где-то в колодезной глубине его души, и он всегда мог (по необходимости) достать оттуда то, что требовалось для улаживания скандала. «Нас еще поблагодарят, — сказал он. — Ты знаешь, чья это девица?» Если бы чуть позднее он не повторил этой фразы при мне, что «нас еще поблагодарят, увидишь», адресованной, разумеется, Юлию Кирилловичу и, как и должно, наверное, наполненной торжеством, я бы не только не имел понятия о ней, но и не узнал бы или, вернее, не догадался о главном, что стояло за ней и определяло столь оптимистично-воинственный настрой Бобровникова. Он, видимо, был неплохо осведомлен об интригах против Ивана Егорыча, среди которых, как средство давления, предполагалось использовать и его дочерей (метод палаческий и бесчеловечный), и либо уже выполнял задание, втягивая Анну в «школу», либо полагал, что все случившееся с ней можно подать как нечто в *этом ключе* и соответственно получить у нужных людей одобрение и поддержку. «Да, да, поблагодарят», — было и в том приятельском похлопывании по плечу Юлия Кирилловича, каким, не удержавшись, Бобровников сопроводил эти свои слова.

Но события развивались, требовали внимания и вмешательства, и в то время как Четверяков, искавший телефон, был уже почти у цели, Бобровников решительно двинулся к нему и опередил его.

— Вы там нужнее, ступайте туда, — сказал он, беря из рук Четверякова трубку.

Но он не вызвал неотложку, лишние свидетели были не нужны ему. Лишь для видимости посуетившись у телефона и поворчав на связь, которая у нас-де так плоха, так никудышна, что хоть умирай, а дозвониться нельзя, прошел затем в спальню, чтобы узнать о состоянии Анны. Ей было вроде бы лучше, она уже не лежала, а сидела, растерянно глядя перед собой, и все вокруг с торопливостью, словно не от размера травмы, а от оценки ее зависело главное, убеждали друг друга, что она только ушиблась, что тут больше испуга, чем боли, и что надо лишь чуть выждать, и все пройдет. Желание это, чтобы дело закончилось именно пустячком, ушибом, в общем-то было и естественным, и понятным, хотя и имело разные основания. У одних, как у Бобровникова, Юлия Кирилловича да и у Стригуновой, — вызывалось опасением, что многое и многое в их деятельности может открыться, если кто-то вмешается и начнется разбирательство (кстати, чтобы остаться незапятнанной, Стригунова молча, ни с кем не прощаясь, оделась и вышла из квартиры, так хлопнув при этом дверью, что все в спальне, в том числе и Анна, обернулись на стук), у других, к кому я должен отнести и себя, — жалостью к пострадавшей, к терзаниям ее матери и желанием облегчить страдания им. Да, вот так, от противоположных, в сущности, начал, все свелось к одному — бесчеловечному и порочному, и вся дальнейшая судьба Анны (хотя, наверное, и не следовало бы забегать вперед) служит для меня и теперь лишь печальным подтверждением этого вывода.

Но, может, и в самом деле, для чего опережать события, ведь читательский интерес есть святая святых, тем более что встреча у Веры далеко не исчерпалась только этим нелепейшим вроде бы событием.

XVIII

— Ты как себя чувствуешь, Аня, Аня, ну? Ты можешь идти? Пойдем домой, пойдем отсюда, — более машинально, чем осознанно говорила Лия, не умолкая и глядя на дочь тем испуганно остановившимся взглядом, каким смотрят обычно люди, только что бывшие рядом со смертью и не успевшие еще до конца осознать, что все для них уже позади и не может повториться. — Пойдем, пойдем, детка, — продолжала она, помогая бледной и с выступившим холодным потом на лице дочери подняться с кровати.

Вряд ли, думаю, Лия понимала в эти минуты, что творила и каковыми могли оказаться последствия от намерения ее столь поспешно, не дождавшись врачебной помощи, увести дочь. Она чувствовала себя виноватой, ей хотелось поскорее исправить вину, но безоглядной торопливостью, то есть желанием сейчас же сделать добро, лишь усугубляла дело.

— Ну как, ну как? — суетясь возле дочери, спрашивала она, когда Анна уже стояла, поддерживаемая со спины Четверяковым.

Этот не умевший ничего в жизни сделать для себя экономист и философ, казалось, сильнее всех был озабочен случившимся, и в то время, как все вокруг утешающе заверяли друг друга: «Ушиблась, чего там, пройдет», — он, насупясь, провел Анну в прихожую и, отстранив мать и не давая никому помочь себе, одел ее и затем вместе с ней, поддерживая ее под руки, вышел из квартиры. Задержавшаяся Лия пыталась еще что-то извиняюще объяснить всем, но на неуклюжие ее поклоны, на слова: «Простите, простите», хотя, собственно, чего бы ей было оправдываться перед ними, все только оглядывали ее и не находили что ответить

ей. В их настроении что-то будто произошло, что заставило по-иному посмотреть и на себя, и на окружающее. Но действительно ли они увидели ложь, в какой пребывали, или только лишь смутно ощутили обман, в который были втянуты, теперь трудно сказать; во всяком случае, мне тогда показалось, что *увидели*, я понял это и по их смущенным лицам, и по тому, как они отворачивались друг от друга, словно после чего-то постыдного, угнетавшего их. Да и сам я, если откровенно, испытывал нечто подобное, даже, может быть, странное, что соединяло в себе и жалость, и возмущение, и обиду за Веру, что сборище проходило именно у нее в квартире. Ведь я, как уже не раз подчеркивал выше, не имел даже малейшего тогда представления о том, с кем и с чем столкнула меня судьба здесь; оглушенный увиденным и услышанным, я лишь от стены, у которой стоял, оглядывал прихожую, в которой, собираясь уходить, одевались Верины гости. Они покидали дом торопливо, с какой-то словно бы воровской поспешностью, и никто даже не пытался остановить их. В суете и мельтешении, разумеется, было невозможно собраться с мыслями, и лишь когда прихожая опустела, я вдруг, оглядевшись, заметил, что Веры не было в ней. Она не вышла никого проводить и ни с кем не простилась; приткнувшись на кухне между столом и холодильником, она сгорбленно сидела на стуле, съежившись всей своей худощавой фигурой, так что когда я, заглянув к ней, увидел ее, мне показалось, что не только голова, но она вся была словно бы втянута в свой серый с широким, как у мешка, воротом свитер.

С минуту я молча смотрел на нее, не решаясь ни подойти, ни заговорить, будто боясь нарушить тишину, установившуюся в квартире после ухода гостей. Ушли, правда, не все; в большой комнате, возле окна, все еще как стояли, так и продолжали стоять Юлий Кириллович с Бобровниковым, беседуя между собой. Но либо они разговаривали так тихо, что их не было слышно, либо, вероятнее всего, я был настолько поглощен своим, что не мог слышать их, теперь трудно установить; во всяком случае, у меня было ощущение, что остались только мы с Верой, и мне казалось, что вот наконец-то наступила возможность осмыслить произошедшее и подвести хоть какой-то предварительный итог. Но, как выяснилось потом, подводить что-либо было еще рано; то, чему я только что был свидетелем, являлось (по крайней мере для меня) лишь прелюдией к действию, должному вот-вот развернуться, и в котором, как актер, не подготовленный к роли, я даже не представлял, с чем предстояло мне столкнуться и что испытать. От порога кухни я продолжал молча смотреть на Веру, придавленную, несчастную и жалкую в этом своем несчастье, и именно тогда впервые подумал о ней не с раздражением, не с привычным для себя упреком, дескать: «Доигралась, дохороводилась (и что было бы естественным и напрашивалось на язык)!» — а с сочувствием, как о человеке, который хотел бы совершить что-то хорошее, достойное, но не умел и мучался от этого своего неумения, от слабости характера, доверчивости, добросердечия и прочих и прочих подобных «слабостей», если их так можно назвать, нужных и благородных, но делающих нас подчас столь беззащитными, что мы готовы уже трижды отнести их к разряду пороков, осложняющих жизнь. Да, такова действительность, как ни грустно сознавать это, и, может быть, я бы не стал вспоминать всех этих только затягивающих действие подробностей и тем более излагать их (ах, ни погонь, ни убийств, ни безумных страстей — что за книга?!), если бы сказанное относилось лишь к Вере, вернее, лишь к родственнице, запутавшейся в бесконечных своих замужествах и виноватой во всем; но дело не в родственнице и не в ее замужествах, а в том социальном явлении, на которое мы так привычно (и все еще) закрываем глаза, но которое, как зловредная опухоль, давно уже разъедает общество. Конечно, непривычно звучит, если сказать, что есть так называемый слой средней интеллигенции. Как и крестьянству без земли, ей, этой интеллигенции, в сущности, не к чему приложить знания и руки, и, не умея (и не желая) по-иному приспособиться к жизни и что-либо брать от нее, она не живет, а прозябает в своей тихой беспомощности, попадая то и дело (по доверчивости) то в одни, то в другие расставляемые для нее людьми нечестными и жестокими сети. Вера как раз и казалась мне запутавшейся в подобных сетях, из которых и надо было вырвать ее. Но как и сколько при-

дется отдать сил и времени, которого, как у занятого человека, у меня было в обрез? К тому же своя семья, дом, требующие забот. Конечно, может быть, кому-то покажется такой взгляд эгоистичным, но ведь и эгоизм эгоизму рознь; если кого-то и следовало бы в этой ситуации обвинить в эгоизме, так разве что Веру или подобных ей, которые вместо того, чтобы самим управляться со своими неурядицами, нахлебнически дожидаются (используя чужое сострадание), пока кто-нибудь не придет к ним и не наладит им все. Я осуждаю подобное *нравственное* нахлебничество, да-да, именно *нравственное*, каким, кстати, более, чем когда-либо, обременено наше общество теперь. Общество, как говорят нам, равных прав и возможностей. В идеале, в мечте — тогда как будем же справедливы: что касается возможностей каждому проявить себя, то это иллюзия; таких возможностей, попросту говоря, нет, присмотритесь вокруг, да и как они могут быть, если не то чтобы, к примеру, возвести, но даже подумать недопустимо, чтобы (говоря обобщенно) твое здание могло оказаться выше Зимнего; да благо бы Зимнего, а то ведь барака, то есть обычной и так щедро в свое время предложенной нам коммуналки! Но я опять отклонился в сторону, тогда как в тот день у Веры, конечно же, не думал столь откровенно и ясно, а лишь обостренней, чем обычно, видел ее бедность, выпиравшую из всех стен и углов (в данный момент кухни, в дверях которой стоял); бедность, даже, может быть, не столько материальную, сколько духовную, выразившуюся для меня в том сборище, свидетелем и участником которого я так неожиданно и невольно оказался.

Мне не хотелось бы теперь, задним, как говорится, числом, придумывать для себя какие-либо размягчающие душу сентиментальные мысли, хотя, конечно же, что-то вроде «Эх, Вера, Вера» и возникало, вызывая горечь и сожаление; но если, отбросив эмоциональную сторону дела, обратиться лишь к голому, вернее, оголенному реализму (что, несомненно, в чем-то обеднит, но в чем-то, видимо, как полагаю, и обогатит повествование), то во всех тогдашних моих чувствах и мыслях было лишь одно стержневое, что держало в напряжении и заключалось это стержневое, как ни странно, в ощущении беспомощности: и перед Верой, которую, было ясно, ни увещеваниями, ни упреками не переубедить и не исправить, только замкнется, как бывало, или расплачется, и тут хоть головой об стену, и еще больше перед жизнью, из которой, насколько я уже тогда понимал, было насильственно ли, ненасильственно ли, но изъято главное, что делало ее для каждого осмысленной и счастливой. Да, я действительно не представлял, как и чем помочь Вере (разве что накричать на нее?), как не представлял, к примеру, чем и как помочь хиреющим нашим по России деревням, нашему крестьянству, на которое любители помыкать народом кричали уже столько веков, столько раз (в последние уже годы) принуждали, стращали и увещевали (работать задарма), что, мне кажется, у него не осталось, как у Веры, ни сил, ни желания замыкаться и плакать. Я обращался, в сущности, к тем привычным мне мыслям, не отпускавшим меня после поездок, встреч и разговоров с Иваном Егорычем да и с мельничными завсегдатаями, где все было так сплетено в жесткий, беспросветный клубок, что потребовались бы, наверное, не минуты, не дни или месяцы, а годы, чтобы распутать его. Более или менее ясно было только одно: что общество затопталось на месте, что в отношениях между людьми надо срочно и коренным образом все менять, то есть приводить в соответствие не с придуманными, а естественными (и не столь уж безвестными, как иногда кажется) законами жизни, и первым среди них, как мне представлялось уже тогда и в чем я особенно убежден теперь, следует поставить отвергнутую для чего-то нами, но, несомненно, имевшую основополагающее значение непосредственную и прямую зависимость нравственного состояния общества с его социальным процветанием или упадком. Сама по себе, отторгнутая от материальных истоков, духовность не может существовать; для голодного, неудовлетворенного жизнью человека она мертва, потому что все помыслы его о том, как бы достать что-либо для пропитания (да не пример ли: «плюшевые десанты», когда сельский люд устремляется в города за колбасой, хлебом и мясом?); ничего собственного — ни земли, ни дома, что вызывает инициативу к труду и жизни, а все казенное, ничье, порождающее лишь рав-

нодушие и желание взять, что плохо лежит; ведь мы всем народом настолько, как скажут позднее, раскрестьянились (что приложимо и к интеллигенции, и к другим категориям), настолько государственно ошаблонились и объярмились, что если и осталось еще хоть что-либо нравственное в душе, то лишь ностальгия по ушедшим от нас старым и добрым (да были ли они добрыми?) временам. Духовность — это не смирение, как склонны часто трактовать ее; не высмеянная Толстым каратаевщина, по которой, если принять этот образ за национальный характер, как и пытаются навязать нам, то всему русскому люду только и остается, что лечь где-нибудь под дубом на травку и ждать смерти. Но нет, нет и нет! Да и что стало бы со всем человечеством, оно бы вымерло, подчинись этой духовности, оторванной от насущных проблем жизни, как вымерли, не оставив следа, целые народы, призывавшиеся отцами наций (так ли уж бескорыстно?) лишь к смирению и покорству, преподнося свои догмы как величайшую духовность. Мне могут возразить: а что же тогда? Насилие, кровь? Ну зачем же так, я вовсе не собираюсь оправдывать ни кровь, ни насилие; слава богу, есть множество иных способов устроить жизнь (и прежде всего освобожденным трудом), а приведенным примером я лишь хотел подчеркнуть, или, вернее, обостреннее высветить, именно зависимость нравственного состояния народа от его социального благополучия.

«Перемены социальные, и прежде всего социальные, — вот в чем суть, — думал я, невольно соотнося всю встававшую передо мной огромную неустроенность жизни с неустроенностью и душевными терзаниями Веры, и только сильнее испытывал от этого беспомощность перед ней. — Да понимают ли это другие и почему молчат и не предпринимают ничего, или — только я один и не преувеличиваю ли, не усложняю ли, возводя в степень, что с точки зрения пространства и времени бытия всего лишь ноль, ничто, муравей, которого придавил каблуком — и все?»

XIX

— Там кто-то есть, — произнесла Вера, ежась (в своем свитере), будто не те события, которые только что происходили в квартире, а чье-то постороннее присутствие настораживало и пугало ее.

— Где? — я на мгновение прислушался.

Вера взглядом указала на дверь в гостиную, и я с удивлением заметил, что она вся дрожит, как обреченная, за которой пришли, чтобы повести на костер.

— Ты что так волнуешься? Тебе померещилось, все ушли.

— Там кто-то есть, — повторила Вера, не слыша меня и сообразуясь, как видно, лишь со своими мыслями, и у меня до сих пор сохранилось впечатление, что она либо знала, либо догадывалась о чем-то, что так и осталось для меня тайной, даже теперь, когда пишу и все происшедшее передо мной — как на ладони.

Но что же все-таки гадать, когда ни одной из посылок неизвестно; фантазия хороша там, где она уместна, а мне, откровенно говоря, было не до фантазий. Уступив очередному, как думал, капризу своей запутавшейся в жизненных ситуациях родственнице, я пошел посмотреть, права ли она, да так затем и остался в гостиной, вовлеченный (каким образом, до сих пор не могу понять) в тяжелый и казавшийся мне тогда бессмысленным диалог с Бобровниковым. Юлий Кириллович только изредка вставлял что-либо «остроумное», как это, видимо, представлялось ему, и ухмылялся своей злой, полной превосходства ухмылкой, но Бобровников... Ах, давайте хоть здесь соблюдем ту художественность (как сказали бы критики), от которой столько раз уже (и не всегда, может быть, оправданно, но все же: по делу, по делу!) приходилось отступать. Я, откровенно, был изумлен, когда, заглянув в гостиную, увидел их. Вот, оказывается, как важно иногда довериться чувству, точнее, предчувствию, с каким Вера столь настойчиво повторяла, что «там кто-то есть». Они стояли, как уже упоминалось выше (да потому и забегал вперед, что ведь описываю, что было), у окна и беседовали, и меня прежде всего поразил их спокойный вид, их хладнокровные, налитые жизненной силой лица, их костюмы, рубашки, галстуки, сейчас же выдававшие их чужеродность здесь, в этой

усредненной (надо ли повторяться?) убогости Вериной гостиной. То ли они и в самом деле, принимая всех, кроме себя, за пешек, не желали считаться ни с чем, то ли, что правдоподобнее и во что я более склонен поверить, были настолько убеждены в своей безнаказанности, что им и в голову не приходило, что и за подобный пустячок придется отвечать, не знаю; скорее всего и то, и другое, соединившись, как раз и позволяло держаться столь уверенно, даже, можно сказать, нагло, так что при всей выработанной человечеством деликатности отношений между хозяином и гостями (в конце концов я был у родственницы и имел право на хозяйское чувство) я не мог не возмутиться и не проникнуться еще большей, чем только что, неприязнью и подозрительностью к ним. Особенно вызывающе, мне показалось, держался «мессия», то есть Юлий Кириллович, хотя, как выяснилось потом, его самоуверенность не шла ни в какое сравнение с самоуверенностью Бобровникова. Но пока я разбирался и уяснял, как относиться к «мессии» и как к Бобровникову, Юлий Кириллович, повторяю, представлялся мне главным: и по своей властности и представительности, и по тому, что не Бобровников, а он только что, во время церемонии, восседал в кресле, и это перед ним стоял на коленях Четвертяков, а когда ударилась головой о стул Анна, не только не выказал сочувствия, пусть даже наигранного, ложного, но сморщенно отвернулся, словно от чего-то дурно пахнущего, оказавшегося перед ним. Он и теперь взглянул на меня с той же брезгливостью, как если бы испортившая ему настроение сцена могла вновь (вместе с моим появлением) повториться для него, и не знаю, потому ли, что я понял его по неприязненному на меня взгляду, или по сумме чувств, уже сложившихся по отношению к нему и теперь лишь обострившихся, — все во мне вдруг словно налилось бешенством, которое, еще мгновение, и я бы не смог удержать; но благоразумие, хотя оно и не всегда способно взять верх над необузданностью, на этот раз, к счастью, оказалось сильнее; сжав губы и не находя ничего более выразительного, чем бросить им: «Господа, вы непозволительно задержались», но не произнося и этого, что, наверное, было бы и в меру оскорбительным, и сдержанным, а главное, уместным, только выжидающе смотрел то на Юлия Кирилловича, то на Бобровникова, то оглядывал их разом, вместе, как нечто единое, сплетенное в сгусток из равнодушия, жестокости и власти.

«Ну-у, какая предвзятость, — может возразить читатель, — ведь вы сами говорили, что увидели их тогда впервые и мало еще что знали о них». Да, впервые, да, предвзято; но разве мы как-либо иначе смотрим на мир, чем через призму своего настроения (или призму неравенства, как мужик, к примеру, на барина или барин на мужика; или властители на народ, который они, ведя к «счастью», обирают и сковывают), и разве того, с чем столкнулся у Веры, и что во многом уже охарактеризовало и Юлия Кирилловича, и Бобровникова, было недостаточно, чтобы определенным образом воспринять их? Даже теперь, когда все позади, я с трудом удерживаю то (возвратное, как болезнь) возмущение, какое испытывал тогда и какое как раз, видимо, и заставляло столь односторонне и не столь, может быть, объективно (как требуется теперь для книги) смотреть на них. Мне показалось, что в гостиной было сумрачно, — ведь зимой вечереет рано! — и для того, чтобы лучше разглядеть, кто находился в ней, то есть убедиться в том, в чем был уже вполне как будто бы убежден (или, что тоже не исключено, оголить их затаенные намерения и мысли, как если бы от зажженных люстр и впрямь могли обнажаться человеческие души), я включил свет, и, освещенные гэдээровской пятирожковкой, они как будто и в самом деле заволновались, словно уличенные в чем-то, что не с лучшей стороны открыло их. Но, может, все было и не так, и я лишь выдаю теперь желаемое за действительное, не в силах отказаться от предвзятости; ну, стояли они и стояли, как вообще могут стоять люди в чужой гостиной, и если бы кто со стороны и беспристрастно взглянул на них (чего я, разумеется, сделать не мог), то вряд ли обнаружил бы хоть что-то предосудительное или в чем-либо заподозрил их.

Юлий Кириллович, так как в душе его, видимо, сохранялся еще некий островок порядочности (по тому принципу, что и палач бывает иногда прекрасным семьянином), наклонившись к Бобровникову, тихо шепнул

ему, что не пора ли и удалиться, и как на аргумент, сдвинув у переносицы свои белесоватые и редкие брови (отчего лицо его и казалось голым, невыразительным), указал на меня.

— Нет, отчего же? — возразил Бобровников, оживляясь, словно охотник, увидевший зверя, вышедшего на него. — Нет, отчего же? — повторил он, глядя на меня и придерживая рукой Юлия Кирилловича, который, впрочем, и не собирался двигаться с места. — Разве я могу упустить такой случай? Нет, я знал, что вы появитесь, и вы появились. Это хорошо, это прекрасно, что вы появились, — риторично заключил он и, нервно вскидывая взгляд на меня, принялся фланировать (между мной и Юлием Кирилловичем) по комнате.

Теперь я знаю, для чего потребовалось Бобровникову разыграть передо мной эту сцену. Ему надо было сбить настрой, какой, он чувствовал, был у меня, и повести разговор не в том невыгодном для него русле, в котором пришлось бы отвечать и оправдываться ему, а в ином, в котором, с помощью определенных и отработанных приемов, он понимал, всегда можно поставить себя в выгодное перед собеседником положение. Но я не мог тогда так рассуждать, а лишь, повторяю, оторопело, как и возможно было в моем состоянии, смотрел то на Юлия Кирилловича, то на Бобровникова, суетно, как на резинке, снующего передо мной, и уже сам вид этого старика, только что, казалось, благочинно сидевшего в глубине комнаты и боявшегося пошевелиться, но сейчас взявшегося показать характер, — вид этого человека, готового излить гнев не на «мессию», а на меня, вызывал протест и недоумение.

— Печетесь о народе? — между тем, вдруг остановившись и штопорно ввинчиваясь в меня своими круглыми и негодующими теперь глазами, проговорил Бобровников, словно в продолжение какого-то давно начатого между нами разговора, даже спора, который имел предысторию и был настолько непримиримым в своих основополагающих точках, что уж и не мог проходить иначе, чем в подобных резких тонах и выражениях. — Да, да, вы печетесь о народе, вы пытаетесь разделить мир на народ и все остальное, противостоящее и враждебное ему... — Конец фразы я не воспринял и не хочу домысливать ее, но и того, что уловил, было достаточно, чтобы вынашивавшееся годами и соединенное в понятии «жизнь» — неустроенность своя, неустроенность народа, обиды, оскорбления, поиски истин и невозможность ни к чему применить их, — все, все, слившись, взорвалось во мне, да так, что я и в самом деле на какое-то мгновение перестал что-либо понимать и слышать, кроме разве что своих взбунтовавшихся чувств. Мне тоже показалось, что я уже встречался и разговаривал с ним; да, именно с ним: и в кабинетной тиши, за рукописью, и в поездках по деревням, когда открывалась передо мной совсем иная сторона народной жизни (с ее потребностями и возможностями), о которой так все стремились тогда, гонясь за модой, говорить и писать, не утруждая себя изучением ее и предлагая (для ее исправления и усовершенствования) совсем не то, что требовалось. Теперь уж не помню, каким образом, но я вдруг с ясностью осознал, что разбухавшая в те годы (как пена в корыте под рукой прачки) общественная сила, с которой так ли, иначе ли приходилось сталкиваться мне и как литератору, и как гражданину и с которой не то чтобы сталкивался, но боролся Иван Егорыч, как и многие, кто искренне хотел помочь народу и государству, сила та была вот тут, передо мной, в образе этого молодящегося старичка с круглыми, сверлящими пространство глазами, я видел ее близко, в лицо (может быть, и в несколько уродливом, карикатурном, что ли, восприятии, как может показаться кому-то, но реалистичном для меня лишь в этом или, вернее, *таком* именно виде, как и передаю), и потребность противостояния злу и борьба с ним, живущая в нас, я чувствовал, разрасталась и крепла во мне. Лыковская мельница, Игорь Максимович, Угров, Стригунова и все, что было связано с этими людьми, травившими Ивана Егорыча, — все живо и в подробностях возникло в памяти, и мне не нужно было уже объяснять, кто стоял передо мной; я знал, *кто* (хотя бы и по клановой пока принадлежности).

XX

— Вы, очевидно, приписываете мне то, что исповедуете сами, — резко возразил я. — Да кто вы, собственно, такой?

Бобровников чуть приостановился и не столько с удивлением, сколько с усмешкой взглянул на меня: дескать, как можно спрашивать, кто он? Уж где-где, а среди интеллигенции имя его известно, и если кто-то позволяет себе спрашивать, *кто он*, то лишь с одной целью — принизить и оскорбить; но нет (было написано на его лице), он не позволит посмеяться над собой и не опустится до того, чтобы ответить, кто он; и, обдав уже совершенным будто презрением меня, он вновь, как маятник, засновал между нами.

— Нет, да кто вы есть, скажите?

Но Бобровников уже будто не слышал вопроса. Он готовился к разговору, вернее, нападению и выбирал меру и ту дистанцию «откровения», с какой, обрушившись, можно было в чем-то уличить, что ли, так я понимаю теперь, меня, и на старчески бледном лице его, принявшем вдруг угловатые, жесткие формы, как мне показалось, нельзя было не заметить борьбы, которая происходила в нем. Как ни считал он себя человеком независимым и сильным, но и ему, видимо, нелегко было решиться на то, на что он решился, и что я не могу оценить иначе, как желание оправдаться перед историей и народом (любая личность, даже самая малая, и та не может не думать об этом), но давайте чуть наберемся терпения, чтобы уж если разбирать по порядку, так по порядку все.

В то время как я продолжал выжидательно смотреть на Бобровникова; в то время как Бобровников, занятый своим, продолжал возбужденно, то есть не по летам, энергично метаться по комнате, Юлий Кириллович, которому, видимо, хотелось разрядить ни с чего будто (да и ни к чему) возникшую напряженность, хотя и с неохотой и брезгливо, но все же и с оттенком примирительности выдавил из себя:

— Перед вами Бобровников, Петр Венедиктович, — добавил он. — Как же вы можете не знать?

— Но я, извините, не знаю и вас, — вызывающе бросил я, так как действительно, как уже подчеркивал не раз, видел Юлия Кирилловича и Бобровникова впервые и полагал, что они были либо сослуживцами Веры, либо из той ее среды, которая менее всего была знакома мне; но *это*, что были не из окружения Веры (да, да, читатель должен помнить, все только еще открывалось тогда мне), лишь обострило восприятие. — Не знаю и не хочу знать! — чтобы прервать разговор и общение, решительно заявил я.

Но смелость эта, как она видится мне теперь, была скорее не смелостью, а защитой или, вернее, попыткой оградиться не столько даже от предстоявшего разговора, который я еще, разумеется, не знал, как пойдет и во что выльется, сколько от последствий, какие могли (уже по тому, что противостоял им) обрушиться на меня. Всегда избегавший столкновений с ними, то есть со всей этой фалангой игорей максимовичей, угровых, стригуновых, юлиев кирилловичей и бобровниковых, я чувствовал, что не только попал теперь в их поле зрения, но со всей своей внегрупповой беззащитностью стоял перед ними открытый для унижений и козней, как открыт был Иван Егорыч, которому уже вырыли могилу возле дома, в саду (предварительно вытеснив из Москвы), и угрожающе ободрали у ворот ель; страшно было, разумеется, не противостояние, не спор, предполагавший выяснение мнений, но страшны были методы, какими, и я вполне отдавал себе отчет в этом, люди сии пользовались, чтобы устранять тех, кто осмеливался думать и поступать по-иному, чем они, и кому в силу уже одного этого непозволительно было как будто иметь право на голос и мысль. Нет, кто бы и что ни говорил мне, но этот период в жизни хотя бы столичной (и гуманитарной, прежде всего гуманитарной) интеллигенции я готов охарактеризовать не иначе, как новое и, может быть, разве что бескровное, если не считать инфарктов и того, что люди мыслящие продолжали покидать страну, наступление тридцать седьмого года. Начиналось же теперь все как будто не сверху, а с низов, диктуемое, однако, все теми же (каждый на своем пятачке) соображениями единоначалия и власти, и если не было пока ни арестов, ни расстрелов, то, мне

казалось, разыгрывалась прелюдия к ним. Я и сейчас, когда пишу, не могу избавиться от этого бросающего в дрожь сравнения и опять, и опять думаю, что стало бы с Иваном Егорычем, со мной, с десятками других и, главное, с нашими семьями, вернись хоть на день, хоть на час то время? Да нас сейчас же упрятали бы на Колыму или куда-нибудь подальше, или же списали в небытие, и вряд ли при этом дрогнул бы хоть один (о душе не говорю, потому что — что говорить о том, чего нет!) мускул на лице Игоря Максимовича или Бобровникова, продолжавшего метаться и нервно вскидывать взгляд на меня. Да, одно дело — предполагать, кто (по клановой принадлежности) перед тобой, и совсем другое — услышав фамилию, знать, с кем (несмотря на предосторожности) все же сумела лицом к лицу столкнуть тебя жизнь.

— Печетесь, печетесь, — опять (и утверждающе) начал Бобровников, остановившись уже не передо мной, а на той оконечности своего маятникового разбега, с которой, надвигаясь и физически, и словесно, удобнее всего, наверное, было подавить меня. Он, видимо, был не только осведомлен о моей встрече в Лыкове с Игорем Максимовичем, но и знал о решении, которое тот принял в отношении меня. В глазах Бобровникова я выглядел не иначе, как обреченным, которому можно сказать все, даже приоткрыться в цинизме, как бы он ни был бесчеловечен и гадок (по отношению ли к одному лицу или народу и государству), и я сейчас же уловил не столько даже, может быть, самою эту возможность, сколько желание использовать ее. — Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, — надвигаясь на меня теми мелкими, как и следовало ожидать, шажками (что он проделывал затем не раз, отдаляясь для разбега и надвигаясь), продолжил он, — насколько противоисторична и, если хотите, противоприродна и вредна ваша позиция? Думаете ли вы вообще о народе, его вековой, биологической, да-да, биологической потребности жить по-своему и только по-своему? Чтобы сохранить себя, свою первородность и первозданность? Нет, вы не знаете ни народа, ни его истории, и не вам судить, что ему нужно для жизни, что он примет, а что отвергнет и будет отвергать всегда.

— Вот как?! — с изумлением воскликнул я. — Так подскажите, откройте, поучите, — давая этим втянуть себя в разговор, добавил я (да и как можно было не воскликнуть и не сказать этого, ведь речь шла о святая святых, о народе; взгляд в историю есть всегда взгляд в будущее, от которого и зависит, быть нам или не быть).

— Вот вам правда, и не торопитесь отвергать ее. Мы всегда были и есть народ руководимый, в этом естество нашей жизни, так мы привыкли, приспособились, и ни унизительного, ни порочного в этом нет! — Он даже рассек ладонью воздух, словно отрубил что-то (видимо, то иное мнение, которое мог высказать я и которое не раз, наверное, и не два уже высказывалось ему). — Разве осудительно, что лошадь есть лошадь, а червь есть червь? — И, мгновенно поняв, что произнес что-то не очень ловкое (или уместное, уточнил бы я), вздернул головой и попятился на исходную позицию.

— Как же стара ваша песня! — изумляясь, именно изумляясь, произнес я. — А не лучше ли прямо: русский народ только и способен существовать, что с царем и помещиком над собой?

— Прямо? Можно. Можно и прямо, понимаете ли, милостивосударь, — не желая упустить тех вожжей разговора, которые, как ему казалось, он держал в руках, с живостью отозвался Бобровников. — Послушайте... — И он затем произнес тот поразивший меня (да и Юлия Кирилловича, думаю) монолог, который если бы в деталях, то есть во всех (даже стилистических) подробностях можно было бы запомнить, я бы привел полностью; но Бобровников говорил, во-первых, не столько аргументированно, сколько велеречиво, выделяя из современности и истории лишь тот набор событий и фактов, которые хотя сомнительно, но все же могли подтвердить его соображения, и, во-вторых, зигзагообразно, с повторами и возвратами к сказанному, так что к подобному монологу все равно пришлось бы прилагать комментарий. Да я и сам тогда, слушая этого новообъявившегося (с так знакомыми нам по истории чертами) радетеля «русских основ» и «русского духа», не сразу понял, что́ этим своим монологом он хотел внушить мне, а когда понял, когда очищенная

от витий и нагрузок мысль его наконец оголенно и ясно предстала передо мной, то было уже не до красот и не до подробностей. Но я все же попытаюсь хоть и с приблизительной, может быть, точностью (приблизительной не по мысли, не по убеждениям, нет, нет, а по стилю) передать, что услышал тогда от него и что, разумеется, нельзя отнести лишь к разряду бездумных, легковесных или безосновательных высказываний.

Как, впрочем, и следовало ожидать, начал Бобровников с того исторического будто, но ничем, кроме разве что произвола летописцев, не подтвержденного факта — приглашения рюриковичей на Русь на княжение, — который, представляясь ему неоспоримым и важным, как раз и открывал в русском народе ту биологическую будто бы основу (х в о с т а, добавил бы я, но что Бобровниковым подано было, конечно же, как великая и неповторимая самобытность), когда без оглядки на голову никто и ничего не способен сделать и когда стабильность жизни (чтобы процветать и воспроизводить себя) признается возможной лишь при твердой, умеющей принудить и наказать власти. Он усматривал в этом поворотном факте истории не начало государственности, как можно было бы, поверив летописцам, истолковать его, но своего рода в о л е и з л и я н и е н а р о д а, решившего предопределить (подобным призванием чужеродцев) всю свою дальнейшую и замкнутую в своей странной, если не сказать больше, самобытности судьбу. Намучившись будто бы, как в загоне без кормушек, по которому можно было свободно передвигаться и в рамках которого, то есть в рамках тогдашних своих исконных земель, по своему усмотрению обосновываться и обустраивать жизнь, намучившись, сказать точнее, свободой (как и подавал это Бобровников), которая, кроме несчастий и бед, увы, ничего будто бы не принесла и не могла принести людям, народ и предпринял этот исторический шаг, раз и навсегда выразив свое желание, то есть биологическую основу х в о с т а, повторим для ясности, быть народом руководимым и не обольщаться и тем более не отягощаться свободой, способной принести лишь обременение думать и заботиться о себе. По Бобровникову выходило, что народ сам установил для себя ту систему жизни, которая, несмотря ни на какие реформы и контрреформы, многократно и волево проводившиеся на Руси, и несмотря ни на какие иные и внешние, как можно было бы сказать, катаклизмы — нашествия, разорявшие людей и землю, несмотря на трехвековое почти татаро-монгольское иго, о котором и вспомнить невозможно без ужаса, ни разу ни в чем не смогла претерпеть хоть каких-либо изменений. Всякая попытка обновления заканчивалась лишь тем, что все вновь возвращалось в прежнее (и узаконенное как будто бы) русло; и даже чем быстрее осуществлялся возврат, тем благотворней сказывалось это на народе и тем стабильней начинала функционировать (по тройственному согласию: самодержавие, православие, народность) общественная жизнь. По Бобровникову выходило, что революция семнадцатого года, то есть та Великая Октябрьская социалистическая, как мы называем ее, которая, поставив целью не просто обновить, но и изменить всю экономическую и политическую структуру жизни тогдашней России, тоже, в сущности, мало что смогла изменить в ней, и спустя уже десятилетие или чуть больше все опять (если и не полностью пока) вернулось, как говорится, на круги своя. Точно та же централизация власти, причем еще более безграничной и самодержавной, хотя и в ином будто бы толковании, те же институты подавления, насилия и охраны этой власти, и, главное, в понятии «номенклатурный работник» тот же дворянин, иначе и не назовешь, на которого в деятельности своей и опиралась теперь власть и которому (соответственно, как при царствующей особе) полагались должные привилегии. Что же касалось деревни, то тут и говорить нечего: те же крепостные и те же помещики — председатели и директора, возведенные в ранг номенклатурных (э-э, куда гоголевскому ряду до них!), и, как следствие, неотвратимо грядущее (в результате таких порядков) оскудение народа и государства. Он приводил еще и еще доводы этого очевидного будто возврата к прошлому («Да хотя бы погоны, да-да, погоны!» — несколько раз саркастически воскликнул он), и я, наверное, смог бы понять его, если бы в этом возврате к прошлому он усмотрел что-либо зловещее и осудил его; подобный возврат был страшен (и неприемлем) уже тем, что он обессмысливал жертвы, принесенные народом для обновления жизни; но Бобровников не

осуждал, нет, а, напротив, с торжеством выводил (из этого возврата) ту свою зловещую формулу самобытности, — чем полнее возврат, чем он скорее завершится, тем лучше будет для народа, — ради которой и выплеснул на меня весь наполненный страстью монолог. Факт возврата (хотя вряд ли тут можно со всем согласиться) был для него лишь подтверждением, точнее, доказательством верности его взглядов, и, чтобы хоть сколько-нибудь вразумительно ответить ему (пусть запоздало, пусть не тогда, а теперь, когда многое обдумано и взвешено), придется, наверное, вновь и в последний уже, видимо, раз в этой книге прибегнуть к отступлению.

XXI

Историки, обуянные страстью объективности (как они любят оценивать свою деятельность), говорят нам, что движение славянофильства возникло и оформилось как движение не далее как в прошлом веке, а точнее около 1830—1840 годов при самом реакционном режиме Николая I, когда самодержавная власть достигла высочайших своих пределов, а задавленность народа и интеллигенции, разумеется, мыслящей, опустилась до той нулевой отметки, за которой вообще говорить о каком-либо человеческом существовании было просто невозможно. Не берясь оспорить это положение (наука есть наука, и тем более весь дальнейший разговор мне тоже придется вести, начиная от этой принятой точки отсчета), хочу все же заметить, что не все в изложении ученых так бесспорно, как может показаться на первый взгляд. Самая обыкновенная человеческая логика подсказывает мне, что вместе с появлением рюриковичей, вместе с кличем их: «Постоим, братия, за землю русскую!» — а, вернее, именно в этом кличе (да они, собственно, и не могли без такого самовозбуждения в себе нужного патриотизма) уже содержался тот зародыш будущего движения, в котором столетиями затем игра на национальных чувствах будет ловко (и определенными силами) использоваться для закабаления и планомерного обездоливания русских людей. В дело будет пущена и византийская узда смирения, выкрашенная в отечественную самобытность, и страдания народа так переплетутся (через православие, а затем и иные постулаты и догмы) с посулами грядущего благоденствия, а задавленный дух народа настолько сольется с церквами и храмами и выразится в них, что невозможно будет даже отделить его ни от нашей истории, ни от нашей духовной культуры, и тут, я бы сказал, перед учеными, историками, литераторами лежит не тронутая еще общим проницательным умом историческая целина. Со своими неисследованными корнями и многократно (и на потребу дня) обобранными ветвями целина эта и мне не дает покоя, и если я решаюсь отступить от нее теперь, то лишь потому, что повествование требует сказать о другом, столь же, если не более важном, с чего, собственно, и начат был разговор в этой главе.

Известно (и не только из дальней, но и из ближней и самой ближней истории), что чем больше набирают силу тирания и деспотизм, тем громче раздаются голоса, славящие тиранов и деспотов. Признавая деспотичность своего правления, Николай I вместе с тем, оправдывая его, утверждал, что он поступает лишь «в согласии с гением нации» (давайте запомним это выражение, потому что веру в царя или, говоря по-современному, в необходимость сильной и жесткой власти не то чтобы вновь пытаются возродить в народе, но пытаются преподнести ее именно как своего рода нашу историческую самобытность). В печати того времени то и дело мелькали выражения, что «в царе наша свобода», что в нем и только в нем «наше просвещение» и что «безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость, но и высшая поэзия жизни, наша народность», а небезызвестный Надеждин прямо писал, что «у нас одна вечная, неизменная стихия: царь! Одно начало всей народной жизни: святая любовь к царю! Наша история была доселе великою поэмой, в которой один герой, одно действующее лицо. Вот отличительный самобытный характер нашего прошлого. Он показывает нам и наше будущее великое назначение». Но в то время как раздавались эти рассчитанные на темноту, невежество и богобоязнь возгласы о «любви» к царю и «великом назначении» простого люда вечно и неизменно служить ему, то есть жить в низкопоклонстве и рабстве, трепеща перед держателем власти, — народ, как свидетельствует все та же история, был настолько задавлен тогдашними тяготами жизни, что вряд ли уже понимал или, вернее, осознавал, что с ним происходит. Он нищал экономически и (как следствие такого процесса) все больше и больше приходил к духовному истощению; его не просто, отняв землю и закабалив, оторвали от основ жизни, но оторвали от корней, дававших силы и веру в себя (чем, кстати сказать, и определяется в любом народе его жизнеспособность и жизнестойкость), и многим уже тогда казалось, что русский народ поставлен на грань вымирания и что надо немедленно, пока труп еще основательно не закоченел, спасать его. Вот тогда-то, как лекарство, способное оздоровить общество, и явилось на свет славянофильство — движение, которое затем с разной степенью приливов и отливов то во благо как будто бы народа, то (чаще) во вред ему, но в согласии с воинственно сбивавшимися под хоругвь архангела Михаила сотнями не раз и не два будет прокатываться по стране, будоража общественное мнение, сбивая с толку людей и вовлекая в свои споры и топя в них, как в гнилом болоте, многих лучших представителей тогдашней России. Да понимали ли, я задаю себе вопрос, отцы славянофильства — К. Аксаков, И. Киреевский, А. Хомяков, — что в конечном итоге выйдет из этой их затеи, кто и для чего встанет под ими поднятый (как вызов существующему порядку вещей) флаг? Они ставили как будто благородную цель: отделить, как пишут новейшие историки, «гений нации» от деспотизма, «народность» от крепостного права, православие от политического идолопоклонства. Но для этого нужно было (а) свергнуть царизм и (б) выдвинуть хоть сколько-нибудь приемлемую социальную программу действительного оздоровления общества. Ни того, ни другого, разумеется, не было сделано этим возникшим из лучших будто бы намерений движением, ибо самобытность народа, на сохранение которой как раз и были направлены усилия славянофильствующих умов, основывалась (по их же утверждениям) на вечном и неизменном триединстве: самодержавии, православии, народности. В этом триединстве и только в нем, по их мнению, заключался и «гений нации», и как же было, не сохранив фундамента, сохранить здание? Уже брат Константина Аксакова Иван Аксаков хорошо понял это и стрелку борьбы от врагов внутренних развернул к врагам внешним, то есть обратил взор на Европу как на рассадницу всех и всяческих зол, от которых нужно возводить стену, чтобы спасти самобытность.

С тех пор на протяжении более полутора столетий мы только и делаем, что стараемся возбудить в русских людях (я имею в виду, разумеется, славянофильство) ненависть ко всему европейскому, а теперь уже и заокеанскому: и к политике их, и к экономике, и особенно к культуре, которая, мы уже не можем представить себе, чтобы не опустошала духовно и не развращала людей, хотя, к слову сказать (а в дальнейшем попытаемся поговорить и основательнее), не с тайной ли завистью, не с мучительной ли болью смотрим мы на обилие товаров и яств на загнивающем Западе, смотрим и удивляемся их уровню нравственности, вытекающей из уровня и стабильности жизни? Конечно, не все, наверное, однозначно и там, и есть свои неразрешимые противоречия и проблемы, но давайте все же вернемся к своим, словно груз, придавившим и изничтожающим нас. О самодержавии не может быть и речи, оно неприемлемо, и его не то что нельзя, но преступно вписывать в нашу самобытность, тем более закладывать как фундамент в основу «гения нации». Православие? Но церковь, и это тоже известно, своими догмами только усыпляет людей, делает их первобытными (по восприятию мира, то есть по развитости ума), и смиренными, и послушными (по склонностям характера); взамен благ материальных, отбираемых правительствами у людей, церковь способна подать на стол жизни лишь некую (и глубоко сомнительную) духовность, как если бы вместо пирога человеку предложили сказку о нем. Кое-кто, разумеется, может с этим не согласиться; может возразить и привести тот известный довод, что, во-первых, людям непременно требуется во что-то верить и что без веры опустошается жизнь, и, во-вторых, кто, дескать, возьмется отрицать, что церковь всегда или почти всегда призывала людей к добру и, как блюстительница нравственности, сделала достаточно много; да и в области просвещения (на первом

своем этапе) и единения, — все это так, тут не о чем спорить; но давайте на другую чашу весов положим то отрицательное, что было и остается за ней, и первое в этом ряду — ее роль в насаждении смирения перед властью; что бы ни делала власть (которая — от бога?!), как бы ни обирала и ни грабила простой люд, люд этот, взнузданный византийской уздой православия, должен был терпеть и смиряться, смиряться и терпеть, довольствуясь лишь положением паствы, то есть овечек, с которых стригут шерсть и берут шкуры и мясо; да, да, давайте положим на чашу весов лишь только эту ее (в пользу власть имущих) деятельность, эту примирительную, мягко говоря, функцию, когда укротительная длань призывно (и угрожающе) обращалась лишь к мужику, предоставляя ему единственный выбор — быть постоянно в невежестве и во младенчестве (по уму), и посмотрим, какая из двух чаш весов окажется тяжелее и с чем можно сравнить тот ущерб, нанесенный православием (хотя и не только им) народу, который мы и теперь все еще не можем до конца переварить, чтобы вернуться в лоно свободных, гордых и дорожащих действительной своей самобытностью народов.

Я пишу эти строки с горечью и отнюдь не для того, чтобы отменить православие (если кому-то придет в голову подобная мысль); религию отменить нельзя, как нельзя хоть что-либо (задним, разумеется, числом) подправлять или подтасовывать в нашей истории, да и в истории народов вообще; точно так же и осуждать предков — занятие не из лучших; всем ли народом, как иногда пытаются подать нам, или отдельными обладавшими властью личностями (и только ли в своих укороченных целях или, что вернее, в целях увековечения, вообще преимущественных прав элиты) был сделан определенный выбор, и ход развития человечества, как и отдельных народов и государств, пошел именно в этом направлении, в каком мы пребываем теперь, а не в ином; но дело в том, что мы, то есть народ наш, волею судьбы вновь (в конце столетия и очередного тысячелетия) оказался на том витке истории, когда надо сделать выбор на будущее, и повторили мы его на основе самобытности, какую так старательно выработали нам отцы славянофильства (на основе все тех же, но подновленных теперь понятий триединства, ничего, впрочем, кроме тьмы, невежества и закабаления не принесшего нам), или обратимся к той действительной и веками отгораживавшейся от нас (да так, что многие и понятия не имеют, что она есть) самобытности, которая предполагает прежде всего освобожденность духа и освобожденность труда на отданной людям земле? Да, история ставит нас именно перед выбором, и потому мы не можем нереалистично смотреть на мир; не можем, поддавшись иллюзиям, позволить опять увести себя на путь подмен, когда приоритет отдается не свободе и демократии, а некоей (испокон будто важной для русского человека) твердой власти, а вместо духовной раскрепощенности берется и надевается смирительная рубашка православия. Нет и тысячу раз нет подобной самобытности, основанной на церковных, сколь бы ни были они могучими и действенными (и ведь в чью пользу?!), догмах.

Так что же остается, если исключить два первых понятия из пресловутого триединства? Остается народность. Но и она в том толковании, в каком только и можно (в общей предлагаемой концепции) представить ее, является неприемлемой, и давайте не будем в согласии с известным выражением ходить вокруг да около, а назовем вещи своими именами, то есть очистив (до стержня) от всех привнесенных наслоений истину, выставим ее в том обнаженном виде, в каком яснее всего можно разглядеть ее. Народность, вытекающая из самодержавия и православия, — это не народность. Она не только не предполагает каких-либо перемен к лучшему, но, напротив, способна лишь усугубить, продлив на века, то бесправие, которое, мы все видим, к чему привело. Народность — это совсем иное; это земля и воля; это возможность каждого проявить себя в раскрепощенном и неограниченном хоть какими-либо рамками труде; это семья как основа и хранительница традиций и нравственности, и социальная обеспеченность ее; и это, наконец, то правовое общество, в котором всякая личность (и не на словах, а на деле) защищена законом; а власть не для насилия, а для соблюдения законов. Конечно, я понимаю, сколь невыигрышно разрабатывать и предлагать этот вариант жизни, не затрагивающий как будто тех национальных чувств, которые так очевидно бу-

доражатся программой славянофильства, но еще и еще раз прошу: давайте посмотрим на дело с предельной реалистичностью и скажем себе, что для нас важнее — национальная ли (и довольно сомнительная) амбициозность и аскетическое, с куском хлеба, квасом и луком существование, или та, в достатке и с крепкими семьями (и нравственностью в них), жизнь, о которой пока что дано только мечтать, наблюдая ее у других народов и государств?

XXII

Уже много позднее, размышляя над этой встречей с Бобровниковым да и славянофильством вообще как движением, набиравшим (по темноте нашей и невежеству) сторонников и силу, я сделал несколько дневниковых записей, которые и рискну, прося вновь великодушно извинить меня за отступление уже в отступлении, привести здесь. В чем-то они, может быть, повторят сказанное, но в то же время, как мне кажется, помогут уточнить или, вернее, глубже понять истину, с какой так настойчиво (и небезнадежно, надеюсь) я стремлюсь выйти к людям.

Вот они, эти короткие записи:

1. Национальный дух (иначе говоря, русская идея) крепок не тем, что замкнут в себе. Он должен быть открыт — и в области философии, и в области науки и культуры — для всех ветров и соизмеряться с ними, а крепок может быть только основательностью жизни, только социальным благополучием, которое, в свою очередь, зависит от того, в чьих руках находится земля — в руках народа или отдельных групп людей, или государства как вершителя судеб. Земля и только земля и освобожденный труд на ней могут дать человеку основательность, а с нею и крепость духа, и веру в себя. Замыкание же национального духа в себе есть новое и страшное закабаление.

И еще: почему нас постоянно пытаются отделить от общеевропейских и общечеловеческих достижений и ценностей и держать в изоляции? И не вступит ли тут в противоречие идея замкнутости с посулами процветания? И не тот ли это круг, из которого нет выхода?

2. Явление славянофильства, в сущности, явление своего рода уникальное. Оно не просматривается или почти не просматривается у других народов и возникло у нас вследствие общего истощения и упадка духа. Безземелье и угнетение, то есть самодержавие и православие, — вот первопричина, приведшая народ к истощению национального духа и достоинства. Кроме того, огромную, если не первостепенную роль в этом сыграло полное отмежевание наше от Запада. В то время как на Западе крестьяне уже владели землей и развитие народов пошло там по определенному направлению, мы продолжали топтаться в экономическом и духовном отношении на уровне средних веков. В этих условиях неминуемо и должно было родиться славянофильство как движение. Тот народ, которому есть чем гордиться и достижения которого очевидны всем, не думает и не ищет некоего в с е б е предмета для гордости; а тот, которому нечем гордиться и который в упадке, — ищет и выдумывает, чтобы хоть как-то утешить себя. Но славянофильство, выдвинувшее целью своей возрождение нации, в сущности, лишь прочнее заковало эту нацию, то есть русский народ, в порочный круг и выполнило тем самым (ретивее, может быть, чем даже православие) реакционнейшую по отношению к своему народу функцию. Оно, это славянофильство, лишь увеличило разрыв между европейскими народами и Россией и вместо решения социальных проблем (отдать землю крестьянам, например), что предоставило бы народу самостоятельность и помогло укрепить веру и дух, предложило лишь так называемое нравственное самоочищение; да и что оно могло и может предложить, опираясь на пресловутое триединство? Тут-то и возникает вопрос: насколько движение это действительно имеет корни в народе и какова конечная (и скрытая) цель его? Оно — как сосуд с ядом; за внешней привлекательностью и красивой оболочкой таятся страдания и смерть.

3. О православии и христианстве вообще. Я не раз задавался вопросом, чем отличается церковь православная от католической, только ли внешними атрибутами службы, или же чем-то более основательным, что

просматривается скорее даже не в самих религиях, а в судьбах народов, исповедующих их? У православной церкви всегда была цель более узкая и определенная — поддерживать самодержца, укрепляя его власть, и смирять перед ним народ, иначе говоря, она служила одному царю и одному народу и потому (вместе со своими сиюминутными и дальними целями) как нельзя лучше вписывалась целиком в нашу российскую самобытность и нашу историю. У католической церкви всегда бывало по нескольку людовиков, карлов и фридрихов в ходу, которым она хотя и служила, но уже не столь ревниво, как если бы надо было угождать одному, да и сама часто вступала в борьбу за светскую власть, манипулируя этими своими людовиками, карлами и фридрихами, и потому не могла столь глубоко (и одновременно) являться основой самобытности и для французов, и для англичан, и для немцев, австрийцев, итальянцев, испанцев или шведов. Она невольно, лишь в силу обстоятельств, давала больший простор своим народам в поисках и утверждении жизненных начал, и потому при всей религиозности тех же испанцев, итальянцев или французов никому и в голову не придет соединить их традиции или, вернее, вывести их только лишь из постулатов католицизма. Потому-то и развитие у европейских народов пошло в ином направлении и более быстрыми темпами, чем, скажем, у православных и мусульман, чьи религии воспринимались не иначе как судьбоносные. Если посмотреть реалистично, то православие (по своим застойным функциям) стоит куда ближе к мусульманству, чем к католицизму, и этим, мне кажется, сказано все или почти все. А нам вновь и как нечто исконное готовятся навязать эту нашу *веру*, и если такое все же случится, то — что для истории пятнадцать лет брежневского застоя, когда его вновь можно будет измерять тысячелетием!

Да, кстати, не странный ли симптом, что некоторые литераторы, позабыв о проблемах своих народов (чьи интересы призваны выражать и защищать), пытаются вмешаться в русские и решить их, или, вернее, предложить решение их на основе православия, не приняв прежде этой веры и не испытав на себе всю вековую «прелесть» сей византийской узды.

И еще: церкви наши, как и мусульманские мечети и минареты, увенчаны, по существу, одними и теми же, то есть почти копирующими друг друга луковицеобразными куполами, и если прежде мне казалось, что между ними есть только внешнее сходство (как бывает, к примеру, в одеждах у соседних народов), то теперь все больше прихожу к мысли, что заложено здесь нечто корневое, что (по великой застойности) и роднит нас.

XXIII

Но что я мог тогда, в той обстановке возбуждения и нервозности, ответить Бобровникову? Что он не прав, что факты истории не колода карт, чтобы тасовать их, тем более шулерскими руками, и что то в нашем прошлом, что совершалось насильственно, нельзя, преступно выдавать за волеизлияние народа? «Самобытность, самобытность... Да прежде дайте людям выработать эту самобытность, верните им землю и право распорядиться ею и собой на ней, дайте обосноваться корнями, как в действительном, а не названном отечестве, — торопливо повторял я, что только и мог ответить Бобровникову. — Предоставьте народу хоть одно, да-да, хоть одно столетие пожить самостоятельно, свободно и обрести себя, а потом уже и говорите о самобытности». Но случилось так, что и этого мне не удалось высказать своему столь грозному оппоненту.

Отходя и надвигаясь (и физически, и словесно, как уже упоминалось выше), Бобровников, казалось, как заведенный, не мог, не исчерпав давления скрежещущих в нем пружин, остановиться, и завершающая фраза его (прежде чем я понял, что она завершающая) прозвучала на столь высокой ноте, что и последовавшая за ней тишина воспринималась как продолжение сорвавшегося старческого голоса.

— Да вам ли с вашей тощей европейской пластмассою перегораживать стихию русской жизни?! — Он даже вскинул руки, как вскидывают их, призывая в свидетели бога. — Стихия, перечеркнувшая итоги семнадцатого, перечеркнет и сметет все, что возникнет на пути ее самобытности!

Лицо его с промытою белою кожей болезненно помрачнело, глаза, как огоньки стреляющих в ночи автоматов, угрожающе устремились на меня, но состояние это его длилось недолго, и я даже сомневаюсь теперь, что было ли вообще так, или лишь показалось (по тогдашней моей возбужденности), что так было, потому что, когда через мгновение, да, буквально через мгновение, я вновь поднял взгляд на Бобровникова, на лице его уже не было этого гневного выражения; и на лбу, и на щеках, как у сердечника, разливались розовые пятна, он ждал, видимо, чтобы я что-то возразил ему, и когда я спросил, о какой стихии он ведет речь, — удовлетворившись, он как-то вдруг, снисходительно будто усмехнулся этой моей непонятливости и, сказав Цыганкову: «Идемте, нам здесь больше нечего делать», — направился к выходу.

Но в дверях, остановившись и обернувшись, бросил еще:

— Учтите, вас не трогают, пока вы еще не в литературе, а около нее. Желаю благоразумия.

Вслед за Бобровниковым, оглядываясь и пожимая плечами, вышел Цыганков, и, не знаю, стоит ли описывать то состояние, в каком, оставшись в гостиной, я прислушивался к звукам, доносившимся из прихожей, где те самые Бобровников и Юлий Кириллович, выражая неудовольствие (да что еще они могли выражать?), облачались в свои шарфы и дубленки, купленные, разумеется, на чеки, в свои объемные, из дорогого меха шапки, на которые я обратил внимание, когда еще входил к Вере, и теперь, казалось, точно знал, кому они принадлежали; я выглянул посмотреть, действительно ли ушли, когда за ними захлопнулась дверь и раздался характерный щелчок замка, и, не увидев никого (кроме висевших на стене черных африканских масок — богатства Веры!), вернулся в гостиную, не представляя, для чего и зачем, а потом, словно в подражание Бобровникову, еще вышагивал от стены к центру и обратно, глядя под ноги, на ковер, и не замечая его. Было, может быть, и другое, тоже диктовавшееся крайней (и не унимавшейся) взвинченностью; у меня даже осталось впечатление, словно я вновь как живых (будто они и не выходили) видел и Бобровникова, и Юлия Кирилловича перед собой в их изысканно-модных костюмах, модных рубашках и галстуках, то есть во всей той безукоризненности (с точки зрения внешнего вида), в какой они и потом не раз представали передо мной. Но дело не во внешнем, вернее, не в той видимой суете, как бывает с нами, когда не знаешь, куда деть руки, а в мыслях, даже (для того ряда событий) итоговых, которые и теперь, мне думается, не утратили ни своего значения, ни интереса. Я как будто не задавал себе вопроса: «Что же произошло?», — хотя все, о чем думал, все, все вращалось именно вокруг него, то раздвигаясь во времени и захватывая все пласты жизни народа, его сегодняшний день, историю и будущее, зависящее, но не должное зависеть от какой-либо (или кем-то) выработанной предопределенности, то сужаясь до интересов Ивана Егорыча, интересов Веры и своих (ведь мне угрожали, да, я понял, мне угрожали!), в которых главным и движущим было полное незнание, то есть невозможность предвидеть, с какой стороны будет нанесен удар. Правда, мне еще казалось, что я преувеличиваю, что, в сущности, у меня нет ни перед кем вины, что все, что делаю, — делаю не для себя, а для общего блага и что, наконец, есть общественность, которая, конечно же, разберется, где истина, а где ложь, и не позволит расправиться; вопреки тому, что с Иваном Егорычем не разобралась и не защитила, о чем было более чем известно мне, вопреки тысячам других фактов, уходивших в глубь столетий и к живым еще в людской памяти тридцатым, когда на виду у народа, у интеллигенции и во многом с помощью ее уничтожались невинные и лишь за то только, что хотели думать по-своему и не могли признать за благо, что подавалось им, — да, вопреки этому очевидному, что могло бы отрезвить и заставить реально взглянуть на вещи, я продолжал выстраивать (из чувства самосохранения, разумеется) этот воздушный замок, бесплодно надеясь и уповая на общественность. То, что произошло с Иваном Егорычем, мне казалось, было неприложимо ко мне. «Чего же они хотят? Да они преступники», — вгорячах говорил я себе, как если бы стоял перед общественностью и открывал ей то в Бобровникове, Юлии Кирилловиче и иже с ними, что она должна была увидеть и осудить в них.

Но я стоял не перед общественностью, а у окна и, отодвинув штору, смотрел на зимнюю, сумеречную Москву, вернее, на тот окраинный — с однотипными блочными корпусами — уголок ее, каким он только и мог видеться из Вериной квартиры, отдаленной от центра (и с двумя башенными домами впереди, заслонявшими простор); но если бы представало нечто иное и одухотворяющее (наподобие арбатских или сретенских переулков с их особняками и двориками, возвращающими нас к старой Москве), то и тогда вряд ли привлекло бы внимание, потому что вот уже скоро двадцать с лишним лет, как по утрам из окна своей писательской кельи я вижу один и тот же этот приглядевшийся городской пейзаж, который стал для меня столь же составной частью жизни, как для деревенского человека река, луг, лес или пашня, берущая начало прямо от избы и огорода и способная поразить (своей будто бы первозданностью) лишь горожан. Но ведь для нас часто бывает важным не то, что видим, а то, что способно представить воображение, когда современное и историческое, соединившись, как разрез некоего огромного исторического пласта, открывается перед нами; и в этом плане — мне достаточно было тогда, у Веры, когда, отодвинув штору, вглядывался в морозную синеву улицы, лишь сознавать, что там, за окном, лежит город, лежит Москва с ее живым (и историческим) интересом жизни, лежит держава с миллионами самых разных человеческих судеб, подчиненных, зависимых и слитых с одной, общей — тянуть и тянуть лямку жизни, не видя просвета, и с бесконечными «почему», которые мы все, только, может, с чуть разными оттенками и глубиной (по глубине интересов и знаний), задаем себе; да, мне важно было не то, что видел или мог бы, скажем так, видеть, что было за окном, а то, о чем думал, лишь повторяя (в то время как все представлялось мне открытием и удивляло и поражало) эти известные в веках, а не только в десятилетиях, да-да, именно в веках — всеобщие, наивные и безответно звучащие «почему». Почему всякий раз, когда народ попадает в тяжелейшие условия жизни, в среде интеллигенции возникает столь сильная разобщенность и поднимается такая многоголосица мнений и предложений (по поводу причин упадка и устранения их), что кажется, ничто уже не может противостоять этой энергии шума, способной будто бы в такой степени исправить все, что в самом шуме этом (и разобщении) следует, как говорят нам, видеть залог успеха. На гребне оказываются и отдельные личности, готовые как будто отдать жизнь за народ, но пока что действующие лишь в своих интересах, и группы лиц со своими лидерами и подлидерами, объединенные общей и кажущейся им непременно новой идеей, которая, в сущности, как красочный шар, может скорее вызвать лишь любопытство, чем что-либо сказать уму и сердцу, и целые направления, подобно бобровниковскому, действующие как будто не только в пользу народа, но и от имени его; но если без предвзятости, просто и реалистично взглянуть на все это витийство, оплодотворенное лишь междоусобной борьбой и не производящее ничего, кроме шума, то можно ясно увидеть, что все выдвигаемое (и противопоставляемое, и отрицаемое) ими суть вопросы второстепенные, не затрагивающие главного, корневого, от решения которого в ту или иную сторону только и может зависеть все. Говорить о народе, о налаживании его жизни и не говорить о земле, то есть не ставить вопроса, чтобы земля была отдана ему, — это значит лишь сотрясать голосами воздух, который, впрочем, не счесть уже сколько раз за века сотрясали подобным образом. Все, что есть негативного в социальном и нравственном, все происходит от одного: кому и для чего принадлежит земля; и если мы действительно желаем блага народу, то что нас останавливает сделать это? Что мешает отдать народу землю, на которой он мог бы, обосновавшись, жить и проявляться трудом на ней и которая стала бы для него более, чем только любезным сердцу отечеством. Так почему? Почему всегда находятся люди, которые, понимая не только остроту проблемы, но и причины возникновения, то есть глубинную суть ее, в деятельности своей так подстраиваются под державный (и неизменный в веках) канон власти, так ловко умеют подыграть ей криком о второстепенном и прошлом, что я даже не знаю, как и оценить подобное явление; и люди эти, как ни странно (хотя что же, собственно, тут странного?), обрастают не только пожизненной, но и посмертной славой, продолжая со-

всем уже в иных столетиях все ту же игру «в одни ворота», которая велась и ведется против народа. Но почему? Во имя чего? Что движет этими людьми, и вообще проснется ли когда-нибудь у подобных деятелей совесть? И еще множество «почему», «почему», «почему» возникало и роилось в остановившемся будто в эту минуту во мне времени.

Но человек не может (для облегчения ли душевного или для каких-либо иных целей), оторвавшись от сиюминутных интересов жизни, без конца варьировать лишь общие категории прошедшего и будущего; даже философы, привыкшие мыслить абстрактно, время от времени вынуждены спускаться на землю и соизмерять сказанное с житейским (иначе в чем же смысл их усилий?). Житейским же для меня была угроза, высказанная Бобровниковым, и все соответственно вытекавшее из нее: и для творчества, и для жизни вообще, то есть для всех тех, словно бы случайно выпавших из повествования подробностей быта, которые, когда они есть в книге, вызывают нарекания критиков и объявляются ими бытовизмом (как уже однажды было со мной), а когда нет, то опять же и еще большее нарекание, но уже в засушенности текста и в некоей даже будто бесталанности автора. Так что же делать, если логика блюстителей художественности столь нестабильна или, вернее сказать, такова, что всегда прав критик и всегда виноват автор (как, видимо, произойдет со мной и на этот раз), и все же я чувствую, что были бы не к месту и лишь отяготили и без того нелегкое повествование те подробности, которые любой читатель, даже не прикладывая изложенных обстоятельств к себе, может вполне представить; для меня же, если конкретизировать, главное (в житейском уже) было — спокойствие (относительное, конечно же, как у всякого писателя), которого, столкнувшись сначала в лице Игоря Максимовича, а теперь в лице Бобровникова с начавшей уже господствовать в литературе (да и в обществе в целом) силой, я должен был лишиться; лишиться (под их неусыпным групповым контролем) свободы выражения мысли, возможности печататься, а значит, зарабатывать и жить (именно тем писательским трудом, который давал мне эту возможность). Но если бы речь шла только о материальных ущемлениях, то есть об обычном семейном благополучии, то тут, если цела голова и руки, всегда можно выйти из положения; меня же, я понимал, втягивали в ту бессмысленную (по своим конечным результатам) междоусобицу, в то беличье колесо, в котором, как известно, сходила на нет даже лучшая часть интеллигенции, если позволяла себя втянуть в него; меня пугала как раз эта перспектива пустоцвета, от которой я всегда так старался уберечься и которая теперь, как стихия, неотвратимо надвигалась и должна была захватить меня.

XXIV

— Ты еще здесь? — вдруг отчетливо послышался за спиной голос Веры.

Я обернулся (не без досады, разумеется, как бывает, когда человека отрывают от дел) и готов был уже сказать что-то резкое, раздражительное, как если бы она и в самом деле была причастна ко всем надвигавшимся на меня бедам, но (по общему виду своему) она показалась мне настолько беспомощной, жалкой, способной вызвать лишь сострадание, что я только и смог, что недовольно нахмуриться и отвести взгляд.

— А я подумала, ушел. Все так тихо, — снова (и с удивлением) произнесла Вера.

В джинсах, словно гамаши, обтягивавших ее, в большом, не по росту, свитере, мешковато свисавшем с худых, покатых плеч, она выглядела так, будто у нее была украдена женственность, и я до сих пор не могу забыть этого впечатления обворованности, в какой, кстати сказать, пребывали тогда да пребывают и теперь наши женщины, ограниченные в выборе одежд и оттого лишенные будто бы вкуса и умения предстать привлекательными; ей все еще было холодно, и она ежилась в этом своем огромном свитере, прижимая к груди руки и подсовывая пальцы под хомутообразный высокий ворот.

— Вера, — проговорил я, шагнув к ней, чтобы (в согласии со своей домашней привычкой) взять ее замерзающие пальцы и погреть их. Ни-

когда прежде не находивший в ней сходства со своей женой (ведь сестры, хотя и двоюродные), я вдруг впервые понял, в чем оно заключалось; оно заключалось в одинаково леденевших (при малейшем волнении) пальцах и в одинаковой потребности именно под подбородком, у шеи погреть их.— Вера,— чуть смутившись (от своего невольного открытия) и подавляя это смущение в себе, повторил я.— Нам надо поговорить. Поговорить очень и очень серьезно. Давай присядем.— И я оглянулся, чтобы подыскать место, где можно было бы, пристроившись, начать эту нашу беседу, которую так ли, иначе ли, но когда-то все же пришлось бы провести с ней.

Но Вера вдруг словно очнулась от оцепенения.

— Нет!— решительно заявила она.

— Почему, разве нам не о чем поговорить?

— Я не могу сейчас. Да и не хочу.

— Но почему? И для чего тогда я здесь?

— Не знаю. Ты сам пришел.

— Но, Вера?!

— Ну что тебе за интерес лезть в чужую жизнь? У тебя с Маней своя, у меня своя.

— Ты не права и в конце концов не чужая же.

— Чужая. Да и чем теперь люди роднятся между собой? Разве что— кто кого половчей обманет да посмачней плюнет в душу? Ах, пожалуйста, не втягивай меня в разговор. Не хочу, не хочу, не хочу! И вообще, зачем ты пришел сюда, в эту нашу грязь? Зачем тебе все это нужно, ну зачем?— сказала она с той искренней озабоченностью, с какой, я давно заметил, люди простые стараются отгородить достойного, на их взгляд, человека от своих неудобств и неурядиц жизни.— Тебе же писать, писать, но о каком благородстве ты напишешь? Об э т о м?

— Вера?!

— Я сказала,— повторила она.— Да и дома тебя, наверное, заждались. Нет, нет, иди, оставь меня. Иди, иди.— И, чтобы окончательно выказать свою решимость, она вышла в прихожую и встала у вешалки, на которой одиноко и неуютно темнели мои шарф, куртка и шапка.

Спорить с Верой, я понимал, было бесполезно, и, одевшись и попрощавшись с ней, я вскоре уже шагал по сумеречной морозной улице ко входу в метро.

Наверное, нет большего соблазна для художника, чем взяться за описание пейзажа, особенно если он созвучен с настроением и являет собой тот или иной (по уровню восприятия) признак совершенства. Такое, правда, случается нечасто (или, вернее, мы просто не фиксируем, а живем и живем, как живется), и я затрудняюсь вспомнить теперь, когда бы еще был столь слит с окружающим миром, как в этот вечер, пока от Веры добирался домой; то, что было во мне, то есть мысли и чувства, навеянные встречей с Бобровниковым и разговором с ним, и что обступало, то есть дома, тяжело нависавшие своими темными силуэтами над улицей, немые глазницы витрин, глазницы окон, столбы, деревья, голые и сучковатые, как в выжженном лесу,— все, все было соединено в один отягченный заботами мир, который если и поражал каким-либо совершенством, то лишь— совершенством недуга, повсюду (и на века будто) угнездившегося в нем. Снег на тротуарах, не убранный еще с четверга и подтаявший днем, вновь к ночи застыл бугристыми кочками (картина, к сожалению, давно уже обычная для Москвы), и прохожие, двигавшиеся впереди и позади меня, то и дело, словно птицы с подрезанными крыльями, пытающиеся взлететь, взмахивали руками, ворча и чертыхаясь на городские власти, на погоду и, как и водится, на жизнь вообще, что она выпала им такой, какой была, с тенденцией к ухудшению и с э т и м и наледями, на которых, того и гляди, сломаешь бедро или свихнешь шею. Но, повторяю, я не замечал этого внешнего, с чем сталкивался и мимо чего проходил; обращенное в символы, оно накладывалось в моем сознании на жизнь, и потому ухабы и наледи казались мне не ухабами и наледями, а тем социально-нравственным неустройством общества, вернее, тем грузом проблем, с которыми, не решив их прежде, нельзя достичь цели. Таким же символом воспринимался и ледяной, пронизывающий ветер, готовый вот-вот сорвать с головы шапку и бросить на дорогу, а желание придержать ее— как необходимость защититься и устоять под напором забот, ежедневно и будто на голову сваливающихся на нас, которым нет ни счета, ни меры (и даже на отдыхе, да, даже в санаториях, где хоть чем-нибудь, но непременно отравят тебе настроение — на час, на день, а то и на весь срок). Конечно, я понимаю, могут сказать, что символы— это не реализм и что если таким образом смотреть на мир, мало ли что можно наворотить; но я скажу: э-э, нет, коль скоро символы возникают, значит, они реальны и их нельзя отнести к голой или разветвленной, как хотите, фантастике, с их помощью объемнее и четче видится мир, а что касается реалистичности, то реализм их (и даже, может быть, более чем реализм) состоит в том, что позволяет нам одновременно и видеть предмет, и проникать в глубинную суть его.

Но если бы у меня было хоть чуть-чуть другое настроение, то, может, я бы иной увидел улицу и непременно нашел бы в ней нечто оптимистическое, что ли; и в тех же мрачных как будто домах, тех же слепых витринах и окнах, тех же окоченевших столбах и деревьях да и в наледях, этом творении природы, заключающем в себе свой архитектурный смысл. Людская жизнь, мне кажется, тоже, но уже с помощью общественных сил творит свои формы существования; насколько эти формы хороши или непригодны и вызывают отвращение, это вопрос другой; но если что-либо в этом плане и следует изучать, так прежде всего механизм, приводящий в движение эти общественные силы, перед которыми все мы— и в одиночку, и вкупе— всякий раз оказываемся мало того что бессильными, но— усмиренными и в стойлах, как бычки с кольцом в ноздре, ожидающие, что положит им в ясли хозяин. Но в чем же все-таки механизм,— спросят меня. Да я и сам спрашиваю: в чем? Спрашиваю на всех этих страницах, написанных, как думаю, не чернилами, не кровью, умом или сердцем (как там еще говорят?), а великим и нестихающим стоном всех тех поколений деревенских людей (мечтавших о земле, но так и не получивших ее), с судьбой которых переплетена и моя до всех известных мне по отцу и по матери колен; и хотя она, может быть, не столь выразительна с точки зрения общего взгляда на нее или, вернее, взгляда нынешнего оторванного от земли русского человека, но для меня— как единственно данная (во времени и пространстве) площадка жизни, с какой только и ощутимы история и будущее людей. Но все же в чем механизм? Не в ничтожной, то есть не в нулевой ли информированности нашей? Да знаем ли мы хоть частицу того, что творится за державными стенами? Может быть, кто-то и берется (и всегда ли с благими целями?) просчитывать будущее, тем более ближайшее, но— мог ли я в тот памятный теперь уже для меня декабрьский вечер, когда возвращался от Веры, хоть на мгновение представить, что уже менее чем через год страна (в трауре) будет провожать в последний путь своего достигшего почти тех же высот, что и кумир № 1, незабвенного малоземельца и что вместе с последним комком земли, брошенным на его могилу, начнет отправляться на свалку истории (не просто, нет, а с усилиями, с борьбой) все то приведшее общество в тупик, чему нет и не может быть ни оправдания, ни прощения ни теперь, ни в грядущем.

Нет, разумеется, я не мог думать об этом; не оптимистические, а иные и грустные мысли волновали меня, и по какой-то странной и необъяснимой ассоциативности я вспоминал об известных а р х и м е д о в ы х к о л ь ц а х на песке и думал: не есть ли это физическое выражение замкнутой бесконечности общественных явлений жизни?

Конец первой книги

Глеб ГОРБОВСКИЙ

Стихи разных лет

* * *

О цветке поведал гений, —
слов мерцала ворожба...
В жажде острых ощущений
ощетинилась толпа:

«Как посмел ты петь про пестик,
в дни гонений — про пыльцу?!» —
в жажде крови, в жажде мести
говорил народ певцу.

Но молчал он... Лишь медвяно
мысль стекала со струны:
«Дни гонений — постоянны,
дни прозрений — сочтены».

1988

* * *

То был разрыв длиною в пять
минут
меж днем и ночью, сном и
пробужденьем.
В окне листва училась шевеленью,
в овраге птицы предавались пенью,
а я не помнил... как меня зовут!

И что есть мир, молчащий
за окном,
и что есть я, живущий в этом
мире, —
я все забыл, хотя и мыслил шире,
чем год назад, когда я жил
в квартире,
а не в лесу, в пристанище
сквозном.

И вдруг я вспомнил то, чего не
знал!
Нет, не о том, что истина
капризна,
и не того, кому обязан жизнью, —
меня пронзил нерукотворный
признак:
всему начало — гибельный финал!
Есть за чертой борьбы добра
и зла,
как бы за гранью мысли
о чудесном,
как за мечтой о царствии
небесном,
во дне грядущем, а не в присном
пресном —
простор, и свет, и смысла два
крыла.

1988

Гоголевщина

Из-под ног ушла дорога.
Нет в отечестве пророка.
Вместо храма — ввысь — слепа
прет фабричная труба!
Мертвых душ апофеоз.
Гоголь, плачущий без слез...
Дождь идет. За облаками
звезды лязгают клыками.
Водка за сердце берет.
Люди ходят взад-вперед.
Бьются лбами друг о друга.
Летом дождь. Зимою вьюга.
Хлеб, любовь, могильный сад.
Ты не съешь — тебя съедят.
У парадного подъезда
что за шум? Борьба за место.
Даже солнца сник порыв.
Что оно? Атомный взрыв.
Через, скажем, игрек лет
от него простынет след.

...Так ли, этак, сладко-кисло, —
невозможно жить без смысла.
Выбит зверь. Редеет лес.
Запах истины исчез.
Бренны радость и беда.
Скучно в мире, господа!

1967—1988

Валаам

Замшелый остров.
На его макушке —
слиянный с твердью храм,
почти утес.
Прозрачный счет единственной кукушки.
И теплоход вдали,
как бомбовоз...
Вот он пристал. И — сыпанули люди!
Чтоб жечь костры и разливать вино.
И всякий день от красоты убудет.
А, значит, ей погибнуть суждено?
— Нет, нет! — кричат
святые гнев и жалость.
И сердце гибнет в зареве стыда.
То красота на миг с толпой смешалась, —
отдельна в небе каждая звезда!

1988

Обитаемый остров

Среди космодромов, погостов,
проспектов с бензинной тоской
душа — обитаемый остров
в пучине житейской, мирской.

На острове этом безвестном
цветут размышлений сады
и звуков музыки небесной
висят кружевные мосты.

Там странствуют светлые тени
бессмертных друзей и подруг.
Там пляшут скульптуры растений
и дней замыкается круг.

Там все неизжито и остро —
всей жизни былой аромат...
Душа — обитаемый остров,
а тело — ее автомат.

Там, в травах ночных увязая,
с лицом, утомленным извне,
владычица сердца, босая,
идет через вечность ко мне.

1988

* * *

Античность — миф.
А жизнь была проста —
вся в трещинах,
как почва или губы,
которые античней звать «уста»,
дабы не столь отчетливо и грубо.
Все эти зевсы с вакхами — мираж,
дань вымыслу
и — ворожба искусства.
А жизнь была в трудах
убийств, и краж,
и праздников!
Но чаще было грустно.

1988

* * *

Все ярче явь,
все жиже грусть.
К добру и свету льнет эпоха.
Все хорошо.
И я боюсь,
что вслед за этим —

будет плохо.
Уж так устроен этот мир —
на вечной смене
дня и ночи:

кумира
вытеснит сатир,
глаза...
преобразятся в очи!

1988

Воспоминания об одной улыбке

Морозный день. Жандарма крик.
От роду — десять лет.
И тут подъехал грузовик,
в озябших фарах — свет.

Лежал плененный городок
под снегом и золой.
Топтались Запад и Восток
вокруг столба с петлей.

Десяток их, десяток нас —
толпы... Откинут борт.
И грузовик в который раз
чихнул в оскалы морд.

А там, под тентом — в глубине
фургона — человек...
В его глазах, на самом дне
уже не страх, а снег.

К запястьям проволоки медь
прильнула... глубоко.
Сейчас ему — хрипеть, неметь,
вздыматься высоко.

И вдруг, печальна и чиста,
как музыка лица, —
улыбка тронула уста
казнимого юнца!

...Потом и я бывал жесток,
забывчив — не солгу,
но та улыбка — на Восток! —
по гроб в моем мозгу.

Что ею он хотел сказать?
Простить? Согреть свой дом?
...Решили — руки развязать.
Спасибо и на том.

Он кисти рук разъединил,
слегка разжал уста
и все живое осенил
знамением креста.

1986

Поэт из коммуналки

А я живу в своем гробу.
Табачный дым летит в трубу.
Окурки по полу снуют,
соседи счастие куют.

Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба.

Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Утро» — о, нора!
Держу всеобщее пари,
что смех наступит до утра,

до наковальни, до борьбы,
до излияния в клозет...
Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет.

70-е годы

* * *

Вы ему — о Шекспире,
а он вам — по морде.
Вы — на слове, на лире,
он — на сексе, на спорте!

Вы ему — о Мадонне,
а он вам — о мясе.
Вот где душенька стонет,
Вот где радость-то гасят.

Вы ему — о рассвете,
о березе, о Блоке...
Хорошо, что есть дети.
И могилы. В итоге.

1975

●

Александр ТКАЧЕНКО

Из лирики

Скульптура. Жест

Работа времени резная
по древу жизни...
Но без отметин ремесла
и ты прошла, июнь терзая,
рожденьем пятого числа.
Ты так остра, как свежесть листьев,
пригубив, режешь до крови
всем необъятным аметистом
своей полулюбви...
Ты, даже руки на груди скрестив,
солжешь наивно и невинно,
глаза стремительно скосив
и очевидно!
И остается только улыбаться мило
всему тревожащему за спиной, —
что создано порядком сего мира,
не разобьешь
и тысячелетнею войной.

Мраморный ветер

Помнишь ли, мальчик, дорогу тенистую?
Сад. Щебетанье. Стрижи у ресниц.
Мрамор ветрами себя перелистывал
и открывал изумление лиц...

Все предстояло. Трава не примята.
Голос у моря не слушался ветра.
Помнишь ли, мальчик, как в берег ты прятал
то, что у моря забрал незаметно?

Помнишь ли все тайники по дороге,
чтобы вернуться по ним в тишине,
там, где смолкали песочные ноги
мамы твоей, подходившей к волне?

Помнишь ли, помнишь ли синь керосина,
спичек головки, твой гордый народ?
Вспыхивал день, и года уносило,
кто это знает — назад ли, вперед?

Помнишь ли? Кони. Корабль. Стрижи в вышине.
Все состоялось с землею и небом.
Мальчик, ты помнишь, в открытом окне
слышалось — завтра осадки со снегом?..

Три фотоснимка

1

В конвое распустившихся деревьев
приходит поезд к станции конечной,
и дальше — край, обрыв деревни,
и город позади, мешок заплечный.
Я долго с ним ходил. Натер ключицы
и вот упал в траву. И знаю, что со мною,
увы, и волны моря шум нечистый
несут в горизонтальном зное.
В мгновенье здесь ржавеет тепловоз,
к стадам ложится угоревших паровозов,
здесь робот ходит, бубнит себе под нос:
«Закат необычайно розов...».
Теперь любовь моя...
Теперь, любовь моя,
согласен я на все,
пусть небо припадет к моим глазам,
печаль из них пускай сосет,
душеспасительный поднимется нарзан,
к зрачкам поднимет голубое,
теперь, любимая, с тобою,
что с тобою?
Везде тупик. И нету тупика.
Пространство — напролет.
Нам вместе тыщу лет пока —
они не значат ничего...
И я не слег здесь, а прилег.

2

В конвое распустившихся деревьев
течет река за пограничный знак,
в конвое мыслей возвращается доверье
с бельем постиранным в узлах...
Что ей, воде? Что им, цветам,
до двух систем и мира третьего,
ЛЭП и Земля — Ситтар,
щипки небес и то конкретнее.
Но все сопровождаем мы друг друга,
как будто неуверенны в последствии,
что круг не завернет на плоскость круга
и будет наступать витками лестницы.
Теперь любовь моя...
Теперь, любовь моя,
и ты меня по свету водишь под конвоем
своих улыбок, взглядов, комплексов вины.
И выбрать меж покоем или волей,
как вырвать якоря из глубины...

3

Деревья, улыбнитесь мне,
я вас сфотографирую на память.
Что там в проточной синеве
вы ищете зелеными руками?
Мне вы даны навырост, и я рос
в ложбинах соков и в теченье смол,
так медленны моря, так остр вопрос —
как смог я вырасти
и вас покинуть смог?

Но есть еще внутри и мои формы,
по ним, быть может, выточит корявый звук
любитель собирать коряги или корни,
и я почувствую незрелость его рук.
Теперь любовь моя...
Теперь, любовь моя,
ты улыбнись и мне,
тебя в зрачках я унесу,
в наручниках незримых,
и где-нибудь на волю выпущу и на весну,
живи.
Теперь, где ни присядешь, всюду примут.

Телефон

В телефонных проводах, я слышу,
гудят колокола, звонят колокола
по нашим отлюбившим душам...
И, кажется, по всем всемирным крышам,
сбиваясь к водопаду,
еще и ужас, и любовь, и ужас...
Как страшно на краю любви, как страшно!
А вдруг уже не будет никогда
той самой яростной, пристрастной
погони друг за другом в городах?
Как гулко в этом маленьком предмете —
то самолет взлетает,
то сбрасывает море кожу волн, шипя...
Все больше колокол звонит, но не о смерти —
о том, что живо просто так,
уже не мучаясь и не скорбя.

●

Василий СУББОТИН

Рассказы из прошлого

Твои из прошлого рассказы
не интересны никому.

Ярослав Смеляков

Прощание

Было это в 1949 году, в те дни, когда я поступал в Литературный институт, сдавал приемные экзамены. Осень в тот год стояла теплая, жаркая, солнечная, понстине, как говорят, золотая. В один из таких дней я пришел на Красную площадь, чтобы побывать в Мавзолее Ленина, в котором я не был уже несколько лет. Очередь была пока что совсем небольшая, может быть, потому, что в Мавзолей еще не пускали. Я стоял, наблюдая, как сменяется караул, поглядывая на то, как стрелка часов на Спасской башне, то и дело подрагивая, подскакивает вперед. И тут вдруг невдалеке от себя увидел знакомое лицо, увидел человека, которого я, несмотря на всю разницу нашего положения, достаточно хорошо, как мне кажется, знал. Встреча эта была для меня очень неожиданной, потому что до этого времени я привык видеть этого человека в его собственном кабинете, там, где я жил и откуда приехал теперь,— в Крыму, в Симферополе. Только в кабинете да в президиуме чаще всего видел я его раньше.

Как ни странно и ни удивительно, но это был Прокопий Алексеевич Чурсин, который еще вчера был секретарем обкома по пропаганде, а до этого — доцентом кафедры марксизма-ленинизма в Крымском педагогическом институте. Мне даже пришлось быть у него однажды на приеме, в его кабинете, когда в издательстве, не знаю уж почему, была задержана моя и без того трудно проходившая книга.

Я помню, что, принимая меня, он вышел из-за стола и, чтобы я чувствовал себя уютнее, сел напротив меня, за маленький столик, который стоял перед его письменным столом. Он внимательно, даже, как мне показалось, сочувственно выслушал меня и, как я вскоре убедился, сделал все, чтобы решить этот непростой по тем временам вопрос. Я еще и потому удивился, увидев его здесь, на площади, в центре Москвы, что знал уже — это было незадолго до моего отъезда из Крыма,— что Прокопий Алексеевич, как и другие члены бюро обкома, все сняты со своих должностей и на их место прибыли новые люди. У него было больное сердце, и с того пленума обкома его увезли без сознания. Вот почему, повторяю, столь неожиданным было для меня увидеть его здесь, на Красной площади, перед Мавзолеем Ленина.

Прокопий Алексеевич предложил мне встать рядом с ним Мне показалось даже, что он рад был этой нашей встрече.

— Хочу,— сказал он,— побывать еще раз... Не знаю, как все будет...

Я видел, что он очень растерян, хотя и старается не показывать этого.

Я сказал, что я слышал обо всем, что было.

— Пока разбираются,— сказал он,— вызывают каждый день...

То, что он в эти дни пришел сюда, больше всего потрясло и поразило

меня. Он как бы хотел набраться сил, запастись мужеством перед ожидающими его испытаниями.

Мы вместе с ним — плечо в плечо — прошли перед гробом, а потом, выйдя из Мавзолея, прошли еще немного по Красной площади и попрощались.

Как оказалось, навсегда.

Через много лет в Калининграде, где мне довелось быть, я встретил реабилитированного к тому времени бывшего редактора «Красного Крыма», одного из немногих уцелевших, проходивших по так называемому «ленинградскому делу». (Первым секретарем Крымского обкома был Н. В. Соловьев, переведенный в Крым из Ленинграда.) Разделившего, сказал бы я, общую судьбу, но выжившего и уже получившего здесь какую-то должность. Он потом вернулся в Крым, но недолго прожил.

Прокопий Алексеевич не вернулся. И я не знаю даже, погиб он в лагере или в тюрьме или был расстрелян...

Часто вспоминал я потом эту встречу с ним на Красной площади перед Мавзолеем Ленина.

Встреча в переулке

Было это в том же 1949 году, когда я приехал в Москву и поступил в Литературный институт, вскоре после того, как я начал учиться. Недалеко от института и от общежития, в переулке, который тогда назывался Гранатным, жил мой приятель, которого я давно знал и у которого часто бывал в гостях. Однажды его мама сказала мне: «Вася, кто тебе стирает? У тебя небось все грязное, ты мне принеси, я тебе постираю...»

Она много раз мне говорила об этом, и я всегда пропускал это мимо ушей, но однажды я собрал все, что у меня было, получился довольно объемистый узел, и с бельем под мышкой направился к моим друзьям. Было раннее утро. Я спокойно дошел до Никитских ворот, а затем повернул направо, в переулок повернул.

Сначала я шел по одной стороне этого переулка, а затем, когда стал подходить к дому, где жил мой товарищ, мне потребовалось перейти на другую его сторону, потому что товарищ мой жил в доме напротив. Я благополучно пересек проезжую часть улицы и уже ступил ногой на тротуар, как почувствовал, что белье мое ползет. Я завернул его в газету, и, пока я шел, газета распалась, и белье мое полезло во все стороны. Я подхватил один рукав, но в образовавшуюся дыру вылезал другой. Я остановился, пытаясь все это удержать, и в это время почувствовал, как кто-то уперся в меня животом. Стремясь справиться с этим расползающимся во все стороны бельем, я отступил слегка назад и поднял глаза. Я увидел блеснувшее пенсне, вздернутое вверх лицо и серый, стального цвета плащ. Это была тога сенатора. Такие серые, ниже колен плащи носили тогда лишь очень немногие, строго определенные, скажем так, люди. Они все были в этих плащах, весной, в мае, один возле другого стояли на трибуне на фоне белой и красной стены. Они все тогда были на одно лицо. Пенсне еще раз зло блеснуло на солнце, он резко, как лошадь, дернул головой. Подхватывая свои расползающиеся подштанники, я боком обошел его. И только тут увидел, что ему в затылок, прямо след в след, вышагивал высокий черный полковник, а позади медленно двигалась черная тоже машина. Полковник внимательно посмотрел в мою сторону, на мой узел, какое-то мгновение, должно быть, размышлял, как быть, но продолжал путь, все так же глядя в затылок впереди идущему маленькому человеку.

До меня только тут дошло, кто это был. Я вошел в дом друзей и рассказал, как я только что чуть не сбил с ног их соседа. Его особняк находился рядом, недалеко от маленького обшарпанного дома, в котором они жили. Мать моего друга, посмотрев на других членов семьи, сказала, что тут надо быть осторожнее, что здесь, на этой улице, в этом переулке, особый паспортный режим, что их каждый раз прописывают только на три месяца.

Сказали мне еще, что каждое утро он, прежде чем ехать в Кремль к себе,

идет до Никитских ворот пешком и уже только потом садится в следующую за ним машину...

Вот так вот.

Не самая худшая, скажу я вам, встреча. У других были хуже.

Афанасий

Не забыть мне этого мальчика из Якутии. Звали его Афанасий. У нас ребят, таких молоденьких, с подобным именем, нельзя уже было встретить в то время, а там, как видно, имена эти еще были в ходу. Он приехал в институт из своей Якутии и не только в Москве, но и вообще нигде, кроме как у себя в Якутии, еще не бывал. Нигде до того времени не бывал и вдруг сразу приехал в Москву. Небольшого роста, худенький, с черными, как бы изумленными глазами. Их двое было у нас из Якутии, он и его товарищ, два мальчика, два сверстника. Видно, только что кончили школу. Я жил с Афанасием в одной комнате в общежитии. Первое время мы жили за городом, в Переделкине, и каждый день ездили электричкой на занятия, возвращались с занятий поздно и очень уставали. Один раз я проснулся ночью и услышал: кто-то разговаривает. Прислушался, а это во сне Афанасий разговаривает. «Москва, да, Москва!..» — повторял он восхищенно, восторженно. Шел уже второй месяц, как он приехал в Москву, а он все не мог привыкнуть к Москве, все еще был возбужден, взбудоражен... Мы и после, когда перебрались в общежитие в Москву, жили с ним в одной комнате.

Очень хороший был парень, добрый, заботливый, чистый. Я скоро заболел, лежал в больнице на Петровке. Афанасий приходил навестить меня, получил для меня стипендию, покупал мне какую-то еду...

В первое лето домой они на каникулы к себе не поехали, на самолет не хватало денег, а по железной дороге было бы долго, все лето, говорили они, ушло бы на дорогу. Но после второго курса — я к этому времени уже ушел из института — поехали к себе, и тот, и другой.

С началом занятий Афанасий в институт не вернулся. О том, что случилось с ним, я узнал после, мне его товарищ рассказал.

Оказывается, его посадили вскоре после того, как он появился дома. Посадили за то, что в одном письме своем к родным он написал, что в Москве, как это ни странно, есть не только большие, многоэтажные дома, но и совсем маленькие, как в какой-нибудь деревне...

Я понимаю, что теперь в это уже трудно поверить.

Его потом освободили, но было уже поздно. В заключении там, в тюрьме, он заболел туберкулезом и скоро умер.

Закрытая книга

Было это, насколько помню, в 1956 году, работал я тогда в журнале «Дружба народов», заведовал там отделом поэзии. Был по каким-то делам вызван, а может быть, и сам зашел к тогдашнему редактору журнала Борису Андреевичу Лавреневу, в его кабинет, и увидел на столе у него рукопись, которая одним своим видом обратила на себя мое внимание. Края у нее, у этой рукописи, были обрезаны так, как иногда обрезают фотографии,— зубчиками. Я спросил у Лавренева, что это за рукопись, почему она так странно обрезана. Он сказал, что это «Доктор Живаго». Мне уже кое-что говорило это название, как и многим, я думаю, потому что еще за несколько лет до того в журнале «Знамя» печатались подборки стихов, так и названные: «Из романа «Доктор Живаго». Теперь на столе у редактора был сам роман, законченный, переданный «Новому миру», одним из членов редколлегии которого был Борис Лавренев. Я спросил у него, помню, что за роман, хороший, плохой, какое у него, у Лавренева, впечатление. Он сказал, что есть, мол, великолепные страницы, но много и таких, которые производят впечатление как бы начерно написанных... Но, конечно,

думает он, журнал будет печатать этот роман, готовить его. Он, Лавренев, должен будет писать рецензию. На этом и закончился, насколько я теперь помню, наш разговор.

Такова была моя первая встреча с «Доктором Живаго».

Через много лет, когда давно уже отшумела история с романом Пастернака и самого Пастернака уже не было в живых, осенью 1962 года, думаю, я неожиданно для себя попал в дом к Пастернаку, к нему на дачу. Меня привел туда Лев Озеров, работавший в те дни с его архивом для готовившегося к изданию тома избранных стихов. Мы с Озеровым были в старой дружбе, он, спасибо ему, писал даже когда-то предисловие к моей книжке и теперь позвал меня с собой, зная, что мне это будет интересно. Мы свернули на улицу, называемую улицей Павленко, и скоро оказались возле распахнутых настежь ворот и по узкой, заросшей травой, давно не асфальтированной дорожке, через пустующий теперь, уже без картофеля, участок прошли к дому. Сразу, как только мы ступили за калитку, мне вспомнилось:

Черен лес за этим старым домом,
Перед домом — нивы да овсы...

За дорогой всего чаще росла кукуруза. А лес этот и впрямь был такой, как описан, черный, опаленный жарой, густой и черный, без какой-либо тени.

Внизу, в передней, нас встретил брат, очень похожий, как мне показалось, но моложе. Какая-то женщина молча пропустила нас впереди себя и повела наверх, в кабинет, который, как я и думал, был расположен в полукруглой, остекленной, далеко видной с дороги веранде.

Из окна было видно все то же пустующее картофелище, редкий, старый забор, а за забором еще одно поле, большое, не помню, чем на этот раз засеянное. А дальше, за этим полем, за речкой, которой отсюда не было видно, была его могила, там, возле трех сосен.

Это недалеко от дороги. Каждый раз, когда идешь с поезда, кто-нибудь стоит над тем холмиком... Над покатой поляной, склоненной к речке, над маковкой церкви гнало облака.

Все это много раз описано им, я все узнавал, и то, что открывалось из окна, и сам этот кабинет.

Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана...

Большой стол, два-три шкафа и еще несколько открытых полок. Стены — голые. Только в простенке, возле двери, маленькая, вырезанная, должно быть, откуда-то из книги гравюра. Небольшой готический городок в долине, в глубокой впадине. Я только много позже, попав в этот город, узнал его, вспомнил эту гравюру, висевшую на стене... Это была Иена, старая Иена, без нынешних заводов на окраине ее. А тогда, когда я был здесь, я не знал, что это за город и почему висит здесь эта гравюра... Но главным в кабинете был все-таки стол — простой, некрашеный, стоящий справа от окна. В столе словари, множество простых, остро отточенных, в запас, прекрасных карандашей в железной коробке, резинка и карандаши. Да еще маленький перочинный ножик, очень сильно сточенный. Вот, пожалуй, и все...

На столе лежала книга. Это был толстый предвоенный том его избранных стихотворений. Такой толстой книги у него потом уже никогда не выходило. Книга была открыта на стихотворении, в котором почти каждая строка была исправлена пером или этим остро отточенным карандашом, четким, одинаково мелким почерком. Так вот, поверх строки в большом этом томе чуть ли не каждое его стихотворение было исправлено его рукой.

Мы были одни в этом молчаливом доме. Мы ходили тихо, тихо двигались. Можно было подумать, что мы пробрались сюда тайно.

Меня влекли к себе полки, несколько полок, стоящих у стены. Тут были его книги, вышедшие во всем мире. Для начала я взял одну из них, самую большую, и подошел с нею к окну. Я стал ее листать, рассматривать рисунки, картинки... То, что я увидел, было неожиданно для меня. Я увидел Сибирь, узнал

знакомые мне снега, все это было знакомое, памятное, не однажды мной виденное. Запряженная в сани большая лошадь у крыльца, звездное холодное небо над головой, над полями, и снега, снега. И все было крупно, преувеличенно крупно. Все было знакомо, но как будто на другой земле. Как интересно мне стало и как страшно!

Я вдруг поймал себя на мысли о том, что, стоя тут, посреди России самой, в этом кабинете, с этой книгой в руках, я смотрю только рисунки и не могу ни слова понять. Что я, как неграмотный или как ребенок, рассматриваю только эти космические рисунки и не понимаю ни слова в книге, написанной по-русски.

За окнами сгущались сумерки, когда мы уходили.

В дни, когда умер маршал Жуков...

В дни, когда умер маршал Жуков, мне позвонили из одной редакции, из газеты позвонили и попросили меня написать о маршале, поделиться с читателями моими воспоминаниями о нем. И когда моя жена — меня в это время не было дома, но она мне потом об этом рассказывала — спросила удивленно, почему именно мне заказывается такая статья, ей объяснили: «Но ведь они вместе там были, в Берлине!»

Мы очень смеялись над этим «вместе там были». Даже и отказаться как-то нельзя, неудобно. Люди даже и представить себе не могут всего масштаба этой власти, всей разделявшей нас дистанции...

Но все-таки я Жукова видел, я даже беседовал с ним. Об этом и рассказать хочу. Вот как это было.

Мне позвонили, было это зимой 1966 года, в ноябре, из Союза писателей, из нашего Центрального дома литераторов, попросили выступить перед студентами химико-технологического института... Я сразу отказался, потому что всегда отказываюсь, выступаю крайне редко. Но — такая хитрая попалась сотрудница! — сказала мне, что там, на вечере, будет также Жуков. Знала, чем взять!

«Какой Жуков?» — спросил я. «Георгий Константинович»,— ответила она. Я мгновенно согласился. Я не понял только, почему на вечере в химико-технологическом институте будет выступать Жуков, но сказал, что раз так — я согласен, я приеду и выступлю. Еще бы мне не согласиться!

Я приехал на Миусскую площадь, к институту, и, отпустив машину, долго искал вход, оказывается, я не туда подъехал и, пока я ходил вокруг да около, сильно опоздал. Я пришел, когда маршал был уже на трибуне. Студенты истово, стоя, приветствовали его. Видимо, это продолжалось давно, я просто не застал начала. Я видел его в профиль, вернее, с затылка, затылок был седой и голый. Маршал был подстрижен под бокс, как он, судя по всему, всю жизнь стригся.

Выступление Жукова продолжалось около часа, может, даже и больше. Перед ним был какой-то текст, но он им пользовался свободно, раза два, кажется, всего заглянул... Это был своего рода доклад об обороне Москвы, двадцатипятилетие которой отмечалось в те дни. (Если я не ошибаюсь, уже на следующий день была напечатана его статья, посвященная этой дате, слово в слово повторившая то, что было сказано в тот вечер.) Он сделал обзор обстановки, сложившейся под Москвой. «Мне позвонил Сталин. Это было в декабре, в один из самых тяжелых дней битвы за Москву... «Вы уверены,— спросил меня Сталин,— что мы удержим Москву?» Я ему ответил, что Москву мы удержим, и потребовал себе две армии и двести танков...»

Говорил он спокойно, без всякого напряжения. Временами улыбался, так же спокойно. Я не ожидал встретить такого сильного, крепкого, не сломленного возрастом и всем пережитым человека.

В течение многих лет он нигде не показывался. По сути дела, это было его первое выступление после возвращения из опалы.

Жуков закончил и вернулся за стол президиума. Мы долго аплодировали ему. Он сел рядом и, пока студенты хлопали ему, все спрашивал меня, как он выступал, действительно ли хорошо. Я отвечал ему, что было интересно, что я слушал его с интересом. И так и было. Но ему, как видно, хотелось еще

и еще раз услышать это. И, чтобы рассеять всякие сомнения, я опять уверял его, что выступал он прекрасно. Странно, что Жуков ждал похвалы от меня. Какое, казалось бы, все это имеет значение: чуть лучше, чуть хуже! Ведь он — Жуков! Казалось бы, он не должен был заботиться о такой малости, как впечатление, произведенное на студенческом вечере. Но он еще и еще раз спрашивал меня, ему это было небезразлично.

— Мне кажется, не все получилось,— сказал он.

Я думал, что мне сразу придется со своими стишками идти на трибуну, но после речи Жукова и короткого слова ректора, благодарившего его, был объявлен перерыв и ректор повел нас к себе в кабинет, где был накрыт стол. Но за стол мы садиться не стали уже потому, что за него не стал садиться Жуков. Он торопился.

Он приехал на этот вечер с женой. Я передал ему свою, заранее приготовленную книгу; я ведь знал, что встречусь с ним. Жуков взял книгу и вдруг сказал вроде бы даже всерьез, вроде бы даже спохватился, что ему нечем меня отдарить. Книга у него к тому времени еще не вышла. Его очень милая, стоявшая рядом жена взяла у маршала мою книгу, которую он все еще держал в руках, надо же было его освободить от нее, и сказала с улыбкой, что читать ее первой будет все-таки она. Так у них всегда бывает.

Скоро Жуков уехал, по-моему, еще до того, как закончился перерыв.

Как я понял из разговора с ректором, они давно с Жуковым знакомы были, то ли вместе выросли, то ли вместе учились. Вот почему ему и удалось уговорить Жукова выступить в его институте в этот день.

Он уехал, а мы пошли выступать.

Жизнь и смерть Виталия Семина

В библиотеке Дома писателей на Рижском взморье, не помню уже в каком году, взял номер журнала «Дружба народов», не помню уже почему взял, и там оказался роман Виталия Семина. О Семине я до того времени больше слышал, чем читал... В номере было начало романа «Нагрудный знак «Ost». Я был до такой степени ошеломлен его силой, что в тот же день у моря, на прогулке, где живущие в доме чаще всего и встречались, стал рассказывать об этом романе одной отдыхающей здесь, занимавшей весьма высокое положение даме. Думал почему-то, что она откликнется на мой рассказ, станет расспрашивать, проявит интерес. Но тут же увидел ее внезапно замкнувшееся, отчужденное лицо. «Не знаю, не знаю,— сказала она,— что такое он написал, но хорошо помню его прошлую повесть...» Речь шла, как я понял, о повести «Семеро в одном доме», за несколько лет до того напечатанной в «Новом мире» и принесшей, как я понимал, автору много бед... Повести этой я до того времени, так уж случилось, не читал, но, потрясенный только что прочитанным романом, той его частью, которая была напечатана, попытался было сказать, что произведение это автобиографическое, что в нем рассказывается о судьбе мальчишки, советского паренька нашего, угодившего в немецкий арбайтслагерь, но все было бесполезно, слова мои отскакивали как от стенки горох.

Так получилось, что в тот же день я встретил одного моего знакомого, пишущего, кстати сказать, о книгах, связанных с войной, и с отчаяния, оттого, что вышел такой нескладный, глубоко огорчивший меня разговор с этой ничего не забывающей и ничего не прощающей надлитературной дамой, рассказал ему о только что прочитанном мной романе, повторил то, что я только что рассказывал этой деятельнице. Выслушав мою более чем сбивчивую речь, он сказал, что тотчас же отправится в библиотеку и возьмет этот роман, этот журнал возьмет себе, чтобы проверить меня, мое впечатление... Я подумал, что, наверно, он все-таки этого не сделает, потому что когда же тут читать, когда все кругом отдыхают, купаются. К тому же слишком тяжелое будет это чтение, страшный, прямо скажем, роман для пляжа и для курорта. Но, когда я вернулся в Москву (мой знакомый уехал раньше меня), я прочел в «Правде» его обстоятельную, занимающую половину полосы статью, высоко оценивающую роман Семина.

А на другой год нечаянно в Переделкине, за день до его отъезда оттуда, встретил я и самого Виталия Семина и говорил с ним. А еще через год какой-нибудь, а может, даже и через полгода узнал о его смерти. Этого большого, сильного, как показалось мне, хорошо владеющего собой человека оскорбили в Коктебеле какие-то чужие, посторонние на этот раз, жившие там в это время года люди, и он, подорванный прожитой им прошлой жизнью, не выдержал и умер. Не выдержало сердце.

Виталий Семин, выдержавший ужасы немецкого концлагеря, погиб от хамства у себя дома, в своей стране.

Одной капли было достаточно, чтобы свалить этого большого и очень чистого человека.

Судьба Алексея Бибика

В Гагре, в писательском доме, сидел за одним столом с Алексеем Бибиком, пролетарским, как говорили тогда, писателем, первые рассказы которого печатались еще до пятого года, полжизни, если не всю жизнь проведшим в тюрьмах и лагерях; сначала в тех, в царских, а потом а наших, в сталинских. Сидеть с ним за одним столом было тяжело, хотя старик был прекрасный, очень добрый, очень симпатичный. Он нет-нет да и принимался рассказывать о том, что с ним там было, что он перенес, пережил. Охотников слушать, конечно, было немного, а у старика была потребность рассказать, поделиться... Например, о том, как играли в «футбол». «Мячом» в этой игре был валяющийся на полу после допроса Бибик. Как однажды он в лагере, когда, казалось бы, никто не видел и не слышал, забывшись, запел и к нему тотчас подбежал испуганный и встревоженный лагерный повар, у которого он был дровосеком и у которого котлы скоблил, и стал умолять, чтобы он замолчал. «Скажут,— сказал он ему,— что я тебя так раскормил, что ты уже петь начал».

Голос у Бибика был очень красивый. Я не раз слышал, как он по утрам со своего балкона в Гагре в той же, где балконы выходили на море, пел какие-то свои молодые, очень красивые песни.

Как можно было понять, в молодости своей Алексей Павлович был очень сильным человеком. Я видел снимок, который он мне показывал, в Ростове где-то, в молодые годы опять же сделанный. На снимке этом снят богатырь, человек с мощной шеей и широкой грудью.

В революционное движение вступил чуть ли не двадцати лет, когда работал учеником токаря в железнодорожных мастерских в Харькове... Слушал Ленина, знаком был с Плехановым, с Верой Фигнер.

В Ялте, где некоторое время спустя мы еще раз оказались соседями, я, всякий раз встречая его на горе, по пути к дому, пробовал подвезти его, посадить на такси, но он всегда отказывался, предпочитая подниматься наверх пешком.

Незадолго до смерти прислал из той же Гагры, как мне кажется, фотографию, на которой он был заснят в позе человека, пытающегося свалить мощное, толстое, перекрученное в стволе дерево. Не знаю, что это было за дерево, может быть, даже и дуб.

На обороте было написано: «А. Бибик в борьбе с силами зла». Не помню дословно, но, кажется, так. Я думаю, фотографию эту можно будет найти при случае.

Умер в 1976 году. Насколько я знаю, последние годы жил у дочери, в Минеральных Водах.

Тихий угол

Это было в моем детстве, но я этого не знал. Недалеко от нас, в Уржуме, в той же самой Кировской области, в детском доме, в приюте, находились два сына Коснора, репрессированного к тому времени видного партийного и государственного деятеля, Володя и Миша. Они были, можно сказать, мои сверстники. Только немного моложе меня. Володя с 1923 года, Миша с 1927-го. Володя потом погиб на войне. Мать их была выслана в ту же Кировскую область, в соседний район, и не имела права покидать пределов района.

Молодой человек, работавший воспитателем в детдоме, где находились эти ребята, каким-то образом обнаружил у них портрет отца, вырезанный из старого, не знаю уж где найденного ими отрывного календаря. Поднялся страшный переполох, мальчикам грозила беда. Школьный учитель, преподававший математику заведующий учебной частью, долго обхаживал этого молодого человека, долго уговаривал его, пока, не знаю уж как, не удалось замять эту историю.

Портрет отца, конечно, уничтожили.

Мать этих ребят работала в то время посудомойкой в рабочей столовой. Хотя вообще-то, как правило, высланных никуда на работу не брали, не принимали.

Зимой, на зимние каникулы, мальчики все-таки отправились пешком за шестьдесят километров повидаться с матерью.

Это было в моем детстве, в том же районе, где жили мы, рядом с нашим селом, но узнал я обо всем этом только теперь. Мне об этом рассказала землячка, одна женщина, которая жила в те годы, перед войной, в Уржуме. Она хорошо знала этих ребят. Рассказала уже теперь, в больнице, где я лежал и где она ухаживала за своим тяжело заболевшим мужем.

И уже совсем недавно я прочитал, что жена Коснора, мать этих ребят, тоже была расстреляна.

Дом на улице Воровского, 52

Принято считать, что дом на улице Воровского, 52, в котором находится Союз писателей, описан у Толстого как дом Ростовых на Поварской.

Я и до сих пор, когда вхожу в ворота этого дома, мысленно вижу, как в тот день, когда Наполеон подходил к Москве, из ворот этого дома, со двора его, выезжал тяжело нагруженный обоз Ростовых и как Наташа, умело и долго уговаривающая до того, увязывавшая и ковры, и фарфор, и столовое серебро, упросила сбросить всю эту рухлядь с возов и взять с собой раненых.

Но больше всего вижу, как заворачивали возы по кругу двора, потому что двор круглый...

А когда войдешь в дом, от порога еще увидишь полукруглую, мраморную, ведущую наверх, на второй этаж, лестницу... Всякий раз, когда я прихожу сюда, мне кажется — я уже писал об этом когда-то,— что в ту минуту, когда я открою дверь, оттуда, сверху, внезапно от восторга, от радости, сбежит, соскользнет, а то и съедет по лестнице, по перилам, эта длинноногая, большеротая девочка-подросток... «Наташка-Ташка»,— говорил Николай Ростов.

Я пришел однажды сюда, когда ремонтировались флигеля, окружающие этот дом и составляющие один ансамбль с этим домом, те, что выходят на улицу Воровского В то самое время, когда я проходил по улице, по тротуару, стоявший на лесенке, на козлах, приставленных к стене, молодой парень, рабочий, кайлом сбивал штукатурку со стены. И тут я увидел, что оббитая им от штукатурки стена была вся черная, обгорелая. Он так спокойно оббивал эту штукатурку с горелой, изъеденной огнем стены, что я уже по одному этому должен был остановиться и спросить, что это значит, почему она такая...

Он сказал мне, что это один из домов, уцелевших от пожара двенадцатого года. Они, дома эти, горели, но их потушили, отстояли, а потом заштукатурили... Что в Москве много таких домов, а мы просто не знаем этого.

И наконец еще одна, последняя история, связанная с этим домом...

Теперь уже не все знают, я думаю, что в доме, о котором мы говорим, после того, как в 1918 году правительство переехало из Петрограда в Москву, размещался Народный комиссариат по делам национальностей и одна из комнат этого дома была в то время кабинетом Сталина, потому что Сталин был в то время на-

родным комиссаром по делам национальностей. Я бы и сам не знал об этом, если бы однажды совершенно случайно на одном старом документе — на проходившей в Доме литераторов выставке Центрального государственного архива литературы и искусства,— на одной из бумаг не увидел штамп этого комиссариата: «Поварская, 52». Я потом спросил у старика вахтера, сидевшего внизу там, возле двери — был такой благообразный старик, которого я давно знал, забыл теперь уже его имя,— приходилось ли ему видеть Сталина. И он мне сказал, что он, можно сказать, видел его каждый день. Но что кабинет Сталина был не тот, в котором позднее сидел Фадеев, а другой, поменьше, по другую сторону дома. Рассказывал еще, что Сталин никогда не пользовался парадной лестницей, а всегда ходил черным ходом, так что никогда нельзя было знать, когда он у себя, а когда его нет. И что однажды его даже спросили (по тем временам его еще можно было спрашивать о таких вещах), почему он никогда не пользуется парадным ходом, а ходит всегда по черной лестнице. И тогда он якобы с обычным своим лаконизмом ответил:

— Меньше видят, больше бояться будут!

Школа

Вскоре после смерти Сталина, в том же пятьдесят третьем, я думаю, году, в журнале «Новый мир» появилась статья Владимира Померанцева, о котором я, как, наверно, и многие другие люди, до той поры ничего не слышал, не знал. Называлась она, помнится мне, «Об искренности в литературе». Я был взбудоражен, точнее было бы даже сказать, потрясен высказанными мыслями, настолько справедливыми, верными и своевременными они мне показались. Я в то время жил еще в Симферополе, в Крыму, где выходили мои самые первые книги. Хорошо помню, как я пришел в издательство — ходить особенно было некуда, круг общения был до крайности, до предела ограничен — и принялся работающему там товарищу, который то ли вел, то ли должен был вести мою книгу, очень взволнованно говорить о том, какая это замечательная, какая удивительная статья. Можно сказать, что я прямо-таки рванулся к нему, чтобы сообщить ему об этой статье, а может быть, даже и спросить его, читал или не читал он ее, эту статью.

Последовавшая затем реакция была более чем неожиданной для меня. Человек, сидящий на месте редактора, мгновенно замкнулся и опустил глаза к столу. Все так же не поднимая глаз, он пробормотал что-то не очень разборчивое, однако не настолько, чтобы не понять, что он не считает эту статью такой замечательной и уж, во всяком случае, желает уклониться от навязываемого мной разговора.

Меня как будто холодной водой окатили.

Я ушел, недоумевая, не зная, как понимать мне столь странно и недвусмысленно проявившуюся уклончивость, как относиться ко всему этому.

Прошло еще немного времени, может быть, всего несколько дней прошло, и статья Померанцева подверглась сокрушительному разносу. Я был еще очень наивен, я только недавно вернулся с войны и тяжело переживал случившееся. Я только потом, с годами, понял, что иначе и быть не могло, что время статей, подобных напечатанной, еще не пришло, потому что даже появившаяся некоторое время спустя достаточно идилличная, как я сейчас думаю, повесть «Оттепель» Эренбурга тоже была принята в штыки.

Все это теперь только мало-мальски мне стало ясно.

Но каков он, мой собеседник, этот молодой еще, только что севший на редакторское место человек, каким собачьим нюхом почуял он, что статья эта не вызовет в определенного рода кругах восторга и скорее всего в самое ближайшее время подвергнется разносу. Как он тотчас замолчал и как опустил глаза в землю, не желая ничего слышать, а тем более поддерживать разговор.

Об искренности в литературе. Всего-навсего, казалось бы, только. Об искренности в литературе. И не более того.

Сейчас, как мне говорили, человек этот ведет совсем другие речи.

Отлучение

Был в Коктебеле и, поскольку это было недалеко, поехал в Феодосию. Хотелось поглядеть музей Грина. Музей оказался чем-то вроде романтической яхты с рындой под потолком, с бортовыми фонарями, развешанными по стенам, с корабельными канатами и парусами, натянутыми там и сям, и столь же красивыми рассказами о романтическом писателе, создавшем романтическую страну Гринландию. И ни слова об истинной судьбе человека, забравшегося в эту глушь в поисках хоть какого-нибудь пристанища, хотя бы мало-мальски пригодного для жизни угла. На нескольких, случайно сохранившихся снимках — изглоданный болезнями и нуждой, вконец загнанный жизнью человек... И уж тем более ни одного слова о его несчастной жене, хоть немного скрасившей последние годы писателя, человеке, которому он обязан лучшими страницами своих книг. О ней если и упоминают, то вскользь.

В Коктебеле работник музея здешнего рассказывал мне о том, какую жизнь вела, вернувшись из тюрьмы, из лагеря, эта женщина, как боролась она за то, чтобы сберечь память мужа, чтобы хоть что-то было издано из того, что им написано. Жить по возвращении ей было негде, и она, как он сказал, жила «на частной квартире». В конце концов ей удалось добиться того, что на могиле писателя был поставлен памятник. Рядом она приготовила место для себя. А когда умерла, бдительные местные власти, отделяющие чистых от нечистых, запретили хоронить ее в одной могиле с мужем и ее похоронили на общем кладбище. Потом будто бы школьники, старшеклассники, приезжавшие сюда из разных концов страны, знающие и любящие творчество Грина, перехоронили ее ночью, тайно, похоронили ее рядом с Грином. Так мне рассказывали, но я не знаю, так ли это.

Даже этот работающий в музее, излагающий мне всю эту историю человек говорил мне об этом без всякого чувства сострадания и боли, как о чем-то таком, что так только и должно было быть. И лишь когда я сказал ему, что это бесчеловечно, что это сверхжестоко, он — скорее всего для меня только — согласился со мной.

Архив Грина в Старом Крыму, насколько можно понять, весь пропал, был растащен и уничтожен. Я в какой-то мере был даже свидетелем. Когда в сорок седьмом году я приехал в Старый Крым, редактировавший районную газету человек, фамилия у него была Кулемин, показывал мне, когда мы уже легли, рукописи Грина, вытаскивал их из тумбочки, стоящей возле его кровати, отдельные листки, больше всего со стихами. До сих пор помню две строки шутливого, даже, может быть, иронического стихотворения, посвященного Нине Николаевне: «Благополучнейшему мужу — благополучная жена».

Беглец

Несколько лет назад я получил письмо от своего читателя из Крыма, из Нижнегорского района, мне помнится, от учителя одной из сельских школ этого района, в котором тот писал о какой-то из моих только что вышедших тогда книг. Вполне, как говорится, нормальное письмо, в том смысле, что на этот раз человек даже автографа не попросил, на что уж теперь пошла мода на автографы! Просто написал о том, что прочел, и о своем впечатлении от прочитанного. Я тогда, помню, коротко ему ответил.

И вот теперь, года через два, новое письмо того же самого человека, может, даже стесняющегося, что приходится обращаться второй раз, беспокоить, отрывать вроде бы от дела.

Судя по письму, ему, этому учителю сельской школы, вздумалось поехать в Болгарию с туристской группой, составленной из колхозников, из жителей того села, в котором он работает. Как можно понять из письма, они долго ездили и остановились на ночлег в каком-то небольшом населенном пункте. И вдруг он, человек много читающий, понял, что они находятся совсем рядом с Сизополем, крохотным городком на берегу моря, который так чудно описан у Паустовского

в его «Амфоре» прежде всего и в котором болгары даже построили музей, посвященный советскому писателю, с таким восторгом воспевшему их город. Мой учитель не нашел ничего лучшего, как съездить в этот город, тем более что там, где они остановились, осматривать было нечего, а до вечера оставалось еще много времени, к тому же туда, в этот Сизополь, шел прямой автобус. Он сел в автобус и провел оставшиеся до вечера часы в Сизополе, к вечеру он вернулся.

Узнавший об этой отлучке руководитель группы, человек из того же колхоза, сказал ему, что больше он никуда не поедет, что он резидент (все слова знают!) и что ездил он туда, куда ему надо, чтобы встретиться с другим резидентом.

Теперь, пишет мне мой корреспондент, его обсуждают на бюро, таскают с одного собрания на другое, а его доведенная до отчаяния жена говорит ему: «Ну что, съездил, полизал следы великих людей!»

Мой корреспондент не знает, когда и чем все это для него кончится. Просит только написать ему, что я обо всем этом думаю, действительно ли он совершил какой-либо проступок.

И хотя он не просил меня о том, чтобы я за него заступался, потому что, видимо, плохо верил, что это могло бы что-нибудь дать, а главное в то, что у меня есть какие-то возможности, я все-таки отнес его письмо в редакцию одной из наших газет, в один из ее отделов, занимающийся проблемами воспитания. Правда, потом я так и не мог добиться: пытались ли они предпринять что-либо со своей стороны? Слишком рядовой случай!

Разворот

Зимой однажды, когда небо в Москве висело низко над головой и чувствовал я себя все хуже, мне пришло в голову взять путевку в один из ведомственных санаториев в Крыму. Все это оказалось проще, чем я думал. Я сначала даже не понял почему. И только потом мне стало ясно: во-первых, по зимнему времени, оказывается, все это легче, к тому же санаторий, как это выяснилось позже, только что открылся, о нем еще не знают, и желающих ехать туда еще нет.

Это было далеко за Симензом, я уже даже забыл, как по-нынешнему называется это место. Не все еще достроено, вокруг пока еще одни скалы, даже и пляжа оборудованного нет. Но по берегу нагорожены уже такие дворцы, что в первую минуту я даже не понял, что все, что понастроено здесь,— один и тот же санаторий. Нигде и никогда я не видел такого количества мрамора, как здесь. Я даже и не подозревал, что существует мрамор такого рисунка и такой расцветки. Все было из мрамора! И подъезды, и фойе, и переходы. А переходов, надо сказать, было много, метров по четыреста — один в столовую, другой такой же — в лечебный корпус. Размах совершенно фантастический. Впечатление было такое, что строившие это сооружение люди думали только о том, куда бы всадить лишний миллион.

Не сказал еще, что каждый корпус, а их было пять, был соединен переходными площадками с другим, с соседним. На моем этаже было не более десяти обычных, не люксовых комнат. На других, там, где были люксы, их было и того меньше. А кроме того, каждый следующий этаж был отведен под зал, где стоял телевизор и была такая мебель, какой я не то что никогда не видел, но даже не знал, что такая существует на свете.

Надо сказать, что я не прожил тут и двух недель, из одного только протеста уехал от всей этой непривычной для меня роскоши.

Дело, однако, не в этом. Это я уже так, между прочим говорю.

В столовой, за одним со мной столом, напротив меня, сидел молодой человек в потертом пиджачке, с достаточно засаленным, свернутым набок галстучком, ботинки были изрядно стоптаны. Оказывается, комсомольский работник, парень из района, тоже, показалось мне, попал сюда по случаю, по недосмотру какому-то или все потому же, что санаторий еще по-настоящему не функционирует, еще только-только начинает работать.

— Ну как вам тут?—спрашивает он меня. Как, мол, вам тут нравится?

Я говорю, что все ничего, но уж больно богато. Из одного только, говорю, мрамора, вложенного в это здание, можно было бы отделать десятки других подъездов...

— Нет,— не согласился он со мной,— а по-моему, хорошо! Можно, я думаю, даже и иностранцев пригласить, показать, что по крайней мере живем мы все-таки неплохо!

Инерция

Случилось мне через много лет после войны быть в вятской деревне, в которой проходила какая-то часть моего детства. Была в ней, в этой деревне, церковь деревянная, островерхая Поставлена она была на склоне горы, на спуске к реке, и с улицы, из деревни, видна была одна только ее верхушка, острый, увенчанный деревянным крестом купол. Редкой красоты было место!

Теперь, через много лет после войны, приехав сюда, я ходил по улице и мне все чего-то не хватало. Я не сразу понял, чего. Не хватало этого незатейливо выглядывающего из-за горы креста. Сначала даже как-то не поверил, что это возможно... Я было подумал даже: неужели сгорела? Но нет, оказывается, нет! Оказывается, разрушили, разобрали и увезли, на коровник или на сарай, я даже уже и не запомнил, на что потребовалась эта старая деревянная церковь, которая была цела, только пока стояла... Когда я стал спрашивать, зачем это было сделано, какая в этом была нужда, я увидел, что люди, у которых я спрашивал, мои односельчане, совершенно меня не понимали, не понимали, почему я так спрашиваю, почему я об этом говорю. Почему я так удивляюсь тому, что теперь, через много лет после войны, после тех уже полузабытых недобрых лет, когда так запросто ломали и рушили церкви, вдруг взяли и развалили такую красоту. Они меня совершенно не понимали и с большим недоумением смотрели на меня... Это было нечто такое, что само собой разумелось.

●

Андрей НИКИТИН

Расследование

1

— Вы можете объяснить, что со мной случилось? Ведь это какой-то кошмар! Конечно, я понимаю: надо взять себя в руки, писать, стучаться во все двери, добиваться справедливости. Но знали бы вы, как унизительно и постыдно доказывать, что ты — честный человек! Куда бы ни пришел, чиновники смотрят как на жулика, который избежал правосудия. Раньше я понять этого не мог. На Севере я проработал тридцать с лишним лет, работал честно, это каждый рыбак подтвердит, собирался уйти на пенсию, как только подниму Терский берег... Да все это вы сами знаете! А вместо этого — тюрьма. Меня схватили безо всяких доказательств, никаких фактов у них не было и быть не могло, как потом подтвердилось. За что же тогда меня держали полгода, за что избивали, бросали в карцер? И как мне теперь жить, во что верить, если я и сейчас не могу добиться справедливости?!

Гитерман смотрит на меня большими карими глазами. В них боль и недоумение. Глаза усталой лошади, тянувшей непосильный воз беспричинно жестоко избитой. Внешне председатель Мурманского рыбакколхозсоюза — его бывший председатель — Юлий Ефимович Гитерман изменился мало: такой же коренастый, широкоплечий, смуглый, со слегка приплюснутым, как у боксера, носом. Но в том, как он говорит и держится, в едва заметных движениях крупных, сильных рук с подрагивающими пальцами, в сутулости и зависающих уголках рта я вижу тот душевный надлом, который отличает человека, прошедшего через мясорубку следствия и тюрьмы. Оттуда возвращаются иными — особенно достается тому, кто не совершал преступления. Они побывали «по ту сторону добра», и прежний мир уже никогда не предстанет перед ними в той гармонии справедливости и добродетели, таким иногда видим его мы — постоянные обитатели с временной пропиской свободы.

Со всем этим мне приходилось сталкиваться и, к сожалению, не раз. И вот — Гитерман. Я достаточно хорошо узнал этого человека, когда занимался рыболовецкими колхозами Мурманской области; узнал его безукоризненную честность, точность, удивительную энергию, о которой один из знакомых мне колхозных капитанов выразился кратко: «Сам не спит и нам спать не дает».

Я знал, как Гитерман остановил гибель старых поморских сел на Белом море, подключив к ним в качестве партнеров мощнейшие предприятия «Севрыбы», и как потом стал «наращивать обороты», отсчитывая шаги перестройки задолго до того, как она была официально объявлена.

Его главным детищем стала база зверобойного промысла в Чапоме. Миллион прибыли она дала трем терским колхозам через месяц после того, как Гитермана бросили в так называемый «следственный изолятор», то есть в тюрьму. Все это произошло весной 1985 года — того самого года, когда прозвучал призыв к перестройке и гласности, когда Прокуратура СССР стала вскрывать поистине страшные преступления «власть имущих» против народа и государства. Но именно в тот год, словно бы в ответ на войну, объявленную растлителям человеческих душ, убийцам и казнокрадам, их пособники в нижних этажах административной пирамиды развернули широкую кампанию против честных людей, в первую очередь против тех, кто поднимал народное хозяйство.

То был точно рассчитанный шаг. Жулики освобождались от свидетелей своих преступлений. Освобождались от тех, кто мог предъявить им справедливый иск и призвать к ответу. Они освобождались от тех, кто, по идее перестройки, должен был сменить их во всех звеньях государственного, партийного и хозяйственного аппарата.

Неважно за что, важно как. Достаточно бросить на человека тень, обвинить его в любых преступлениях, подставить двух лжесвидетелей, которые якобы «явились с повинной»,— и человека бросали в тюрьму, а дальше все шло своим чередом: его исключали из партии, лишали наград, накладывали арест на имущество, снимали с работы, и начиналась долгая и мучительная процедура «выжимания» признания. А если все это не помогало, то и тогда не страшно. Трудно найти администратора, который — не для себя, для людей, для дела, для общества — не был вынужден обходить законы или балансировать на острие бритвы между законом и беззаконием. Пусть не преступление, пусть только административный проступок, маленькая оплошность — в ход пускается уже отработанный десятилетиями прием нагнетания «обстоятельств». И человек, столь же виновный, как нарушивший правила уличного движения, выходит из зала суда с клеймом преступника и сроком, который должен оправдать полугодовое заключение в «следственном изоляторе».

Потом его реабилитируют. Оказывается, «судебная ошибка». Сразу надо было юристам разобраться. Но кому это нужно? Сколько писем во все инстанции Гитерман написал за те полгода тюрьмы и сколько писал потом! Все они оставались или без ответа, или возвращались к тем самым людям, на которых он и писал свои жалобы.

— Они только смеялись надо мной,— говорит Гитерман, и по его лицу пробегает судорога ужаса.— Они приходили ко мне в камеру или вызывали на допрос и, показывая мои письма, говорили: «Видишь? На кого жалуешься, гнида? Ты отсюда не выйдешь, пока не подпишешь все, что мы тебе скажем!» А потом в камере уголовники, которых они специально ко мне сажали, меня били. И если я жаловался и показывал синяки, начальник тюрьмы, улыбаясь, говорил одному из громил: «Ну, Лебедев, мы так с тобой не договаривались. Видишь, какой он нежный!»

— Юлий Ефимович, кому вы мешали?

Вопрос вырывается неожиданно для меня самого. И все же он не случаен. Только теперь я понимаю, что с самого начала, с того самого момента, когда я узнал об аресте председателя Мурманского рыбакколхозсоюза и возведенном на него поклепе — именно поклепе, в этом я уверен был и тогда, и сейчас,— меня не оставляет мысль, что кто-то решил свести с ним счеты. Кому он мог помешать? А главное — в чем?

Гитерман смотрит на меня непонимающим взглядом. Постепенно до него доходит смысл сказанного. Сейчас он впервые задумался над тем, что его, Гитермана, выбросили из жизни при молчаливом попустительстве самых ближайших соратников и в Мурманском рыбакколхозсоюзе, МРКС, и в «Севрыбе».

— Кому я мешал? — Гитерман искренне недоумевает.— Не могу себе представить, этот вопрос у меня как-то ни разу не возникал...

— А если подумать?

— Но я действительно не знаю! Мне казалось, что я всегда с людьми ладил. Был требователен, это знали все. И если видел, что человек не хочет работать, ловчит или не может справиться со своими обязанностями, я предлагал ему подыскать другое место. Ситуация была трудной, вы это знаете. Ведь в Мурманский рыбакколхозсоюз я пришел из Архангельской базы флота в восемьдесят первом году. Здесь был полный развал. Меня позвал Каргин, пообещал поддержку ну и все, что полагается. Он хотел, чтобы я полностью сменил весь аппарат МРКС. Я его не послушал, кое-кого оставил. Конечно, люди были недовольны. Но так бывает всегда. Потом с некоторыми из них даже наладились добрые отношения.

— А ваши заместители? По флоту, по сельскому хозяйству, по зверобойке? Никто из них не мог претендовать на ваше место?

— Могли, конечно. Но, право, у нас были ровные отношения, я не вмешивался в их работу, давал возможность делать так, как они считают нужным. Так что представить, чтобы кому-то я стал поперек дороги, не могу.

— Может быть, в «Севрыбе»?

— Михаил Иванович поддерживал меня. Тем более во всем, что связано с Терским берегом, вы это тоже знаете. Нет, у нас не было никаких разногласий, наоборот.

— И все же он за вас не заступился. Ни как начальник «Севрыбы», ни как депутат Верховного Совета СССР!

— Не заступился, вы правы. И никто не встал на защиту. Мне говорили, что на партийном собрании, когда меня исключали, только Егоров, мой заместитель по сельскому хозяйству, сказал, что он сомневается в моей вине. И никто из начальства! Каргину, конечно, это было бы проще всего сделать. Ведь он вместе с Данковым, начальником УВД области, который меня допрашивал, в это время на охоту ездил! Чуть ли не друзьями были! А этот «друг» из меня «особо опасного преступника» делал...

Каргин. «Капитан рыбной индустрии», адмирал рыбацкого Севера, привыкший принимать государственные решения, выступать полномочным представителем СССР на международных переговорах по размежеванию Мирового океана и выработке общей стратегии лова. Ему до всего дело: не только до крупнейших промышленных объединений, входивших в его «державу», но и до поморских сел, влачивших полуголодное существование по Карельскому и Терскому берегам Белого моря. Это под его каждодневным нажимом директора предприятий заключали контракты с колхозами, вывозили от них сельскохозяйственную продукцию в виде мяса, сливок, творога, масла, платя вдвое из-за доставки в Мурманск по воздуху; отрывали от себя необходимые стройматериалы, посылали бригады рабочих на покос, на строительство, снабжали хозяйства дефицитным электрооборудованием, инструментами, запасными деталями. Это было его, Каргина, дело, которое вел им выбраный и поставленный председатель

МРКС, служивший верой и правдой, не за страх, а за совесть. Но почему же Каргин, человек, не боявшийся никого и ничего, не выступил в его защиту?

Получалось, что в «Севрыбе» у Гитермана вроде бы не было врагов. А друзей? Но кто верит в дружбу даже в самых нижних «коридорах власти»?! Доброжелательство, поддержка — вот все, на что в лучшем случае может рассчитывать человек, ступивший на путь административного восхождения.

Гитермана поддерживало и большинство председателей колхозов мурманского берега, за исключением, пожалуй, Тимченко...

Среди председателей рыболовецких колхозов Мурманской области Тимченко, председатель колхоза «Ударник», был самым смелым, самым талантливым, самым предприимчивым и самым крепким. Прирожденный финансист и хозяин, умевший из всего извлекать прибыль для колхоза и, что особенно важно, для людей, работающих в колхозе, он восхищал меня широтой и смелостью решений.

Пока Тимченко не перечил начинаниям Гитермана, у них все складывалось хорошо. Разрыв произошел в 1984 году, когда неожиданно Тимченко по решению общего собрания колхоза вывел свой флот из межколхозной базы. Это восприняли как тройной удар: по базе, только что созданной стараниями Гитермана и Каргина, по авторитету МРКС и по самому Каргину, с которым Тимченко был дружен семьями. Скандал, вспыхнувший в Мурманске, получил свое отражение в печати. Тимченко и его колхоз, доказывал с цифрами в руках журналист, оказались «подмяты» базой. Выход из нее был единственно правильным шагом.

Сначала Тимченко пытались образумить и вернуть колхозный флот в базу. Потом началась кампания против самого Тимченко. Использовали все средства — давление личное, экономическое, административное, вплоть до следственных органов... Два характера, два руководителя стали личными врагами. И большую долю ответственности я возлагал всегда на Гитермана как на председателя МРКС, у которого в руках находились рычаги управления.

— Тимченко? Мне говорили в Мурманске, что это он сводил со мной счеты,— с некоторой растерянностью подтверждает Гитерман.— Но я не могу поверить, что он написал на меня что-либо порочащее — ведь ничего подобного в деле не было, я его внимательно изучил. Даже намека! Во время следствия его никто не вызывал и меня о нем не спрашивали. И вот еще что. Когда мне было особенно худо, казалось, я уже никогда не выпутаюсь из этого страшного клубка, стали преследовать мою семью: звонить по телефону, говорить жене всякие гадости, угрожать, и все это от имени Тимченко. Она рассказывала об этом людям. А надо сказать, с Тимченко она не была знакома. Однажды раздался звонок и мужской голос спросил, слышала ли она его раньше. Жанна ответила, что слышит его в первый раз. Тогда тот сказал, что это говорит Тимченко, что если нужна будет какая-либо помощь семье, пусть она, не задумываясь, обращается к нему, вот его телефоны. Я уверен, Тимченко тут ни при чем! Конечно, он не простил мне попыток отстранить его с поста председателя колхоза. Но ведь Тимченко своей авантюрой нанес удар по базе флота! А это было не только мое детище — Каргин брал меня в МРКС с тем условием, что я эту базу создам. Я ее создал, она работала, и когда Тимченко вышел, его снятия требовали все — и Каргин, и Шаповалов, и Несветов.

— И все же, Юлий Ефимович, я до сих пор не понимаю, хотя и прочел приговор суда: в каких взятках вас обвиняют? И кто такой Меккер, на показания которого ссылались ваши следователи?

— Меккер? Во-первых, не еврей, как я, а финн — Иван Яковлевич Меккер, что всех очень разочаровало. Во-вторых, он мастер ленинградского завода «Эра». Его рабочие вели электромонтажные работы на судах тралового флота в Мурманске. Мы познакомились с ним лет пять тому назад, когда эта бригада выполнила какой-то наш заказ, и с тех пор Меккер раз или два заходил ко мне в МРКС — так сказать, поддержать знакомство.

...В январе 1983 года в Чапоме уже шло строительство зверобойной базы. Здание дизель-электростанции построили, нужно было срочно монтировать оборудование. В Мурманске специалистов найти не могли. Искали по всем предприятиям — пусто! И тут в МРКС зашел Меккер. Выяснилось, что у него сейчас бригада электриков без дела. Сначала он согласился помочь, но, когда узнал, что надо лететь в Чапому, наотрез отказался, правда, пообещав связать с бригадой, пусть сама решает: хочет подзаработать — пожалуйста, он возражать не станет. Рабочие согласились. Гитерман направил их в МКПП — межколхозное производственное предприятие, которое ведало всеми строительными работами в Чапоме: набирало шабашников, заключало договора, выплачивало деньги, поставляло стройматериалы. Всего этого председатель МРКС не касался. Там был директором некий Бернотас, к нему Гитерман и адресовал Меккера. С бригадой заключили трудовое соглашение, за месяц люди сделали все необходимое, хорошо заработали, а главное — помогли строительству.

Через месяц из кабинета директора МКПП Гитерману позвонил Меккер и попросил, чтобы бригаде поскорее выплатили заработанные ими деньги. Гитерман удивился — он полагал, что все расчеты давно закончены. Бернотас тогда

сдавал дела Куприянову, своему заместителю: у бывшего директора обнаружили приписки. Гитерман сказал, чтобы Меккер передал трубку Куприянову, который был рядом с ним, и попросил разобраться с этим вопросом. Тот пообещал. Через несколько дней Меккер позвонил снова: все в порядке, деньги он получил по доверенности. Тем дело и кончилось — тогда.

— А за что полагалась вам взятка? По-моему, это вы должны были дать взятку Меккеру, чтобы он отпустил своих рабочих на ваш объект.

— Вот именно! Мне так говорили все, кто знакомился с моим делом.

А было вот как. Сначала Гитерману пытались приписать взятку, которую ему якобы дал Меккер за то, что председатель послал его людей на выгодную работу. Не удалось. Потом — за то, что вроде бы завысил им расценки. Но расценки — нормативные, их утверждали в МКПП. Наконец, за то, что бригаде «быстро заплатили». По-видимому, с точки зрения работников ОБХСС, следовало как можно дольше затягивать расчет. Самое печальное, что так оно и было. Бухгалтерия МКПП откладывала расчет с бригадой, как если бы вымогала у них взятку. В конце концов рабочие уехали, получив только аванс, а на остальное оставив доверенность Меккеру. Тот получил деньги, но отдал не все: оказывается, направляя бригаду в Мурманск, Меккер всякий раз брал с каждого рабочего по полсотни рублей, а потом требовал до трети заработанного.

Рабочим это надоело, и в феврале 1985 года они решили прийти «с повинной». Меккера тотчас же взяли, он сознался, стали выяснять, куда и когда он посылал бригаду, сколько с кого брал. И вот тут в протоколы допросов рабочих следователи Мурманского ОБХСС стали вписывать имя Гитермана. Но никто из меккеровской бригады Гитермана не знал. Поэтому рабочие отказались подписывать такие протоколы, о чем они сказали и на суде. Тогда следователи взялись за самого Меккера. Тот тоже отрицал причастность Гитермана к каким-либо махинациям. Его стали допрашивать круглосуточно, угрожали, обещали послабления, вымотали до предела, и тогда он решился на оговор. Но дело в том, что Меккер решился на клевету, когда Гитерман уже был арестован. Его взяли до того, как из Меккера выбили ложные показания, вот что удивительно! Однако на очных ставках Меккер стал путаться — где, когда и при каких обстоятельствах он передавал деньги. Свести концы с концами следователям так и не удалось, а экспертиза прямо показала невозможность взятки.

А в это время в доме Гитермана вершилось другое беззаконие, о котором поведала нам его жена. Худенькая, светловолосая женщина с измученным лицом и воспаленными глазами рассказывала при мне корреспонденту «Правды», как сразу после ареста по телефону началась травля ее и детей, как вызывающе вели себя с ней следователи на допросах, то угрожая, то неуклюже ухаживая, даже приглашая «прогуляться за город». Она рассказывала, как грубо, заперев в кухне ее и понятых, вели обыск: взрезали обшивку дивана, перевернули постели, разыскивая несуществующие драгоценности; отобрали единственную сберкнижку и долго ее не отдавали, хотя из-за этого семья оказалась буквально на голодном пайке, потому что зарплата перечислялась как раз на книжку. У нее дрогнул голос, когда она рассказывала, как производившие обыск, не найдя «вещественных доказательств», забрали десяток банок рыбных консервов. Получить обратно удалось не все: как видно, тресковая печень и рубленая ветчина пришлись по вкусу следователям Мурманского ОБХСС. Тогда же по городу кто-то пустил фотографии золотых вещей и пачек валюты, якобы изъятых при обыске у Гитерманов.

И тогда 16 апреля 1985 года Гитерман написал заявление, в котором признавался, что получил от Меккера деньги. Почему?

Гитерман поднимает глаза, и мне очень трудно не опустить свои:

— Поймите, я просто не мог больше выдержать этого ужаса! Ведь меня дважды бросали в карцер. Каждый день меня избивали специально подсаженные в камеру уголовники. На допросах сам генерал-майор Данков говорил, что будет держать меня в этих нечеловеческих условиях сколько потребуется и всю оставшуюся жизнь я проведу в тюрьме, никто мне не поможет — ни бог, ни царь, ни генеральный прокурор. Следователи грозили сделать меня инвалидом. Самое страшное, что они говорили всякие гадости о моей семье, о жене. В апреле после очередного зверского избиения меня отвезли в КПЗ и продержали там десять дней, требуя, чтобы я написал на себя заявление,— у них это называется «явка с повинной». Если не напишу — все начнется сначала. Верите ли, еще немного, и я сошел бы с ума или покончил с собой. Мне дали понять, что никто не встанет на мою защиту и поэтому со мной можно делать что угодно. И вот тогда, после десяти дней в КПЗ, я сказал, что напишу это заявление, пусть только они скажут, где, кому и сколько денег я передавал. Потом я все равно от него откажусь и расскажу на суде, как оно у меня было вытянуто. Они мне его продиктовали, и я записал. Уже на следующий день они изменили мне режим. Побои и издевательства кончились, но вместе с тем я понял, что даже с моим заявлением у них что-то не ладится.

— Вас допрашивал сам начальник УВД области Данков?

— И он тоже. Ему надо было знать, кому я передавал деньги в «Севрыбе»

и в Минрыбхозе. Но, ради бога, скажите, какие деньги? За что?

— Подождите, Юлий Ефимович, вот это уже интересно. «За что» — вам не говорили, но были уверены, что за что-то вы должны делиться с вашим начальством в «Севрыбе» и в министерстве. С кем? С Каргиным, его заместителями, еще с кем-то? Но что вы оттуда получали?

— Ничего, кроме помощи по строительству зверобойки, по морскому промыслу. Чисто служебные отношения. Самые обычные.

— А другие следователи вас об этом спрашивали?

— Нет. О Минрыбхозе и «Севрыбе» — только сам Данков. Похоже, он придавал этому какое-то особое значение. Другие добивались только одного: чтобы я признал, что получил взятку от Меккера. Потом уже стали требовать, чтобы я оговорил и других.

— Кого, например?

— Председателей — Стрелкова, Коваленко, Подскочего, сотрудников мехового цеха, главного конструктора Гипрорыбфлота Абрамова. Его долго и с «пристрастием» допрашивал майор Понякин, тот, кто руководил обысками и особенно злобствовал на допросах. Ведь они, чтобы запугать свидетелей,— хотя что эти люди могли засвидетельствовать? — везли с допроса в тюрьму, как будто собирались их туда засадить. Об этом Абрамов писал прокурору, но все осталось без ответа. Ни один из протестов, ни моих, ни допрошенных прокуратурой, не разбирался.

Избиениями Гитермана в тюрьме, по его словам, руководил старший лейтенант Белов, заместитель начальника следственного изолятора, а на допросах, кроме Понякина, особенно отличались заместитель начальника ОБХСС области подполковник Белый и капитан Щавель. Впрочем, и сам начальник ОБХСС подполковник Александров был тоже хорош. Они чувствовали себя хозяевами положения, угрожали физической расправой.

— Помните нашу межхозяйственную кооперацию? — продолжал Гитерман.— Этим мы спасли колхозы от убытков их собственного хозяйствования и получили возможность заняться социальным возрождением поморских сел. Собственно говоря, это и было начало перестройки — той самой, благодаря которой я сижу сейчас перед вами в Москве, а не копаю мерзлую землю где-нибудь «во глубине сибирских руд». Так вот, Александров мне прямо сказал, что они и это мне припомнят и что со всякими договорами между предприятиями, со всякой инициативой снизу они скоро покончат.

— Значит, Терский берег вам тоже ставили в вину? Понимаете, очень важно сейчас понять, вокруг чего они ходили. Почему-то мне кажется, что получение вами взятки от Меккера — это только один эпизод, начало ниточки, с помощью которой они хотели размотать — или намотать? — целый клубок уголовной пряжи.

— Не знаю, что они хотели конкретно. Главное — им нужно было крупное дело. Уже потом мне рассказали работники прокуратуры, что в 1984 году было несколько нераскрытых убийств, им это ставили в вину и требовали принять меры. Вот они и приняли. Полковник Александров заявил: «Раз арестовали, мы обязаны доказать, иначе полетят головы, да еще какие!» Вот они и «доказывали», занимались мной днем и ночью, как каким-то матерым преступником...

Замечательно, что никто из тех, кого допрашивали, кому грозили арестом, увольнением с работы, преследованиями, не взял «греха на душу», как взял его неведомый мне и никоим образом не вызывающий симпатию Меккер. Брал взятки со своих рабочих! Нет, есть какие-то грани человеческих отношений, которые нельзя перейти, нельзя понять и простить. Впрочем, разве не такую же грань переступили мурманские уголовные следователи — или просто уголовники? — когда они съели часть конфискованных у семьи Гитермана консервов? Почему-то эти банки тресковой печени и ветчины не идут из головы. Ну да бог с ними, с этими банками, от которых не будет ни им, ни их детям добра... Главное в том, что в Мурманске действительно хотели сделать Гитермана центральной фигурой какого-то обширного «дела»... Может быть, по аналогии с печально известным делом «Океан» в том же самом Минрыбхозе СССР, в который маленькой частицей входит и Мурманский рыбакколхозсоюз? Но в том деле была черная и красная икра, осетры и стерлядь. Множество организованных на местах браконьеров, живших по берегам Черного, Азовского и Каспийского морей, Волги, Амура и других великих рек, даже не подозревая об этом, не покладая рук работали на высокую пирамиду расхитителей, воров, «паханов», развернувших свою деятельность чуть ли не в международном масштабе и безо всякого «философского камня» средневековых алхимиков превращавших матово отливающие черные зернышки икры в радугу бриллиантов и солнечный блеск золота.

А что могло быть здесь? С чего «навар»? Уж я-то знаю точно, что нет здесь, на Севере, таких рыбных ресурсов, на которых можно было бы делать деньги. Нет их и не было. Даже на семге, потому что ее слишком мало. Или действительно для мурманской прокуратуры и УВД такая пора настала, что хоть из пальца высасывай, хоть самого себя обкрадывай и разоблачай, но чтобы «результат» был? Похоже на это. Уж очень круто они за Гитермана взялись. А главное — темпы, темпы! В начале февраля приходит рабочий с повинной, на следующий день берут Меккера,

меньше чем через две недели — Гитермана. А дальше круг ширится, хватают все новых и новых, да только ухватить не могут. Но и это неважно. В следственном отделе кипит работа, заполняются протоколы допросов, наверх идут обнадеживающие донесения и рапорты, строятся новые планы, город начинает лихорадить.

Потом все лопается и рассыпается прахом. Нет ни дела, ни сообщников, ни «организации». Даже Меккера нет. Один Гитерман.

— За что все-таки вас судили?

— Помните, что деньги бригаде Меккера в межколхозном производственном предприятии выплатили только после моего звонка? Бернотас, а потом и Куприянов объяснили, что они, мол, не решались выплатить сразу, потому, дескать, что им показалось, будто бы те слишком много заработали. Другими словами, нет ли тут приписок? Чушь! Принимали и замеряли объемы работ их люди, расценки определяли они же, так что ни о каких преувеличениях не могло быть и речи. Но они додумались расписать табель на два месяца вместо одного и соответственно переделали все остальные документы. То есть пошли на прямой подлог, причем с переплатой районного коэффициента на полтысячи рублей. Кому пошли эти деньги? Не знаю. Понятно, не рабочим, поскольку за рабочих, как вы помните, получал Меккер. А кому остальное — почему-то никого не заинтересовало, во всяком случае, как выяснилось, не мне...

— Простите, Юлий Ефимович, но я до сих пор не понимаю: какое имеют к вам отношение бухгалтерские операции, причем другого предприятия?

— Но ведь я рассказывал, что Меккер мне звонил от Куприянова по телефону и что я, в свою очередь, попросил Куприянова с этим разобраться.

— Да, помню.

— Так вот, единственное упущение в финансовых вопросах, с которым можно было связать меня,— вот это. Когда вскрылся факт подлога, Куприянов и Бернотас показали, что распоряжение такое дал им я.

— А вы его давали?

— Конечно же, нет! Как я могу что-то приказывать субподрядчику? Да и никакой нужды в этом не было, уверяю вас. Я до сих пор не понимаю, почему они решили так сделать, какая им была от этого выгода.

— А если прямая — вот эти полтысячи рублей?

Гитерман смотрит на меня с удивлением:

— Я как-то не подумал об этом. Как показал на суде бухгалтер межколхозного производственного предприятия, ведомости на выплату были готовы еще накануне нашего разговора по телефону. Это сделал Бернотас своей властью, а когда мы разговаривали с Куприяновым, Бернотаса уже не было. Они переправили табель, наряды, приказ, об этом прямо сказано в моем судебном приговоре. Однако никто из них не понес никакого наказания. Получалось так: они — исполнители, я — соучастник, хотя категорически отрицал свою причастность, но всю ответственность суд возложил на меня, а относительно них даже не вынес особого определения!

Гитермана выпустили. Два условных года — это формальность, все понимают. Полтора года покрывают отсидку, а еще полгода поработает где-нибудь под присмотром — вот и все. Ну, а что из партии исключили, с работы сняли, мытарства всякие прошел — наше правосудие ни при чем...

Но Гитерман был не единственной жертвой мурманского «правосудия».

Суд над Стрелковым, председателем рыболовецкого колхоза «Волна» в Чапоме на Терском берегу, где была построена база зверобойного промысла, состоялся в конце марта 1985 года. Осудили его на два года условно, но, как водится, из партии исключили и с должности сняли.

Стрелков — коренной помор, терчанин, всю жизнь прожил на Берегу, а стало быть, пережил все, что выпало на долю здешних жителей: укрупнение, снос, ликвидацию и переселение поморских сел, разорение хозяйств, бегство людей в города, начавшееся гораздо позднее, чем на материке... Я всегда утверждал, что своим существованием Чапома обязана Стрелкову — его настойчивости, энергии, вере, что все «как-нибудь образуется», нехитрой дипломатии с местным начальством и умению «претерпеть» от вышестоящих. Он сохранил село и народ в самые критические годы своего председательствования, не растерял, а потом, когда с приходом Гитермана на пост председателя МРКС началось возрождение Терского берега, сумел даже вернуть из города молодежь. «Его-то за что?» — невольно воскликнул я, вспомнив коренастую, чуть косолапящую фигуру, красное, обдутое северными ветрами остроносое лицо и синие, словно промытые морскими далями, глаза.

Стрелкова с «делом Гитермана» на первый взгляд вроде бы ничего не связывало, так же, как и Подскочего, председателя «Северной звезды», колхоза на берегу Кольского залива, недалеко от Мурманска. Но того я знал мало. С симпатией о Подскочем говорил мне Николай Ильич Коваленко, председатель колхоза имени XXI съезда КПСС в Териберке на берегу Баренцева моря. Когда-то они работали вместе, знали хорошо друг друга, и на слова Коваленко можно было положиться. На Коваленко вообще можно было положиться, это я понял еще в первый приезд в Териберку, увидев, с каким уважением относится к председателю молодежь, составившая теперь основной костяк работающих. Тон в этой дружеской атмосфере задавал не

молодцеватый, отчаянный «рубака-парень», а незаметный, даже несколько неуклюжий, молчаливый, никак не вписывающийся в традиционный облик «героя» председатель. Геройство и подвиги он предоставлял другим, оставляя себе суету ежедневных забот о людях и хозяйстве. Когда в Териберке был выстроен первый многоквартирный дом со всеми удобствами, Коваленко остался жить в старом, латанном-перелатанном «коттедже», завалиться которому мешали не столько балки и стены, сколько подпиравшие их изнутри стеллажи с книгами, «доказывающими свою полезность для души и для тела», как шутил хозяин...

— У каждого из них было свое дело, впрочем, тоже высосанное из пальца,— утверждал Юлий Ефимович.— Стрелкова обвинили в том, что он незаконно переплатил три тысячи бригаде ремонтников. То же самое и с Коваленко, который поссорился с прокурором района — семгой к празднику не поклонился или мясо не привез,— ну, тот и решил его для острастки посадить... Вы же знаете, как это у нас заведено. Что с Подскочим — не знаю. Коваленко повезло — он даже остался председателем, колхозники «отмолили» его, писали всюду, а Подскочего совсем из колхоза вышвырнули. Что их обоих обо мне спрашивали, это я точно знаю, потому что мои следователи уверяли, что оба сознались в даче взяток мне и грозили очными ставками, если я не признаюсь в сговоре с ними...

— Опять взятки?

— Ну конечно! Правда, на суде о них никто уже не вспоминал...

Получается, что следственные органы, пытаясь спасти свой престиж эффектным раскрытием крупного преступления, сами стали на путь преступления, «организуя» групповое дело и терроризируя людей. Впрочем, не было ли тут и другой подоплеки? Так ли уж случайно повторял Александров, начальник ОБХСС УВД области, что скоро они «всю эту перестройку прикроют и выведут на чистую воду»? Не было ли здесь попытки расправиться с Гитерманом как одним из инициаторов возрождения Терского берега? Отсюда и настойчивые поиски его «неформальных» связей с Каргиным, начальником «Севрыбы», которые искал генерал-майор Данков. И он, и следователи не раз говорили Гитерману, что Терский берег — «золотое дно», иначе зачем бы ему заниматься этими колхозами? Все сходится на Терском береге, на том самом Терском береге, который районное руководство вот уже четверть века добивается «закрыть», сселив все села в Умбу, в райцентр.

С таких вот позиций одновременный удар по лучшим руководителям колхозов, входящих в МРКС, и по его председателю был вполне оправданной в политическом отношении акцией. В случае удачи она позволила бы стоявшим за руководством областного УВД силам не только подавить хозяйственную инициативу МРКС и «Севрыбы», но и лишить ее вожаков. Такая «стратегия», к сожалению, характерна не только для 1985 года, но и сейчас, когда оппозиция перестройки пытается использовать имеющиеся у нее рычаги административной, партийной и судебной власти именно для того, чтобы раздавить и парализовать начавшееся снизу всенародное движение. Причем сделано это было с тем психологическим расчетом, что ни партийные руководители, ни руководство «Севрыбы» не вступятся за Гитермана и председателей, объявленных ворами, валютчиками и взяточниками. Так и произошло. А дальше действовала отработанная за предыдущие десятилетия система: шантаж, угрозы, оскорбления — поскольку ничего святого для преступников, боровшихся за собственное благополучие, чины и жизнь, не существует.

Концы вроде бы сходятся, все лежит на поверхности, но опыт историка и археолога заставляет меня относиться с недоверием к таким вот объяснениям, прямо вытекающим из содержания документов. Не фактов, а именно документов, которые всегда составляются, чтобы представить факты в определенном освещении. Однако других фактов и объяснений у меня пока нет. Будут ли? Во всяком случае, не раньше, чем я окажусь снова на кольской земле, поговорю с потерпевшими и узнаю, что же произошло два года назад. Я не собираюсь выступать в роли частного детектива, вторгаясь в малоизвестную для меня область права и бесправия, где «игры» идут по своим, глубоко засекреченным правилам, законность которых может установить лишь человек со специальными знаниями и большим юридическим опытом. Я хочу всего лишь найти причину событий, в результате которых честные люди были объявлены мошенниками; понять, как это могло произойти.

Стало быть, надо лететь в Мурманск.

2

В Мурманск я лечу месяц спустя после встречи с Гитерманом.

За бортом, как сообщает стюардесса, минус пятьдесят, ослепительное солнце на безоблачном небе, но внизу сплошная пелена облаков и неизвестно, чем встретит меня Заполярье — хрустящим снежком или хлещущим дождем очередного циклона. Накануне был дождь, это мне сообщил Каргин, когда я звонил по телефону и просил заказать номер в подведомственном ему Доме межрейсового отдыха моряков. Когда я появлялся в Мурманске, начальник «Севрыбы» рассказывал мне о своем обширном хозяйстве, говорил о проблемах, встающих на пути возрождения Терского берега, рисовал перспективы морского промысла и марикультур, которые с некоторых пор стали его любимым «коньком»,— выращивание мидий, морской капусты, развитие прибрежного лова и все остальное, о чем любят так красиво рассказывать, употребляя будущее время, современные ученые.

Но главным были все-таки колхозы и их подсобные хозяйства, ставшие подсобными хозяйствами предприятий «Севрыбы». Только постепенно я понял, каким организационным талантом надо было обладать, чтобы в критический момент, когда от всех предприятий страны потребовали обзаведения «аграрными цехами» со специалистами сельского хозяйства и специалистами-рабочими, найти поистине гениальный выход: использовать сельское хозяйство рыболовецких колхозов. И молочные фермы, и связанное с ними полеводство — все это приносило в условиях Заполярья ежегодные убытки колхозам, потому что не было посредника, который взял бы на себя вывоз и реализацию полученного продукта. С другой стороны, чтобы «освоить» тундру, скалы и болота, предприятиям «Севрыбы» требовалось вложить десятки миллионов рублей, найти специалистов, построить жилье, завозить корма, а в результате... не вернуть и сотой доли вложенных средств. Если же предприятиям «Севрыбы» передать сельское хозяйство рыболовецких колхозов, чтобы именно туда вкладывать средства, то можно не только во много раз снизить предстоящие затраты, но и кинуть «спасательный круг» колхозам Терского берега, чтобы они продержались еще «на плаву», пока не придет к ним настоящая помощь.

Идею выдвинул Каргин. Развивал и внедрял ее Гитерман. Он и поддерживал наш контакт, выводя на проблемы, которые требовали публикации в печати для скорейшего их разрешения.

В последнее время этот контакт прервался. И не из-за отсутствия причины для встречи, а, наоборот, потому, что возникла совершенно определенная причина для «невстречи». Причиной был не Гитерман, а та позиция, которую — насколько я мог судить — занял в деле Гитермана Каргин. На мой взгляд, она не находила себе оправдания.

Не так, совсем не так должен был вести себя бесстрашный донской казак Михаил Иванович Каргин, когда в Мурманском аэропорту работники ОБХСС схватили его сотрудника, человека, которого он знал много лет, которому обещал поддержку во всех его начинаниях. Может быть, так досадно за Каргина мне было еще и потому, что сам я долго не делал ничего в защиту Гитермана, полагая, что вот-вот депутат Верховного Совета СССР Каргин, член бюро обкома, отправится в Москву на прием к Генеральному прокурору СССР и потребует по праву своего депутатского мандата взять под строгий контроль дело председателя МРКС. Получилось наоборот: начальник «Севрыбы» предпочел отмолчаться, уйти в сторону. Даже потом, когда Гитермана выпустили, он его не принял, передал, чтобы подождал суда, «очистился бы» и уже тогда приходил для разговора... Струсил? Но почему? Что тревожило и не давало покоя начальнику «Севрыбы»? Признаться, на этот вопрос я не мог найти ответа. Он продолжал меня мучить и теперь, в первую очередь потому, что Каргин мне нравился. Он импонировал мне своей широтой, смелостью взглядов, пониманием проблем, быстротой решений. При первой же встрече с Каргиным я не мог не задать ему неизбежные вопросы, не мог скрыть свое отношение хотя бы потому, что ценил его и уважал.

Положение было чертовски трудным, и оно касалось не только начальника «Севрыбы». В любом таком расследовании теряешь друзей и приобретаешь врагов, потому что публицист не может обозревать события через очки, надетые властью предержащей. Гитерман мне нравился не меньше Каргина, но, познакомившись с председателями колхозов, с их хозяйствами и проблемами, я далеко не всегда мог отстаивать правоту руководителя МРКС, не говоря уже о его заместителях. Я не мог согласиться с методами командования, которыми внедрялась в колхозы межхозяйственная кооперация, не мог закрыть глаза на то, как строилась зверобойная база в Чапоме, и обязательно написал бы об этом, если бы не арест Гитермана, ударивший не по качеству работы и методам руководства, а по самой работе. Наконец, я выступил против Гитермана, когда разразился конфликт между ним и Тимченко, председателем колхоза «Ударник», чью позицию полностью разделял и чью правоту отстаивал с не меньшей убежденностью, чем последние два года отстаивал невиновность Гитермана.

...Самолет идет на посадку, внизу уже блестит широкая лента Туломы, знакомые сопки с редколесьем; совсем близко за иллюминатором проносятся припорошенные снегом елочки, желтеет сухая трава по краю взлетной полосы, легкая встряска — и вот мы медленно подруливаем к низкому зданию мурманского аэровокзала.

Пробираясь через толпу, я примечаю двоих, стоящих на видном месте у справочного киоска. Свет бьет в глаза, и потому я не сразу узнаю Виктора Георги, ответственного секретаря еженедельника «Рыбный Мурман», встреча с которым для меня сейчас особенно приятна. Невысокий, чуть полноватый, в потертом кожаном пальто, перехваченном ремнем, Георги не меньше меня интересуется положением дел в рыболовецких колхозах и «болеет» за Терский берег. Но главное, конечно, заключается в том, что он именно тот человек, с которым легко и интересно работать. Второй — высокий, костистый, в темно-сером пальто и новой ондатровой шапке — сотрудник отдела по делам колхозов,— «уполно-

ненного уже отдела», поправляет Георги, потому что с образованием Всесоюзного объединения рыболовецких колхозов (сокращенно — ВОРК) он должен превратиться в «отдел внутренних водоемов». Теперь МРКС не подчиняется «Севрыбе».

Это первая новость, за которой, я чувствую, последует немало других. Через несколько минут черная севрыбовская «Волга» уже несется по пустому шоссе между присыпанными первым снегом сопками. В «Севрыбе» меня ждет Каргин.

Честно говоря, я не понимаю, зачем нужна такая спешка, тем более что Каргин никуда не уезжает, по крайней мере так он сказал мне вчера по телефону. Конечно, все может измениться, в отличие от меня своим временем начальник «Севрыбы» не располагает, и все же мне кажется, что главное здесь — желание встретиться первым, чтобы узнать, зачем я приехал в Мурманск в такое неурочное время. Но чего Каргину-то волноваться? А может быть, это все мои домыслы, и человек просто выбрал свободное « окно», чтобы потом не пришлось искать время для встречи?

Меняется Мурманск, но не «Севрыба». В таких вот зданиях конца 40-х — начала 50-х годов, при всей их эклектике и безвкусице, есть давно забытая фундаментальность и добротность, так сказать, «повышенный запас прочности». В окружении современных сборных построек эти дома напоминают респектабельные торговые фирмы или банки.

Кабинет у Каргина под стать такой фирме — просторный, добротный, с тяжелой темной полированной мебелью, широким рабочим столом, украшенным массивным письменным прибором с латунными якорями и штурвалами. Здесь все прежнее. На стенах те же карты — Мирового океана и Советского Севера, расцвеченные по побережьям условными значками колхозов, рыбопунктов, метеостанций, лабораторий, опытных хозяйств...

Ну а Каргин — прежний?

Вроде бы такой же, какой был,— крепкое, на мгновение затянувшееся рукопожатие, форменный пиджак без единой морщинки, вид бравый, но сквозь прежний задор в голосе прорываются несвойственные ему ноты, да под глазами набрякли мешки. Не от застолий, он их и прежде не любил, я это знаю. Капитан рыболовецкой державы Севера устал, и это не сиюминутная, на другой день проходящая усталость, а та, что ведет счет прожитым годам и своим резцом безжалостно проводит сеть морщин возле глаз, у складок рта и прореживает короткий густой ежик до легкого уже ореола.

Я чувствую скользящий по мне его цепкий взгляд. Иногда кажется, что Каргин испытывает ко мне такое же острое любопытство, как и я к нему. Так вот случилось, что Полуночный берег стал частью моей жизни вместе со своими проблемами, людьми, судьбой... Каргин в него входит составной, хотя и не главной частью. Но, кроме того, он мне интересен сам по себе и как человек, и как крупный руководитель. Мне интересны его заботы, его трудности, способ, каким он решает встающие перед ним проблемы, общается с людьми, его характер — решительный и властный. Разговаривая, наблюдая за ним, я пытаюсь понять и положение способного организатора на достаточно высоком уровне нашей системы хозяйства, и механизм действия самой системы, так часто вступающей в противоречие с собой, с теми постулатами, которые были в нее когда-то заложены, и с теми целями, которые она вроде бы преследует.

Встречи с Каргиным для меня всегда интересны. Что же касается его, то вряд ли он стал бы тратить свое время впустую.

— Приехали, значит... На нас посмотреть и себя показать, так, что ли? А что смотреть? Перестройку нашу? У нас тут ого-го какую перестройку устроили! Такую «охоту на ведьм», что только держись. На всю область шухер был, только что до Москвы не дошло... А что в итоге? Да ничего. Людей измордовали! Гитермана мы потеряли, это вы знаете. Стрелкова потеряли, Подскочего — тоже... Одного Коваленко отстояли, а чего это стоило? Но тут уж, как говорится, всем миром навалились, благо он последним шел. Опомнились! Это что, перестройка? В самый ответственный момент лучших работников порубили. Настоящих, проверенных! До сих пор им замены нет. Не были еще в рыбаксоюзе? Будете. Поставили одного на место Гитермана, очень он просился... Не тянет, менять надо! А кем заменять, скажите на милость? У них там за эти два года все развалилось. База флота последние дни доживает: колхозы свои суда отзывают, а эти мудрецы только глазами хлопают. И сказать ничего нельзя — демократия! Да и как говорить, если колхозы уже не наши? Зачем, спрашивается, этот ВОРК нужен, если он ничем своих колхозников обеспечить не может?..

Каргин говорит с запалом, говорит о самом больном для его детища — межхозяйственной кооперации. И я не могу с ним не согласиться, потому что, в самом деле, как оправдать теперешнее подчинение колхозов двум «хозяевам» — ВОРКу, который решает все колхозные дела (или только готовится их решать), и «Севрыбе», которая по-прежнему управляет колхозным флотом на промысле? ВОРК далеко, в Москве, у него нет ни своего снабжения, ни своих баз, ни специалистов, ни ремонтных заводов. А «Севрыба» здесь, под боком, все через нее шло...

Мне тоже непонятно, зачем надо было возводить новый этаж бюрократической пирамиды над рыболовецкими колхозами, еще одну управленческую надстройку для централизации всего рыбоколхозного дела в стране. А что получили колхозы? Пока ничего. Общее подчинение тому же министерству. Только если раньше, как говорит Каргин, все вопросы решались на местах, тут же, дальше областного центра ехать было не нужно, то теперь все — через Москву. А главное в том, что все равно колхозный флот несамостоятелен, он работает под управлением «Севрыбы» и в составе ее флотов. Вот и задумаешься: а надо ли разъединять колхозы и «Севрыбу», у которой и промысловая разведка, и данные по промыслу по всему океану, и судоремонтные заводы, и суда, которые получают колхозы опять-таки из «Севрыбы»? Что касается демократии, то я согласен с Каргиным, что посредники между колхозами и государством, кроме «Севрыбы», на промысле не нужны. Однако настоящая демократия начнется тогда, когда колхозы будут напрямую выходить для решения своих вопросов на любой государственный уровень. Это и станет действительно перестройкой.

— ...Создали они это Всесоюзное объединение,— продолжает Каргин,— отделились от нас, а дальше что? Демократию развивать? А что стоит эта демократия, если она фондами не обеспечена? Если за каждой гайкой, за каждой ниткой надо колхозу в Москву ехать или опять ко мне на поклон идти? А я теперь не дам: откуда? Раньше фонды на колхозы шли через «Севрыбу», ну и мы тоже помогали чем только могли. А теперь? На хрена это надо было придумывать? По-моему, тут вместо демократии только бюрократию развели, еще один барьер построили... Ну, хорошо,— остывает он.— Хотите сами управляться — ваше дело, нам же легче. Но что прикажете делать с кооперацией, в которую столько сил вложено? Как я могу заставить теперь своих директоров помогать колхозам, если и раньше, когда колхозы к нам в объединение входили, они только под моим нажимом что-то делали? Ведь вся эта кооперация — чистейшей воды благотворительность...

— Не совсем так, Михаил Иванович,— останавливаю я его.— Кооперация спасла терские колхозы, все верно, никто тут спорить не станет. Ваши предприятия взяли на себя закупку и реализацию сельскохозяйственной продукции, и она им, как известно, обходится в копеечку: накладные расходы на транспортировку по воздуху — рубль на килограмм. И все же, признайтесь, на это вы пошли не ради своей широкой души и печальных глаз Гитермана. Для вас, для «Севрыбы», для всех входящих в нее предприятий и объединений это был выход, причем крайне выгодный. Сколько вам надо было бы потратить средств, чтобы на пустом месте создать подсобные хозяйства предприятий, как это требовали от вас?

— Миллионов сорок—пятьдесят.

— А какой срок нужен был бы, чтобы получить хотя копеечную отдачу?

— Около пяти лет, не меньше. Ведь тут скалы и болота пахать надо, строить помещения, вести водопровод, людей набирать.

— Вот-вот. А тут сразу все готовое, и всего один-два миллиона на перспективу. Что, не так? Из такого расчета и накладные расходы в десятки тысяч никто в расчет не берет. Так что скажите спасибо Гитерману! Кстати,— я круто меняю тему разговора,— что с ним теперь будет?

Словно споткнувшись на этом имени, Каргин потухает. Он оседает в кресле и отворачивается к окну. Отвечает не сразу:

— С Гитерманом? А что с ним будет? Отсидел в тюрьме, отделали его, как бог черепаху, а теперь, наверное, и условный срок у него кончился. Не заходил. Кто говорит, он вообще из Мурманска уехал, а кто будто бы здесь его видел... Если захочет работать, я от него не откажусь, работник он хороший. За Терский берег ему можно золотой памятник поставить, да только толку теперь что?

Каргин сидит, отвернувшись, как будто в окне он увидел что-то очень интересное. И я вдруг понимаю, что этому сильному, волевому человеку, который не побоится в одиночку и на медведя пойти, сейчас не хочется смотреть мне в глаза. Наступает тягостное молчание.

— Михаил Иванович, почему вы не заступились за Гитермана?

Он резко поворачивается.

— Кто вам сказал, что не заступился? Я звонил в обком, звонил Данкову, сказал, что сомневаюсь в виновности Гитермана, что надо было подождать, проверить. Мне ответили, что доказательства уже есть, нет только признания Гитермана, так что все законно...

— И вы, член бюро обкома, ничего не попытались сделать?!

— А что я должен был делать, если мне ответил первый секретарь обкома, что он дал согласие на арест Гитермана? Кто я такой, чтобы сомневаться?

— Вы? Депутат Верховного Совета. Это немало.

— Ну и что я должен был сделать как депутат? Пойти жаловаться? А мне сказали бы: сиди и не рыпайся, не твое дело. Это дело следственных органов. Давление на них оказывать? Кто бы мне это позволил? А потом, откуда я знал, может, Гитерман и вправду брал взятки!

— Но сейчас-то вы знаете? Суд снял с него это обвинение.

— Суд с него обвинение не снял, он его отклонил «за недоказанностью», а это не одно и то же. Не думайте, что я согласен с судом. Если бы это было так, я бы просто не стал с вами разговаривать о Гитермане. Сейчас я знаю, что он ни в чем не виноват, мы тут тоже свое небольшое следствие провели, и я

сейчас так же, как и вы, уверен в невиновности Гитермана. А в то время — нет...

— Но вы же его хорошо знали!

— Как это я мог его хорошо знать? Домами мы не дружили, только здесь, вот в этом кабинете, на совещаниях общались да несколько раз в общих поездках. У меня в «Севрыбе» десятки тысяч человек, сотни руководителей, и всех их я должен знать? Я могу представить человека только по его деловым качествам, по тому, как он решает вопросы, как отвечает за порученное ему дело. Да, Гитермана я знал, сам пригласил его на место председателя МРКС, потому что видел: мужик толковый, энергичный, с ним можно работать, и работать хорошо. А что он там себе думает, как и чем живет,— это уж извините! Вы его как человека и то лучше знаете, чем я. Да, я всегда считал его честным и порядочным человеком, не мог поверить, когда все это случилось. Но мог ли я, положа руку на сердце, сказать, что все это гроша ломаного не стоит, что он не брал никогда? Не мог...— Каргин откинулся на спинку кресла и снова перевел взгляд на окно.— Да и за кого сейчас поручиться можно? Думаете, мне все это далось легко? Этот Даиков и его ищейки вокруг нас всех крутились. Едем с ним на охоту, а мне кажется, что он меня из-под надзора не выпускает, как бы я куда от него не сбежал! И в обком его вызывают, спрашивают, скоро ли конец. А он твердит, что следствие почти закончено, все улики на руках, вот только еще немного — и полное признание ото всех будет получено. Ну а потом просто уже ни во что ввязываться не хотелось. Бесполезно.

— Почему?

— Вы что, не понимаете?

Каргин резко поворачивается ко мне на кресле.

— А кто будет отвечать за нарушения законности, если сейчас поднять вопрос о полной невиновности Гитермана? Кого сажать? Тут ведь одними следователями не обойтись, тут весь аппарат управления надо трясти снизу доверху, и прокуратуру, и суд, который Гитермана судил,— весь суд с заседателями вместе! Тут и обком не останется в стороне. Об этом вы подумали? Кто этим будет заниматься, где крайнего искать? Нет, не пойдет сейчас никто на это. Сейчас только один Гитерман пострадал, да и то счастливо выпутался. А теперь, если все по-новому начинать, места на скамье подсудимых не хватит для всех тех, кто его шельмовал и мордовал. Сколько людей под статью попадет, вы думали? А Гитерман уже на пенсию вышел, работать ему не обязательно, относятся к нему в общем-то хорошо...— И, словно потеряв всякий интерес к теме, Каргин вяло заканчивает: — Если уж поднимать этот вопрос в обкоме или еще где, то только вам. Конечно, я тоже поговорю, только вряд ли что получится. Ведь и на письма Гитермана в Прокуратуру РСФСР никакого положительного ответа нет, так ведь?

Разговор переходит на трудности сегодняшнего дня. Обстановка в море изменилась, ловить стало нечего, за предшествующие годы успели повычерпать Мировой океан. Да, треска и окунь снова стали попадаться, но это ничтожные крохи былого богатства. Надо было бы дать им нагуляться, вырасти, отметать несколько поколений, чтобы снова заселить рыбные банки, да куда там: план жмет и гонит. А какой план? Вот последние годы выполняли этот план на креветке, которую научились сразу же продавать норвежцам, и на мойве. И того, и другого было много, но уже в этом году улов резко упал, в будущем году вообще ничего не будет — ни креветки, ни мойвы, а план уже есть и, как водится, с завышением против нынешнего... Вот и думаешь: кто же там планирует? И как можно вообще планировать стихийный процесс? Ведь это для красного словца журналисты называют море «голубой нивой». Только никакая она не «нива», а мы не «пахари», забираем от природы, что она нам пошлет, и еще под корень режем или с корнем вырываем. Вот и выходит, что «мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака...»

Сейчас надо не столько по океанам болтаться, сколько развивать прибрежный лов, который давно заброшен. Зарубежные конкуренты уже давно большие суда не строят, перешли на маломерный флот. Здесь, у берега, сейчас рыбы больше, чем в океане. И не надо уходить на три-четыре, а то и больше месяцев, не нужны многочисленные команды, плавбазы и все прочее. Но для всего этого надо не только менять суда и вооружение — надо еще и коренное изменение планирования, чтобы не определяли сверху, какую рыбу ловить, а какую выбрасывать. Если уж выловил — все должно идти не просто в дело, а в пищу, как у японцев, чтобы морской промысел стал полностью безотходным производством. И не на муку надо чистый белок перерабатывать, не на кормовую смесь, а на полноценный пищевой продукт для людей. С другой стороны, рыбу надо не только ловить, но и выращивать. Вот Норвегия сейчас одна дает раз в двенадцать больше семги в год, чем ловим мы в своих реках. А ведь вся норвежская семга выращивается в закрытых водоемах! И пока мы добиваем свои семужные стада, причем не столько за счет вылова, сколько за счет загрязнения рек сплавом, химическими сбросами или вот как на Печоре, где вся река отравлена свободно фонтанирующей скважиной, оставленной нефтяниками,— на Западе сейчас во всех северных странах не знают, куда эту семгу девать.

И в гостинице, и потом, когда я шел в МРКС, меня не оставляли мысли о сегодняшней встрече с Каргиным. Вряд ли он был заинтересован в аресте Гитермана. Другое дело, что он в какой-то степени им пожертвовал, но ради чего?

Я чувствую, что Каргин не слишком симпатизирует своему бывшему подчиненному, потому и не стал его спасать — ни тогда, ни сейчас. И это при том, что Каргин, как выясняется, знал: Даиков и его подручные попытаются использовать Гитермана против Каргина, тот Даиков, с которым они вместе ездили по субботам и воскресеньям на охоту, сидели у одного костра, а по понедельникам генерал-майор вызывал к себе на допрос Гитермана и начинал очередной тур «уговоров», дознание «с пристрастием», кто из руководителей «Севрыбы» требовал свою «долю»!

Так что же, все объясняется Даиковым? И в «Севрыбе», и в МРКС, куда я сейчас иду,— всюду действовал «автоматизм» ситуации, отлаженный за десятилетия так, что срабатывал без сучка и задоринки, едва лишь хватали жертву. Человек был обречен еще до представления ему обвинения, и окружающие к этому настолько привыкли, что даже не пытались что-либо предпринять, разве быстрее забыть о случившемся. Так, по-видимому, получилось и с председателями колхозов. Когда я спросил о них Каргина, тот только головой мотнул: дескать, это не по моей части... Теперь я знал, что ничего нового по этому поводу не услышу и в МРКС.

Незадолго до моего приезда новый председатель МРКС, Голубев, выступил в «Рыбном Мурмане» с большой статьей. Он подвел итоги предшествующему периоду, показал успехи колхозного строительства за пять «гитермановских» лет, рассказал о планах, подготовленных его предшественником, не называя, правда, его имени, и недвусмысленно заявил, что их реализация при той помощи, которую сейчас получают колхозы от государства и от руководства области, утопична. Больше того, в этой же статье он показал, какими препятствиями в развитии колхозной жизни служат существующие банковские инструкции, система снабжения, бесправие колхозов и невключение их планов в планы строительных и мелиоративных областных организаций. Все было сказано мягко, но четко.

Напрашивалось сравнение с Гитерманом. Каждое указание, идущее сверху, если оно не грозило колхозам убытками и разорением, Гитерман принимал к исполнению. Мне кажется, Гитерману нравилось делать то, что ни у кого другого не получилось бы, уже в одном этом была для него награда. То, что он сделал в Чапоме, причем всего за два с половиной года, в условиях Заполярья, больше того — колхозного Заполярья, было настоящим чудом. Это чудо сразу окупило себя и стало приносить фантастическую прибыль. В результате Голубев получил в наследство уже работающую базу зверобойного промысла, налаженную межхозяйственную кооперацию, телевизионные комплексы в Варзуге и Чапоме, строящийся комплекс в Чаваньге, начатое строительство жилых домов, детских садов, школ. И — зверобойку, основное детище Гитермана.

Пусть многое требовало доделок и доводок — все это уже было построено, уже работало. У преемника Гитермана появилась возможность решать другие, не столь тяжкие проблемы и занять при этом независимую позицию, на что Гитерман просто не мог пойти.

С такими вот мыслями я подхожу к зеленому деревянному послевоенной застройки зданию со скрипучими лестницами и тесными коридорами. Последний раз, когда я был здесь, меня принимал Гитерман...

Все здесь как было при Гитермане — столы, стулья, письменный прибор, бумаги, карты, селектор слева от письменного стола. Только хозяин кабинета другой — светловолосый, с приятным лицом «без особых примет», немолодой, с негромким голосом, в котором отчетливо слышатся нотки волнения и желания понравиться собеседнику. И в то же время — настороженность, вполне естественное желание не сказать чего-то лишнего. Как угадать, что мне известно? С чем я приехал, какая статья получится в результате нашей беседы: поддерживающая или разгромная, позволяющая начальнику «Севрыбы» произвести очередной «дворцовый переворот»?

Наконец, Голубев перестает коситься на мигающий красным глазком диктофон, нам приносят чай с печеньем, он усаживается поудобнее в кресле, расстегивает форменный пиджак с золотыми капитанскими шевронами и начинает рассказывать, чем живет сейчас МРКС.

Главной заботой был, как я и полагал, Терский берег со всеми гитермановскими преобразованиями, которые не позволяли оставить все так, как есть. Надо было идти дальше — строить, мелиорировать, привлекать людей, возрождать старые промыслы и отыскивать новые. Для всего этого, как обычно, не хватало ни сил, ни средств. «Севрыба» выходила из игры, ВОРК за полтора с лишним года никакой реальной помощи не оказал. Вместе с организационными возникли кадровые трудности — результат судебных дел, обрушившихся на МРКС и Гитермана. Из прежних председателей на Терском берегу остался только Заборщиков в Варзуге. Стрелков после суда работал колхозником — на его месте Мурадян, строитель из Умбы. Но до него был еще один, Лучанинов, так что в Чапоме после шестнадцатилетнего руководства Стрелкова началась председательская чехарда, как в Чаваньге, где за семь или восемь лет меняется уже пятый или шестой председатель. Конечно, ничего хорошего из этого не выйдет, кадры нужны стабильные, чтобы было на кого опереться...

Сменились председатели и на мурман-

сном побережье. В Ура-Губу вместо Мошнинова пришел Савельев. Парень крепкий, хороший, инициативный, с высшим образованием, похоже, решил взяться за колхоз всерьез, перенимает опыт у Тимченко... Плохо дело в «Северной звезде», где раньше был Подсночий. Его преемника, Олейнина, похоже, придется менять — не справляется. Осенью там работали комиссии, выявили много недостатков.

Не легче и в самом МРКС. Все время приходится разбираться с огрехами в работе межколхозного производственного предприятия — МКПП. Без него не обойтись, а порядок навести не можем. А вот нужен ли меховой цех, формально числящийся за «Северной звездой», но находящийся в Мурманске, из-за которого только одни неприятности, а отдачи никакой,— еще вопрос. Колхозников меховой одеждой он не снабжает, зато к нему липнет городское и областное начальство рангом пониже, не имеющее своих спецраспределителей. Там постоянно вскрываются махинации с шапками и полушубками, всплывает неучтенное сырье, неликвидов скопилось больше, чем на двести тысяч... Но, конечно, самое больное место — база флота. Скандал с базой начался еще при Гитермане в 1984 году, когда из нее вышел «Ударник». Отсюда и пошло. Погибли два колхозных корабля, но никто в базе за это не ответил. Стали разбираться, и выяснилось, что, хотя база и распоряжается судами и командами, ответственности за колхозные корабли и за людей она не несет. С человеком на борту несчастный случай, а база ему пособие выплатить не может, потому что своих средств у нее нет. Но этот человек плавал на колхозном судне, когда с ним несчастье случилось? На колхозном. Да только принимал его не колхоз, а база. И тут такая неразбериха, что всем наконец стало ясно: базу спасти невозможно, на таких условиях ее существование противозаконно.

Теперь новая проблема: что делать с флотом? Надо развивать прибрежный лов, а это требует новых судов, новой оснастки, новой тактики и стратегии. В то же время надо пополнять уже имеющийся флот новыми судами. А где они? В прошлом году «Севрыба» продала трем терским колхозам три потрепанных парохода. Суда надо ставить в ремонт, а денег на ремонт не дали. Порядок такой: судно работает в море четыре года, на пятый — плановый ремонт. Все эти годы на банковский счет откладывается определенный процент дохода, соответствующий стоимости ремонта и содержанию команды на этот год. Простой в ремонте одного судна покрывается работой других судов. А их у колхозов нет! Вот и ломают теперь голову: или немедленно эти суда продавать, или сдавать их в аренду колхозам мурманского берега. ВОРК требует суда оставить у колхозов, «Севрыба» — тоже, а он, Голубев, вместе с председателями стоит за аренду.

Я спрашиваю Голубева: думает ли он помочь Стрелкову и Коваленко? Председатель сразу подбирается, как если бы с самого начала ожидал этот вопрос, отвечает, что с Коваленко, насколько ему известно, все в порядке. Первоначальный приговор был пересмотрен областным судом, сам Коваленко по-прежнему работает председателем колхоза, поэтому никаких оснований для беспокойства нет. Стрелков — дело другое. За полтора года, что новый председатель МРКС работает на этом месте, он не успел познакомиться со Стрелковым, но, судя по тому, что ему рассказывали, с бывшим главою колхоза «Волна» поступили нехорошо. Вероятно, теперь, когда прошло столько времени, стоило бы возбудить от имени общего колхозного собрания в Чапоме ходатайство о пересмотре дела. Со своей стороны, МРКС и лично он, Голубев, готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать просьбу колхозников реабилитировать Стрелкова и восстановить его в партии.

— Гитерман? Ну что Гитерман...

Голубев разводит руками, показывая, что тут ничего не сделаешь.

Так получается, что судьбой Гитермана в Мурманске уже не интересуются. Может быть, я ошибаюсь, надо поговорить с другими, но два человека, от действия которых, как мне кажется, зависит теперешняя судьба Гитермана, не проявляют к нему интереса. Жалеют по-человечески, как жертву судебной жестокости, возмущаются, как возмущаются безобразием, которое их лично не касается. Он словно бы вычеркнут из жизни. С таким же успехом мог покончить с собой в следственном изоляторе, умереть от разрыва сердца во время побоев, получить срок... Судебная ошибка? К сожалению, о них сейчас пишут все чаще и чаще, но при чем тут мы?

И я решаю на следующий же день встретиться с Юрием Андреевичем Тимченко. Хочу узнать из первых уст, как шла трехгодичной давности баталия, которая, как мне кажется, сыграла определенную роль в судьбе Гитермана.

3

Минькино, где находится колхоз «Ударник», расположено на противоположной стороне Кольского залива, почти напротив Мурманска. Сверху от шоссе деревни не видно — только указатель и узкая, круто ныряющая за бугор к заливу полоса асфальта, которую Тимченко ухитрился положить, пока делали основную дорогу. Сразу за переломом взгорка оказываешься среди новостроек: склады, телятник, гаражи и — новое для меня — трехэтажное здание колхозного правления.

Председатель «Ударника» Юрий Андреевич Тимченко — широкоплечий, высокий, с большими сильными руками

кузнеца-молотобойца. Крупное лицо с добрыми глазами. Именно таким он и запомнился мне по двум первым встречам.

Согласен, что все это внешнее, хотя в какой-то степени характеризует человека. Гораздо важнее деловые качества Тимченко — талант хозяина, умеющего буквально из всего извлекать для колхоза выгоду. Поэтому «Ударник» — один из лучших колхозов Мурманской области. У него свой причал, своя судоремонтная мастерская, свой забойный пункт и флот, из-за которого разгорелись страсти, а прежние соратники, Тимченко и Гитерман, стали смертельными врагами.

Теперь это все позади, Тимченко выиграл безусловно: база доживает последние дни. Я по-прежнему не верю, что Тимченко смог как-то повлиять на судьбу председателя МРКС. Тем более что истинный повод ареста хорошо известен — фальсифицированные показания Меннера. Но вот решение Тимченко о выводе своих судов из базы флота. По существу, председатель «Ударника» поставил под сомнение всю структуру отношений колхоз — МРКС — «Севрыба», поставил вопрос о правах коллектива и, как мне представляется, о стратегии ведения хозяйства вообще.

Тимченко понимает, что я приехал к нему не просто так, не из пустого любопытства задаю сейчас и буду еще задавать вопросы.

Из нижнего ящика стола Тимченко достает толстую папку, которую едва охватывает крупная кисть его руки.

— Видите? — Он бросает папку на стол.— Это все официальная переписка по базе и флоту. Только рассказывать надо, начиная с архангельской базы, на которой работал Гитерман. Ведь вы его узнали уже председателем рыбаксоюза. А я знал его еще давным-давно, когда он работал на архангельской базе. И работал хорошо, и сам был хорошим парнем, и база эта архангелам во как была нужна! У них, сами знаете, колхозы разбросаны на тысячи километров по берегам, Белое море замерзает, да и на судне близко к деревне не подойти, не то чтобы у причала стать. Как флот держать, как им управлять? А здесь все под боком: незамерзающее море и «Севрыба» со всеми своими предприятиями, куда архангельские колхозные рыбаки входят на таких же основаниях, как и мы, мурманские.

— В результате то же самое, что было когда-то на Терском берегу, и возникло сейчас: флот — колхозный, но ни кораблей, ни тех, кто на судах ходит, колхозники и в глаза не видели,— вставляю я.

— Совершенно верно. В колхозную кассу идет прибыль, все остальное их не касается: база нанимает и рассчитывает людей, снаряжает суда, следит за их ремонтом и все такое прочее. «Севрыбе» тоже хорошо — она эти суда посылает куда ей выгодно, как свои. И еще один немаловажный момент. Доходы от флота в общем бюджете архангельских колхозов составляют всего лишь от сорока до пятидесяти процентов. А у нас,— Тимченко делает паузу, чтобы подчеркнуть важность того, что он сейчас произнесет,— почти девяносто восемь! Улавливаете разницу? Отними у архангелов флот — они и без него проживут, как живут колхозы Терского берега. А если у нас, живущих на мурманском берегу, флот отнять? Что от колхозов останется? Одна молочная ферма? Так она на три четверти — подсобное хозяйство «Севрыбхолодфлота», с которым мы межхозяйственной кооперацией повязаны!

— Но вы же добровольно на нее согласились?

— Добровольно-принудительно, если быть точным. Кому выгодно отдать в чужие руки управление флотом? Тому, у кого нет своих специалистов, своего комсостава. Тем же терским колхозам. А у нас все есть. Свой причал, своя судоремонтная мастерская,— он усмехнулся.— Спасибо товарищу Гитерману, вынудил за три месяца создать! Зачем нам база? Но вот пришел в МРКС Гитерман, на него нажал Каргин — а тому тоже выгодно, весь колхозный флот у него в кулаке будет,— и пошло: давай базу! А что получилось? Корабли у колхоза взяли, всех моряков — в Мурманск. Кроме стариков и женщин, никого в селе не осталось, будто мобилизация прошла, ей-богу! Пусто! И нет рабочих рук. Раньше резерв у меня здесь, в селе, занят на колхозных работах. А тогда он должен был каждый день в Мурманске отмечаться утром, иначе ему прогул засчитают. Что дальше? Пошла обезличка, база тасовала людей, никто не знал, на каком он судне. Люди стали уходить: к такому они не привыкли. Ремонт влетает в копеечку, неопределенно растягивается, колхозное имущество с судов расхищается, заработки у колхозников упали чуть ли не вдвое. А в результате меньше чем через два года оказалось, что мне нечем людям зарплату платить. И это во вчерашнем колхозе-миллионере!..

— Да как же такое может быть, Юрий Андреевич? — сомневаюсь я.

— Вот так. Вы улыбаетесь, а мне было не до смеха. Чувствую, что еще немного — и от колхоза вообще ничего не останется. Ко мне люди приходят, они мне верят, спрашивают, как вы сейчас: Юрий Андреевич, что же это такое? Кому надо колхоз разорять? У нас за тринадцать лет, пока ты председателем был, такого ни разу не было. А мне им сказать нечего. Два экипажа у меня были комсомольско-молодежные, два — коммунистического труда. А как пошла обезличка, в базе первым делом «звезды славы» с ходовых рубок сняли! Вы понимаете что это такое для моряка? Это все равно что публично раздеть да выстегать ни за что! Когда же мы посмотрели, за что нам счета приходят, то только за голову схватились: мать родная,

там же одни жулики собрались на этой базе флота! Через колхозные суда выписывают кирпич, автопокрышки, шифер, автомобильные аккумуляторы, цемент, железо кровельное, какие-то импортные спальные гарнитуры. Не колхоз, а дойная корова! Я ничего не хочу сказать о самом Гитермане, он, может, честный человек. Но почему же такое количество жуликов собралось на этой базе, без которой, как нас уверяли, колхозам не прожить? Что за человек ее начальник, этот Мосиенко, которому дали орден после того, как у него погибло два судна?! Это же не просто нарыв — это уже раковая опухоль, ее вырезать надо немедленно! Я так прямо и сказал на районной конференции осенью восемьдесят третьего года, а уже в начале следующего мы отозвали свои суда из базы. На меня все набросились, а когда весной вышла обо всем этом статья в газете, тут началось такое, во что и поверить трудно...

Тимченко справляется с собой, глотает какие-то таблетки — это Тимченко-то?! — просит секретаршу, заглянувшую на звонок, принести нам по стакану чая.

— Я в принципе не согласен с вашей оценкой Гитермана как спасителя колхозов. Нашних, мурманских колхозов. Что касается терских — дело другое. Я всегда говорил, что за Терский берег ему и памятник надо поставить, и любую, самую высокую награду дать надо. А здесь — нет. Что это, от глупости у него? Так вроде бы мужик умный. Каргина слушал? Так и тот, если посмотреть, виноват только в том, что всех под себя подминает. А здесь ведь прямой подрыв получается! Я уже сказал, чем наши колхозы от архангельских отличаются. Отними у нас корабли — останется два процента дохода от сельского хозяйства и никого из людей. Эти два процента мы получаем от своего партнера по кооперации. Возьми у нас флот — и мы превратимся в подсобное хозяйство «Севрыбхолодфлота». И это почти случилось! Если бы мы не взяли инициативу в свои руки...

— Простите, Юрий Андреевич,— перебиваю снова,— чем в принципе плоха идея базы?

— Не идея — сама база. Идея может быть великолепной, но станут ее у нас в жизнь претворять — бежать хочется, да некуда! За два года в базе сменилось пять главных инженеров и практически весь личный состав. Какое им дело до колхозов? Какое им дело до того, кто на каком судне ходит? База стала распоряжаться судами, как своими, не неся за них никакой юридической ответственности. Даже оплачивать бюллетени не могла. Что же говорить о травмах, увечьях и смертных случаях?! База насчитывала себе премиальные за нашу работу, а колхозники на своих судах получали зарплату меньше, чем работающие вместе с ними вольнонаемные. И после всего этого Гитерман и Несветов, Шаповалов из «Севрыбы» пытаются меня убедить, что с созданием базы «благосостояние колхозов и колхозников значительно увеличилось». В Кольском райкоме базу охарактеризовали как «очередной организаторский зуд», направленный на подрыв колхозной демократии. А то, что наш колхоз оказался на грани финансового краха, задолжал по ссудам, хотя до этого всегда имел три-четыре миллиона свободных денег,— как это понять? Но это еще цветочки. Изничтожать нас стали после статьи в газете. Вот тут товарищ Гитерман и показал себя в полной красе. Он и Несветов...

Мне не раз приходилось убеждаться, что в представлении многих работников главков и управлений колхозы существуют как бы исключительно для выполнения спущенных сверху планов, как если бы состояли не из людей, а из роботов.

Колхозники же справедливо полагали, что колхозы и существующая колхозная демократия, пусть даже ущемляемая со всех сторон вопреки Уставу, должны служить в первую очередь созданию наилучших условий их собственной жизни: прежде всего здесь должны соблюдаться интересы людей. И жизнь свою колхозники должны строить так, как это представляется лучше им самим, а не стоящему над ними начальству. Колхоз как кооперация сельских тружеников для того и был придуман, чтобы собравшиеся в него люди могли наилучшим образом обустроить эту первичную ячейку государстаенного хозрасчета и самоуправления. Если в такой ячейке людям будет житься хорошо, то и ячейка хороша, максимально полезна обществу. Если же в ней развал, народ бежит, работа приносит лишь убыток или едва позволяет сводить концы с концами, то и объединяться незачем, выгоднее в одиночку горб ломать...

Точно так же я никогда не мог согласиться с «руководящей» точкой зрения, что подчиненных надо учить, потому как они сами не знают, что им надо, никогда не мог принять утверждения, что «народ глуп». Глупыми могут быть начальники, но не народ. Он может быть забит, бесправен, темен, невежествен, но никогда не глуп. История не раз свидетельствует: стоит дать народу хоть искорку надежды, немного свободы распоряжаться собой и своим трудом, как он преображается, показывает чудеса ума и таланта. Инертным его делает ненужная опека. «Абориген» — невинное слово, в переводе означающее «местный житель»,— в последние годы стало часто употребляться нашими чиновниками как оскорбительная кличка, определяющая глубину той пропасти, что разделяет народ и его начальство.

Вот тут-то и уместно поставить вопрос: а нужно ли это начальство колхозам? Могут ли колхозы существовать без РКС, над которым теперь взгромоздился ВОРК? В ответ я неизменно слышал: нет, не могут, потому что РКСы заботятся о нуждах колхозов, через них колхозы получают от государства так называемые «лимиты» и выходят на вышестоящие организации. А кроме того, что будет, если колхозы останутся без руководства?

В самом деле, что произойдет? Распадутся? Голодной смертью помрут? По миру пойдут? Конечно, нет. Просто будут сами выходить на «вышестоящие организации», будут сами решать свои дела и проблемы. И жить станут лучше. А вот что будут делать РКСы, если не будет колхозов, если все их превратить в подсобные предприятия «Севрыбы»,— вопрос другой.

Мысли эти проходят как бы вторым планом, рожденные рассказом Тимченко. А он продолжает, мелкими глотками отпивая крепкий дымящийся чай:

— Экономика — это не цифры, а люди. У нас об этом постоянно забывают. Вернее, не думают, не хотят! Ведь без людей проще, верно? Почему у нас все восстали против базы? И не сразу, учтите, два года выжидали. Впрочем, вы не моряк, не рыбак. Вам трудно понять, что такое свое, родное судно, где ты каждую гаечку знаешь, каждый винтик помнишь. Ведь оно для тебя на два месяца — дом родной, ты ему всю душу отдаешь! А приход в порт? Для моряка это все равно, что для горожан Новый год: земля! Два месяца тебя мотало, трепало, кроме волн, кубрика да рыбы, ты ничего не видел. А здесь не просто земля — своя земля, здесь тебя ждут, потому что в любую погоду, в любое время суток на причале встречают колхозников не только родные, близкие, но и председатель, бухгалтер с авансовой ведомостью, чтобы домой рыбак вернулся с деньгами. А если план выполнили и перевыполнили — еще и обязательно оркестр! И тут же, пока идут формальности, рыбак узнает колхозные новости. У нас так было всегда заведено, люди к этому привыкли. Они знали, что о них помнят, ждут, об их семьях заботятся. А что сделала база? Сначала — сгребла всех в одну кучу, потом раскидала по судам. Приезжаю в порт встречать колхозное судно, а на нем только пять или шесть колхозников, с остальными не знаком даже. Сидим в кают-компании, разговариваем, а на нас покрикивают: ну, чего расселись, давайте работайте! Да и о чем мне им рассказывать? Что все в город подались? Что в колхозе пустые дома стоят? Что мы стройку закрыли? Что корабли простаивают в ремонте? Что план заваливаем? Даже аванс не могу им привезти, потому что зарплату они получают на базе. И они на меня с недоумением смотрят, и сам я на себя так же смотрю: какой же я председатель?!

У Тимченко снова начинают дрожать пальцы, он стискивает ладонями подстаканник, но чай предательски плещется. Не наигранно это волнение. Меня и в первый приезд поразила забота о людях в «Ударнике», внимательное отношение к каждому — к его характеру, склонностям, к работе. Может быть, потому так и рвутся в колхоз к Тимченко, так доверяют ему люди: вся прибыль идет у него в первую очередь не на «расширение производства», а на людские нужды.

И я могу представить радость председателя, когда общее собрание решило вывести колхозный флот из базы, отозвать суда и плавсостав, представить, как из Мурманска хлынул на катерах, автобусах, на личных и колхозных машинах из временных углов, общежитий со всем скарбом густой людской поток; как гудели, салютуя родному колхозу, возвращавшиеся суда, чтобы хоть символически день-два постоять у родного, совсем недавно построенного пирса...

— Ну, а потом?

— Потом жизнь наладилась. Стали латать дыры, строить, ловить рыбу. Ситуация в том году для всех была сложной. У всех и у наших судов срывался план. Я думаю, что из базы нас выпустили только потому, что точно рассчитывали: раз план уже сорван, они его не вытянут, тут мы им и врежем! А ребята старались! Все знали, что от этого судьба наша зависит. Конец декабря, штормит, рыбы нет. Передаю: возвращайтесь! Нет, пашут и пашут! А что пахать, когда нам не десяток тонн, а как минимум сто двадцать — сто тридцать нужно, чтобы концы сошлись?! Тридцатое декабря — ничего. Днем тридцать первого — пусто. Сижу на телефоне... А если подумать — ну, что такое этот план, почему его обязательно вынь да положь к первому января? Что мы, сами эту рыбу разводим? Капитаны все время на связи. И вдруг семьсот пятнадцатый делает очередной замет, и в неводе у него по первым оценкам около полутораста тонн! Но в неводе, на судне, не считается. Надо сдать на базу. А как тут сдашь? В шторм вообще не принимают. Да еще строгое указание: у колхозников «Ударника» принимать в последнюю очередь. Было такое! А база пришла на помощь. Капитан стал с нею борт о борт, сдал все те сто пятьдесят тонн рыбы в двадцать два ноль-ноль тридцать первого декабря. Вот это был для всех нас Новый год!

— Неужели доходило до того, что отказывались принимать рыбу у колхозников?

— Прямого отказа не было, конечно. Но — «в последнюю очередь». А очередь может быть такой, что вся рыба скиснет, пока дождешься, да и сроки поджимают. Пока один улов сдает, другой успеет два-три замета сделать. И разве только это!

«Ударник» не выпускали на промысел, отказывали в приобретении новых судов, отзывали суда из района лова, что обошлось колхозу в десятки тысяч рублей. В марте 85-го таинственным образом сгорели склады МКПП с промвооружением, более чем на сто тысяч руб-

лей убытка, но виновных искать не стали...

«Охота на ведьм» — злобная, изощренная. Долго, мучительно терзали Тимченко — совсем так, как год спустя взялись за Гитермана. За того самого Гитермана, который был гонителем «Ударника» и Тимченко. Что это — ирония судьбы или закономерность? Я склонен видеть здесь второе. И в первом, и во втором случае был произвол, разница только в уровнях административной пирамиды и силе молота, обрушившегося на жертву. Административный и хозяйственный произвол для Тимченко персонифицировался в Несветове, Гитермане, точно так же, как для Гитермана через год он воплотился в генерал-майоре Данкове, подполковнике Белом, майоре Понякине и всех тех, кто его «обрабатывал» на допросах и между ними.

Произвол страшен тем, что он превращает человека в зверя, причем не только палача, но и жертву, которой приходится обороняться любыми средствами, понимая, что ни о каком законе не может быть и речи. Никто не придет ему на помощь или придет слишком поздно. После того, что я узнал в кабинете Тимченко, я понял, почему Гитерман допускал, что к его аресту в какой-то мере мог быть причастен и председатель «Ударника». Речь шла о жизни и смерти, причем не самого Тимченко, а дела его жизни, всего, что он за тринадцать лет вложил в коллектив и в хозяйство. Только вот мог ли он, когда его самого трясли работники ОБХСС, содействовать аресту Гитермана?

И я спрашиваю Тимченко в упор:

— Юрий Андреевич, как вы думаете, кому мешал Гитерман?

Тимченко останавливается, словно наткнувшись на стену. Сначала он не находит что ответить. Потом медленно произносит:

— Кому он мешал? В первую очередь нам — «Ударнику», мне лично... А если вы спрашиваете, кому надо было его убрать,— этого я не знаю. Нас, как вы могли убедиться, трясли и давили еще больше года после его ареста. Я вовсе не считаю, что он был основной фигурой,— главными были Каргин и Несветов в «Севрыбе», Гитерман исполнял их приказы. Ну, а когда с ним такое случилось, те умыли руки. Я на него доносов не писал, если вы об этом спрашиваете, никаких порочащих показаний не давал. Но и жалости к нему, после того, что он с нами делал, у меня нет. К его семье — да, к нему — нет!

Нет оснований не верить Тимченко. Ведь в его руках был материал, свидетельствующий о хищениях, разбазаривании и прочих грехах базы флота, МКПП и самого МРКС. Сотни тысяч рублей, многократно повторенные в разных вариантах,— это не 499 рублей районного коэффициента, за которые не отвечал ни бухгалтер МКПП, ни его начальник, но которые суд поставил «в строку» Гитерману... Стало быть, на Тимченко Гитермана «наводит» кто-то из его аппарата, кто помогал расправляться с колхозом и потому опасается возмездия...

...Короткий день давно сменился заполярной ночью, вокруг белеют сопки, на противоположном берегу залива сверкают густые россыпи огней вечернего Мурманска, празднично сияют гирляндами суда на рейде, все это отражается в воде и множеством тусклых бликов играет на обнаженных отливом валунах и гальке. Мы стоим на берегу залива. И вдруг Тимченко произносит:

— А ведь в будущем году мы с «Энергией», пожалуй, объединим флота. Интересы-то общие. Там, глядишь, и другие присоединятся. Надо думать о своей судоремонтной базе — одних мастерских недостаточно, все равно на поклон в «Севрыбу» ходить приходится. А так все свое будет, колхозное, общее — и диспетчерская, и ремонтные предприятия. Причалы уже есть — и у нас, и у «Энергии»...

Я опешил:

— Что же, снова заводить базу флота, из которой вы ушли?

— База флота — дело нужное и выгодное, я и раньше против нее ничего не имел. Только — какая база? Чья она? База РКС была над нами, как еще один управленческий аппарат на нашу шею, еще один хомут! А если мы, колхозы, скооперируемся, создадим свою базу, которая нам будет подчинена и будет наш флот обслуживать, не захватывая его в свой карман,— это будет разумный путь развития и колхозной экономики, и колхозной демократии. Сейчас для этого все предпосылки есть.

4

В Чапому мы летим с Виктором Георги.

Мы познакомились с ним четыре года назад в этой самой Умбе, районном центре Терского берега. Здесь был свой насиженный районный быт с крепко сидящим начальством, за десяток предшествующих лет подобравшим на все посты нужных ему людей, которых секретарь райкома знал насквозь и полностью держал в своих руках. Скандалы, исключения, смещения с должности происходили, только если кто-нибудь уж очень сильно проштрафится, подставляя под удар свое руководство, или забудет о субординации. Расправа наступала быстрая и впечатляющая. Неугодные заместители предрика оказывались на следующий день пильщиками леспромхоза. Но «игры» велись в узком кругу, и серьезных протестов не было. Последнее обстоятельство и обмануло журналиста. Георги тогда получил пост редактора местной газеты, еще только осваивался на Берегу, но решил всерьез взяться за проблемы района, помочь спасению поморских сел.

Первые его заметки о необходимости

благоустройства давно запущенных сел были приняты со снисходительной усмешкой. Однако в последних номерах года Георги напечатал подряд три полосы под общим заголовком «Письма с Терского берега». По нынешним временам, вероятно, такой материал, будь он в одной из центральных газет, мало кто заметил бы. Но гласность только начиналась, в провинцию она и сейчас не дошла, поэтому написанные в спокойном тоне очерки о действительных нуждах поморских сел показались прокламациями, призывающими к свержению местных царьков.

Радушно принявший Георги «дружеский круг» районной элиты вдруг обернулся хищной стаей. В один день редактор получил строгий выговор с занесением в учетную карточку, решение о «несоответствии», и тогда же лишили работы и его жену. Конечно, не за «Письма с Терского берега», избави бог! За то, что жена жила с мужем в Умбе, а прописана была в Мурманске. Об этом знали все. Больше того, сам районный прокурор с благословения секретаря райкома посоветовал Георги поступить именно так, поскольку закон этого категорически не запрещал, а главное, как выяснилось, это давало возможность держать нового редактора газеты «на крючке». Расправа была короткой и жестокой. Собравшись в кабинете первого секретаря райкома, еще вчерашние друзья с серьезным видом упрекали журналиста в отсутствии партийной совести, делячестве, попытках обойти закон.

Для Георги в конечном счете все повернулось как нельзя лучше. Он вернулся в Мурманск в ореоле героя, в обкоме его успокоили, пообещав забыть инцидент, и не стали препятствовать его устройству в редакцию «Рыбного Мурмана», где он мог всерьез заняться проблемами Терского берега и его руководством, ощущая полную от него независимость. Терский берег со всеми его хозяйствами, людьми, их заботами, жизнью, природой стал как бы частью его собственной жизни. И вот сейчас, в ледяном чреве самолета, наполненном холодом и оглушающим воем моторов, Георги, кутаясь в поднятый воротник полушубка с брезентовым верхом, рассказывает мне, что стряслось со Стрелковым.

— Виноват Петрович только в том, что забыл утвердить на правлении колхоза трудовое соглашение с бригадой ремонтников. Сам его подписал, наряды были закрыты правильно, деньги выплачены точно, так что здесь дело явно неподсудное — всего лишь административное упущение. Произошло это весной восемьдесят третьего года, а судили Стрелкова в марте восемьдесят пятого. Дело открывали, закрывали, снова открывали, снова закрывали... Сначала обвинили в том, что он три с половиной тысячи рублей колхозных денег переплатил незаконно. Затем это обвинение отпало, потом снова возникло. Видно было одно: кому-то он мешал, и его во что бы то ни стало хотели убрать. Но кому? Сам-то он копейки чужой не возьмет, еще свою последнюю приложит. Я был на собрании, когда принимали решение о ходатайстве в суд. Его ведь из партии отказались исключать, как там на них ни давили, исключал уже райком. Защитника на суде никто не слушал, как будто бы все заранее было подготовлено. А бухгалтер колхозный — вы знаете Устинова, мужик дотошный, он считается лучшим среди бухгалтеров в МРКС,— тот мне прямо сказал, что Стрелков ни в чем не виновен, поклеп это. Очень они на суд надеялись, что хоть здесь справедливость восторжествует. Да куда там! Если уж в райкоме партбилет отобрали, значит, все было предрешено у них...

В иллюминаторе громоздятся засыпанные снегом Хибины. Внизу снега еще мало, он лишь первой порошей прошелся по чернотропу, оттенив и выделив каждое дерево, каждый валун, каждое болотце. Темные кляксы озер еще не схвачены льдом и кажутся агатовыми пластинами в узкой матовой оправе серебра. Лето было жарким, осень — теплой, так что земля еще не успела остыть, и зима наступает на Кольский полуостров осторожно, остужая его сверху своим ледяным дыханием, попеременно сменяющимся теплым и влажным ветром Атлантики...

Стрелков председательствовал шестнадцать лет, и все это время никто не мог его сменить, потому что колхозники стояли за него горой, из-за его честности, принципиальности, чувства ответственности за судьбы людей и хозяйства. Он был золотым окатышем-самородком, мерцавшим для меня забытой славой прямодушных и бесстрашных поморов Терского берега, человеком, на слово которого можно было без оглядки положиться, зная, что Петрович сделает все как можно лучше и в срок. Ну, а уж если и он не смог что-то сделать — значит, это действительно оказалось выше человеческих сил... Так же к нему относились и в районе. В сравнении с другими хозяйствами, где дела шли из рук вон плохо, меняли председателей, Стрелков оказывался единственным «столпом», подпиравшим поморское хозяйство Берега.

В свой последний приезд, почувствовав желание руководства МРКС заменить Стрелкова очередным «варягом», на чем особенно настаивал заместитель Гитермана Егоров, я решил накануне отлета из Мурманска поговорить с Гитерманом. Зачем же менять председателя, если ему оставалось всего два с половиной года до пенсии; тем более что колхоз сейчас переживает сложный момент перестройки, ломку старого уклада, перехода в качественно иное состояние; что строительство заербойки и проблемы кооперации не только не сгладили, но в ряде случаев обострили отношения кол-

хозяйников к МРКС. Тогда и вырвалась у меня фраза, оказавшаяся пророческой. О ней напомнил мне в Москве сам Гитерман:

— Берегите Стрелкова, Юлий Ефимович! Отдадите его Егорову и Несветову — следующим будете вы...

Что я подразумевал под этими словами — хоть убей, не знаю. Вероятно, фраза вырвалась из тайников подсознания как итог так и не оформившихся впечатлений. Поэтому я о ней забыл, а в блокноте тогда записал: «Разговор с Гитерманом по пути в гостиницу. Сложность обстановки. Отстаивал Стрелкова. Убедил ли?»

Нет, не убедил. Через месяц или два после этого разговора Стрелкова перевели из председателей в заместители. «По собственному желанию». Как объяснил Гитерман, сделано это было по совету прокурора, который обещал тогда дело Стрелкова закрыть. Закрыл бы? Кто знает! Во всяком случае, через полгода после перехода Стрелкова в заместители над бывшим председателем состоялся в Умбе суд.

Теперь в Чапоме новый председатель — Юрий Вагаршакович Мурадян.

Я твердо убежден, что в таких старых поморских селах, как Чапома, где народ коренной, своеобычный, председатель колхоза обязательно должен быть из местных. Сторонний человек может полюбить этот край, узнать его, но никогда не будет так знать и чувствовать, как знает его человек, выросший на этой земле, на этом берегу, на этих ветрах. Стрелкову не надо было советоваться со стариками, прикидывая прогноз на ближайшие дни. Он знал, где, когда и что можно взять от земли и моря. Наконец он, председатель, мог показать любому колхознику, как и что надо делать, — пасти ли оленей, выбирая наилучшие в эту пору тропу и пастбища, ловить ли семгу на речной или морской тоне, используя дедовские приметы и хитрости в постановке неводов, строить ли карбас или латать дóру, провести косовицу так, чтобы и сено взять, и людей не измучить. Или же, как то было однажды, мог сесть на трактор и вспахать за рекой поля, потому что единственный тракторист уехал в отпуск и как на грех там заболел. И все это Стрелков не только знал, как делать, но еще и умел делать лучше другого колхозника, вот что важно!

Еще мне всегда казалось, что именно у председателя колхоза должны быть «корни» — духовные, житейские, человеческие. Сторонний человек — он и есть сторонний: как бы ни старался, его всегда будет тянуть к родным местам, туда и уедет, если что не так пошло по его ли вине или с начальством не сработался, не говоря уже про болезни. С тем приезжает, с тем и живет. А местному да семейному из родного гнезда подняться — всю жизнь переломить. На такое решиться — все равно как от себя самого сбежать. За двадцать с лишним лет, что я приезжаю на Берег, вижу, как мучительно уезжают отсюда люди, не бросая, не продавая свой дом, оставляя его за собой; как возвращаются ежегодно летом в отпуска, присматриваются и приглядываются, куда поворачивает здешняя жизнь, чтобы при первой же возможности перебраться назад. Ну, а уж если не получается, то по выходе на пенсию приезжают на Берег с первым рейсовым самолетом, едва только подсохнет взлетная площадка на берегу моря или среди леса.

Поэтому я и уговаривал Гитермана и Каргина, приводил им резоны, почему надо беречь чапомского председателя, советовал искать таких же для других колхозов. Мне возражали: а Тимченко что, местный? А Коваленко, Подскочий? Объяснял: ситуация несравнимая, нельзя ставить рядом колхозы Мурманского и Терского берега. В Териберке, например, ни одного коренного жителя нет, самый древний «старожил» приехал после войны на пустое место, а Тимченко все равно что «местный» — на противоположном берегу залива вырос. И если говорить о «Северной звезде» или о колхозе имени XXI съезда КПСС в Териберке, то это не село, не деревня в своем настоящем смысле — только производственный коллектив, как любой госхоз, где люди, кроме работы, ничем не связаны.

Терский же берег с его еще живыми селами — вековечный, коренной, поморский. Там на кладбищах под северными ветрами предки всех живущих лежат, и туда они сами хотят лечь, рядом с ними. Да о чем говорить? Каждая семья на Берегу со всеми без исключения селами кровным родством повязана. Кажется, куда уж больше и теснее связь! А ведь не случайно здесь, что село — то нрав, характер, свой говор; в каждом — свои привычки, обычаи, своя, наконец, жизнь и свой привычный навык в хозяйственных делах. Можно ли всех под одну гребенку стричь, с одними мерками подходить? А пока разберется со всем этим сторонний человек, ему уезжать надо, потому что вконец отношения со всеми перепортит.

Судя по статье Георги о Мурадяне, напечатанной в «Рыбном Мурмане», в молодом армянине было что-то необычное. Колоритная, броская фигура на фоне спокойного и монотонного северного пейзажа. У него было все то, чем не обладали прежние председатели колхозов на Терском берегу: энергия, воля, деловая хватка, опыт строительства, образование, молодость, когда кажется, что все по плечу, обширные деловые и дружеские связи, а главное — предшествующее восхождение по служебной лестнице, которое сообщало ему силу и подогревало честолюбие. Появление Мурадяна на Терском берегу означало, что пришло новое поколение — со своими мерками, целями, идеалами. То самое поколение, к которому принадлежал и Георги, вот почему он сразу разглядел Мурадяна и заинтересовался им.

Отправив вещи на вездеходе, пришедшем за пассажирами на взлетную площадку, мы отправились в село пешком, через лес.

Чапома, как всегда, открывается сразу. Силуэт старого села теряется в ранних сумерках на фоне серого моря и черно-серого низкого неба. Новая Чапома вся на виду. Высоко поднялись двухэтажные здания гостиницы и общежития, светятся новые дома за ними, а еще выше виднеется здание телекомплекса с тонкой ажурной мачтой, устремившейся к небу. Изменения заметны издалека. Перед селом у реки вытянулся новый большой коровник, который, как сказал Георги, достраивают и переделывают уже третий год, еще какие-то хозяйственные помещения, но главным отличием от того, что я когда-то здесь видел, был ореол электрических фонарей, повисший над поморским селом. Чапома вступила в свой электрический век — раньше, при движке, это было невозможно.

— У нас теперь, как в городе! — не без гордости замечает знакомая доярка, с которой мы сталкиваемся возле молочного пункта при входе в село.

Возле гостиницы нас ждет Мурадян.

5

На следующее утро я просыпаюсь с мыслью о неудаче: Стрелкова в Чапоме нет. Он уехал в отпуск вот уже полтора месяца, и трудно предугадать, где теперь может находиться.

Известие это поразило нас с Георги вчера едва только мы успели поздороваться с Мурадяном. Почему-то мы оба никак не подумали, что Стрелкова может в Чапоме и не быть. Чапома не могла существовать без Стрелкова! Но факт есть факт и с ним приходится смириться. Мурадян успокоил: он постарается навести справки у родственников Стрелковых, куда тот уехал.

Новый председатель среднего роста, крепко сбитый, в распахнутом полушубке и сдвинутой на затылок пушистой шапке из рыжего собачьего меха, с черными изящными усиками и такими же черными, «антрацитовыми» глазами. Молодой, подтянутый, белозубый, уверенный в себе и в завтрашнем дне, во всех своих начинаниях... Что ж, наверное, так и должна происходить замена — старое на новое, молодое... И сразу защемило сердце, когда я представил рядом с ним Стрелкова, каким тот был в последний раз: постаревший, с обветренным лицом, не столько ссутулившийся, сколько как бы осевший; ни поношенным пиджаком, ни осанкой, ни голосом не выделявшийся среди остальных колхозников.

Позавтракав, мы отправляемся осматривать хозяйство Мурадяна. Председатель показывает, что сделано, рассказывает попутно о себе.

К тому времени, как Мурадян пришел в колхоз, строительство только внешне казалось законченным, сделано же было не более двух третей от того, что требуется, причем оставалось самое трудоемкое. Да и с уже построенным забот хватает! Что хорошего могли построить из тех материалов и с той пьянью, которую присылал МКПП? Он, Мурадян, строитель, ему не надо байки рассказывать, он и так все видит. Если бы он был здесь раньше, он попросту бы разогнал всех. Но строил не Мурадян. Строил черт-те кто, а Стрелков был повязан по рукам и ногам РКСом. Когда он, Мурадян, приезжал сюда, ему было больно глядеть и на стройку, и на Стрелкова. В Чапоме у него тесть и теща. Тесть был тогда председателем сельского Совета, а Диана Александровна и сейчас работает в школе. Собственно, и в Умбу он поехал по настоянию жены, чтобы быть к старикам поближе. А теперь так получилось, что возрождение Чапомы — этот оборот Мурадян явно заимствует у Георги — стало их «семейным подрядом». Теща ведет школу, жена занимается клубом и культмассовой работой, он — колхозом, а стало быть, всем в целом.

В Чапоме видны перемены. Не те, что я отмечал в прошлый приезд. Тогда в село просто вернулась жизнь. Или, если быть точным, тогда жизнь обрушилась на Чапому стройкой, вертолетами, нашествием чужих людей, выплеснулась на берег грудами материалов и грузов, техники, оборудования. Все кипело, двигалось, грохотало, трещало, вздымалось. Жители были оглушены и даже пришиблены этим нашествием. В магазине разом исчезли все продукты. Потом жизнь вернулась в прежнюю колею, но качественно изменилась. Теперь повсюду я замечаю молодежь — на тракторах, ферме, на электростанции, в конторе, на улице. Это все коренные, чапомские, вернувшиеся в село из интерната, армии, из города, куда уехали было поначалу. Но есть и приезжие, один даже из Москвы. Стало быть, поворот, который готовил Стрелков, все же произошел.

По маленькой Чапоме мы бродим целый день, сидим в конторе, разговаривая с заходящими в кабинет председателя мужиками, обсуждаем колхозные дела, а я приглядываюсь к Мурадяну и прислушиваюсь к тому, что и как он рассказывает Георги.

И я отмечаю, что за короткий срок своего председательствования Мурадян успел познакомиться с людьми и узнать их. Понял ли он их — другое дело. Но он знает, кто чем живет, и держит в памяти нужды каждого колхозника. В какой-то мере он принял Чапому. А вот приняла ли Чапома Мурадяна? Пока неясно. Поморы — народ и простой и сложный одновременно. Чапомляне — в особенности. Они не слишком гостеприимны, их надо уметь разговорить, привыкли

держаться кланами и четко помнят, кто — коренной, кто — стрельнинский, как тот же Стрелков, кто — пялицкий, как колхозный бухгалтер Владимир Яковлевич Устинов, до сих пор сохраняющий в разоренной Пялице неприкосновенным свой дом, а кто — из Пулоньги, от которой уже двадцать лет назад остались лишь печные развалы.

Что ж, приняла Чапома Мурадяна или нет?

Я спрашиваю его об этом, и он с обезоруживающей белозубой улыбкой, впрочем, обозначающей не больше, чем вежливость, отвечает:

— А вы поинтересуйтесь у людей. Кто-то, особенно из пожилых, не принял. Может быть, я успел кого чем обидеть, есть такие. Но большинство пошло за мной. Я чувствую это по тому, как легко стало работать. Людей не приходится понукать. Мне это очень приятно. Я не русский, плохо говорю по-русски, но стараюсь делать так, чтобы людям было хорошо. Ведь это главное! Я хочу, чтобы потом, когда меня здесь не будет, говорили: вот это сделал Мурадян. Понимаете? Я не считаю нормальным, что в старинном поморском селе председателем стал парень с берегов озера Севан. Тут должен быть свой, местный человек, разве не так? Если бы к нам на Севан, в армянское село прислали русского председателя, мы бы обиделись: что, разве у нас нет своих умных? Мы бы не позволили этого сделать. Но если уж так случилось, я хочу сделать больше, чем если бы я был председателем в своем родном селе в Армении. Это мой престиж, моя марка. Я строитель, и моя обязанность помочь здешним людям научиться строить. Не только новые дома — новую жизнь...

Так начался наш долгий разговор. Мы говорим в кабинете председателя, потом идем к нему, наскоро ужинаем, не позабыв отметить кулинарные способности его половины, затем возвращаемся в гостиницу, засиживаемся до полуночи. Влажный ветер прогоняет последние остатки мороза, снег несется тяжелыми мокрыми хлопьями, шумит в черноте невидимое море, накатываясь на песчаный берег... Я снова и снова опускаю в пустеющую кружку кипятильник, чтобы заварить очередную порцию цейлонского чая, и слушаю, что говорит «парень с озера Севан» о настоящем и будущем Чапомы, всего Терского берега.

Безусловно, он сумеет сделать здесь много доброго, но пробудет недолго, потому что молод, у него есть силы, способности руководителя и — честолюбие. Не пустое, больное тщеславие, а молодое, здоровое честолюбие, желание увидеть плоды рук своих, сделать то, что другим не под силу. Желание реализовать свои силы через два-три года уведет Мурадяна из Чапомы, она станет ему тесна. Он это знает и не скрывает. Именно так, на три-четыре года он согласился стать председателем, чтобы двинуться вперед и вверх — это ему обещало местное руководство, с тем он сюда и шел.

— Нам очень нужна перестройка,— говорит Мурадян.— Спасибо Александру Петровичу Стрелкову, что он сохранил Чапому, колхоз. Спасибо Юлию Ефимовичу Гитерману и Михаилу Ивановичу Каргину, что они сделали нам зверобойку и освободили колхозы от убытков сельского хозяйства, которое их губило. Но поймите меня правильно: такой РКС, который я застал, когда пришел сюда, нам не нужен! Ни он, ни его база флота, ни МКПП, которое строило здесь зверобойку, ни такие люди, которые всем этим распоряжались. Они привыкли думать, что председатель — не человек, а исполнитель. Диктуют свою волю: делай так, а того не делай. Я так не привык. Не могу так, понимаете? Приезжает ко мне какой-нибудь Стефаненко и начинает при всех говорить: это ты не так сделал, это переделать надо... Зачем? Это меня унижает, оскорбляет, словно я некомпетентен в этих вопросах. РКС должен быть добрым помощником колхоза и председателя, знать наши нужды, помогать нам. Давайте со всеми председателями обсудим: правильно поступает Мурадян или нет? Если ошибся, спасибо скажу за помощь. Давайте менять политику, слушать, что говорят и хотят люди. Я за перестройку на всех уровнях...

В том, что отношения между МРКС и колхозами — одни из самых больных вопросов, я убеждаюсь на следующий день, когда все мы собираемся в кабинете Мурадяна. Раньше это был кабинет Стрелкова, и последний раз мы сидели в нем вот так же, в тесноте, обсуждая возможные перспективы оленеводства в Чапоме и возможные варианты возрождения Пялицы. В окно так же видно море, только сегодня серое и холодное, уже не со снегом, а с дождем, который хлещет по стеклам,— на Берег надвинулся очередной циклон...

В Чапоме я убедился, что дело Стрелкова продолжает волновать людей. Слово «несправедливость» повторялось на все лады, и я понял, что оно относится и к действиям вышестоящих лиц, и к обвинительному приговору, вынесенному районным судом. Несправедливым считают здесь все — положение, в которое был поставлен колхоз начавшейся стройкой, когда он стал как бы промежуточным звеном, с которого спрашивали обеспечение подсобных работ. Несправедливыми, по мнению всех, были и требования, предъявленные к Стрелкову, и то, в чем его пытались обвинить.

Я читаю копию приговора по делу Стрелкова, которая лежала в личном деле. «Злоупотребляя своим служебным положением... из карьеристских побуждений (это Петрович-то?)... заключил заведомо незаконное трудовое соглашение на ремонт техники с рабочими сторонних организаций, которым необоснованно выплатили материальное вознаграждение в сумме 3600 рублей, чем причинен ущерб колхозу...», но далее следует опровержение: «который полностью возмещен Мурманским рыбным портом»! Можно из этого что-нибудь понять? Есть ущерб или нет? А если его нет, то в чем дело? Однако на втором листе приговора те же самые обвинения: «Злоупотребляя служебным положением, из карьеристских побуждений причинил существенный ущерб колхозу». Но следующая фраза опять это опровергает, поскольку «суд считает, что иск прокурора к подсудимому о взыскании 3600 рублей оставить без рассмотрения, колхозу ущерб возмещен». Все? Разговаривать больше не о чем? Но суд недаром собрался, и он назначает Стрелкову, «учитывая характер и степень общественной опасности содеянного», наказание «в виде лишения свободы сроком на 3 года условно».

Так что же все-таки произошло?

Волнуясь, первым говорит Воробьев, заместитель Стрелкова, которого тот растил себе на замену, а теперь готовит Мурадян.

— Помните, как начиналось строительство? Везде лежат материалы, механизмы, горючее.. А как это все получать было? Судну к берегу не подойти, на рейде разгружать надо. А чем переваливать? На карбасы и на дóры все это не положишь, за простой судна на рейде колхоз платил тысячи рублей...

— Это точно,— подтверждает колхозный бухгалтер Устинов.— Иной раз в год до пятидесяти тысяч штрафов набежит колхозу. А что мы сделать можем? Коли на берегу — на руках бы перенесли, на море же без транспорта ничего не сделать. А техники нам не дают.

— Здесь на помощь и пришла кооперация,— продолжает Воробьев.— Две «амфибии» обещали прислать на Берег: нам — новую, а Варзуге — старую. Уже легче! Только мы разошлись, оказалось, что ошибка произошла. Новую рыбный порт давал Варзуге, своему партнеру, а нам говорят: «Поезжайте, получите другую»... А что получать? За тридцать лет она уже вся изношена, последние годы стояла в мореходке как учебное пособие. Там, в рыбном порту, ее ремонтировали-ремонтировали, чтобы только до Чапомы довести. Аккумуляторов запасных нет, насос не работает, словом, гроб один! А впереди — пять тысяч тонн грузов! Первый год мы строили дизель-электростанцию, цех и водопровод. Теперь надо было строить гостиницу, общежитие, коровник, гаражи... А чем выгружать? Вот РКС и прислал нам бригаду механиков, чтобы всю технику отремонтировать.

— Не всю, только амфибию, так у них было записано,— поправляет Устинов.— От этого все и получилось, весь разворот пошел.

— А кто должен был платить механикам?

— В том-то и суть, что мы этого не знали — с жаром откликается Воробьев.— Люди приехали работать к нам, причем работали по четырнадцать — шестнадцать часов. И все вручную. У нас ни станка, ни дрели — ничего нет. Они все с собой привезли — инструменты, заготовки, материалы. Звонили в Мурманск, в свой цех, там делали нужную деталь и высылали самолетом. Они сделали столько, сколько и за полгода другая бригада не одолеет. А сверхурочных им не платили, сказали: «Поедете в Чапому, чтобы отремонтировать мотор «амфибии», а об остальном на месте договоритесь, работы там много». Поэтому Стрелков и заключил с ними соглашение. Мужики и нам помогли, и сами заработали, по шестьсот с чем-то рублей получили...

— Законно?

— Конечно, законно! Вот и Яковлевич подтвердит, что здесь все в порядке было. К нему никто претензий не предъявлял, а ведь это он утверждает на выплату...

— Я сразу сказал — и здесь следователям, и потом на суде в Умбе, что все было законно,— подтверждает Устинов.— В Чапоме, когда заключали договор, меня не было, но все документы на оплату проходили через меня, оформлены они правильно. Калькуляция на ремонт составлена в МРКС, не нами, так что и тут к нам никаких претензий быть не может. И всю эту сумму — восемнадцать с лишним тысяч рублей — внес в кассу колхоза мурманский рыбный порт, потому что «амфибия» принадлежала ему, он за ее ремонт должен был расплачиваться, как и за ремонт всей техники по выгрузке.

— А вы заплатили бригаде только три тысячи шестьсот рублей?

— Да. Вот и считайте, убыток или прибыль колхоз получил? Если говорить о чистых деньгах, то мы получили прибыль от этого «ущерба» в четырнадцать с половиной тысяч рублей.— Устинов придвигает к себе счеты, лежащие на столе Мурадяна, и привычно отщелкивает костяшки.— Если же о фактической прибыли — тут можно сорок или пятьдесят тысяч смело положить на колхозный счет, ведь столько мы раньше по штрафам выплачивали. А если обо всем в целом, тогда считайте, что Стрелков своей оперативностью... как они там написали — «из карьеристских соображений»? — лишний миллион колхозам подарил! Если бы вовремя мы не обеспечили разгрузку, стройка задержалась бы на год, и на год позже база вступила бы в строй. А что калькуляция была составлена уже после ремонта, так это тоже естественно: кто мог знать, сколько всего потребуется сделать? Когда сделали, тогда и подсчитали...

К нам подходят другие колхозники, подсаживаются, включаются в разговор. Судьба бывшего председателя им не безразлична, и наш приезд роняет в души

крупицы надежды — вдруг справедливость будет восстановлена? Это не только личное горе Стрелкова — это их общая беда, еще одно подтверждение, что районные и областные власти не хотят считаться с коллективом, не думают о людях. Народное мнение, даже решение партийной организации колхоза, отказавшейся признать за Стрелковым уголовную вину,— им не важно. О какой колхозной демократии, о какой перестройке может здесь идти речь? Все это нам с Георги говорят прямо, потому что в отличие от судьбы Гитермана дело Стрелкова до сих пор обсуждается по всему Терскому берегу как пример судебного произвола. Кто от него пострадал? Ну, ладно бы человек плохой или за ним грешки водились...

Наконец становится ясно, что возбуждали дело против Стрелкова, обвиняя его в нанесении ущерба колхозу, а судили совсем за другое — за то, что не утвердил законное, как выясняется, трудовое соглашение с ремонтниками на правлении колхоза.

— Бывает так, что трудовые соглашения утверждаются задним числом? — спрашивает Георги у Воробьева. Тот подтверждает: очень часто, об этом он и на партийном собрании, и на суде говорил.

— Председатель не всегда обязан утверждать на правлении трудовые соглашения, он может все это брать на себя, если сумма, как в этом случае, небольшая,— поясняет Устинов.— Но тут и такого не было: все через бухгалтерию шло. А нас суд и не спрашивал.

— Почему же в приговоре написано, что вам об этом соглашении не было известно?

Всегда сдержанный и молчаливый Устинов взрывается:

— А я вообще не понимаю, почему они многое написали! На суде я как раз говорил наоборот, и все подтверждали, что каждый в колхозе об этом соглашении знал, и о ремонтниках, и о том, что они сделали. Это же колхоз, здесь все на виду, все всех знают, да и Петрович всегда такие вопросы с людьми решал, не обязательно правление собирать и протокол составлять. Рабочие эти здесь жили, чуть не по двадцать часов в сутки работали. А в каких условиях? Что, они за командировочные будут всю технику ремонтировать? Их посылали один двигатель чинить. На суде вертели, как хотели, писали, что хотели, как если бы мы не люди! Несправедливо это, непонятно до сих пор, что за законы у нас такие...

— За Стрелковым никакой вины нет,— вступает в разговор Мурадян, разряжая накалившуюся обстановку.— Председатель и главбух — одной веревкой повязаны. Если падает один — падает и другой. Здесь же нет даже частного определения в адрес главбуха.

— А за что? — естественно, удивляется Устинов.

— Вот и я говорю — за что? Я был в Умбе, когда это все происходило, только мало этим интересовался, не думал, что на месте Стрелкова окажусь. Но мне кажется, что все здесь от начала и до конца подтасовано, подстроено...

— Так и выходит, что человека неизвестно за что судили, неизвестно за что наказали,— говорит Воробьев.— Что такое эта сто семидесятая статья Уголовного кодекса? Вот она: «Злоупотребление властью или служебным положением». А как он злоупотреблял? Мы изучали эту статью — к Петровичу она отношения не имеет...

Уже потом, в Москве, я смотрел эту статью: «Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное использование должностным лицом своего служебного положения в о п р е к и (разрядка моя.— **А. Н.**) интересам службы, если оно совершено из корыстной или личной заинтересованности и причинило существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан...»

Устинов опять говорит, что согласно Уставу колхоза председатель не обязан выносить на утверждение правления соглашения по таким суммам, достаточно одной его подписи. Да и тогда это не с умыслом сделали: собрать правление было нельзя, все в разъездах. Потом со стройкой закрутились, завертелись и забыли, что соглашения, по которым уже выплатили деньги, подписаны только председателем колхоза. То же и относительно законности выплаты. Устав утверждает, что колхоз в лице своего председателя при особой необходимости может привлекать для работы наемных рабочих, и если условия работы, их срочность и объемы требуют повышенной оплаты за труд — именно это имело здесь место! — оплачивать рабочим независимо от того, получают они заработок по месту своей основной работы или нет.

Как схоже дело Стрелкова с делом Гитермана — два близнеца, которых породила лапландская Фемида. Похоже, что в Мурманской области уже отработан навык таких дел: обвинять в одном, судить за другое. Стрелков избежал следственного изолятора, наверное, только потому, что на нем мурманские следователи как бы отрабатывали тактику создания групповых дел. Людей дважды и трижды допрашивали, вызывали, заработанные честным трудом деньги заставляли — причем совершенно незаконно! — сдавать в кассу колхоза. А главное — незаконно судили. То, что Стрелкову вменили как уголовное преступление, даже не было административным проступком. Другими словами, суд прямо нарушил закон, самовольно отменив — по незнанию или с умыслом? — права, предоставленные Уставом председателю колхоза.

Впрочем, нужно ли этому удивляться? В моих руках протокол заседания партийной организации колхоза «Волна» от 15 марта 1985 года. Из Умбы приехал член бюро райкома, заведующий кабинетом политпросвещения райкома Василий Никитич Кожин. Он был командирован в Чапому, чтобы добиться от коммунистов колхоза единодушного исключения Стрелкова из партии. К тому времени следствие было закончено, невиновность Стрелкова установлена документально, и все же уполномоченный райкома, искажая факты, обвинял Стрелкова в незаконной выплате и в том, что «своими действиями он разлагал людей нравственно».

«Какими действиями? — спрашивали его собравшиеся.— Теми, что он не сорвал план строительства? Что оказался хорошим, рачительным хозяином? Что обеспечил колхозу миллионную прибыль? Если вам обязательно надо расправиться со Стрелковым за то, что он не утвердил договор, мы согласны ему объявить даже строгий выговор с занесением в учетную карточку, но исключать — не согласны!»

Мое предположение, что в Чапоме могли быть обиженные на Петровича, Устинов категорически отвергает:

— Никаких обид на него не было и быть не могло! Тут каждый знает, что у Петровича корысти нет, умирать будет, а в карман копейки не положит, еще с себя последнее снимет. Самый бедный дом у него. Описывать его пришли, а — нечего. Тут в акте все перечислено — лодочный мотор, ковер, шкаф для посуды, шкаф для одежды, стол раздвижной, две овцы. Всего на четыреста пятьдесят рублей. Да еще книжку нашли сберегательную, там шестьдесят три рубля — арестовали и до сих пор держат! Петрович пошел после суда через полгода деньги взять, а ему говорят: не можем, арест с книжки не сняли, верно, забыли, напишите в суд, чтобы там разобрались. А он только рукой махнул: пусть, дескать, подавятся моими копейками, не буду унижаться из-за них, еще заработаю.

— Это точно,— подтвердила секретарь парторганизации Римма Михайловна Храмцова, заведовавшая колхозной пекарней.— За Петровичем у нас любой пойдет, не задумываясь. Вот уж истинно для людей жил.

— Начальству он мешал,— говорит Воробьев.— Никак не хотел подписывать акты о приемке зверобойки. Три раза комиссии из РКС приезжали — давили, просили, угрожали. А мы — ни в какую! Доделаете — примем. Ведь базу хотели к концу восемьдесят третьего сдать, да не вышло. В следующем году так навалились на нас, что не вздохнуть. И опять мы отказались. После этого они и сделали этот ход: меня в Сосновку отправили, а в это время Стрелкова сняли и Лучанинова поставили председателем. Привезли его еще летом: мол, механик, помощником будет. Мы-то сначала не поняли, что к чему, думали, действительно механик, помогать будет. Но когда его сделали председателем, поначалу и он отказался подписывать: видел, что только для этого его и назначили. Потом, когда нажали, Лучанинов все подписал, партбилет на стол — вот он вам! — и ушел. А нам теперь все это расхлебывать, доделывать и штрафы платить до самой смерти. Дураком себя чувствуешь, которого обошли! Меня в последнее время и в комиссию не включали — знали, что буду против...

— Тут большую роль сыграл Куприянов. Он тогда заместителем директора МКПП был, которое всей этой стройкой ворочало,— поясняет Устинов.— Директором Бернотас, а Куприянов — замом. Он к нам приезжал, иной раз по месяцу жил, вроде бы досмотр осуществлял. А какой досмотр? Охотился, семгу ловил. У них много чего здесь обнаружили, да только все прикрыли — и концы в воду.

Куприянов и Бернотас? Те самые, которые давали показания против Гитермана? Да ведь и дело Гитермана началось с монтажной бригады. Она работала здесь, причем за месяц до ремонтников.

— Вы знаете,— вступает Мурадян,— я, конечно, не могу утверждать на сто процентов, но тут было нечисто, люди работали нечестные. Вот мы с вами ходили по берегу около цеха. Знаете, какой это берег? Это золотой берег! Там под песком можно найти все — троса, электрощиты, трубы, балки, кабель, что хотите! Я пробовал копать — колодец копал — и находил. У строителей все как попало было свалено. Ждут комиссию, возьмут бульдозер — и все под землю.

Я верю Мурадяну, потому что сам возмущался беспорядком и расточительством материалов, которые везли сюда за тридевять земель из Мурманска. Но то, что Мурадян говорит дальше, для меня новость.

— ...Сейчас нет документации на строительство базы, которая должна была быть в МКПП у Куприянова и Бернотаса. Где она? Она была, и я ее видел, когда пришел сюда работать. Строил базу хитрый парень, Павлов его фамилия. Он мне не давал смотреть документы. Однажды ночью я пришел, взломал топором дверь, взял документацию и стал ее изучать. Я строитель, понимаете? Меня нельзя обмануть, я все вижу. Так вот, оказывается, цех укорочен на пятнадцать метров! По акту он прошел, скажем, как запланированный, а на самом деле — обрезан. Куда пошли материалы, деньги? Это же десятки тысяч! Или чистая взятка, или кто-то положил в карман, я не знаю. За это должно отвечать МКПП, этим должен заниматься ОБХСС, а не Петровичем. Но никто за это не отвечал и никто этим не занимался. Я думаю, у ребят из МКПП были крепкие связи с ОБХСС. Недаром потом Павлов уничтожил все документы, а сам

уехал. А если бы приемка была настоящей, все эти уловки стали бы известны, они выплыли бы наружу, понимаете? Петрович того и добивался. Он хотел, чтобы стройку принимали настоящие специалисты, которых не обмануть. МКПП и РКС очень этого боялись, поэтому они так поспешили убрать Петровича.

— А как связано дело Стрелкова с делом Гитермана? — обращаюсь я к Воробьеву.

— Да никак,— откликается Устинов.— Его имя и не всплывало.

— Спрашивали нас о Гитермане,— вставляет Воробьев, и все с удивлением посмотрели на него: как видно, никто об этом раньше не слышал.— В том же году осенью, когда строились гостиница и общежитие, мы с Петровичем приезжали в Мурманск. Нас вызвали в ОБХСС. Они спрашивали у Стрелкова, давал ли он Гитерману наличными тысячу рублей за проект зверобойной базы? Проект этот делали три человека, делали быстро, и мы платили им не по перечислению, а наличными, каждому по пять тысяч. Они к нам сами за деньгами приезжали и получали в кассе колхоза... А Гитерману, конечно, никто ничего не платил, так мы и сказали...

Но ведь Гитерман говорил мне в Москве о том, что следователи шантажировали его якобы полученным признанием Стрелкова о даче взятки. За что? Об этом мог сказать только Стрелков, который, как выяснил Воробьев, сейчас гостит у дочери в Ленинграде.

На обратном пути в Умбе, в кабинете районного судьи Аллы Ивановны Тетерятник, я получил три тома следственного дела о Стрелкове.

Более тысячи листов — акты экспертизы, протоколы допросов, очных ставок, бесчисленное количество различных запросов, ответов, справок: из сберкасс по проверке личных счетов привлекаемых, из медвытрезвителей — не были ли они там ненароком, из пароходства, с места службы... Сколько на это ушло государственных средств, времени, нервов! И все для того, чтобы уличить председателя колхоза в том, чего он не делал!

Но вот что интересно.

28.II.1984 г. старший следователь Терского РОВД В. Ф. Голубенко, ознакомившись с фактами, вполне разумно писал в своем заключении, что «работа была выполнена в полном объеме и деньги за нее выплачены, в связи с чем нет оснований усматривать в действиях ремонтников хищения общественного имущества, т. к. ущерб колхозу не причинен». Вторично следствие было возбуждено 25.V.1984 г. Новых данных, как видно, не нашлось, поэтому 27.VII. 1984 г. прокурор Терского района Б. Л. Титов подписывает постановление о прекращении уголовного дела с передачей его в товарищеский суд. Об этом было доложено в Мурманск, где, как видно, поначалу с таким решением были согласны. Однако осенью 1984 г. что-то произошло. И 10.X.1984 г. заместитель начальника следственного отдела М. А. Баронин по указанию прокурора Мурманской области В. Л. Клочкова возвращает дело с многозначительным указанием, что «расследование по делу Стрелкова А. П. находится на личном контроле у Генерального прокурора СССР».

Почему на контроль Генеральному прокурору СССР послано высосанное из пальца дело? Дело, в котором не было и не могло быть состава преступления, даже если бы оказалось, что Стрелков превысил свои полномочия. С подачи из Мурманска? Или с попустительства канцелярии и помощников Генерального прокурора? Может быть, ему больше нечем было заниматься осенью 1984 года? Не было у нас никаких преступлений, все дела оказались раскрыты, все преступники пойманы, осталось только изобличить чапомского председателя в том, что он «действовал из карьеристских соображений», хотя и не нанес ущерба колхозу?

Даже следователь УВД Мурманской области В. В. Маланин, которому с такой грозной и многообещающей резолюцией было передано злосчастное дело, уже через месяц, 15.XI.1984 г., предложил «производство прекратить за отсутствием состава преступления».

И вот здесь появляется человек, благодаря которому чапомский председатель объявлен серьезным преступником — следователь по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Мурманской области, юрист I класса Р. А. Нагимов. В постановлении о привлечении А. П. Стрелкова в качестве обвиняемого он показал всю его изворотливость и злодейство: «...однако он (Стрелков.— А. Н.) вместо того, чтобы принять надлежащие меры к организации ремонтных работ, с целью показать перед руководством РКС свою «предприимчивость» и «деловитость», т. е. из карьеристских побуждений (вот откуда это в приговоре!— А. Н.), решил обеспечить проведение ремонта в сжатые сроки путем незаконной выплаты денежных средств ремонтной группе...» Дальше все идет в нарастающем темпе: факты извращены, изуверски истолкованы человеческие побуждения.

И я, закрыв последний том — стрелка часов уже подошла к 18.00,— спрашиваю Тетерятник:

— Алла Ивановна, за что вы осудили Стрелкова?

Она вздрагивает и выпрямляется в своем кресле, как если бы собиралась произнести речь, но потом чуть сникает и тихо произносит:

— Стрелков ни в чем не виноват. Я хотела даже его оправдать... Поверьте мне, действительно хотела! Но, вы понимаете, тут был такой нажим из Мурманска, кому-то было очень нужно, чтобы мы осудили Стрелкова. И потом... В это время исключали из партии моего мужа. Это было ужасно, и я думала... Вы даже представить не можете, что здесь за люди! Как только кончится срок работы, я обязательно отсюда уеду. Потом, уже после суда, был звонок из Москвы. И когда я сказала, что мы осудили Стрелкова, мне показалось, что там даже вздохнули с облегчением...

— Кто звонил, Алла Ивановна?

— Кто? — Она отводит глаза.— Не помню уже...

Нам обоим неловко. Но ни за какие блага я не хотел бы оказаться сейчас на ее месте. Она наказала Стрелкова за то, что тот не совершал. Почему-то мне кажется, что наказание, выпавшее на ее долю, куда как тяжелее: ведь Стрелков остался с людьми, которые его любят и продолжают ему верить. Может быть, даже стали уважать чуть больше, как это ведется у нас на Руси. А что ждет ее?..

6

Я собираюсь в Териберку, к Коваленко.

По сравнению с другими жертвами «охоты на ведьм» Коваленко отделался сравнительно легко: семь с половиной месяцев следственного изолятора. Тяжелый сердечный приступ отправил его в больницу после первых двух недель допросов. Коваленко выпустили, он подлечился, и прокурор сразу же возвратил его в прежнюю камеру. После был суд.

В МРКС, в личном деле Николая Ильича Коваленко, я нашел сразу два приговора — первого суда, состоявшегося в марте 1986 года, где председателю колхоза имени XXI съезда было назначено два года исправительных работ с удержанием 20 процентов заработка и запрещением занимать руководящие должности в течение пяти лет; и второго, уже областного суда, состоявшегося через два месяца, который срок наказания сократил, а запрет на должности снял. Осталась судимость и обвинение «в хищении государственного имущества и даче взятки». Кроме этого, в деле находилась копия ходатайства председателя МРКС П. И. Голубева начальнику «Севрыбы» с просьбой поддержать в Мурманском областном суде кассационную жалобу Коваленко. По этим документам и корректирующей информации из нескольких сторонних источников я мог составить себе представление о том, что же произошло с Коваленко в действительности.

Истоки дела уходили в 1982 год, когда в Териберке был построен первый многоквартирный дом с удобствами. Дом нужен был колхозу позарез. Сравнительно обширный жилой фонд поселка — Териберка была когда-то райцентром — пришел в полную ветхость. Новый дом построили, но в эксплуатацию не сдавали полгода, потому что никто — ни МРКС, ни «Севрыба» — не мог помочь колхозу достать необходимые девять электрощитов. Еще шли безрезультатные поиски, когда в Териберке появился начальник производственно-технического отдела Мурманского коммунэнерго Е. В. Трощенков, который обследовал электросеть поселка. А колхоз собирался строить теплицы. Вот почему Коваленко попросил инженера подсчитать: хватит ли имеющейся энергии? Для этого надо было сделать необходимые расчеты и провести ревизию электросети, чем и занималась бригада Трощенкова. Стоит отметить, что Трощенков взялся сделать расчеты за сумму гораздо меньшую, чем запрашивала специальная проектная организация, и довольно быстро определил, что электроэнергии в колхозе недостаточно для теплицы. Строительство начинать не стали и тем сэкономили несколько тысяч рублей, которые могли быть потрачены впустую. Тогда же Коваленко попросил Трощенкова поискать для колхоза щиты.

Довольно скоро тот выполнил и эту просьбу. Необходимые щиты лежали без дела в ДРСУ-1 Мурманского ремстройтреста, который согласился выдать их колхозу по гарантийному письму, обеспечивающему их оплату или возвращение. Так и было сделано. Письмо пошло в управление, щиты поставили на место, дом заселили, а Трощенкову подписали наряд за проделанную работу и выплатили деньги — 824 рубля 32 копейки.

В приговоре эта сумма фигурировала сразу в трех ипостасях: как хищение, результат сговора и взятка. Возникла точно такая же ситуация, как в деле Стрелкова: кому-то во что бы то ни стало надо было доказать, что белое — это черное, и наоборот.

Обвиняемые Коваленко и Трощенков, а главное, сам колхоз с таким определением не согласились. Выплаченные деньги были не тратой колхозных средств, а их экономией, даже если оставить в стороне заботу о людях, своевременно въехавших в новые благоустроенные квартиры из старых, развалившихся домов. Следователи, которые вели это дело, то закрывали его, отказываясь видеть «состав преступления», то под нажимом прокурора открывали его снова, пытаясь доказать, что Трощенков никакой работы для колхоза не сделал потому, что ее «не видно», или потому, что приезжал он только на день-два.

Почему прокурор североморского района в течение нескольких лет преследовал Коваленко, мне объяснили: председатель как-то к празднику отказался «поклониться» ему семгой. Что ж, причина уважительная. Но вот как полученные Трощенковым деньги можно было посчитать «взяткой», «хищением по сговору» — не понимаю. Даже если бы действительно вся эта сумма, не такая уж большая, была выплачена инженеру за то, что его поиски оказались более успешными, чем полугодовые потуги официальных организаций, то и тогда вместе с деньгами Трощенков (и Коваленко,

обратившийся к нему!) заслуживал бы самой горячей благодарности государства. В колхозе так и считали. Иначе думал прокурор, блюститель законности, который, чтобы показать свою власть, в конце концов посадил Трощенкова и Коваленко в «следственный изолятор». До суда. И после того, как всю эту сумму 15.VI.1984 г. Трощенков вернул в колхозную кассу.

Зачем нужно было сажать их под стражу, причем через два с половиной года после так называемого «преступления»? Они были особо опасными преступниками, которых следовало изолировать от общества? Изучая тексты приговоров, я обратил внимание на даты ареста обоих. Коваленко впервые был арестован 5 мая 1985 года, то есть через два с половиной месяца после ареста Гитермака, а выпущен 22 мая того же года в связи с сердечным заболеванием. Вторично он был арестован 23 августа 1985 года и содержался в заключении до 19 марта 1986-го. Трощенков был арестован чуть позже, 13 мая 1985 года, и содержался под стражей вплоть до второго суда — факт, который даже Мурманский областной суд квалифицировал как нарушение законности. Однако ни первый, ни второй суд не увидел нарушения законности в том, что в течение полугода (!) люди находились под стражей, хотя обстоятельства дела того не требовали.

Все тот же произвол лапландской Фемиды?

Голубев, на глазах которого происходило дело, говорил, что решающую роль в освобождении Коваленко сыграли многочисленные обращения колхозников в защиту своего председателя. Они писали всюду — в прокуратуру области, обком, Прокуратуру РСФСР, приходили в МРКС. В день суда над Коваленко с кораблей, находившихся в море, пришли протестующие телеграммы, зал был набит колхозниками, которые на руках вынесли своего председателя. Им было неважно, в чем его пытаются обвинить: они слишком хорошо знали его и верили ему, готовы были на деле доказать свое доверие. Случай совершенно исключительный, другого такого я не знаю. Вероятно, в значительной мере его можно объяснить тем, что колхозниками в Териберке в большинстве своем была молодежь, представители того самого нового поколения, которое не хотело жить по-старому. К тому же в прошлом это горожане, иначе смотревшие и на чины, и на иерархию властей, привыкшие добиваться своего и не пасовать перед препятствиями.

Если по сути своей дело Коваленко удивительно напоминало дело Стрелкова, то в процессуальном отношении оно мало отличалось от дела Гитермака. Обоих обвиняли во взятках. Отсюда и «следственный изолятор». Похоже, сделали это для того, чтобы уничтожить человека как личность, как руководителя: не только продемонстрировать его полную беззащитность перед следственными органами, сломать, заставить признать то, чего он не делал, но и добиться его исключения из партии, как то произошло с Гитерманом и Стрелковым, поскольку «коммунистов не судят».

Не судят? Но почему? Что меняется от того, что перед судом у человека отбирают партбилет? Кого при этом пытаемся мы обмануть? Разве не с партбилетом он совершил преступление? И наконец, разве факт передачи суду материалов следствия является фактом вины человека?

Я снова и снова задаю этот вопрос, потому что почти на каждом пленуме Верховного суда выступающие с тревогой напоминают, что наши суды боятся выносить оправдательные приговоры. Боятся, по-видимому, так же, как побоялась Алла Ивановна Тетерятник оправдать невиновного в ее глазах Стрелкова. На партийном собрании колхоза «Волна» В. Н. Кожин требовал исключить из партии Стрелкова и кричал, что своими действиями тот «разлагал людей нравственно». Наоборот, Стрелков укреплял всех своим примером, а вот подобные решения суда и партийного руководства, делающих вид, что подследственный — еще не осужденный! — никогда в партии не состоял, коммунистом не был и вообще, похоже, закоренелый преступник, разлагают окружающих, лишают их веры в справедливость нашего следствия и суда...

Принципиальную позицию в деле Коваленко занял Североморский горком партии. Он прислушался к мнению колхозной партийной организации, к мнению коммунистов, которые единодушно свидетельствовали в пользу председателя. Пожалуй, это был единственный известный мне случай, когда первый секретарь горкома не пошел на поводу событий, не поспешил отмежеваться от коммуниста, а занял выжидательную позицию...

(Окончание следует.)

Светлана СЕМЕНОВА

Восходящее движение

НООСФЕРНЫЕ ИДЕИ В ЛИТЕРАТУРЕ

В научной и философской мысли XX века одним из самых светлых событий явилось появление ноосферной теории, вобравшей в себя достижения и идеалы активно-эволюционной, космической традиции взгляда на мир и человека. Плеяда мыслителей и ученых, к которой принадлежал на Западе Тейяр де Шарден, у нас — Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, ставит перед человечеством новую планетарную задачу: речь идет о сознательном управлении эволюцией, преобразовании природы самого человека, исходя из глубинных потребностей разума и нравственного чувства. Самобытнейшие творцы нашей культуры — от Велимира Хлебникова, Николая Заболоцкого, Павла Флоренского до Андрея Платонова и Михаила Пришвина — были вовлечены в атмосферу этих идей.

«Человек в природе — это разум великого существа, накопляющий силу, чтобы собрать всю природу в единство»,— писал Пришвин. Этот завет не забыт в современной литературе. Более того, он продуман в нынешней социальной и общеземной ситуации. В наше кризисное, наполненное апокалипсическими страхами время, которое тем не менее ищет краеугольные камни нового мышления, попытки дать ответы на предельные философские вопросы о смысле явления человека в мир, о высшей цели его существования и деятельности становятся просто насущно необходимыми. Касаясь вечной темы «человек и природа», так называемая «натурфилософская» проза обращается прежде всего к исследованию парадокса человеческой природы, стремясь преодолеть ту упрощенную плоскодонную «антропологию», которая наделала столько реальных бед и литературных уродцев.

Начнем с одной характерной черты ряда произведений последнего времени: присутствия в них на равных правах с человеком персонажей из животного мира. Этот факт — явная примета иных глобально философских забот автора. Обычно в прозе социальной, психологической, замкнутой на человеке, его внутреннем мире, отношениях с другими, с обществом и историей, или вовсе нет животных, или они мелькают, чтобы оттенить качества героя, представить его бытовой антураж. Когда же автора начинает волновать загадка человека, сущность его особой природы, ее прошлого и будущего, то испытующий взор нередко обращается и в сторону тех единственных, кроме нас, живых существ планеты, с которыми наши связи и отношения вовсе не так просты и однозначны. Ибо з в е р ь — это и поражающее нас многообразие и причудливость форм дикой природы с какой-то своей причиной быть на земле; и одомашненная скотина, судьбы которой человек прямо взял на себя; и эволюционное п р о ш л о е самого человека, на ступеньку ниже его по лестнице существ, и н а с т о я щ е е глубин его натуры. Зверь — и таинственный прапредок, и не менее загадочный современник; древний зооморфный бог — и поверженный, почти истребленный житель «Красной книги»; меньшой брат — и наша пища, враг — и помощник, уникальная особь, почти личность — и повод для басенной аллегории, сугубая конкретность — и символ...

Один из наиболее философски насыщенных романов последнего времени — «Белка» Анатолия Кима. В поисках для человека и человечества новых горизонтов он не случайно так сюрпризно входит во все тонкости отношений пары «зверь — человек». В критике «Белке» мало повезло. Идеал ее автора как раз питает активно-эволюционное, ноосферное сознание. Не уловив сразу же этой направляющей ценностной воли писателя, рискуешь остаться в поверхностном слое текста, увести корни его смыслов куда-то к условным восточным берегам (что и делала критика), где бродят обольстительные оборотни, распускающие свои губительные «лисьи чары», где вера в перевоплощения натуральна и обыденна, снимая саму проблему личности, а с ней боль и трагедию смерти.

Роман Кима открывается первым младенческим воспоминанием героя-рассказчика: лесные дебри в одной из провинций Северной Кореи, мертвая женщина, вдова офицера Народной армии рядом ее

трехгодовалый сын, и к нему спускается белка, несущая в своих глазах привет от мира, в который он явился. И в этом зверином взгляде «светились такие любопытство, дружелюбие, веселие и бодрость, что я рассмеялся и протянул к ней руку». Эти два встречных движения — как бы души природы к нему (восприемничество младенца) и его навстречу (добровольное усыновление себя) — оттиснулись навсегда в глубинно-бессознательном слое души как знак его происхождения. И недаром позднее обнаружилась у него способность превращаться именно в белку, да и себя в качестве «промежуточного» существа, еще как бы недочеловека (а таковы, по его убеждению, почти все люди) он опознает как человека-белку. Это мифическое время, в которое уходят земные истоки кимовского персонажа, одновременно далекая, первоначальная реальность и для рода людского в целом: архаичнейшей религией еще в эпоху человеческого стада был как раз тотемизм, вера в свое происхождение от того или иного животного предка, почитавшегося священным. Эта вера и связанные с ней ритуалы запечатлели первое осознание человеком своих эволюционных корней, чувство преемственного родства цепей жизни.

Наиболее интенсивные, органически живые отголоски этого когда-то универсального верования мы находим в творчестве Ч. Айтматова. Его произведения немыслимы без зверей. Они здесь — важнейшее измерение бытия, одна из точек ценностного отсчета, их образы — одна из скреп его художественного мира. В повестях и романах киргизского писателя веет древним духом отношения к животным: вспомним Рыбу-женщину, прародительницу охотничьего племени нивхов, в «Пегом псе, бегущем краем моря» или Рогатую мать-оленииху из «Белого парохода». Вместе со старыми мифами выкидывается чувство благодарности тому великому жертвенному подножию живых форм, которое вынесло к бытию свой разумный венец. Тогда возникает тот одномерный человек, хам, не помнящий родства (родства двойного, закономерно связанного) и со своими отцами и предками, и дальше по вертикали с низшей тварью. Вот голос дикаря современной технической цивилизации из повести «Прощай, Гульсары!»: «Подумаешь, кляча какая-то. Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова... А таким старикам и лошадям конец пришел». И далее, от «Белого парохода» до «Плахи», этот голос будет все более крепнуть, изощряться, наполняться все более зловещими обертонами. Здесь уже не только позиция, но и оправданные ею дела — поистине катастрофические.

Естественное, гармоническое мироощущение единства с четвероногими помощниками и друзьями — конем, верблюдом, оленем...— остается у Айтматова в прошлом, уходит в сказания и легенды или ютится исчезающими островками где-то в дальней глуши. У русских писателей-деревенщиков такой гаванью спасения натурального, природосообразного уклада становились деревня, труд потомственного земледельца, включенный в природно-космические ритмы, его быт и лад, неотделимый от утилитарно и эстетически осмысленного малого «космоса» вещей, орудий, домашней скотины (вспомним хотя бы распутинскую «Матеру» или «Рассказы о всякой живности» Василия Белова). Но рушится и это облитое идеальным, ностальгическим светом убежище естественной жизни под напором городского прогресса. Оппозиция деревня — город решается в деревенской прозе с разной степенью радикализма, вплоть до таких крайних степеней, как в романе Белова «Все впереди», где звучит проклятие мегаполису, этому капищу и блудилищу современной цивилизации с ее хитроумно-противоестественными формами существования.

Тема города, притом города гигантского, столицы, возникает и с первых страниц «Белки». И нас тут же поражает, насколько ее тональность резко контрастирует не только с идейным антиурбанизмом, но и вводит такие звучания, какие, пожалуй, незнакомы и городской прозе, где образ города то проходит привычной, нейтральной средой обитания, то оборачивается иронией и болью по поводу отчужденных отношений жителей безличных коробок, то рождает поэзию улицы, квартала двора, малой городской родины. А у Кима: «...без этих каменных и железных гнездовий человеческого духа не произошло бы на нашей планете загадочного и — вполне допустимо — единственного во Вселенной явления. Генераторы энергии дивной ноосферы — наши Города пылают и светятся в ночи, раскаленные своим внутренним жаром...» Тут уж, как говорится, оптика совсем особенная! Идейным камертоном каждый почувствует здесь неожиданно ученое понятие «ноосфера», залетевшее на страницы романа из построений французского палеонтолога и философа Тейяра де Шардена (основное произведение которого «Феномен человека» писатель, по его собственному признанию, внимательно изучал). Тейяр де Шарден считает, что сосредоточенные в городах центры исследовательской, культурной работы, эти особые «мозговые очаги», связанные чуткими «нервными» (информационными) связями друг с другом, образуют «психические островки», в которых можно признать развивающееся «серое вещество» общеземного мозга человечества. Именно поэтому города и становятся у Кима «генераторами энергии дивной ноосферы».

В ноосферном видении отчетливо сознание родственной связи человечества со всей эволюционной цепью жизни, но вместе с тем — и понимание человека как существа еще растущего, «неоконченного», превозмогающего свою еще далеко не совершенную, противоречивую природу. «Человек не есть «венец творения»,— убежден Вернадский; за сознанием и жизнью в нынешней форме неизбежно должны следовать «сверхсознание» и «сверхжизнь», утверждает Тейяр де Шарден. В такой «оптике» пара «зверь — человек» неизбежно требует еще и третьего члена: назовем его хотя бы высший, истинный Человек (так он, кстати, и обозначен в «Белке»). К такому Человеку можно выйти только через творчество собственной природы; это требует мужества разобраться в глубоких корнях зла в человеке, приведших его вместо всех предполагаемых «сияющих вершин» на потенциальную грань самоуничтожения. Требует поиска, дерзания, неустанной работы и любви.

Таким образом, выстраиваются как бы три эволюционных уровня бытия: звери, люди и высший Человек. Интересно, что и в айтматовской «Плахе» четко возникают именно эти три уровня. Прежде всего звери — сайгаки, волки. Через них вводится изначальный природный ход вещей, и определяют его такие слова, как «древнейше, как само время», «с незапамятных времен». Всему свое предназначенное этим ходом время, время появляться на свет, зачинать и выводить детенышей, вскармливать и воспитывать их, время страстного лова — звериного пика жизни. В одной фразе, на целую страницу (разъять нельзя!), в неистовой динамике этого центрального действа — волчьей охоты на стада сайгаков — в тугой жгут скручивается самая суть их порядка бытия. В нем безраздельно господствуют «от природы данная целесообразность оборота жизни», великий инстинкт, созидающий свою меру и гармонию целого.

Зверей Айтматов рисует как-то особо проникновенно, словно из их собственных недр передавая разнообразные физиологические ощущения и чувствования — от яростных и нежных до самых отчаянно-безнадежных. Он действует как своего рода чуткий посредник двух разделенных миров — зверей и людей, переводящий смутно-бессознательное, грезяще-сумеречное в человечески внятное, бессловесное — в изощренно-живописное выражение. Волки Акбара и Ташчайнар — настоящие «личности», полноценные художественные герои, во всяком случае, значительно более полноценные, чем большинство таких персонажей в романе, как подручные Обер-Кандалова или анашисты. Их писатель подает *внешне*, в луче жесткого разоблачения. А волков, этих стародавних врагов человека, нам раскрывают *изнутри*, и в извечной борьбе за пищу и жизнь, за продолжение рода, во всех стадиях изживания глубочайшей трагедии потери потомства, где боль и бессильная ярость, мольба и молитва, ожесточенно-бессмысленная месть и апатия сломленности. А раз изнутри, то именно им более всего подается высшая художественная благодать — читательского сочувствия, прощения и любви.

Примеров изображения зверей как личностных персонажей в мировой литературе немало: от сказок и басен до знаменитого толстовского Холстомера. Значительна и литература, представляющая мир зверей в его, так сказать, самодостаточности: человек пристально всматривается в тип и склад жизни своих бесчисленных соседей по существованию. Напомню относительно недавнюю повесть Тимура Пулатова «Владения», где автор буквально вселяется во внутренний мир коршуна, верховного владыки целой территории, вещь, по фантастически-въедливой конкретике, пожалуй, не имеющую себе равных. Сутки в пустыне, подвижное бытие материальных сил, игра стихий, микроцикл жизни целой пирамиды существ — и нам твердой рукой удивительного мастера, какого-то всевидящего, всеслышащего, всевосчувствующего медиатора природной жизни очерчен ее порядок бытия, окольцованный жестким законом Судьбы, предназначенности всякой твари — равноудивительной и равнозначной — природному Целому.

Природный способ существования реализуется в замкнутом кругу уравновешенной в себе полноты и обладает для человека известной *эстетической* привлекательностью. Но *нравственное* проникновение в природу в свете нового активно-эволюционного идеала, обнаружившееся в литературе XX века, особенно сознательно у таких писателей, как Николай Заболоцкий, Андрей Платонов и Михаил Пришвин, рождает совсем другое отношение. Как писал Максим Горький о творчестве Пришвина: «Стало казаться, что в обаятельном языке, которым говорят о «красоте природы», скрыта бессознательная попытка заговорить зубы страшному и глупому зверю, Левиафану-рыбе, которая бессмысленно мечет неисчислимые массы живых икринок и так же бессмысленно пожирает их». Человек открывает истину природы *как закона*, принципа бытия, стоящего на взаимном пожирании, вытеснении и борьбе. Природа же *как совокупность всех тварей* сама «стенает и мучается» в «вековечной давильне» своего собственного закона и как будто ждет в человеке действительного «царя природы», своего избавителя. Вспомним, каким острым фокусом Заболоцкий умеет настроить наш глазной хрусталик, обычно расслабленный прекраснодушным гипнозом природного благолепия:

Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы...

Не принимать природы, бунтовать против нее человек может только в зна-

чении природы как принципа бытия, против «гробового лика» ее, по выражению Баратынского. Лирическому герою Тургенева (стихотворение в прозе «Природа») является сама Природа, в данном случае именно как воплощение определенного порядка бытия, его царственная Хозяйка. В облике холодно-величественной женщины она восседает в подземной храмине, и голос ее неожиданно оказывается подобен «лязгу железа». И когда человек начинает перед ней лепетать свои самые высокие слова: правда, разум, добро,— она недоуменно хмурится и отметает их для себя как нелепые. Ее думы не о них; в данный момент она размышляет, как придать «большую силу мышцам ног блохи», чтобы восстановить нарушенное в какой-то цепочке ее Царства равновесие. «Я тебе дала жизнь,— я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне все равно...» — вот ее последнее слово.

Такое безнадежное для человеческой личности видение неизбывности природного закона стало решительно разрушаться у писателей, затронутых идеей восходящего характера эволюции и необходимости активного, сознательного ее этапа, когда человечество направит ее в ту сторону, в какую ему диктует самое глубокое понимание должного порядка вещей — одним словом, возьмет, так сказать, штурвал эволюции в свои руки. Закономерность неуклонного совершенствования нервной системы, головного мозга, открытая в эволюционном ряду, так называемая «цефализация», поставила под сомнение и утверждение, что самой Природе так уж все равно, червь или человек. Уровень *личности*, самая высокая ступень самосознания человека, по убеждению того же Заболоцкого или Пришвина, вырос из самой природы, в которой он постепенно прибывал, из слабейших задатков, заложенных в самом ее фундаменте. «Не один человек, но вся природа и в ней всякий даже род атомов, протонов и всяких более мелких частиц материи таит в себе носителя лица»,— писал Пришвин в философско-лирической миниатюре «Имена». «Борьба за лицо» пронизывает развитие материи и природы. Принцип серийности, количества, «среднего должного», присущий, по определению того же писателя, природе, в его щедром, милующем сердце вовсе отменяется и заменяется человеческим принципом качественной уникальности. Такая сказочная персонализация природных существ, наделение их лицом и именем, непрерывно идущая в творчестве Пришвина, чувствуется и понимается как предвосхищающее подтягивание их до человеческого уровня, до «друга» в преображенном мире будущего.

В поэме Заболоцкого «Торжество земледелия» уже говорят сами животные, в которых начинает просыпаться разум. Они в тоске и отчаянии от своей судьбы служить лишь тягловой силой и пищей людям и вот вспоминают о том удивительном человеке, в мечтаниях которого «мир животный с небесами был примирен прекрасно-глупо». Конечно же, речь о Велимире Хлебникове, чье «Я вижу конские свободы и равноправие коров» так сильно воздействовало на философско-творческое воображение Заболоцкого. А в поэме «Безумный волк» герой в серой шкуре, отталкиваясь от своих лесных собратьев, для которых круг существования задан одним повелительным «Я жрать хочу, кусать желаю!», специальным станком выворачивает себе вертикально шею, совершив, как когда-то человек, основополагающий акт самосозидания, рывок от горизонтали пассивного приятия животной участи в вертикаль волевой, активной самодеятельности, к небу, познанию и труду. Он демонстрирует весь пройденный человечеством ряд культурного развития: постигает законы природы, занимается наукой и искусством. Но импульс к восхождению над собственной природой движет им далее: он стремится овладеть тайнами метаморфоз и превратить уже и растение в животное, а далее обрести для себя способность свободного полета и бессмертия. Его манит идеал совершенной красоты и гармонии, символически означенный «волшебной звездой Чигирь». Открыть путь к ней может победа над путами природных законов, земным притяжением. Но одним даже самым напряженно-экстатичным усилием воли взлететь к свободе и бессмертию нельзя. «Великий Летатель Книзу Головой» погибает, но он среди «великих гладиаторов мысли» будущих времен.

Может показаться, что подобные «безумные» мечтания о настоящей «онтологической» революции, пересоздании не только общества, но и самого природного порядка бытия остались приметой 20-х годов. Да, патетика, громогласность, стремительные волевые атаки на будущее ушли вместе со временем. Отброшено наивное прекраснодушие в отношении природы человека, образец «научно построенного человечества» обнаружил свои мрачные провалы, а отношения человека со своим материнским лоном, природой, обогатились — на горьком опыте — пониманием таких тончайших связей, что при всяком самоуверенно невежественном вторжении в них вылезает лишь пресловутый адский результат благих намерений. Но не ушли из литературы поднятые тогда темы, самый порыв, их одушевляющий, активное осознание эволюции, когда необычайно расширившееся нравственное чувство уже не ограничивает себя миром себе подобных, получая натурфилософский, космический смысл. Об этом свидетельствуют и такие недавние явления самых разных литературных широт, как, скажем, американский бестселлер Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» («Иностранная литература», 1974,

№ 12), та же «Белка» Анатолия Кима или «Черепаха Тарази» Тимура Пулатова.

У Пулатова по-своему воскресают любимые автором «Торжества земледелия» мотивы направленной метаморфозы животного в мыслящее, чувствующее существо, но возникают они в перспективе, я бы сказала, более реалистически-осмотрительной, трезво учитывающей силу законов естества. Роман «Черепаха Тарази» разворачивается как нравственно-философская притча о двух уровнях эволюционного развития — звере и человеке,— о дерзаниях последнего вмешаться в сам творящий стан природы и о границах его власти над ней. Здесь столкнулись две метаморфозы, одна — невольная, когда человек превратился в черепаху, откатился назад по лестнице развития, и это было ему наказанием за нравственную деградацию (история неправедного судьи Бессаза, род которого, кстати, вел свое «тотемистическое» начало от черепах, вот он и «возвращен в плоть праматери»); и вторая — осуществляемая научным экспериментом. Философ и писатель, натуралист Тарази из средневековой Бухары со своими учениками работает над проблемой превращения черепахи в человека (в данном случае объектом опыта оказался бывший судья). Важнейшим в их методике наряду со сложным и медленным процессом очищения крови становится своего рода «психоанализ» постепенно обретающего человеческий облик Бессаза; в ходе него он отдает себе отчет в причинах происшедшей с ним страшной и странной беды. Исповедь-очищение, покаяние как радикальное сокрушение о себе как существе неправедном, глубоко лично вовлеченном в зло, становится необходимым этапом очеловечивания. Но все же природный рок не удается преодолеть до конца; темная, звериная, «дурная» кровь превозмогает в Бессазе, и через некоторое время он начинает медленно костенеть, покрываться панцирем, терять человеческие черты, сохраняя, однако, поначалу и в полузверином виде вновь обретенное достоинство. Дерзкий ученый терпит поражение, но каким-то залогом неокончательности такого итога звучит в финале та «извечная тоска всех ее сородичей по человеческому», что единственно осталась у черепахи Тарази, потерявшей всякую память о своих удивительных превращениях, окончательно сомкнувшейся с животным царством.

Необыкновенной Чайке Джонатан из повести Ричарда Баха, имевшей редчайший успех у западного читателя, напротив, удается превзойти узкие границы естества, закон насыщения и покорности судьбе, в котором живет ее стая. Ее влечет другой, тоже объективный «космический» закон, но такой, который не просто дан, но должен быть обретен упорным, сознательным стремлением, неустанным, на грани невозможного усилием: закон восхождения духа в лоне материи, обретения все более совершенной природы, которой становится доступным доброе всемогущество вплоть до преодоления пространства, времени, достижения бессмертия и свободы бесконечного творчества. К таким горизонтам влечет она и других; ее главная задача — оторвать всех от низменной тяги животно-природного «выбора» с его рабствованием плоти, философией непостижимости мира и безвыходной «заброшенности» в него.

Обратимся, однако, от прекрасных мечтаний, порывов и идеалов к суровой действительности, в предельном, символическом сгущении явленной нам айтматовской «Плахой». Никто не собирается выполнять благородно-утопических задач по отношению к природе и меньшой твари, к которой звал поэт: «Тебя мы вылечим в больнице, Посадим в школе за букварь, Чтоб говорить умели птицы И знали волки календарь» (Заболоцкий). В звере даже без всякого «календаря» все же есть своя правда естественности и невинности, он не знает понятий добра и зла, свободы выбора. А человек, кому дана такая свобода, выбрав низменное, корыстное, злое, эгоистически-своевольное, становится хуже, страшнее зверя.

В чем же здесь главное извращение? Грандиозное эволюционное приобретение человека, на которое природа «самоотверженно» работала миллионы лет, через неисчислимую череду животных поколений,— *разум*, призванный по самой своей идее служить цели дальнейшего духовного мира, начинает эффективно обслуживать низменную «животную» мораль: побольше урвать только себе, жить «в брюхо», в собственное удовольствие. *Зверскость* в естественной природе умерена целесообразностью (лишнего не убивают хотя бы!), а в человеке, изощренная интеллектом, злобной волей, мощью технических возможностей, становится ужасающей, противоестественной, сатанинской. Она оказывается способной на дела апокалипсического свойства. Такова знаменитая сцена массового расстрела сайгаков с вертолетов и машин, когда их стада, а с ними и весь животный мир саванны попадают в полосу исчисленного спланированного, механизированного Рока, рукотворного «конца света». Контраст двух типов охоты здесь поразительный: волчьей, поддерживающей извечное равновесие в природе, и человечьей, истребительно-хищнической, оборачивающейся своего рода тотальным «геноцидом» меньших братьев. Назвать этих современных заготовителей мяса варварами и дикарями было бы глубоко несправедливо по отношению к последним. Наши «дикие» предки-охотники и народы, до недавнего времени остававшиеся на охотничьей стадии развития, относились к своему основному занятию совершенно иначе. Убийство на охоте понималось как вынужденная жизненная необходи-

мость, не уничтожавшая чувства греха и вины перед животным миром. (Это же чувство испытывает рыбак у Хемингуэя в «Старике и море».) В основе промыслового культа лежали извинительные обряды, направленные на восстановление мира с духами убитых животных, а центральным их ритуалом было магическое искупительное действо «воскрешения» зверя. Поставьте рядом с таким первобытным охотником (или недавним еще нивхом) да хоть тургеневских или толстовских дворян, азартно загоняющих на охоте зайцев,— кто из них будет бо́льшим «варваром»?

А уж подручные Обер-Кандалова — это уже и не охотники, а «расстрельщики», лихая «хунта» с автоматами. Глазами волчицы эти существа с иссиня-багровыми лицами, черными ртами, в очках, с орущими микрофонами в скрежете и грохоте машин предстают потусторонне дикими и страшными, как нам, наверное, явились бы какие-нибудь свирепые инопланетяне, вдруг свалившиеся с небес на сверкающих аппаратах, вооруженные немыслимым по мощи оружием, нацеленным испепелить — не разбираясь — ничтожных двуногих букашек.

У Айтматова несколько крайних типов таких людей-зверей. Их «зверскость» — именно в «выборе» зоологического, антидуховного (антиноосферного) идеала, выборе сознательном и бессознательном (в зависимости от человека): сколько можно упиваться жизненной сластью, забываться (водка, анаша), уничтожая на корню в себе и других все высшие человеческие реакции и чувства, корыстно эксплуатируя — себе на потребу — слабости и страсти человеческой природы, давя всех, кто имеет о ней и ее назначении другое представление. Тут есть и свои «идеологи», свои «ведущие» (Обер-Кандалов, Гришан) и «ведомые».

А как же Бостон? Он и есть просто человек, человек здоровой, естественной жизни и нравственности. Но не этот честный труженик, крепящий смысл своего существования в исконном — в детях, являет в романе высшего Человека. Им предстает Христос и в известной степени — Авдий. Бостон — фигура трагическая, волею обстоятельств он принял на себя расплату грозного и символического свойства. Когда-то в уста старца Зосимы Достоевский вложил свое странно-юродивое на первый взгляд убеждение: каждый человек перед всеми и за все виноват лично, все в мире, «как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается». Эту скрытую, но железно осуществляющуюся переплетенность ответственностей, и личной, и общей, Айтматов выразил стяженно-образно. Волчица уносит ребенка Бостона не из кровожадных побуждений, им хочет она в неутоленной материнской тоске заменить своих украденных детенышей. Такой эпизод поднимает мотивы древнейшие, запечатленные в легендах о человеческих младенцах, воспитанных дикими зверьми, в том числе и волками, и потом ставших героями, родоначальниками новых племен и культур. Мифологическое сознание считало необходимым для таких первоосновных фигур причастность, глубинную и интимную, обоим мирам — природному, животному, и человеческому, духовному. Будущего взращенного голубоглазой волчицей Акбарой Кенджеша можно было бы представить таким же новым героем, на высшей ступени примиряющим эти два столь враждебно разошедшиеся мира. (Ведь недаром писатель так подчеркнуто наделил одной исключительной голубизной глаз две такие полярности, как волчица и Христос, словно намекнул на какую-то возможность дальней-дальней сопряженности их.) Но современный человек (пусть и близкий к природе) никак не мог понять намерений волчицы и уж тем более проявить какую-то иную реакцию. Убийство волчицы вместе с сыном — в символическом плане романа — своего рода кара человеку за вереницу преступлений и конкретно перед этой волчьей парой, начиная с Моюнкумской саванны (там тронули — здесь отдалось), и шире — за общеродовой людской грех перед живыми тварями, природой вообще. Скажут: жестко, крайне чрезмерно повернул тут автор, ну зачем еще и детский трупик?.. Но ведь мы, условно говоря, отцы (а за нами наши отцы...), хищнически эксплуатируя природу, опустошаем собственную среду обитания и тем самым как бы «убиваем» будущие поколения — сынов,— лишив их чистого воздуха, земли, воды, отравив натуральные источники жизни. Художник же создает художественный образ, стягивая в конкретный символ, почти архетип, эту мысль.

И когда Бостон в ярости своего личного горя идет расправиться с человеком, пусть завистливым и дурным, на д р у г о г о целиком смещает общечеловеческую вину — и свою долю, значит, тоже,— он делает шаг роковой и непоправимый. Тут не разрешение противоречия, а его усугубление до кричащей, трагической степени («Это и была его великая катастрофа, это и был конец его света»). Так к двум, уже явленным до этого в романе «апокалипсическим» финалам: зверей в саванне, затем Христа и Авдия, добавляется третий — конец человека, преступившего запрет «не убий» и тем поставившего себя вне мира своих ближних.

Не случайно эта трагическая история, случившаяся с хорошим «естественным» человеком, идет уже после той части, где действуют Авдий и Христос. Последние свободно выбирают смерть, не желая поступиться своими убеждениями. Можно представить, что на это был бы способен и благородный, с чувством личной чести Бостон. Но в отличие от него герои первой и второй части демон-

стрируют возможность жертвенной реакции на зло. Ими движет закон Личности и Свободы, а не природного Рока (тема которого отчетливо нагнетается именно в третьей части). Тот «самый главный вопрос — сможет ли бескорыстие и самоотверженность за ближнего одолеть звериный инстинкт», окажется ли человек способен «умереть за другого», который, по убеждению автора «Белки», получи он положительное разрешение, оказался бы выходом в новую природу,— в «Плахе» одолевается крестным подвигом высшего истинного Человека. Я вовсе не хочу приравнять по значению два распятия, изображенные в романе Айтматова: одно, великое событие тридцать третьего года нашей эры, и другое, которое по воле автора претерпел его незадачливый герой, дерзновенно подъявший проповедь новой веры и ринувшийся рьяно спасать заблудших.

При всей колоссальной разнице этих двух фигур, вполне сознаваемой писателем, по своему типу они в «Плахе» схожи: оба — резонеры и моралисты. Так сказать, третий эволюционный уровень в романе Айтматова, высший его тип, несет в себе новое нравственное сознание, проповедью которого он надеется свернуть мир с его гибельных путей. Но «что есть проповедь добра перед тайным пороком? Как одолеть словом материю зла?» — вопиет в сомнении бывший семинарист, но другой возможности действовать, кроме слова истины, он не видит. Между тем Авдий изучал в свое время послания апостола Павла. А этот диалектически глубокий ум бесстрашно вторгался в мучительную антиномию отношений человеческой природы и нравственного идеала. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Человек как бы распят на дыбе плоти и духа, и одного нравственного сознания, внесенного в природную жизнь для ее регуляции, оказывается недостаточно. Что делать, если добро никак всеми свободно не избирается? Нравственно осуждать злой или несовершенный выбор (особенно последний), поставляя перед человеком высокий идеал, который человек — в силу своей противоречивой, смертной природы — осуществить не может, не только малодейственно, но по причине этой малодейственности отодвигает сам идеал в ту оторванную от реальной жизни, великолепно-химерическую область, которая для большинства существует или как безвредное чудачество (для добродушных), или как вызывающая ярость игра в заумные бирюльки (для озлобленных: «С жиру бесятся!»). Что же нужно еще, какой тут возможен выход? Над этим бьются герои «Белки» и, как мне представляется, идут глубже и дальше айтматовского Авдия.

В отличие от Айтматова мир животных тварей как таковой Кима интересует значительно меньше. Правда, нам вместе с героем, который нет-нет да и обернется белкой, юрким и опасливым лесным зверьком, открывается животное ощущение бытия с его бо́льшим, чем у человека, «блаженством чувственной жизни», с отсутствием того разрыва и боли смертного «я», которое несет с собой сознание личности. Или из лона звериного царства раздается зов окончательно вернуться в него, уйти от людей. Но сомкнуться с этим, пусть по-своему гармоничным и цельным, невинно-бессознательным уровнем уже не дано человеку, да он и не может этого хотеть. Трудный и узкий, царский путь человека — другой. Главное для автора «Белки» — эволюционное стремление жизни к сознанию, духу, творческому преображению и мощные противоборствующие силы, действующие изнутри самой природы человека. Мысль о промежуточности этой природы, животной и духовной одновременно, с ее обреченностью закону вытеснения и борьбы и вместе открытой в бесконечность духовного развития, способной к самопревосхождению, стара и, пожалуй, принята уже всеми. Она образно решена в романе как соединение в каждом звериной сущности (того или иного зверя) с человеческим началом. По существу, все персонажи вплоть до едва промелькнувших предстают как люди-зверушки. Какие только твари не разгуливают на страницах «Белки»: моржихи и свирепые доги, стареющие фокстерьеры и мордастые гиппопотамы, рыхлые бобры и тигрицы! Этот оборотный лик, разумеется, не определяет человека целиком. Каждый раз тут воплощается некая низменная животно-страстная черта, тот потаенный «крючочек», каким цепко держит человека его эволюционное, звериное прошлое.

В романе Кима своеобразно возрождается символико-морализаторская традиция восприятия животных, которая пышно расцвела, начиная с древнего сборника сведений о животных, так называемого «Физиолога», и вышедших из него бесчисленных средневековых бестиариев. Их подход являл лишь одну сторону христианского отношения к природным существам. Так, житийная литература умела отметить великодушной печатью личностности каждую тварь; более того, как бы сняв с нее коросту общего с человеком (или, точнее, последовавшего за ним) грехопадения, предвкусить сердцем райское благоухание будущего собора всей твари. (Подобный взгляд в трансформированной, обмерщвленной форме мы встречаем у Заболоцкого и Пришвина.) Здесь популярны истории дружеского взаимопонимания человека и животного, когда, к примеру, вороны доставляют пищу подвижникам, а те ухаживают за ранеными дикими зверями, волк спасает останки святого, а Франциск Ассизский, как известно, проповедует птицам и тем же волкам...

Животные в бестиариях воспринимались иначе: каждое в своей телесной

уникальности и сущности являло чувственную эмблему какой-то идеи и потенции бытия, находимых затем в человеке как микрокосме. И описание форм и свойств животных, нагружаясь оценочным, нравственным смыслом, служило прежде всего аллегорическому представлению тех или иных сторон человеческого характера. Такое проецирование качеств зверя из природы наружной в глубь человеческой души в романе Кима идет непрерывно.

Роман разворачивается как воспоминание главного героя, называющего себя то Белкой, то просто …ий (окончание его человеческого имени), о судьбе четырех друзей-художников, включая его самого. При этом мы вместе с Белкой, обладающим еще и даром перевоплощаться в людей, вселяемся то в одного, то в другого, погружаемся в их внутренний мир, в отдельные эпизоды жизни. Путешествует рассказчик в пределах земного существования своих героев то вперед, в то, что будет и чем кончится, то назад — в корни и начала, а то и выходя за эти пределы, впуская голоса «оттуда». Рассказывают все четверо, более того, их голоса часто перетекают друг в друга иногда в пределах страницы, а то абзаца и фразы, создавая некую единую душу дружеского коллектива, объединенного любовью, талантом единым стремлением и близкой судьбой. Становится очевидным, что истинный герой здесь и есть эта особая интеграция четырех жизней и личностей, некая клеточка универсального «мы», человечества бывшего, настоящего и будущего, что философским лейтмотивом зачалась еще в предыдущей повести Кима «Лотос». Трое к началу повествования — Митя Акутин, Жора Азнаурян и Кеша Лупетин — уже ушли из жизни, каждый по-своему пав жертвой того, что здесь названо заговором зверей, оборотней.

Смысл и глубина заговора раскрываются далеко не сразу самому рассказчику, а с ним и читателю. Мы узнаем, что еще в самом начале учебы герой случайно подслушал разговор их преподавателя, авторитарного и бездарного академиста, с директором училища (звериная ипостась их тут же была опознана в виде двух матерых росомах), где фигурировали в некоем загадочном списке фамилии четырех друзей. Только значительно позднее, когда на свете из четырех остался он один, …ий понял, что всем им был подписан приговор по высшей мере: уничтожить! Ибо главной их «виной» и «преступлением» была принадлежность к породе не людей-зверей, а истинных людей, вызревающих в человечестве, тех, кем движет идеал творчества мира и самих себя. Люди-звери, напротив, утверждают неизменность природы человека, фатальную ее обреченность на несовершенство, эгоизм, ненависть, взаимное вытеснение и смерть, на этом строя свой корыстный уклад существования. Заговор зверей — это попытка наиболее организованной, сознательно утвержденной во зле и насилии части оборотней уничтожать все грозящие их укладу побеги нового сознания, конкретно всех тех, кто наиболее активно стремится участвовать в Стройке высшей человечности.

Есть эпизод в «Белке» такого же типа, как в «Плахе», духовные диалоги-поединки (Авдия с Гришаном, Христа с Пилатом), где позиции выявлены особенно четко. Здесь Жора Азнаурян, сломленный любовью женщины-львицы, австралийской мультимиллионерши, потерявший художественный дар в золотой клетке, куда заперла его эта любовь, ведет спор с неким всесильным Старцем (через его контору он надеется вернуться на родину). Место действия экзотическое — Индонезия, фешенебельный особняк, обнаженная прислуживающая гетера — впрочем, не столько экзотическое, сколько выдержанное в насыщенном колорите того суперкомфортабельного потребительского «рая», бесконечно льстящего временной и иссякающей чувственности живущих (пока живы!), в который с головой окунулся бывший бедный студент. И вот наш герой всеми силами рвется из этого «рая», давно уловив горько-гнилостную основу всех его сластей и глубже — стоящий за ним вполне определенный фундаментальный выбор. В чем же он состоит? Его достаточно ясно формулирует Старец: «Для человека ничего не откроется нового, он уже все испытал, что должен был испытать, он завершился, и тайн больше для него нет». (Закономерно, что в тех же словах выражается и айтматовский Гришан: «…ничего в человеке не изменилось после Голгофы».) Еще и еще раз повторяется эта «истина», уже иронически, устами самого Георгия, который говорит о той половине самого себя, которая подпала под ее злостное очарование: «Миллионер, так же, как и вы, любит старого Экклезиаста, во всем согласен с ним, и в самом главном тоже: ничего нельзя изменить в человеке, ни в человеческой жизни. Все будет так, как было. Разве что удобства добавятся в этой печальной жизни. Удобства — это главное, не правда ли?» Итак, выбор этот — в обожествлении того, что есть, природной данности, в том числе нынешней природы человека, ее границ, ее закона. Все мы люди, человеки, с такой-то организацией, материальными отправлениями (еда, выделение, половой акт), сопряженными с удовольствием, которое можно различными способами усиливать, изощрять, обострять. Конечно, не обходится без более менее утонченного культурного оперения. Ведь вышеупомянутые природные, земные потребности включают и потребность — ведь не скоты же мы! — помыслить, поспорить, пообщаться с друзьями, пописать, порисовать, пособирать что-нибудь красивое, диковинное, попу-

тешествовать, приобщиться, глазея, к культурным сокровищницам… Так и наш Жора несколько лет ублажал свои «потребности» по высшей избранной категории. А тот же Гришан вполне логично предлагает наиболее слабым и безвольным утехи своего «искусственного рая»: «За неимением иного счастья кайф его горький заменитель». Да что там этот хромоногий мелкий бес, изуверившийся от наркомании, когда такая ученая знаменитость нашего века, как Зигмунд Фрейд, «научно» заперший человечество в природном Роке, в неизбывном детерминизме отношении внутренних психических сил, признавая нелепым самый вопрос о цели жизни человека и человечества, мог лишь скромно отослать нас к ряду «методик защиты от страдания», среди которых не исключалось и умеренное использование всяких химических воздействий, «меняющих условия нашей эмоциональной жизни»: «Действие наркотиков в борьбе за счастье и для устранения несчастья признано как отдельными людьми, так и целыми народами настолько благодетельным, что они заняли почетное место в экономии их либидо» («Неудовлетворенность культурой»).

Самые «мудрые» знают при этом, что «все суета сует и всяческая суета», а уж кто попроще, те исповедуют: «Летай иль ползай, конец известен, все в землю лягут, все прахом будет». И унавоживает это видение всеобщего жирного праха самое живучее, неистребимое, стелющееся ближе к осязаемым земным благам племя — мещанство. «…А сущность оборотня, которого столь мирно называют мещанином,— рассуждает в другом месте романа Белка,— составляет то, что средоточием, высшим смыслом его бытия является у него кишка, и основой его извечной тревоги — пустота в желудке», и уж из этой «серьезной желудочной озабоченности» и рождается их дикая пробивная энергия, сметающая все и вся на своем пути. И Авдий, которого Айтматов наделяет даром постоянной моралистической рефлексии с ее склонностью к типизациям и обобщениям, не обходит «незыблемый мир обывателя», стоящего по его «формуле» на трех китах массового сознания: «соблазне обогащения, подражании тотальному подражанию и тщеславии».

Вернемся, однако, к диалогу со Старцем. Георгий в споре с ним высказывает свою веру, «веру в то, что человек непременно преобразится. И мало того — именно сейчас, в наши дни, мы как никогда понимаем, что без этого преображения людям попросту невозможно, другого пути у них нет». Или выбор ноосферного идеала, «стройки человеческой», «веселого и деятельного труда возведения стен будущего», «длинной лестницы, по которой человек в тебе карабкается к небу», или срыв с нее «в свой звериный рай бесконечного насыщения желудка, оттягивая куски друг от друга», на закликивание в своей промежуточной природе, столь противоречивой и подверженной злу, что оно может привести лишь к разрыву человека, его самоуничтожению.

Вопрос о природе человека, корнях зла в ней в романе Кима — самый главный и мучительный. Ибо одно дело — родить самый высокий, сияющий красотой, всеобщим умиротворением и блаженством идеал, а другое — способен ли человек его осуществить? Мысль автора о человеке мечется на пределах сомнения и даже отчаяния. А одним из недавних массовых разгулов зла представлен в романе полпотовский геноцид в виде притчи об острове, «где началось обратное развитие из человека в животное», часть жителей «стала постепенно превращаться в серых крыс», предавшихся организованному, «идейному» человекоедству.

Митя Акутин, самый талантливый и чистый из четырех, особенно явно из нарождающейся породы истинных людей, гибнет будто бы случайно, подстреленный ночью одним из оборотней, человеком-кабанчиком. Митю писатель возвращает с того света, проводит сквозь смерть как новое рождение, когда целиком сходит с него эгоистическая «страстная» человеческая кожа и он обретает дар проникать в душу людей и вещей, путешествовать по всем временам и вселяться в любого когда-либо жившего человека. Но зачем ему это надо? Что еще хочет он понять? Да все то же — «кто мы?», не ошибка ли творения, двусмысленная и безобразная? В своем перемещении по эпохам и судьбам он останавливается именно там, где боль, трагедия, грань злого, преступного, садистского в человеке.

На примере судьбы Кеши Лупетина особенно отчетливо проступает мысль, что душевные недра человека отравлены «паразитными яйцами будущего вырождения», психическим дисбалансом переходного существа, откуда при неблагоприятных условиях вырываются силы безумия и разрушения. Грубая и примитивная схема заговора «оборотней» отступает перед намного более глубоким и верным ви́дением. А в эпилоге уже прямо вступает авторский голос (как бы свернуто «сказочное» представление и нам дается конечный «урок» его): «Он (Белка.— **С. С.**) хотел раскрыть мировой заговор «оборотней», спасти человеческую репутацию от навета и клеветы, а между тем не смог понять, что заговор таится в нем самом, как в каждом человеке, и никто из нас не смог в одиночку справиться с этим заговором, так же как и с процессом собственного старения». «Родовые муки» очеловечивания корежат весь род людской, и всякие отлучения каких-то безнадежно отставших людей-зверей, «оборотней» (кто будет решать и выбирать «достойных»?!) только, может быть, бо-

лее всего могут помешать благополучию конечного результата.

Не моралисты и проповедники, как в «Плахе», а люди яркого творческого склада, полагающие главные надежды на активное преображение самой природы человека, являют в «Белке» тип высшего человека. Однако в полном своем объеме этот истинный Человек, которым так стремится стать главный герой, скорее идеал, чем осуществленная реальность. Таким идеалом отчетливо предстает и тот постоянный адресат, к которому и обращена вся исповедь Белки, словом, вся книга. Это некая «бесценная», «дорогая», возвышенная возлюбленная, своего рода Муза лирических и философских странствий героя, его блужданий и прозрений. Эта «бесценная» уж никак не из породы реальных земных женщин. Вся тщета плоти, оскорбительная физическая деградация («из розы в старый чулок») не властны над ней, она — из бессмертных, то вечно женственное начало, Прекрасная дама, которая какими-то эротически-сублимированными, духовными токами и энергиями влечет к вершинам новой человечности.

Творчество во всех своих формах движимо волей к бессмертию. Преодоление смерти — вот тот центральный, самый чуткий, отзывающийся в каждой клеточке художественного целого *нерв* романа, по которому движутся самые необходимые чаяния коллективного МЫ «Белки». «Кто, собственно, так буйно и горько протестует? Кто столь неистово и окончательно отвергает саму закономерность смерти?» — звучит вопрос, разрешаясь пониманием: «Это я...». Только «я», личность, уникальное самосознание не приемлет своего уничтожения. Точнее говоря, уничтожение человеческого «я» ощущается как трагическая катастрофа, ставящая под сомнение разумность всего порядка вещей. Сколько таких сомнений выливается в романе в настоящий поэтический плач, высокий и патетический, над этим миром, где цветение неизбежно оборачивается гниением, красота — преходящим миражем, царит дурная бесконечность порождения индивидуальных явлений и их исчезновения в каком-то гигантском, равнодушном чреве природно-космического Целого!

Что же может противостоять вечной текучести, исчезновению и разрушению, так неприемлемо тягостному, ибо проецирует твой будущий упадок и исчезновение? Мальчиком Митя Акутин на уроке нарисовал благоухающую за окном ветку сирени, на следующий день куст увял, а его художественный двойник так и застыл в прекрасном остановленном миге вечного цветения. О, искусство, эта идеальная выжимка смертной жизни, эта нетленная галерея навечно запечатленных мгновений, лиц, вещей, положений,— как оно влечет героев Кима! Влечет, но не становится тем не менее высшим цветом и оправданием природного бытия. Однако искусство не только кристаллизация текучих, преходящих жизненных форм в прекрасные и вечные, «воскрешение» бывшего и жившего, но и прощупывание невиданного, создание новой реальности.

Искусство — модель творения, осуществляющаяся пока в узких пределах идеально существующей художественной вещи; и как всякая модель — лишь схематическое предварение творчества самой Жизни. Так чувствует высшую его задачу Митя Акутин. Его возвращает к жизни прежде всего нереализованность себя как творца, то прорвавшее и могильный саван, и толщу земли *волнение* организма художника (входящее составной частью в то, что называется вдохновением), которое в конечном итоге должно воплотиться в произведение.

Воскресший Акутин открывает «способ живописи в пространстве»: раздвинув свою творческую власть за пределы картона и холста, он рисует прямо в воздухе, реализует свои видения, фантазии, мечты, развивает в себе Вечного Живописца, каким должен стать, по его мнению, каждый. Это, конечно, лишь образ или скорее прообраз возможности как бы волнового овладения свето-воздушной средой, работы над преображением самой материи.

«Красота спасет мир» — это значит, придет время... и художник будет не только мечтателем, как теперь. Он будет осуществителем личного и красивого в жизни... Как сохранить силу творчества до решимости схватиться с самой смертью?» — эти слова Пришвина родственно перекликаются с самыми заветными стремлениями героев-художников «Белки». Последний выбор и вопрос для них ставится так: «Будет ли каждый Вечным Живописцем, т. е. Творцом мира в красоте... или умрут последними палачи?» Только бесконечное творчество, питаемое *любовью* — как новым восторжествовавшим над вытеснением и ненавистью принципом связи всего со всем,— может стать источником нескудеющего бытия, и прежде всего личностного. МЫ, это идеальное соборное единство человечества, говорящее в романе голосами ушедших из жизни, с особой, какой-то плодотворной тоской глядит не куда-то *туда, туда*, в надзвездные дали безличного, духовного бессмертия, а назад, «в свою прошлую окаянную жизнь». «И с горних высот вечного разума» душа тоскует по «земному Дому», который и есть «утраченная жизнь», распавшаяся уникальная личность. «Человек призван возвестить великую смену смерти бессмертием» — вот последнее прозрение Белки, к концу романа окончательно превратившегося в человека (правда, ценой убийства своей животной «сестры» — белки). Как некогда Адамов первенец совершил первоубийство на Земле и с него началась собственно человеческая история, так и

Белка с «кривой улыбкой Каина» на устах родился человеком. Да, только обычным, смертным, позволяющим себе убивать и вытеснять, вольно и невольно, человеком, а не тем высшим и истинным, о котором он мечтал. Именно в этом разрешении себе «убий!» видит писатель одно из главных препятствий на пути обретения новой природы. Об этом он говорит в Эпилоге, где наконец сводятся логические, ценностные концы его непростой и прихотливой сказки. «Присвоение бессмертия оказалось делом невозможным для существ, которые только и могли, что присваивать да отнимать... и все же придет другой мир, в котором никто никогда не сможет убивать»; «...чтобы смерть перешла в бессмертие, является необходимость каждому сотворить свою жизнь по-человечески» на путях радикально новых средств, из которых решительно будет изгнано насилие и убийство.

Когда в споре с Белкой художник Павел Шуран призывает его осознать грозящее «бессмысленное самоуничтожение человечеством самого себя» и призывает к каким-то немедленным действиям, Белка отвечает на это: «Для каждого живого существа его смерть и есть водородная бомба. И так как этого все равно не миновать — чего же тут особенно страшиться?» Герой следует здесь логике нетривиального и смелого мышления: он видит глубинную соотнесенность индивидуальной смертности и угрозы родового самоуничтожения человека, так что по-настоящему радикальная борьба против такого самоуничтожения должна включать в себя и борьбу против смерти вообще — главного зла, источника нигилизма в человеке — с признания ее недостойным человека фактом, высшим оскорблением личности.

Исследование отношений эволюционной триады зверь — человек — высший Человек вводит в литературу наших дней ноосферное видение, элементы которого так актуальны в поисках положительной альтернативы нынешней ситуации угрозы общечеловеческого самоубийства. Литература умеет идти смело впереди реальности, давая ей новые мировоззренческие ориентиры. Она убеждает нас: мало заботиться сегодня о сохранении мира и природы, о выживаемости человечества, необходимо *восходящее* движение, ибо человек будет жить, только «стойко и неуклонно» работая «для накопления всеобщей энергии добра», только выполняя свое предназначение сознательного авангарда жизни, ответственного за все живое на Земле.

В. ВИЛЕНКИН

«В сто первом зеркале»: новые страницы

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ

Моя книга об Анне Ахматовой «В сто первом зеркале», которая постепенно складывалась как бы сама собой на протяжении семнадцати лет (разумеется, одновременно с другими работами), долгое время казалась мне нереальной в смысле возможности ее издания. Много лет она оставалась известной только довольно узкому кругу литераторов и деятелей театра. По инициативе К. М. Симонова и благодаря активному содействию известного литературоведа и редактора Л. И. Лазарева отдельные главы удалось опубликовать хотя бы в извлечениях в журнале «Вопросы литературы». В 1982 году, то есть еще в период так называемого «застоя», первая, преимущественно мемуарная, часть этой книги, каким-то чудом уцелевшая, хоть и порядком покалеченная красным карандашом цензуры всех рангов, вошла в мои «Воспоминания с комментариями». Впрочем, книга эта, несмотря на ряд вполне положительных рецензий, была тут же яростно осуждена тогдашним Госкомиздатом в негласных циркулярах, разосланных по издательствам и редакциям без уведомления автора (так осуществлялось прямое очернительство за спиной). Руководители издательства «Искусство» и мой героический редактор Вилена Евгеньевна Шац, как говорится, хлебнули при этом немало горя. Однако другое издательство — «Советский писатель» — в тот же самый «застойный период» решило опубликовать мою книгу «В сто первом зеркале» в ее почти полном составе. Без этого «почти» обойтись тогда было невозможно, хотя речь шла о некоторых существенных страницах воспоминаний и анализа. К чести издательства надо сказать, что ряд цитат из лирики Ахматовой и «Поэмы без героя» удалось восстановить вопреки обычным правилам на самой последней стадии подготовки книги к печати (в сверке). Практика полной гласности и раскрепощения литературы еще только начинала входить в силу.

Второе издание книги, предпринимаемое «Советским писателем» к 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой, оказалось необходимым не только потому, что первое мгновенно разошлось, но и потому, что теперь оно наконец может стать полным.

Для предварительной журнальной публикации, предложенной мне редакцией «Октября», мною выбрано несколько фрагментов, не связанных между собой, но, как мне кажется, существенно важных для раздела «Встречи с поэтом» и особенно для второй, аналитической части книги, где говорится о «Поэме без героя» и «Реквиеме». При этом иногда приходится напомнить читателю контекст главы уже известными ему строками первого издания.

К разделу «Встречи с поэтом»

1. Из рассказа о нашей первой встрече в доме известного ленинградского коллекционера И. И. Рыбакова летом 1938 года:

...Принесли, разложили на столе и «ахматовскую иконографию». Когда Анна Андреевна брала в руки то маленькую камею со своим изображением, то «статуэтку Ахматовой» работы Наталии Данько, то какой-нибудь уникальный графический портрет, с полным равнодушием кладя потом эти вещи обратно «в коллекцию»,— все это наше занятие со стороны могло бы, вероятно, показаться каким-то очень странным парадоксом. Тогда мы не знали, что вот такую же «статуэтку Ахматовой», чудом сохранившуюся у нее, она не так давно продала, чтобы на эти деньги съездить в Москву повидаться с Осипом Мандельштамом, самым близким ей поэтом, который был арестован в день ее следующего приезда. Не знали мы тогда, вернее, еще не успели узнать, что 2 мая 1938 года Мандельштама арестовали второй раз и что в это время сын Ахматовой и Гумилева «сидел на Шпалерной уже два месяца», как сказано в ее позднейших воспоминаниях. В тех же воспоминаниях, между прочим, уточняется судьба вышеупомянутой уникальной статуэтки: ее «купила С. А. Толстая для Музея Союза писателей» [1].

2. К записи из моего дневника:

«23 февраля 1947. Приехал из Ленинграда. В. И. [Качалов] расспрашивал подробно об Ахматовой. Все время о ней думает».

Последняя запись связана с тем кошмаром, который обрушился на наши головы в августе 1946 года в виде знаменитого доклада Жданова и постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это была беспримерная по жестокости и цинизму гражданская казнь, постигшая по какому-то труднообъяснимому указанию именно Ахматову и Зощенко,— конечно, в назидание и устрашение всей «художественной интеллигенции». Василий Иванович Качалов переживал этот погром почти физически-болезненно, впадал по временам в беспросветный мрак и даже избегал разговоров на эти темы. Почти так же остро реагировали на события О. Л. Книппер-Чехова, Н. Н. Литовцева, Л. М. Коренева (других стариков театра уже не было тогда в живых) и вся лучшая молодежь МХАТа.

Ольга Леонардовна писала мне из Крыма в конце сентября 1946 года:

«Чувствую Ваше настроение в связи с «событиями» — ох, сколько поговорить надо!.. Воображаю, что творится в театре! Последуют ли новые измышления? Куда направлены «умы»? Читаю газеты...»

Большинство «умов» в театре было «направлено» на совсем другие, чисто театральные дела. За некоторыми исключениями «события» мало затронули так называемое «среднее поколение» актеров и режиссеров. А вот наши студийцы — те с ужасом и недоумением спрашивали: что же это такое?! Ведь совсем недавно они принимали Ахматову, вслед за Пастернаком, у себя в Школе-студии, готовились к этому как к празднику; волнуясь, читали ей ее старые стихи и с восхищением слушали из ее уст новые, спорили о том, что это — «классика» или «современная лирика»...

Тогда еще не было возможности объяснить им происходящее эксцессами «культа личности». До этого было еще очень далеко.

На этом чтении в Школе-студии Ольга Леонардовна присутствовала. Помню, как она подошла к Ахматовой, чтобы не то познакомиться, не то возобновить старое знакомство, а главное, конечно,— сказать спасибо за только что услышанные дивные стихи. И тут же как-то очень попросту, совсем не «светски», вероятно, именно от искренней своей взволнованности потащила чай пить в соседнюю комнату: «Говорят, там нынче пирожными угощают, пойдемте». Но контакта почему-то не получилось. Анна Андреевна ответила холодновато-вежливым: «Благодарствуйте»,— и никакого дальнейшего общения не последовало.

Василий Иванович, конечно, заранее был мной извещен о приглашении Ахматовой в Школу-студию, очень мечтал об этом дне, но заболел и прийти не смог.

3. В Фонтанном доме я у нее потом бывал несколько раз, начиная с зимы 1946—1947 годов,— каждый раз, как приезжал в Ленинград. Особенно мне запомнился первый мой приход к ней после катастрофы 1946 года.

...Во внутренний двор Шереметевского дворца нужно было проходить через две двери (тамбур) центрального подъезда. В основном здании находился Институт Севера. Чтобы пройти к Анне Андреевне, теперь нужно было не только сказать вахтеру или дежурному, к кому ты идешь, но требовалось оставить ему паспорт. Его возвращали только при выходе обратно, на улицу.

...И опять, как семь лет назад, мы пили кофе, только на этот раз Анна Андреевна извинилась, что придется без сахара.

...Я заговорил о ее стихах,— конечно, не о новых, посмел ли бы я в тот момент! — а о прежних, о напечатанных; стал их вспоминать. Почему и зачем — до сих пор не понимаю, попросил подарить мне на память какое-нибудь стихотворение, написанное ее рукой (никогда в жизни не был собирателем рукописей). Реакция на эту просьбу была такая, какой я меньше всего мог ожидать. Она побледнела, приложила палец к губам и проговорила шепотом: «Ради бога, ни слова об этом. Ничего нет, я все сожгла. И здесь все слушают, каждое слово». При этом она показала глазами на потолок...

Анне Андреевне нужно было выйти из дому — куда-то не то на Литейный, не то на улицу Некрасова, к каким-то знакомым. Она меня попросила ее проводить, прибавив, опять шепотом: «Только на улице не будем разговаривать». Когда я уже подавал ей пальто в передней, она вдруг попросила меня минутку подождать и, вернувшись из своей комнаты, быстро протянула мне какой-то сложенный вчетверо лист бумаги, опять приложила палец к губам, молча показала рукой, чтобы я спрятал его в карман. «Это единственное, что осталось. После прочтете»,— тихо сказала она уже на лестнице. Мы шли молча по набережной Фонтанки, до Пантелеймоновской, простились где-то на Литейном. Несколько раз по пути она оглядывалась, словно проверяя, не идет ли кто за нами. Мне это было знакомо. Точно так же ходил со мной бывало по Гоголевскому бульвару Булгаков. Вернувшись в гостиницу, я, не раздеваясь, развернул листок, ко-

[1] А. Ахматова. Листки из дневника. Рукопись. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей, ф. 1073, № 81. В дальнейшем ссылки на этот фонд даются в тексте с указанием «ГПБ».

торый она мне подарила. Это было стихотворение «А ты теперь, тяжелый и унылый...», написанное карандашом, со следами давней работы: есть слова вычеркнутые, есть и вписанные. Справа наверху чернилами выведены две печатные буквы: Б. А., которые я сразу разгадал как посвящение Борису Анрепу, ее близкому другу, в книгах отсутствующее (в новых изданиях оно упоминается в примечаниях). Дата внизу — «22 июля 1917, Слепнево» (в сборнике стихов «Бег времени» —1916— очевидно, ошибка памяти Анны Андреевны). С левого края листок обгорел, как будто в последний момент был выхвачен из огня. Уехав за границу совсем молодым, художник Б. А. Анреп стал там известным мастером мозаики. В одной из его монументальных многофигурных работ, украшающих вестибюль лондонской Национальной галереи, угадывается облик Анны Ахматовой.

4. Из дневника: «22 июня 1961.

...Второй раз у А. А.—11 июня.

Опять сразу — стихи. «Бег времени» — два коротких стихотворения под этим названием, но так должна называться и вся книга, «последняя, седьмая, которой никогда не будет» [1].

Еще одно — «Прав, что не взял меня с собой...». О том, что хорошо, что не уехала тогда,— зато здесь стала «вьюгой», «ночной бессонницей», еще чем-то, еще чем-то (природа русская и поэзия), а то бы вернулась, увы, постаревшей парижанкой. И последнее, потрясающее, которого не могло не быть после «Огонька». (В журнале «Огонек» за 1950 год был опубликован цикл стихотворений «Слава миру», которым Анна Андреевна пыталась спасти сына, опять находившегося в лагере.)

...Не за то, что я чиста осталась,
Словно перед Господом свеча,—
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы-палача.—
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Все прочитала по моей просьбе второй раз. И без перехода: «Ну, что же произошло за отчетный период?»

5. В сборнике Ахматовой «Бег времени» стихотворение «Воронеж» 1936 года (впервые с инициалами посвящения «О. М.») было напечатано полностью, с завершающей его строфой:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

Из поэтов она была единственной, кто туда приехал навестить О. Э. Мандельштама. О приезде Пастернака он только мечтал и писал ему об этом.

Те же инициалы «О. М.» проставлены на листке со стихотворением «Немного географии», который Анна Андреевна дала мне в Комарове летом 1963 года, сказав, что это последние ее стихи, которые узнал от нее Осип Эмильевич:

Не столицею европейской
С первым призом за красоту —
Душной ссылкою енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Атбасар,
Пересылкою в лагерь Свободный,
В трупный сумрак прогнивших нар —
Показался мне город этот
Этой полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными — и тобой.

1937

6. ...Были у нас разговоры и о гибели Гумилева. Анна Андреевна была убеждена в его полной политической невиновности, в том, что он был непричастен к активной контрреволюции. Она верила в то, что правда о нем в конце концов непременно восторжествует и что будет это скоро (она считала, что где-то уже давно это знают, но не предают гласности). И еще помню, как она сказала: «Выдумывают о нем много. А в чем состоит правда о нем? Писал прекрасные стихи, храбро воевал и погиб бесстрашно».

В 20-х годах она много сделала для того, чтобы собрать воедино все рассеянное по частным архивам его поэтическое наследие, а также воспоминания о нем,— главным образом с помощью П. Н. Лукницкого, Л. В. Горнунга и М. Л. Лозинского.

Из главы о «Поэме без героя» и «Реквиеме»

...Но вот наконец пронеслись последние отзвуки «адской арлекинады», «петербургской фантасмагории», ворвавшейся из 1913 года в одинокую новогоднюю ночь 1940—41-го, в Фонтанный дом. И еще раз помянув недобрым словом ее корифея — «старого Калиостро», «изящнейшего сатану», «кто не знает, что совесть значит и зачем существует она», (строчки, как-то связанные с обликом поэта М. А. Кузмина), автор, как бы очнувшись от сна, возвращается в привычную неизбывную тишину:

Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

Что же рождается в этой тишине, беззвучно — до времени — ее наполняя? Не «пропущенные» ли строфы, на которые мы вдруг наталкиваемся во второй части поэмы — в «Решке»?

Они обозначены во всех, кажется, экземплярах машинописи, подписанных автором, девятью строками точек, что

[1] Книга «Бег времени» вышла в 1965 году (последнее прижизненное издание стихотворений Анны Ахматовой, стоившее ей очередного инфаркта: из него было исключено, по ее словам, около 700 стихотворных строк).

объясняется в примечаниях ссылкой на «подражание Пушкину», который, как известно, сам ссылался на подражание Байрону, объясняя читателям «пропущенные строфы» «Евгения Онегина». В своем примечании Ахматова, естественно, ограничилась лишь одной фразой Пушкина, она цитирует только его ссылку на Байрона: «см. «Об «Евгении Онегине»: «Смиренно сознаюсь также, что в «Дон Жуане» есть две выпущенные строфы». Выше в статье Пушкина 1830 года, точное название которой — «Опровержение на критики», написано по этому поводу следующее:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию. Что есть строфы в «Евг[ении] Онег[ине]», которые я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означается место, где быть им надлежало. Лучше было бы заменять эти строфы другими или переправлять и сплавливать мною сохраненные. Но виноват, на это я слишком ленив». Далее следует приведенная Ахматовой фраза о «Дон Жуане» Байрона.

В экземпляре 1946 года, тогда же подаренном Анной Андреевной Ф. Г. Раневской, краткая вводная ремарка к «Решке» кончается фразой: «Автор говорит о поэме «1913» [1] и о многом другом». Впоследствии ремарка эта разрослась в объеме и, сохранив свою прозаическую форму, вошла в самую ткань поэмы. «Многое другое» оказалось в ней лирически, а потом и эпически развернутым.

«Место действия — Фонтанный Дом. Время — 5 января 1941. В окне призрак оснеженного клена. Только что пронеслась адская арлекинада тринадцатого года, разбудив безмолвие великой молчальницы-эпохи и оставив за собою тот свойственный каждому праздничному или похоронному шествию беспорядок — дым факелов, цветы на полу, навсегда потерянные священные сувениры...

В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки «Реквиема».

О том, что в зеркалах, лучше не думать».

В архиве Ахматовой среди отдельных листов и листков, как будто объединяемых заголовком «Из дневника» и авторскими датами (1959—1962), есть такая запись о «Поэме без героя»:

«...Там в Поэме у меня два двойника. В Первой части — «петербургская кукла, актерка», в Третьей — некто «в самой чаще тайги дремучей». Во Второй части (т. е. в «Решке») у меня двойника нет. Там никто ко мне не приходит, даже призраки («В дверь мою никто не стучится»). Там я такая, какой была после «Реквиема» и четырнадцати лет жизни под запретом («My future is my past» [1]), на пороге старости, которая вовсе не обещала быть покойной и победоносно сдержала свое обещание. А вокруг был не «старый город Питер», а послеежовский и предвоенный Ленинград — город, вероятно, еще никем не описанный и, как принято говорить, еще ожидающий своего бытописателя.

31 мая 1962».

На другом листке тех же записей «Из дневника» читаем:

«И наконец произошло нечто невероятное: оказалось возможным раззеркалить ее, во всяком случае, по о д н о й линии. Так возникло «Лирическое отступление» в Эпилоге и заполнились точечные строфы «Решки». Стала ли она понятнее — не думаю! Осмысленнее — вероятно. Но по тому высокому счету (выше политики и всего...) помочь ей все равно невозможно. Где-то в моих прозаических заметках мелькают какие-то лучи — не более.

18 дек. 1962» [2].

В архиве поэта хранятся и текст пяти «пропущенных строф» «Решки» (я их знал давно — от автора), и указание, в каком порядке они должны идти одна за другой (первая из них впервые напечатана в «Избранном» Анны Ахматовой 1974 года). Вот эти строфы, следующие за «Тишиной», или, вернее, ею рожденные (есть у Ахматовой такой набросок стихотворения — «Мне безмолвие стало домом // И столицею — тишина // ... немота»):

9

И со мною моя «Седьмая» [3],
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.

10

Видят все, по какому краю
Лунатически я ступаю,
Как по шелковому ковру.
И проходят десятилетья —
Войны, смерти, рожденья. Петь я
[Вы же видите, не могу]

. . . .

Буду петь, пока не умру [4].

10-в

Торжествами гражданской смерти
Я по горло сыта. Поверьте,
Вижу их, что ни ночь, во сне.

[1] Первоначальное название первой части.

[1] «Мое будущее — это мое прошлое» (англ.). Ср. эпиграф и «Решке».
[2] ГПБ. № 194. Два слова подчеркнуты А. А. Ахматовой.
[3] «Седьмая» — Ленинградская элегия автора, еще не написанная». (Примечание А. Ахматовой.)
[4] 10-я строфа осталась в данной рукописи незавершенной. Известен другой ее текст:
Враг пытал: а ну, расскажи-ка,—
Но ни слова, ни стона, ни крика
Не услышать ее врагу.
И проходят десятилетья:
Пытки, ссылки и смерти. Петь я
В этом ужасе * не могу.
* Были варианты: «Сами знаете», «Сами видите».

Отлученною быть от ложа
И стола[1] — пустяки! Но негоже
Выносить, что досталось мне[2].

10-б

Ты спроси у моих современниц,
Каторжанок, «стопятниц», пленниц.
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

10-в

Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором,
Мы, увенчанные позором:
«По ту сторону ада мы»[3].

Перед строфой 10-б («Ты спроси у моих современниц...») в одной из рукописей «Решки» дана прозаическая ремарка, заключенная в скобки:

(«Вой в печной трубе стихает, слышны отдаленные звуки и какие-то глухие стоны.

Это миллионы спящих женщин бредят во сне».)

Эта ремарка потом была расширена на отдельном листе среди разрозненных материалов к поэме (проекты титульного листа, варианты некоторых строф и др.): «(Грохот в печной трубе на минуту затихает, и до слуха зрителя (слушателя, читателя) долетают негромкие глухие звуки. Это,— вперемежку с голосом органа,— бред нескольких миллионов спящих женщин, которые и во сне не могут забыть, во что превращена их жизнь).

Ты спроси у моих современниц...».

Эта ремарка внутри «Решки», как видим, должна была перекликаться с другой, открывающей вторую часть поэмы: «В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки «Реквиема».

Реквием музыкальный сливается здесь с другим, стихотворным. Стоит припомнить любое стихотворение из «Реквиема» 30-х годов, а еще лучше — перечитать этот цикл от начала до конца (Ахматова, говорят, иногда называла его поэмой, но слово «цикл» не раз фигурирует в составленных ею перечнях), и связь его с «пропущенными строфами» «Поэмы без героя» станет совершенно очевидной. Связь настолько крепкая, что можно подумать: а ведь «Реквием» мог бы вобрать в себя эти строфы. Но и в «Поэме без героя» они, вероятно, не могли бы возникнуть без него. Строки, которыми Ахматова предваряет свой «Реквием», могли бы стать и эпиграфом к «Решке»:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Ее «Реквием» меньше всего нуждается в научных комментариях. Его народные истоки и его народный поэтический масштаб сами по себе ясны. Лично пережитое, автобиографическое в них тонет, сохраняя только безмерность страдания:

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

Или еще — о «невольных подругах» по ленинградским тюремным очередям страшного периода «ежовщины»:

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде.

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.

Подробный анализ фольклорных элементов (сплошная «заплачка» в некоторых частях, например) ничего существенного к этому не прибавит. Лирика в этом цикле стихов сама собой, без всяких умозаключений, превращается в эпос — настолько безраздельно слито в нем свое с общим, неискупимо трагическим уделом миллионов, с самой жуткой страницей нашей истории.

Среди рукописей ГПБ есть и такая, совсем коротхая (№ 56):

«13 декабря 1962 (Ордынка).

Давала читать R[equiem]. Реакция почти у всех одна и та же. Я таких слов о своих стихах никогда не слыхала. («Народные».) И говорят самые разные люди».

Не разыскано, кажется, до сих пор стихотворение под названием «Защитники Сталина». Но оно б ы л о. Фигурирует оно, в частности, на отдельном листе (ГПБ, № 85) в списке под общим заголовком «Стихи на случай». Содержание и интонацию этого неразысканного стихотворения нетрудно себе представить.

О «Реквиеме» как о спутнике «Поэмы без героя» тоже есть запись на одном из листков ахматовского архива: «Рядом с ней, такой пестрой, несмотря на отсутствие красочных эпитетов, и тонущей в музыке, шел траурный Реквием, единственным аккомпанементом которого может быть только Тишина и редкие отдаленные удары похоронного звона. В Ташкенте у нее появилась еще одна попутчица — пьеса «Энума элиш», одновременно шутовская и пророческая, от которой и пепла нет...

Ноябрь 1961. Больница. Гавань».

Когда я недавно нашел у себя текст этой записи, мне снова вспомнился тот давний разговор с Анной Андреевной, когда она мне сказала, что строчки о «тишине» в поэме — «это, может быть, самое важное».

[1] Как Евдокия Лопухина. (Примечание А. Ахматовой.)

[2] Вариант: «То терпеть, что досталось мне».

[3] Автограф этих строф за исключением 10-а («Торжествами гражданской смерти...») был недавно опубликован Л. К. Чуковской в журнале «Горизонт» № 4 за 1988 год.

Построение пяти «пропущенных строф» монолитно, несмотря на то, что они возникли не все сразу, а на протяжении по крайней мере целого десятилетия (1946—1956). Вместе со следующей за ними и завершающей тему 11-й строфой («Я ль растаю в казенном гимне...») они составляют своего рода строфическое кольцо, которое начинается с личного, переходит к общему и снова к своему, личному, возвращается. Своя судьба — судьба поэта — слита здесь с судьбой народной нераздельно. Отсюда и огромность впечатления, которое эти строфы оставляют именно в целом.

Но задержим свое внимание еще раз на строфе 11-й, не принадлежащей к «пропущенным», напечатанной во всех изданиях «Поэмы без героя»:

Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит — Судьба.

Строфа эта знаменательна, говорит сама за себя и не требует комментариев. И все же: почему, сколько бы раз я ее ни перечитывал, не могу при этом не вспомнить строки Мандельштама из широко известного его стихотворения 1937 года —

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите[1]
Вы на синего звона куски...

Что это? Случайная перекличка образов? Непредвиденное совпадение интонаций? У Ахматовой это бывает так редко... Но в ее воспоминаниях о Мандельштаме есть, между прочим, такое место: «О своих стихах, где он хвалит Сталина: «Мне хочется сказать не Сталин — Джугашвили» (1935?), он сказал мне: «Я теперь понимаю, что это была болезнь»[1].

Так не об этом ли «казенном гимне» идет речь здесь? И не один ли и тот же «венец», в сущности, они отвергают? Вот пусть мне и скажут, можно ли хотя бы не предположить здесь тоже какой-то скрытой связи «Поэмы без героя» с памятью о поэте, который был для Ахматовой едва ли не самым близким. А скрыта эта связь могла быть, по-моему, только для того, чтобы ее реальность не сузила главную тему «Решки», чтобы она не «заземлила» своей конкретностью «Поэмы смертный полет», о котором говорилось в одном из посвящений, «Третьем и последнем».

«Пропущенные» строфы должны были стать апогеем той «Второй» (ипостаси, поступи поэмы), о которой шла речь в ее «прозе о поэме». Здесь эта «Вторая» вступает в свои права и обретает полный голос. В конце 50-х годов это на миг показалось автору возможным, но тут же обернулось очередной обманутой надеждой. Теперь наконец осуществилось.

[1] Так — в рукописи, принадлежавшей Н. Я. Мандельштам.

[1] ГПБ, картон воспоминаний об О. Мандельштаме, № 81. Эти стихи о Сталине, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, были написаны в начале 1937 года. Уточнение даты здесь чрезвычайно важно. Это была, вероятно, последняя попытка уйти от гибели. Истинное же отношение поэта к Сталину, сыгравшее в его жизни роковую роль, было выражено им в ноябре 1933 года, когда он написал стихотворение: «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Неопровержимость Истин

•

Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. «Новый мир», 1988, №№ 8—11.

•

Ныиешиее наше время плохо приспособлено для всякого рода дифирамбов и панегириков примеиительно к чему бы то ин было. К литературе в том числе. Одиако о только что появившемся иа страницах «Нового мира» романе Юрня Домбровского «Факультет ненужных вещей» безотносительно к любым поветриям и веяииям говорить хочется все-таки в превосходных степенях...

Сегодия крнтикн и лнтераторы то и дело вспоминают пророчество булгаковского беса — рукописи-де ие горят. Вспомииают, имея в виду оспорнть его или же, что чаще, с ним согласиться.

По счастью, рукописи действительио редко исчезают бесследно. Как правило, они до читателя, иесмотря ии иа что, доходят. Тут оптимисты в общем-то правы. Но... они упускают из вида одно, весьма существеиное, прииципиальиое обстоятельство: своевремеиио ие увидевшие света, выпавшие, вернее, насильствеино вырваииые из коикретиого духовиого н времеииого коитекста произведеиия порой «горят» в том смысле, что оии как бы ветшают... Причем, происходит это отнюдь не только с произведеииями посредствениыми, проходиыми, но с вещами действительно иеордииарными. Лишь немиогим кннгам даио избежать подобной участи и дойти до читателя, ннчего ие растеряв и не утратиа. К категории такнх счастлнвых исключений и принадлежит «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского.

Прежде всего должно сказать, что роман этот, ставший фактическн главиым делом всей жизнн его автора (и пришедший к нам спустя десять лет после его нздаиия в Париже),— произведение многоплановое, глубокое, х у д о ж е с т в е н н о е в самом высоком, изначальном смысле слова.

Роман Юрия Домбровского состоит из двух книг, из двух взаимосвязаииых частей. Одна из них — вторая — и опубликована сейчас «Новым миром». Первая же часть, первая книга в виде отдельного самостоятельного произведения — романа «Храиитель древностей» — в 1963 году была напечатана все тем же «Новым миром», а затем несколькими годами позже вышла в издательстве «Советская Россия».

И вот, накоиец, в этом году в издательстве «Советский писатель» «Факультет» увнгит свет целнком.

Так что, думаю, правильнее будет взгляиуть не только на вторую кннгу романа, ио иа весь роман в том полном его вnде, в каком ои задумывался и создавался пнсателем, проследить движение сюжета, развитие действия с самого начала, с первых страниц...

Молодой фнлолог, нсторнк и археолог Зыбни прнезжает в середине трндцатых годов на работу в Алма-Ату. Зыбин страстно влюблен в свою профессню. Жизнь и археология, жизнь н нстория человеческой культуры для иего, по существу, одио и то же. С самозабвенной увлеченностью он трудится в тишине архивов н иа раскопках древнего города, участвует в организацнн местиого исторического музея н исследует загадку появления в Казахстане древних римских монет. Включается герой и в поиски таинствеиного гигантского удава, нсчезнувшего будто бы из гастролнрующего по Казахстаиу балагаиа н благополучио адаптировавшегося в иовой обстаиовке.

Покуда мысли н воображеине людей были заняты мифическим чудовищем (оказавшимся в коице коицов вполне безобидным, хотя и чересчур крупиым полозом), рядом с ними, вокруг них происходили события по-настоящему страшные. Ведь иа дворе-то стоял тридцать седьмой год. Тот самый тридцать седьмой, когда волиа террора и репрессий с головой захлестиула страиу. Честиых людей иа глазах нх соседей, родственников, друзей арестовывалн, обвиияли в совершеиии немыслимых, чудовищных по своей иелепости преступлениях, ссылали, сажали, расстреливали. И ничего... Открыто вершащееся беззаконие миогими воспринималось как нечто обыденное, само собой разумеющееся, не вызывающее особого ужаса. Во всяком случае, поиачалу. (Другое дело — мифический удав.)

Именио здесь, иа этом пересеченин зловещей действнтельиости и надуманного мифа, залегает один из многих скрытых этическнх пластов романа Ю. Домбровского, суть которого с полиым на то основанием можио определнть известным трюнзмом: «Сон разума порождает чудовнщ».

Может быть, повсеместно распространенный в свое время зловещий аллегорический плакатик «Ежовая рукавица» (словно бы ненароком, вскользь обрисованиый автором во второй книге), изображавший окровавленную, издыхающую змею, изничтожаемую твердой, карающей десницей в утыканной шипамн перчатке, и стал символом расплаты за духовную слепоту и легковерность, за падкость иа разного рода мифы и россказни? Ведь роль подлежащей истреблению змеи отводилась сталинским режимом в данном случае не просто абстрактному контрреволюциониому подполью, но всему народу, простодушно ощущавшему себя, однако, праведным «змееловом».

Есть в романе и другой, не менее значимый, а может быть, и главный художественный н нравственный пласт. Ю. Домбровский предложнл нам собственное и, как теперь ясно, истинное, самим временем проверенное решенне одного из вечных спорных вопросов — вопроса о состоятельности и самой возможности существования «чистой», иеопровержимой истины.

Главный герой не случайно назван писателем «хранителем древностей». Он последовательно и рьяно привержен идеям нравственности во имя нравственности. Да, собственио, его стезя — стезя историка-археолога — уже сама по себе, изначально подразумевает некую одухотвореиную отрешенность от злобы дня. «Я археолог,— рассуждает про себя герой,— я забрался на колокольню и сижу на ней, перебнраю палеолит, бронзу, керамику, определяю черепки, пью изредка водку с дедом и совсем не суюсь к вам вниз. Пятьдесят пять метров от землн — это же ие шутка! Что же вы от меня хотите?»

Но как бы ии стремился Зыбин отгородиться от происходящего или, точнее, подняться над ним, трагнческие события, совершающиеся в стране, неумолимо затягивают его в зловещую свою круговерть.

«...Между тем в музее шло полным ходом разрушение старой экспозиции, один был разоблачен как шпион, другой призиался в том, что он агент немецкой разведки, третий же, как выяснило следствие, вообще замышлял отторгнуть Казахстан от Советского Союза в пользу Японии... Позвонили откуда-то и приказали снять все, где только есть его имя. И все сняли н куда-то спешно отправили, а затем последовали еще звонки — и полетели другие портреты».

В условиях воинствующего мракобесия, перманентного террора ставились под сомнение, сводились на нет ие только основы исторической науки — ниспровергались любые моральные принципы, выжигалась любая добросовестность. В таких условиях всякое проявление элементарной профессиональной этики, просто человеческой порядочности и принципиальности становилось актом едва ли не героическим. В этом смысле герой книги Ю. Домбровского, сам того, пожалуй, не подозревая, изо дня в день совершал подвижнический, этический подвиг. Отстаивая от всевозможных политиканов, чиновников и демагогов право личности иа непредвзятость, честность, независимость от колебаний идеологической конъюнктуры, «хранитель древностей» тем самым по мере сил и возможностей боролся и за чистоту науки, за достоинство человека, боролся с социальным злом. Формы его борьба принимала самые разные (от полемики с настырными псевдооткрывателями и проходимцами, в обилии появившимися в конце тридцатых годов, до противостояния воинствующим невеждам н перестраховщикам, суетливо перекраивающим в угоду властям композицию местного исторического музея), но всегда неизменной оставалась ее гуманистическая направленность, ее нравственный пафос.

Так мог ли при существующем положении вещей этот строптивый интеллигент не оказаться там, куда власть предержащие планомерно н регулярно отправляли граждан и более смиренного, кроткого нрава?

В самом начале второй книги романа Домбровский описывает сон Зыбина, сон, говоря по-старинному, вещий.

Незадолго до ареста герою во сне вспоминаются пушкинские строки:

> Хоть в узкой голове придворного глупца
> Кутейкин и Христос два равные лица.

И тотчас же наплывом, в полусне-полуяви открывается ему: «Да для любого здравомыслящего Кутейкин куда больше Христа. Христос-то миф, а он — вот он. Он истина! И, как всякая истина, он требует человека целиком со всеми его потрохами и верой. Искания кончились. Мир ждал Христа, а вот пришел Христос-Кутейкин, и история вступила в новый этап... А я вот не верю и и потому подлежу не презрению, а уничтожению».

Зыбин тут не просто прозревает, угадывает ожидающую его судьбу (это-то ему, прекрасно видящему все происходящее вокруг, совсем несложно), но определяет стержневую,— не политическую, не социальную, не философскую даже, но нравственную, почти метафизическую причину постигшей страну трагедии, а следовательно, и причину его собственных будущих мытарств. Она, эта причина, в торжестве обывательского «здравомыслия», в торжестве агрессивной пошлости над совестью и честью, правдой н добром; она в разрушении основополагающих этических абсолютов, знаменующем воцарение Кутейкина, подменившего собой Христа, истину, культуру, закон. (Как важно сейчас всем нам, настойчиво взыскующим глубинных, сущностных объяснений былых наших бед, драм н злосчастий и упорно ищущим гарантий от возможного их повторения, понять и усвоить открытие героя Ю. Домбровского!)

Страшно еще и то, что подмена совершилась незаметно, втихую, исподволь. Ее ужасающие последствия ныне уже хорошо и широко известны. А ведь со стороны, при первом рассмотрении сам фасад существовавшего общественного здания как бы и не изменился... Да нет, пожалуй, все-таки изменился — похорошел, обновился, сделался ярче и помпезнее (жить-то стало, по словам «вождя», «лучше и веселее»).

В романе этот феномен явлен писателем через удивительно тонкую и емкую метафору, не требующую никаких дополнительных комментариев.

Зыбин и его знакомая — Клара — при-

езжают в степь. И в степи неожиданно набредают на необычную рощицу. Деревья в ней кажутся небывало красивыми, красивыми какой-то избыточной, декоративной, игрушечной красотой. Только красота их обманчива. «Это была действительно мертвая роща, стояли трупы деревьев. И даже древесина у этих трупов была неживая, мертвенно-сизая, серебристо-зеленая, с обвалившейся корой, и кора тоже лупилась, коробилась и просто отлетала, как отмершая кожа. А по всем мертвым сукам, выгибаясь, ползла гибкая, хваткая, хлесткая змея-повилика».

Итак, Зыбина арестовывают. Местные органы готовят большой показательный процесс, наподобие известных московских судилищ. Одна из главных ролей на нем, по первоначальному замыслу его организаторов, как раз отводилась Зыбину. Оставались лишь самые пустяки — заставить арестанта оболгать себя, принудить его сознаться в преступлениях, которых он не совершал. Органам такое удавалось всегда. Почти всегда. Но в случае с героем Ю. Домбровского следственная машина дала сбой. Открытое, прямое противостояние «хранителя древностей» и кутейкиных, описанию которого и посвящена, по сути, вторая книга романа, завершилось в пользу «хранителя». Пройдя через все тюремные унижения и испытания: избиения, карцеры, фальшивые увещевания, пытки бессонницей, Зыбин не дал сломить себя, сохранил свое достоинство, свою личность, то есть именно то, что раньше всего стремились отнять у него палачи. И случилось так, что, уцелев духовно, выстояв внутренне, герой смог выжить и физически, иначе говоря, выйти из тюрьмы, по сути дела, оправданным...

Памятуя о том, какой «век стоял» тогда на дворе, подобная развязка сюжета может, видимо, представиться невероятной, нереалистичной. Тем не менее, хотя и чрезвычайно редко, случалось и такое. Трижды упекаемому и трижды освобожденному в свое время автору романа, Юрию Домбровскому, аналогичные исключения, надо полагать, были известны.

Нетипично? — другое дело. Только ведь нетипичен и сам герой, не совсем типичен — несколько условен, очевидно, аллегоричен, хотя в традиционно-реалистической манере выстроен и подан его конфликт с существующей системой, ее творцами и вершителями. Очевидно, не типичен и весь роман, с его объемной многоплановостью, обширным подтекстом, почти непрерывным символическим рядом. И потому его концовка выглядит не надуманным, сконструированным «хэппи эндом», но единственно закономерным, совершенно оправданным финалом.

Как же обосновывается, чем мотивируется у Ю. Домбровского торжество Зыбина над его, казалось бы, всемогущими мучителями?

Прежде всего, несомненно, тем, что он, Зыбин,— истинный и полноправный носитель той *ж и в о й*, действенной культуры, хранитель тех *а б с о л ю т н ы х* понятий, вечных духовных представлений и ценностей («древностей»), на которых искони держался мир и против которых немощны и бессильны возомнившие себя вершителями человеческих судеб кутейкины. Ведь их-то жизнь, их реальность начисто лишены каких бы то ни было этических императивов, моральных аксиом.

Вот задумывается, как-то ненароком, даже как бы помимо собственной воли, молоденькая и еще не до конца освоившаяся с этой реальностью, с новым для себя местом в ней следователь Тамара Долидзе: «И тут она, кажется, впервые подумала о том, что же такое вот это следствие.

В духе следствия — вот этого следствия, по таким делам, в таком кабинете, с такими следователями — были развеселая хамская беспардонность и непорядочность. Но непорядочность узаконенная, установленная практикой и нормой. Здесь можно было творить что угодно, прикарманивать, морить бессонницей, карцерами, голодом, вымогать, клясться честью или партбилетом, подделывать подписи, документы, протоколы, ржать, когда упоминали о Конституции («И ты еще, болван, веришь в нее!» Это действовало как удар в подбородок),— это было вполне в правилах этого дома, строжайше запрещалось только одно — хоть на йоту поддаваться правде...»

Да, мир противников Зыбина — Неймана, Хрипушина, Смотряева, Мячина, той же Тамары Долидзе и прочих следователей и тюремщиков, представленных Ю. Домбровским на страницах романа,— мир без духовных основ, без духовного стержня. Единственными доминирующими, все подменившими собой понятиями являются в этом мире понятия совершенной нравственной относительности и до абсурда доведенной «социальной целесообразности». И еще... здесь царит всеобщий и повсеместный страх. (Главный герой «Факультета» при первой же встрече с вальяжным, самоуверенным следователем Яковом Нейманом подмечает, что «в его глазах стоит выражение хорошо устоявшегося ужаса».) Оно и понятно, поскольку «социальная целесообразность» позволяла легко, в мгновение ока превращать любого из ее верных проповедников и служителей в ее же жертву. (Упраздняющий закон должен помнить, что сам оказывается вне закона.) Поэтому-то мир, созданный на основании подобной «целесообразности» и бесчеловечности, текуч, неустойчив, почти ирреален. Зерно саморазрушения априори заложено в нем.

«Утверждение...— права нет, а есть разумное объективное мнение» было действительно направлено на распад общества и государства. Во всей нашей печальной истории нет ничего более страшного, чем эта попытка лишить человека его естественного убежища — закона и права. Падут они, и нас с вами тоже не будет. Мы сами себя слопаем. Нет в мире большего преступления, чем распространять на право теорию моральной относительности. Право — вещь изначальная... Отменили право, и — настал 37-й год! И замкнулась лавинная реакция. Ведь, в сущности, не осталось и конвейера. Это сфинкс без всякой загадки. Если сажать не за что, а во имя чего-то, чтобы чего-то достигнуть — молчания,— то остановиться нельзя... Просто не на ком». Вот выдержка из своеобразного послесловия к роману «Факультет ненужных вещей», послесловия, записанного на магнитофон со слов Ю. Домбровского его другом — скульптором и поэтом Ф. Сучковым — и недавно частично обнародованного прозаиком Б. Ряховским.

Подобно самому Ю. Домбровскому его герой столь же проницательно увидел основной изъян, скрытую ущербность режима, жертвой которого он стал. Сумел понять он и то, что следствие да и весь процесс судопроизводства при фактически отмененном праве зиждятся единственно на принципах компромисса всех со всеми, иезуитского соучастия подследственного в собственном шельмовании: ты нам — фальшивое признание, признание в никогда не существовавшем, самооговор, мы тебе — более мягкое наказание, меньший срок. Другими словами, жертве предлагалось принять правила игры палачей, отказаться от собственного «я» и последовательно лишиться чести, индивидуальности, свободы (или жизни). Знакомый Зыбина — честный, в целом порядочный Владимир Корнилов или другой его приятель — сокамерник, добрейший, милый Александр Иванович Буддо, лишь на йоту уступили этим правилам, попробовали сыграть с органами в их «игру» и пропали. Сила же Зыбина состояла именно в том, что он органически не был способен хотя бы на малейший компромисс, на малейшее соглашение со злом даже ради физического выживания. И его победа, в высшем, конечном, символическом значении, повторюсь, совершенно закономерна, как победа этических абсолютов, подлинных культурных и нравственных ценностей, непреложных, вечных истин над лживым, бесчеловечным и абсурдным миром деспотического своеволия.

Таков центральный, стержневой конфликт романа, ставший тематическим, проблемным его фундаментом, его сюжетной основой. В этом конфликте, в его авторской трактовке и решении как раз выразился особый, прежде, кажется, не встречавшийся в сегодняшней литературе взгляд на трагичнейший, тяжелейший период отечественной истории, получивший ныне название «сталинщины». Ю. Домбровский осмыслил и показал его как этическую аномалию, ставшую результатом духовной болезни общества, упадка, общественной девальвации основных гуманистических ценностей.

Однако роман Ю. Домбровского имеет непростую, многомерную конструкцию, включающую в себя, помимо этого «сквозного» конфликта, и немало других сюжетных линий и фабульных векторов, взаимодействующих и взаимопроникающих тематических пластов.

Много и долго можно говорить и о собственно эстетических достоинствах «Хранителя», о его ярких, стереоскопичных образах, о его прекрасном, пластичном, живом языке. Роман Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей» принадлежит к разряду тех немногих «огнеупорных» произведений, которые можно читать и перечитывать, но которые, наверное, так и нельзя до конца исчерпать.

С. НИКОЛАЕВ

Среди нас

•

Инна П р у с с а к о в а. Под часами. Л., Советский писатель, 1988.

•

Жизнь нынешнего «массового» горожанина в значительной части протекает в сутолоке учрежденческих и квартирных (нередко еще коммунальных) коридоров, тягомотине очередей, транспортной суете, атмосфере нехваток то того, то другого. Быт предстает в прозе Пруссаковой во всей своей «несахарности», которая одних закаляет, других ожесточает, третьих ломает не хуже, чем трагические катаклизмы. Но коль скоро обстоятельства побудят нас подняться над житейской повседневностью — подниматься придется именно отсюда. Отсюда призовет художника «к священной жертве Аполлон», отсюда выйдем мы все навстречу проблемам отнюдь не бытового порядка. Другой житейской сферы у нас нет. Что каждый сумеет вынести из нее в более широкий мир и что кому под силу — вот вопрос.

Бывает, что ежедневные наши драмы стоят иной трагедии. Разве не тяжко обнаружить, что с течением дней ты стал ненужным человеку, который очень нужен тебе («Под часами», «Начальная глава»)? Иногда — даже самым близким («Младший брат»). Кстати, этот рассказ напомнит нам, что от «повседневных» бед до подлинного трагизма — один шаг. Но все это — если отсчитывать меру доброты и справедливости «от себя». А если изменить точку отсчета?

Иногда нравственная высота человека бросается в глаза. Как в случае с заведующей детским домом («Оазис»), сумевшей создать оазис любви и сердечности в жестокой суматохе военных лет.

Но тут все на виду — экстраординарность и обстановки, и «объекта» забот. Однако не всегда суть поступков человека попадает под столь сильный прожектор. Как правило, все обыденнее. Каждый день вокруг нас — непутевая родня («Родоначальница», «Сестры и племянники»), жена, на которой женился «с горя» («Женское воспитание»), невзрачный, непрестижный муж и дочь, не оправдавшая родительских надежд («Любовь»), старики, с которыми свели тебя жизненные повороты,— случается, невпопад и несуразно требовательные, сварливые, брюзгливые («Святой Христофор», «Сугробы»). Не лучшие представители рода человеческого? Допустим. Но ты-то у них один. Они в тебе нуждаются. Им тебя никто не заменит. И если человечность для тебя не звук пустой, это должны почувствовать в первую очередь они. И практически каждый день. А это труднее, чем один раз совершить подвиг!

Вроде бы и не с ригористических позиций (это ей органически чуждо) смотрит на своих героев писательница — а просто с тех, что продиктовали ей «Страницы военного детства». И отсюда ее ненавязчивые «за» и «против». Можно ли упрекнуть молодую и «интересную» женщину за то, что собственная личная жизнь волнует ее куда больше, чем чужой ребенок? А вот забудет ли девочка, что эта самая тетя, которую попросили за ней присмотреть, оставляла ее, голодную, одну в квартире? Тем более не забудет, что о ней самой не забыли другие — несмотря на собственные невзгоды («Гостинец»). Нетрудно уважать личность, когда перед тобою — люди, прекрасные во всех отношениях. Но можно себе представить, с какими личностями сталкивает служба милиционера Алтухова — героя одноименного рассказа! Однако уважать достоинство других он разучиваться не хочет. Уважать человека надо прежде, чем от него что-либо требовать. И в том — собственное нравственное достоинство недавнего деревенского парня. Атмосфера, в которой действуют персонажи «Чужих снов» и «Черных птиц»,— больница, похороны. Начнем с того, что она вопиюще неэстетична. В реальной жизни (а не в иных книгах или кинофильмах) страдание выглядит вблизи очень некрасиво. Но тут горе людское, и оно кардинально проверит тебя на честь и совесть.

В наши дни мы часто возвращаемся к изначальному смыслу слов «сострадание», «милосердие». Не будем несправедливыми к тому, что было до нас: и двадцать, и тридцать, и сорок лет назад эти слова имели цену. Однако в книгах тех времен вслед за житейской практикой сплошь и рядом распространялись они прежде всего на людей пусть «простых», но чем-то замечательных. Найдем таких, увидим «вдруг» их беды — и, как говорится, воздадим по заслугам. Но какая школа состоит из одних лишь отличников? В школе жизни их еще меньше. А как быть с остальными? Самой манерой своего повествования И. Пруссакова обращает наш взгляд именно в их сторону. Не «общества» в целом (к нему взывать мы мастера) — каждого из нас. Взглянем хотя бы на тех, кто рядом...

Композиционно книгу обрамляют три рассказа. Два последних — о гуманистах Возрождения, в которых без труда узнаются Микеланджело и Эль Греко. А первый — об учительнице музыки и учителе астрономии. Эти двое жили в обстановке послевоенной разрухи, но и творцы прекрасного минувших веков существовали не в горних высях, а на грешной земле, где их тоже испытывала проза повседневности. Они оставили след в душах многих. Границы воздействия учителей, героев сравнительно недавних лет, куда скромней. Но если ученики благодаря им помнят до сих пор, что и среди неустройств и тягот можно слышать чудесные мелодии, видеть звездное небо,— так ли это мало? Высокая духовность, как и тепло душевных привязанностей, не придут невесть откуда, они всегда рождаются в непрерывном течении житейских будней. Среди нас. Это надо помнить и знать. И тогда темные, суровые, скучные стороны этих будней не станут преградой для радости общения ни с людьми, ни с животными, ни с любимыми уголками твоего города, о которых тоже идет речь в книге И. Пруссаковой.

В этом главный ее урок.

А. ХОДОРОВ

г. Ленинград

Свет боли в тишине...

•

Геннадий Айги. Из лирики. «Дружба народов», 1988, № 2. **Стихи.** «В мире книг», 1988, № 3.

•

Все обязывает его воскрешать духовность в мире косной материи.

Пьер Жан Жув.

Геннадий Айги. Это имя чувашского поэта, вот уже тридцать лет пишущего на русском языке, широко известного чуть ли не во всех европейских странах, у себя на родине еще только начинает возрождаться словно из небытия. Еще один горький пример судьбы художника, искусственно отторгнутого в не столь уж давнее время от своего читателя...

Печатали Айги только на чувашском языке — начиная с 1958 года в Чебоксарах у него вышло семь поэтических сборников, шли они «со скрипом», с разрывами до четырех, до семи, до пяти лет. Но все же шли. В Москве же, где он живет уже более тридцати пяти лет, на русском языке, который считает для себя основным языком, не вышло ни одной книжки, хотя известность в Европе принесли ему именно русские стихи.

Почему же возник такой, мягко говоря, странный парадокс: поэта охотно печатают во множестве зарубежных стран, кроме своей, родной — России?

Что же у нас-то поэтическое дарование Айги совсем уж никого не интересовало?

Ох, «интересовало»...

Однако, чтобы разобраться в этих вопросах, чтобы понять, что за поэт перед нами, попробуем прочертить, хотя бы пунктиром, сложную, прерывистую линию его литературной судьбы.

Геннадий Айги родился в 1934 году и вырос в чувашском селе. Не случайно в его стихах так часты слова: поле, лес, снег, белое, окно. В жизни деревенского жителя — особенно длинной зимней порой — чаще всего перед глазами окно, за ним поле, белое от снега, вдали синеет кромка леса.

Отец его — учитель русского языка и литературы, с четырех лет стал учить сына русскому языку. В 1943 году погиб на фронте. Мать — крестьянка с двумя годами церковно-приходской школы. Ее трепетно-тающий образ живет в его лирике. Айги как-то сказал: «То, что называется родиной, может быть, это просто моя мать — ее страдание, ее терпение, ее выдержка, ее смирение и ее необычайная самоотверженность».

Был еще человек, оставивший отсвет на всю жизнь,— Васьлей Митта. Поэт с лицом крестьянина, семнадцать лет промыкался он по сталинским лагерям. Разница в возрасте и жизненном опыте не помешала им подружиться — ведь оба были поэты: юноша-Айги уже писал стихи и учился в Литинституте. Увы, общение их оказалось недолгим: в 57-м году Митта умер.

1958 год — год травли Б. Пастернака — стал годом травли и никому тогда не известного студента Айги. В Литинституте узнали, что тот встречается с Пастернаком, советуется с поэтом, посвящает ему стихи. Комсомолец под крылышком у «отщепенца» и «предателя»?! Комитет комсомола устроил разнос рукописи диплома — Айги готовился к защите. Руководитель его семинара, Михаил Аркадьевич Светлов, пытался защитить талантливого ученика («...свой голос, свой глаз. Если вы меня, старую собаку, растрогали, то вы добились многого... Свое видение мира. Прекрасные образы и абсолютно не навязчивы. Перевести такое я не могу, это очень трудно, мне страшно...» — говорил он еще за два года до этого разноса, когда на семинаре обсуждали поэму Айги «Завязь»). Решение комитета было единодушным: из комсомола исключить «за написание враждебной книги стихов... и за неуплату членских взносов», ходатайствовать об отчислении из института. Айги отчислили, а Светлова отстранили от руководства семинаром.

Что же выдавалось за «враждебность»? «Пессимизм» (страшный порок по тому времени) стихов Айги — а пессимизм тогда находили везде, где выражались чувства грусти, печали, тоски; «скептицизм» — еще один жупел той поры: не дай бог автору в чем-то засомневаться или увидеть что-то в окружающей действительности плохое. И еще один порок — «индивидуализм» — тут уж пахло «отрывом от жизни народа»!..

Правда, через год нашлись в ЦК ВЛКСМ умные люди — отменили решения решительных «судей» из комитета, и диплом Айги защитил.

Тот же 58-й год принес Айги и радость: в Чебоксарах вышел первый сборник стихов «Именем отцов» на чувашском языке. Правда, вскоре обруганный в местной газете за идеологически подозрительные «измы» — идеализм, формализм, символизм и даже абстракционизм!

Годы юности Айги, хотя они и пришлись на время «оттепели», прямо-таки перенасыщены «пограничными ситуациями», которыми так любят испытывать на прочность своих героев писатели-экзистенциалисты. Экзистенциальной с примесью абсурда была во многом окружающая его среда, активно «созидаемая» ею действительность. Отсюда и разлитое в атмосфере целого ряда его стихов чувство тревоги, напряженное ожидание неотвратимо надвигающегося зла. Вот одно из стихотворений того периода:

Когда нас никто не любит
начинаем
любить матерей

Когда нам никто не пишет
вспоминаем
старых друзей

И слова произносим уже лишь потому
что молчанье нам страшно
а движенья опасны

В конце же — в случайных
запущенных парках
плачем от жалких труб
жалких оркестров

(Путь)

«...нас никто не любит», «никто не пишет», «молчанье нам страшно, а движенья опасны» — какая за всем этим тоска, смятенное чувство от идущей извне угрозы, одиночество изгоя.

Несколько отстраненная обобщенность — «нас», «нам» — это защитная оболочка, своего рода броня — та, что не столько для защиты, но больше для удержания себя в узде, в форме — не позволяя внутреннему смятению вырваться наружу, расслабиться, сломаться.

Это — в емком лаконизме стихотворения.

В другом стихотворении, тоже из ранних, высказаны заветные мысли, названы неизменные духовные ориентиры — правда, вера, терпение. И не названная, но подразумеваемая убежденность в обязанности художника, человека «быть светлым всегда — о хотя бы от боли!».

Перед нами своеобразный парафраз одного из положений учения экзистенциализма. Приверженцем этого учения Айги стал не только в силу своего жизненного опыта (выше я упомянул об этом), но и под влиянием своих книжных штудий. Евг. Евтушенко вспоминал: «Я не видел в Литинституте ни одного студента, который бы настолько впитал все сокровища нашей литинститутской библиотеки. ...он не вылезал из библиотеки, и по слухам, даже иногда там и ночевал». Айги самостоятельно овладел французским языком, отсюда отличное знание французской поэзии, европейской философской мысли, корифеев которой он читал в переводах на французский.

Обращение Айги к философии экзистенциализма естественно еще и потому, что это одно из самых влиятельных философских течений XX века. И самых «заинтересованных» в эстетических проблемах. Недаром видные «апостолы» его — незаурядные писатели.

Айги относится к поколению «шестидесятников». Но его путь в поэзии был далеким от шумных эстрадных успехов знаменитых сверстников. Он пошел самым трудным путем — непризнанного идеологами как «оттепели» так и «застоя» художника-авангардиста. «Декоративная духовность» (Л. Аннинский) его не устраивала...

Человек глубоко образованный, с широким кругозором, Айги воспринял идеи русского авангарда как естественное продолжение традиций классического русского искусства. Он понимает традицию как безостановочное развитие, как постоянное движение во времени.

В 58—60-х годах Айги перешел на русский язык. Почему? Сам он так сказал об одной из важнейших причин: «Искусство для меня — область трагического. В то время, когда я становился как поэт, область трагического для меня находилась в сфере русского языка,— короче, на нем я мог высказываться «до предела», «до конца», «по существу».

Тогда же окончательно растаяла надежда на возможность публикации его русских стихов — слишком уж они были «порочны», с точки зрения партийного руководства тех лет, с его прямолинейно идеологизированным взглядом на литературу. Вызывало раздражение само содержание его стихов: какие-то смутные переживания, то он грустный, то о чем-то тоскует, то чего-то боится... А форма стиха и вовсе «декадентская», народ это просто не поймет. Сталинистская манера решать все и за народ, и за художника, а в том, что сам не понимаешь, подозревать идеологическую диверсию.

Годами не имея выхода в печать, к широким кругам читателей, Айги все больше отвыкает от диалогически «открытой» речи, уходя в монологи. Вырабатывается многолетняя привычка проборматывать стихи самому себе. Это ведет к переменам в самом строе стиха, в образно-лексическом его облике.

Ему близка работа футуристов со словом, их умение усиливать выразительность его, сделать слово «осязаемо фактурным», их внимание к различным смысловым оттенкам и поворотам слова. (В то же время Айги не раз подчеркивал, что в идейном и содержательном смысле он антифутурист.)

Опираясь на опыт русского авангарда 20-х годов, Айги находит собственные пути выразительности. Стихи его становятся все более лаконичными, фраза порой обрывается недосказанной (как в разговорной речи), порой слова в строке как бы стянуты в массу, их скрепляют тире — в многоликое слово. А чаще — наоборот, между словами пробелы, связующие звенья выброшены. Эллипсисы — характерная черта письма Айги.

Слово у него тоже «ужимается», усекается. Бывает даже, что одна буква заменяет слово. Так появляются шифры. Нередко, как мне кажется, чрезмерно субъективные. Буква вместо слова, полслова вместо целого, полстроки вместо строки — порой необходим автокомментарий, иначе, пожалуй, не понять, что говорит нам автор.

Пунктуация его стихов тоже весьма своеобразна. Обычно она идет вразрез с общепринятыми нормами, поэт часто не соблюдает прописных букв; как правило, игнорирует запятые, точки. А скажем, частые у него двоеточия и тире наделяет несвойственными им в обычной грамматике качествами: это сигналы ускорения чтения, уменьшения пауз между словами и строками. А с другой стороны, часты у Айги и увеличенные пробелы между строфами и строками. Это повышенное внимание к паузам говорит об особо важном смысле молчания, тишины в лирическом мире Айги.

Эта тишина иного качественного наполнения, чем в традиционном стихосложении: не механический разрыв между строками или строфами, а тишина, наполненная интенсивным переживанием того образного мира, тех вещных примет его, о которых только что прочитано, экзистенциальное постижение «существенного», открываемого поэтом. Свободный стих Айги нельзя представить без слов: прах, кровь, раны, боль, смерть; а рядом — свет, сияние, тишина, душа, чистота, Бог.

Стихи Айги нередко труднодоступны. В них, словно на высокой вершине,— разреженная атмосфера. Слов немного, и все они вроде бы простые по большей части, но вот когда они в строках, то замечаешь, что контекст словно разворачивает их ранее невидимыми гранями, происходит едва заметный сдвиг смысла, окружающая нас действительность будто увидена в этих строках какими-то другими глазами — души ли, духа ли?..

К тому же душевное и духовное тесно и тонко связано здесь с прорывами в область интуитивного, подсознательного, к естественному, природному — самому подлинному в человеке, не искаженному, не «залакированному» обществом. Это стремление с наибольшей полнотой открыть в себе «залежи» природно-естественного привело поэта к творчеству как бы на грани сна и яви. На вопрос: как вы пишете? — Айги привел свой ответ другу: «Может быть, это смешно, но должен сказать тебе, что все удачное я пишу почти на грани засыпания». Тема сна — одна из распространенных у него.

Сон, сновидения — эта тема волновала еще русских символистов. Идея сна в психологии поэтического и художественно-живописного творчества — центральная в теоретических новациях сюрреалистов (особенно А. Бретона). Словом, в обращении к сну и как к теме, и как к способу творчества Айги — продолжатель сложившихся традиций.

«Сон-явление, да и сама сон-атмосфера становились для меня сном-о б р а з о м некоего мира, сном-миром, где я мог добираться до «островов», до обрывков «русла», составляющего жизневыдерживание одной личности»,— говорил поэт в беседе с корреспондентом белградской газеты.

Конечно, лирика Айги, как и немалая часть зарубежной поэзии наших дней, или, скажем, некоторых наших «метаметафористов»,— порой в большей, иной раз — в меньшей степени герметична. Сам поэт относится к этому спокойно, считая, «что «герметизм» — это уважение к читателю («если захочешь, ты это можешь понять так же, как и я,— я верю, доверяю тебе»).

Обратимся к опубликованному в журнале «Дружба народов» (кстати, это первая публикация большого цикла стихов Айги в центральной печати после многолетнего молчания) стихотворению «Дом поэта в Вологде» с подзаголовком «Константин Батюшков» и эпиграфом из Вяземского: «Любезный образ в душу налетал...»:

а рядом — шелка окруженье:
разорванного будто в смеси —
сияния его
и дрожи:
непрекращаемой: виска —

лицо меняющей
как в ветре —
в сияньи шелка — словно облика:
из праха! —
сущего:
всего —
из окон ветром разъедаемого:
и светом: до лица живого —

тающегося
как драгоценность:
средь шелка:
ветра:
и лучей

Какая странная, словно смазанная неточной наводкой объектива, любительская фотокарточка — картина комнаты...— подумает иной читатель.— Почему автор уткнулся взглядом в шелковую штору, да так и замер, словно ничто его больше не интересует?

А ведь как можно было живописать! — обстановку дворянской усадьбы, вещицы изящные, эпизод из жизни поэта трогательный, с эффектной трагической и многозначительной деталью и афоризмом в конце.

Предполагаю, что примерно так посетует читатель, приученный к красивостям множества бойко рифмованных и безликих стихов, которые почему-то именуют «традиционными», в то время как они просто эпигонские.

Поэзия — не рифмованный или безрифменный популяризатор общедоступных сведений из жизни великих людей. У нее свои, особые укромные уголки и пространства. В лирике Айги это пространства души человеческой, ее порывы, страхи и радости, ее искания, промахи и обретения на пути к истине.

Ему нужно донести до нас свое, личностное переживание встречи с местом, где долгие годы провел неизлечимо больной поэт. Тут и окно, у которого подолгу стоял он, с тоской глядя в недоступные ему просторы... Вот почему в сиянье бликов солнечного света, в переливах и трепете волнуемого ветром шелка видится автору лицо поэта, «как драгоценность средь шелка, ветра и лучей».

Конечно, очень непросто настроиться на столь высокую волну переживания и непосредственности чувств. Тут и от читателя требуются встречные движения интеллекта и души. И немалая доля начитанности.

Впрочем, есть у Айги и стихи, почти прозрачные по смыслу. Скажем, стихотворение, посвященное «одной из годовщин потери» матери:

сидишь в качалке: о тоска невыразимая!
укачиваешь
сам себя
себе выдумывая мать...—

теперь уже — саму В с е л е н н у ю

При всей удаленности от канонов японской танки как это близко ей по лаконизму и выразительной силе!

Однако «прозрачный смысл» здесь отнюдь не синоним однозначности или прямолинейности. Полна взрывчатой противоречивости строка «себе выдумывая мать». Ну как, скажите, можно, тоскуя по умершей матери, помня реальные проявления ее заботы, ее любви да просто — весь ее облик,— в то же время «выдумывать» себе какую-то несуществующую, абстрактную мать?! Но строка здесь не случайно оборвана отточием и завершается тире, отправляющим нас к последующей строке. Поэт вынужден искать материнское тепло у «самой Вселенной». Но какая необъятная, непредставимая воображением бесконеч-

ность, особенно по сравнению с пылинкой, именующейся человеком. Эта-то колоссальная несопоставимость и дает особенно остро почувствовать боль сиротства.

Родственная внутренняя связь всех стихотворений Айги не исключает разнообразия их образно-выразительного рисунка, а подчас и полной противоположности друг другу. Сопоставьте, скажем, выше приведенное стихотворение с «Утром в детстве».

а, колебало, а,
впервые просто чисто
и озаряло без себя
и узко, одиноко

и выявлялась: полевая!
проста, русалочка!

и лилия была, как слог второй была —
на хруст мороза,—
с поверхности блестящей, мокрой,

— царапинки! — заговорю,— царапинки!

с мороза,
и на руке —
впервые след пореза

а этот плач средь трав:
— я богу отдан заново!

а нищий брат, мой ангел под зарей! —
уже тогда задумали,

чтоб объяснил,
и чтоб ушел,
и чтоб осталась эта суть:
— царапинки... — заговорю — царапинки...

Читатель, наверное, может недоуменно спросить: «Что же это значит? Как увязать эти невнятные речи во что-то стройное, гармонически ясное?» Смею уверить — есть тут своя гармония. Но сначала дадим слово автору. Айги признавался: «Часто для меня бывает проблемой первый же звук: согласный или гласный, а если гласный, то именно какой... это важно на слух и на зрение». И тут же он приводит пример со стихотворением «Утро в детстве»: «...началось с неоднократного «а», и мне кажется, что тут вся вещь в силу этого зазвучала чистыми а-«трубами»; в этом же стихотворении упоминаются лилии,— думаю в силу тех же «а»... («а» для меня всегда ассоциируется с белым цветом)».

«Уж не пустые ли это выдумки: при чем тут тот или иной цвет и буквы, что между ними общего?» — спросит читатель. Конечно, восприятие поэтами буквенно-цветовых соответствий весьма субъективно. Вспомним ассоциации Рембо в «Гласных»: «А — черный, белый — Е, И — красный, У — зеленый...» Но вот московские исследователи провели множество лабораторных опытов по выяснению природы этих соответствий на ЭВМ с опросами людей и установили, что соответствия эти реально существуют, это не выдумки поэтов. Другое дело, что соответствия, установленные ими, совсем иные, нежели у Рембо или Айги. Иначе и быть не могло: ученым важно было установить объективные закономерности в восприятии человеком звука и цвета, а поэты выразили субъективно-вкусовые пристрастия.

Вернемся, однако, к «Утру в детстве». С чистого белого «а» и начнем. Первое ощущение проснувшегося на утренней заре мальчика: свет, сквозь белые от наледи и инея окна — колеблющаяся, озаряющая белизна света! А в окне, узорчато разрисованном морозом, лилия, полевые цветы и даже — русалочка, та, из детской пушкинской книжки с рисунками. А печь, затопленная мамой, все сильнее нагревает воздух в избе — влажнеет снежный ворс на окне, темнеют, жухнут рисунки... Ребенок торопливо водит по их контурам пальцем, словно пытаясь удержать их, запомнить эти чудо-узоры, и — вскрикивает от острой боли — из пальца течет кровь. А мама уже тут как тут, жалеет, на палец дует и шепчет: «царапинки...— заговорю,— царапинки...» Но оттого и давит сердце непонятная малышу тоска, томит предчувствие, что много их еще, «царапинок», ждет на дороге жизни...

Конечно, смысл стихотворения Айги неоднозначен — с какой стороны подойти, что и как увидеть... Надеюсь, мой вариант прочтения приближает к истинному его содержанию. К тому свету, что рожден болью человеческого сердца.

В контексте лирики (и жизни) Айги стихотворение это — одно из магистральных: оно, словно пролог, зачин лирического эпоса, сказа о пути человека в этом противоречиво-страшном и прекрасном мире, о терпении, труде и вере — побеждающих если не все, то многие преграды и беды.

Айги доказывает это не только стихами...

Владислав ЗАЛЕЩУК

Отклик

СБОРНИК «МОЙ ЛУЧШИЙ РАССКАЗ» (изд. «Современник», 1988) назван не без некоего вызова: мой! лучший!.. Не сразу вспомнишь прецедент в книжной практике: отдать святая святых — право издательства на выбор наиболее достойного — в руки самих авторов. Лично назови, что ты считаешь своим достижением, что тебе больше всего нравится в себе самом, а мы уж почитаем и рассудим — не только достоинства написанного, но и степень авторского самомнения... Участники сборника пошли на этот небезопасный эксперимент, каждый представил по рассказу — В. Распутин, А. Битов, С. Есин, В. Шугаев, А. Курчаткин, В. Михальский, Вл. Орлов, А. Шавкута (составитель сборника), Г. Немченко, Р. Киреев, Б. Екимов, В. Крупин и другие, всего тридцать авторов. В короткой справке о них, заключающей сборник, бросается в глаза одна особенность — сближенность дат рождения: 1935, 1937, 1939, 1941... Это поколение «сорокалетних», именно им издательство отдало первый из сборников в задуманной четырехтомной серии советского рассказа (и невольно намекнув при этом, что все они давно уже «пятидесятилетние», и того более). Вчерашние молодые, выстояв в нелегких условиях, утвердившись в качестве творческого поколения, сегодня являют собой уже костяк, наиболее активную силу нашей современной прозы. Нельзя не согласиться с мыслью вступительной к сборнику заметки о том, что в фундамент нынешней общественной перестройки «сорокалетние» вложили свой весьма прочный кирпичик. Когда появятся все четыре тома задуманной антологии — от Шолохова и Булгакова до наиболее талантливых сегодняшних начинающих,— в этой широкой социально-художественной панораме, воссоздающей пережитое народом, движение самой литературы, надо думать, написанное «сорокалетними» не затеряется. Что до самого «Современника», то и замышленная им серия, и ежегодно — при всех спадах и подъемах жанра, вопреки любым конъюнктурам в литературе — выпускаемые им сборники «Рассказ-19...» (сейчас вышел «Рассказ-87») создают образ некоего доброго «рассказового заказника», издательства, стоящего на страже экологии жанра. Читатели и авторы журнала «Октябрь» (который и сам неравнодушен к этому жанру, если вспомнить его декабрьские номера, регулярно представляемые начинающим рассказчикам, или критические работы хотя бы самого последнего времени — размышления о судьбе нашей новеллистики Ю. Нагибина, Вл. Новикова, рецензии на книги рассказов Т. Толстой, И. Меттера и др.), читатели, искренне любящие этот яркий и действенный жанр литературы, несомненно, найдут для себя богатую пищу в сборниках «Современника». Томик же «Моего любимого рассказа» хочется порекомендовать им для чтения прежде всего. Разве не интересно собственными глазами убедиться в том, какие же все-таки вещи считают у себя лучшими А. Ким, В. Маканин, А. Проханов, В. Лихоносов?..

В. МАТВЕЕВ

В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ КНИГИ Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ «КУРСИВ МОЙ» к вам обращается ленинградский литератор Наппельбаум Ида Моисеевна. На первых страницах публикации появляются мое имя и имена членов моей семьи. Это все закономерно, т. к. мы с Берберовой в юные годы дружили, много общались, жили общими радостями и печалями. Конечно, в ее описаниях имеются ошибки и неточности, вполне естественные для автора, отдаленного от нас не только огромным временем, но и огромным расстоянием. Многое до ее слуха

доходило искаженным. Но есть одна ошибка, которая не могла меня не огорчить. Н. Н. Берберова в двух местах пишет, что мой муж, ленинградский писатель (поэт и переводчик) Михаил Александрович Фроман, был репрессирован. («Были две сестры Наппельбаум... Первая была женой М. Фромана, поэта и секретаря Ленинградского союза поэтов, репрессированного во времена Сталина...») Это не так. Фроман скончался в Ленинграде в июне 1940 года после тяжелой операции и похоронен на одном из ленинградских кладбищ. Фроман был членом правления Л. о. Союза писателей, секретарем секции переводчиков. До Берберовой, видимо, дошел слух о беде в нашей семье, но это меня арестовали в 1951 году («Вас не добрали по 37 году»,— так мне объяснили) и осудили на десять лет. Осенью 1954 года меня освободили и реабилитировали.

И. НАППЕЛЬБАУМ

г. Ленинград

Сдано в набор 06.01.89. Подписано к печати 30.01.89. А 07726. Формат 70 X 108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24. Тираж 380 000 экз. Заказ № 43. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А 137, ул. «Правды», 11. Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.